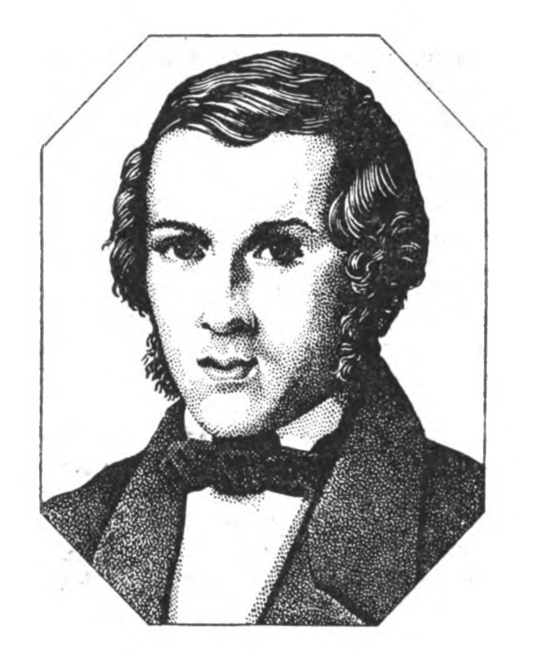
Евгений Гребенка

Чайковский. Повести

«Дніпро»









Евгений Гребенка

Чайковский

РОМАН

Повести

Киев
Издательство
художественной литературы
«ДНІПРО»
1988

ББК 84Ук1—44
Г79



В книгу вошли
лучшие произведения
известного украинского писателя
(1812—1848),
написанные на русском языке.
Яркими красками,
героическим духом казатчины,
интересными и опасными приключениями,
которые переживают герои,
привлекает исторический
роман «Чайковский».
В повестях «Записки студента»,
«Кулик», «Приключения синей ассигнации»
разоблачается
несправедливость социального строя
царской России.

Автор предисловия *С. Д. Зубков*

Г $\frac{4702590100-224}{М205(04)-88}$ КУ8.169.88

ISBN 5-308-00207-Х

ПРОЗА ЕВГЕНИЯ ГРЕБЕНКИ

Своеобразием новой украинской литературы, особенно периода возникновения и утверждения в ней реализма, стало участие ее представителей и в украинском, и в русском литературном движении.

Взаимосвязь украинского и русского литературных процессов в течение нескольких столетий сопровождалась их взаимообогащением. Наряду с украинской темой в классической русской литературе — в украинской литературе также наличествовала многообразная в своих проявлениях русская тема. Большинство социальных вопросов поднимались украинскими писателями в масштабах всей страны. По определению В. И. Ленина, эти наиболее близкие «и по языку, и по месту жительства, и по характеру, и по истории» [1] народы постоянно соприкасались в обыденной жизни, и даже беды — большие и малые — у них были общими.

Прогрессивная культура подавлялась в царской России независимо от ее национального происхождения. Против этого выступали и русские, и украинские писатели. Прогрессивная русская интеллигенция горячо поддерживала развитие украинской национальной культуры.

Обращение украинских писателей к русскому языку свидетельствовало о сознательном их стремлении включиться в общероссийский литературный процесс. В дошевченковский период наиболее тесно были связаны с ним Г. Ф. Квитка-Основьяненко и Е. П. Гребенка, которые сыграли выдающуюся роль в становлении новой украинской литературы: Г. Квитка-Основьяненко заслуженно предстает ее первым прозаиком, а имя Е. Гребенки связано с классической украинской басней.

Е. П. Гребенка (1812—1848) правомерно считается украинско-русским писателем, занявшим видное место в обеих литературах.

Еще в годы учения в Нежинской гимназии высших наук (1825—1831) Е. Гребенка писал стихи и басни на украинском и русском языках, переводил «Полтаву» А. С. Пушкина, выпускал рукописный журнал «Аматузия», заполняя каждый его номер собственными произ-

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч.— Т. 32.— С. 342.

ведениями. Позже, кроме знаменитых басен, навсегда сохранивших непреходящее значение, он выступил с несколькими украинскими стихотворениями. Переезд в Петербург (1834), знакомство со столичными литературными кругами содействовали активизации поэтического творчества на русском языке. Постепенно его художественные интересы сосредоточиваются на прозе, и хронология последующих публикаций подтверждает эту творческую переориентацию.

Впервые как прозаик Е. Гребенка выступил в 1835 г. в альманахе «Осенний вечер» с рассказами «Малороссийское предание» и «Сто сорок пять». Спустя два года «Малороссийское предание» под заглавием «Страшный зверь» вошло в известный сборник «Рассказы пирятинца». Произведения, составившие его, в большинстве своем фольклорного происхождения. Стремясь литературно оформить бесхитростные повествования, опираясь еще на традиции классицизма, заимствуя отдельные приемы то у А. Марлинского, то у О. Сенковского, Е. Гребенка не избежал искусственной претенциозности, доходившей иногда до пародийности («Страшный зверь»). В других произведениях — явственнее отблеск гоголевской манеры освоения жизненного материала и народных преданий. Видимо, не случайно само название сборника, подобно гоголевским «Вечерам на хуторе близ Диканьки», связано с провинциальным городком, вблизи которого находился отцовский хутор Убежище.

Пора ученичества Гребенки-прозаика была непродолжительной: почти прямое, непосредственное и неприкрытое подражание А. Марлинскому преодолевалось в меру того, как на смену фольклорным мотивам и темам пришли собственные наблюдения и жизненные впечатления. Освобождение от условностей и штампов, органическое восприятие реалистических принципов Н. Гоголя завершилось переходом к новому творческому методу. Необходимо отметить, что риторические приемы оказались живучими — их можно встретить и в поздних произведениях, особенно ощутимы они в коротких притчеобразных рассказах.

Сближение с «натуральной школой» сказалось и на тематике прозы Е. Гребенки. За пятнадцать лет было опубликовано свыше сорока повестей, романов, рассказов и очерков, которые условно можно поделить на несколько тематических циклов. Это история и быт

Украины (кроме «Рассказов пирятинца» — «Вот кому зозуля кована!», «Мачеха и панночка», «Братья», «Нежинский полковник Золотаренко», «Чайковский»), нравы чиновничества («Лука Прохорович», «Дальний родственник», «Верное лекарство», «Иван Иванович», «Искатель места», «Странная перепелка», «Сеня», «Полтавские вечера» и др.), помещичье самовластие и угнетение крепостных («Кулик», «Злой человек», «Приключения синей ассигнации»), гибель «маленького человека» в бесчеловечной среде («Записки студента», «Доктор», «Первый концерт Рубини», «Заборов»). Е. Гребенке одному из первых принадлежит попытка художественно осмыслить возникновение русской буржуазии («Сила Кондратьев», «Водевиль в частной жизни»).

Активно включившись в литературный процесс, писатель чаще обращается к современности. Он печатается почти во всех журналах и газетах — от «Московского телеграфа» и «Сына отечества» до «Современника» и «Отечественных записок», а также в таких этапных изданиях, как «Физиология Петербурга», «Иллюстрированный альманах». Е. Гребенка был знаком со многими деятелями культуры — композиторами и артистами, художниками и издателями, известными писателями — А. Пушкиным, И. Крыловым, В. Жуковским, П. Ершовым, И. Тургеневым, В. Далем и др. Его литературные вечера (а он, по свидетельству И. Панаева, слыл «самым гостеприимным из литераторов того времени») посещали В. Белинский, будущие петрашевцы А. Пальм и М. Момбелли. Музыку на его стихи писали А. Алябьев, Г. Ломакин, А. Ярославцов, повести и рассказы иллюстрировали известные художники А. Агин, Е. Бернардский, Е. Ковригин.

Велика заслуга Е. Гребенки в организации выкупа Т. Шевченко и издании «Кобзаря». Примечательно, что вместе с Г. Квиткой-Основьяненко он был инициатором учреждения ежегодных «Литературных прибавлений» на украинском языке к вновь создаваемым «Отечественным запискам». Когда этот замысел не удался, Е. Гребенка с помощью Т. Шевченко опубликовал собранные материалы в альманахе «Ластівка» (1841), сыгравшем важную роль в становлении новой украинской литературы.

Стремление писателя активно включиться в современный ему литературный процесс отразилось на одном из первых произведений —

повести «Записки студента», начатой в 1838 г. Растянувшаяся почти на три года работа свидетельствовала, сколь нелегко давалось художественное осмысление подлинных событий.

Схема жизни Якова Петровича, героя повести, соотносится с фактами биографии самого автора: отец героя, подобно отцу Гребенки, своей саблей во времена Екатерины впереди «храбрых гусар врезывался в турецкие колонны и казачествовал в Отечественную войну»; лицей, где учился Яков Петрович, поразительно похож на Нежинскую гимназию; романическая история с сестрой товарища по лицею напоминает первую любовь Е. Гребенки к Марьяне Новицкой; совпадает и пребывание героя повести в малороссийском казачьем полку (кстати, этот эпизод, по свидетельству В. Белинского, «цензура наполовину изшельмовала»!), не случаен, видимо, мимолетный намек на запорожскую родню матери («мои предки жили и умирали на конях, я последую их примеру») и пр.

Но некоторую автобиографичность нельзя воспринимать только как сознательное стремление автора рассказать о своей жизни, какой бы интересной она ни была. Свой творческий замысел Е. Гребенка высказал в письме к Н. Новицкому: «Я, братику Микола, в «Записках студента» не представлял ни себя, ни кого другого, а развивал идею, каким образом молодой человек, с пылкими чувствами вступая в свет, мало-помалу разочаровывается и, будучи неспособен приноровляться к свету, часто падает под его ударами, для этого я вывел лицо совершенно постороннее, умершее...» [1].

Реалистический принцип обращения прежде всего к жизни, к действительности в творческой практике многих литераторов приобретал характер автобиографичности. Этому способствовал также возросший в литературе интерес к человеческой личности. В. Белинский отмечал в 1840 году, что «теперь человеческая личность выше истории, выше общества, выше человечества. Это мысль и дума века!»

Воспроизведение жизни через восприятие автобиографического персонажа приводило к своеобразному отражению собственного «я»,

---

[1] Гребенка Е. П. Произведения: В 3 т.— К.: Наук. думка, 1981.— Т. 3.— С. 608.

определяло характер соотношения лирического героя и автора, психологического их сближения. Поэтому изображенная в повести действительность, существующие общественные порядки воспринимались читателями как рассказ о современных событиях, это подчеркивалось и упоминанием о том, что похороны Якова Петровича происходили «осенью 184... года», сама же повесть была напечатана в 1841 году!

Вся повесть буквально пронизана преклонением автора перед А. Пушкиным, которое он передал герою повести. Гениальный поэт, его произведения сопровождают Якова Петровича везде и всюду, до последних дней хранит он заветный томик «Сочинений Пушкина», преподнесенный ему «в лицее за успехи в науках».

В «Записках студента» переплелись волнующие писателя темы: судьба «маленького человека», преимущественно чиновника, и жизнь в провинциальных поместьях. Дальше он будет разграничивать и снова соединять эти темы, но есть одно произведение, почти полностью посвященное главному вопросу того времени — крепостному праву, угнетению помещиками человека.

Повесть «Кулик» (1840) противостоит утверждениям консервативных писателей о якобы благотворном влиянии дворянско-помещичьей среды на закрепощенных крестьян. Ее своеобразие заключается во внешне бесстрастном противопоставлении автором помещиков и крепостных. Отдельными, разрозненными штрихами писатель создает психологически точные образы помещиков: либерала Медведева, жестокого и жадного самодура Чурбинского. Во многом разные, они сходны в главном: оба безразличны к судьбе крестьян и преследуют только собственную выгоду, руководствуясь в своих действиях личными интересами.

Совсем иными предстают крепостные Петрушка и Маша. Их чувства искренние, им присущи лучшие человеческие качества: мужество, преданность, верность. Высоко оценил это произведение В. Белинский: «Кулик» — повесть г. Гребенки — показывает, что замечательное дарование этого автора крепнет и что гуманистическое начало начинает в его повестях брать верх над комическим элементом. «Кулик» — одна из лучших повестей последнего времени. Нельзя не завлечься ее живым рассказом, нельзя не тронуться ее развязкой, трагическою без всякой натяжки. Особенно хорошо в ней то, что автор умел

представить своих героев верно с действительностию, т. е. людьми низшего класса и в то же время «людьми», и возбудить к ним участие, не становя их на ходули ложной и притворной идеализации» [1].

Одной из особенностей творчества Гребенки-прозаика является своеобразное самопродолжение, особенно в кругу доминирующих тем, когда разные произведения отдельными чертами напоминают или развивают предыдущие. Одно произведение как бы дополняет другое, глубже раскрывая его отдельные детали, шире комментируя их. Происходит своеобразная циклизация, характерная для «натуральной школы». Так, в «Записках студента» упомянуто, что Анисья Карповна живет в доме «отставного арапа», а в очерке «Петербургская сторона» (1844) подробно раскрыт этот бюрократический курьез, когда обычный истопник увольнялся в отставку «арапом», что давало ему «пенсиону вдвое больше». В «Луке Прохоровиче» (1838) вскользь упоминался бедный родственник, в «Записках студента» уже описано посещение в этом качестве Яковом Петровичем сановного дядюшки, а позже появился рассказ «Дальний родственник», очерчивающий канву обычной и распространенной бюрократической карьеры.

Если Н. Гоголь представлял чиновничество крупным планом, то Е. Гребенка «разъял его на части», как анатом. Следует также отметить появление в его произведениях тем, которые в ином преломлении составят ощутимую часть творчества А. П. Чехова. Даже имена многих персонажей — Антиох Иванович, Хромвинька, Феофилакт, доктор Лавроцезаринский, статская советница Шлейкина — будто предвосхищают чеховских героев.

Опыт изображения чиновничьей жизни Е. Гребенка обобщил в повести «Сеня» (1841). Это рассказ о том, как здоровый и кудрявый сынок многодетного почмейстера Ивана Яковлевича Лобка превращается в бездушного, пустого, паразитирующего существователя, ничего не дающего обществу. Типичный путь чиновника писатель прослеживает без сочувствия, с иронией, разоблачая его, подчеркивая обычность и обыденность истории Сени.

---

[1] Белинский В. Г. «Утренняя заря», альманах, изданный В. Владимировским.— Полн. собр. соч.— М., 1954.— Т. 4.— С. 456.

Семен Иванович Лобко — только разновидность чиновничьих типов. Это хвастун и шут, для которого мазурки Шопена, как сосиски — «сочные, жирные, мясистые», довольствующийся чужим табаком, по милости дворецкого ездивший на старой водовозной кляче,— позволяющий себе снисходительно и нагло болтать о народе, судить о «русском человеке». Выразительный портрет чиновника Е. Гребенка очерчивает тонкими, психологически выверенными подробностями, речь персонажа также служит средством создания образа. К этому приему писатель прибегает и при характеристике других героев.

Описывая похождения Сени, Е. Гребенка представляет широкую и колоритную картину жизни провинции; изображает представителей различных общественных кругов: здесь и смотритель уездного училища Агамемнон Харитонович Линейкин, и княгиня Плерез.

Максимального разоблачения Е. Гребенка достигает детальным описанием хуторов отставных чиновников недалеко от города Горохова, на реке Синевод, собранных волею писателя в условленном месте для более выразительного воспроизведения типичных пороков общества. Примечательно, что Е. Гребенка изображал конкретное провинциальное панство, наблюдаемое им в имениях на реке Слепород, вблизи Пирятина.

Образ хвастуна и пустомели встречается в рассказе «Лука Прохорович»; в физиологическом же очерке «Хвастун» сделана попытка разобраться в происхождении этого типа, определить и классифицировать его: хвастуны-охотники, литературные хвастуны, хвастуны-аристократоманы, хвастуны-волокиты, хвастуны-художники и даже универсальные хвастуны — чем бы ни хвастать, лишь бы похвалиться. Подчеркивая распространенность этого явления, Е. Гребенка находит объяснение ему не только в моральных качествах краснобаев — оно порождение строя, где сместились понятия о подлинных ценностях, о настоящих человеческих качествах, где каждый стремится выделиться «какой-нибудь стороной выше уровня своего общества». В сборном образе Сени писатель стремился осмыслить и обобщить это явление, типизировать его. И хоть не во всем он достиг цели, повесть «Сеня» знаменовала дальнейшее упрочение реалистических тенденций в прозе Е. Гребенки.

Трансформируется и образ автора — от автобиографического рассказчика к объективному изложению. На второй план отступают дневники, письма — начальные формы реализма, на смену им приходят авторские отступления, непринужденный разговор с читателем, обращение к нему как к единомышленнику. Наблюдается совершенствование сюжетных построений. Композиция повести «Сеня» выдержана в определенном плане: начав с описания музыкального вечера у Гнедопегого моста, автор проводит героя через несколько кругов чиновничьего царства, чтобы в заключительной главе возвратиться к исходным позициям.

В это же время Е. Гребенка обратился к исторической теме, которая приобретает особое значение. Бурные события конца XVIII — начала XIX вв., рост национального и демократического самосознания в России, вызванный Отечественной войной 1812-го года и восстанием декабристов — этих, по выражению Т. Г. Шевченко, «первых русских благовестителей свободы», развитие социальной и национальной освободительной борьбы пробудили глубокий интерес прогрессивных писателей к народу, его жизни, думам и чаяниям, вызвали пристальное внимание к прошлому. История отечества становится одной из главных тем, а исторический роман — одним из самых популярных жанров. Особое внимание привлекала проблема правдивого отражения прошлого художественными средствами. Многим, главным образом подражательным романам был свойственен антиисторизм, модернизация, а то и прямая фальсификация истории, чем, к примеру, отличался историко-авантюрный цикл Ф. Булгарина. В своем обращении к украинской исторической тематике писатель исходит из традиций К. Рылеева, В. Нарежного, Ф. Глинки, А. Пушкина и, конечно, Н. Гоголя.

О серьезном и раннем интересе Е. Гребенки к исторической теме свидетельствуют упоминаемые в письмах из Нежина не сохранившиеся поэтические произведения и первые печатные стихотворения «Рогдаев пир», «Курган». Отдельную группу составляют поэтизированные народные предания о прошлом Украины, воспевшие подвиги Наливайка, отвагу казаков и товарищескую верность в бою («Нежинозеро», «Гетман Свирговский», «Украинский бард»). Завершающая этот цикл романтическая поэма «Богдан» (1843) проникнута идеей единения украинского и русского народов.

Обращение Е. Гребенки к истории Украины не было случайным. Будущий писатель еще в детстве слышал семейные предания, восхищался народными песнями. Крепостная няня пела мальчику о том, «как ляхи сожгли Наливайку», а старик-баштанник рассказывал «и про шведов, и про татар, и про запорожцев». Публикация «Тараса Бульбы» Н. Гоголя, «Записок» столетнего запорожца Н. Коржа, «Истории Малой России» Д. Бантыш-Каменского, ознакомление в рукописи с «Историей Русов» способствовали появлению повести «Нежинский полковник Золотаренко» (1842).

В ее основу легли события времен освободительной борьбы украинского народа под предводительством Богдана Хмельницкого. Герой повести Иван Золотаренко — реальная личность; он пользовался уважением и доверием Хмельницкого, его сестра была второй женой гетмана, после воссоединения Украины с Россией он принимал царских бояр в Нежине и привел город к присяге. Когда Россия объявила войну Польше, в помощь русским войскам был послан сводный восемнадцатитысячный отряд под командованием Золотаренко, который был провозглашен наказным гетманом. В его свите был гетманич Юрий, «посланный отцом для изучения и навыков в военном искусстве». После целого ряда побед при осаде крепости Старый Быхов Золотаренко погиб. Этому факту и посвятил свою повесть Е. Гребенка. Основываясь на версии, изложенной в «Истории Русов», писатель правдиво представил в повести, названной «исторической былью», происходившие события, с большой симпатией и теплым юмором изобразив казаков, несколькими штрихами очертив самодовольную и гонористую шляхту.

Е. Гребенке не удалось преодолеть бытовавшего в процессе становления жанра исторического романа разрыва между созданной писателем фабулой и подлинными событиями, положенными в основу произведения, когда, по выражению В. Белинского, исторические подробности втискивались «в пошлую и обветшалую раму любви двух лиц». Именно для линии любви сестры полковника Любки к шляхтичу Францишку, наделенному чертами распространенного в то время в литературе романтического злодея, характерно наличие мелодраматических эффектов.

Облекая в художественную форму данные историков, Е. Гребенка

попытался восполнить скупую схему событий отдельными деталями, психологическими коллизиями, придавая им живой характер. Несмотря на стремление развернуть широкое историческое полотно, лиро-эпическое изложение, песенность повествования, писателю не удалось полностью воспроизвести колорит времени.

Ярче и выразительнее изображен дух и характер эпохи в романе «Чайковский» (1843). Созданный, по свидетельству современников, на основе семейных преданий (мать писателя происходила из рода Чайковских) и заимствованных из народной думы об Алексее Поповиче эпизодов, роман все же нельзя считать историческим в полном смысле слова: нет точного хронологического приурочивания к определенным историческим событиям, отсутствуют реальные исторические личности. Но, исходя из опыта автора «Тараса Бульбы», используя воспоминания о Запорожье Никиты Коржа, обращаясь к народным преданиям, легендам и песням, Е. Гребенка сумел правдиво изобразить суровую жизнь казаков, их беспредельную храбрость и мужество в бою, бескорыстную преданность и верность и создать образы, верные исторической правде.

В «Чайковском» четче, нежели в других произведениях Е. Гребенки, воплощен известный призыв Н. Гоголя «бить в прошлом настоящее». И начинается роман прямым сопоставлением нынешнего захолустного местечка Пирятин с некогда славным и богатым сотенным городом — не тот город, не та река, мельче чувства.

Наиболее ярким и выразительным среди персонажей романа является образ Марины, поданный автором с необычной теплотой, сердечностью и простотой истинно народной лирики. Не случайно В. Белинский назвал ее «героиней» романа.

Алексей изображен значительно бледнее, схематичнее. Этот образ не отличается ни лирической взволнованностью Марины, ни суровой мужественностью Никиты Прихвостня, ни безграничной несгибаемостью полковника. Даже его подвиг во время морского похода описан бегло.

Отец Марины — лубенский полковник Иван — истинный сын сурового времени, славившийся «упрямством характера и бешеною отвагой в сражениях». Только не объяснимая ничем, кроме упрямства, доверчивость полковника к слуге Герцику, приведшая к трагическим

последствиям, несколько нарушает цельность интересно задуманного образа полковника — представителя той части разбогатевшей старшины, которая становилась украинскими феодалами.

Значительная часть событий, изображенных в романе, происходит в Запорожской Сечи или связана с нею. Особенно удачны строго индивидуализированные образы запорожцев и казаков. Наиболее типичным является образ бывалого запорожца-характерника Никиты Прихвостня, предстающего перед читателем живым человеком — со всеми достоинствами и недостатками.

Простых, но мужественных и честных людей Е. Гребенка в многочисленных лирических отступлениях сопоставляет с современными ему «героями», для которых «страшными» горестями представляются проигрыш в преферанс, остывший суп, нелепицы, играемые в театре. И «радости» их под стать горестям: рукопожатие начальника, обед у значительного лица — вот блага, заставляющие трепетать сердца «вкуснообедающих» небокоптителей и существователей. На их фоне еще ярче выделяются мужественные фигуры казаков.

Следует отметить, что Гребенка избежал идеализации прошлого, особенно казачьей старшины. Отдельными штрихами он показывает, что и в Сечи не все живут одинаково, не все равны. Полковник Иван держит на расстоянии даже беззаветно преданного Гадюку, жестоко шутит с Герциком, к которому, казалось бы, искренне благоволит. Никита, наставляя Алексея, советует ему по прибытии в Сечь не сразу признавать своего товарища по бурсе — ныне кошевого Зборовского: «Теперь он великий начальник, ему не покажется, коли всякая дрянь станет к нему лезть в приятели». Сам Никита приберегает из своего небогатого скарба толику для начальства — «нужно поклониться куренному и кошевому».

На разных общественных ступенях стоят полковник Иван и старый запорожец Касьян. Все самое дорогое — троих сынов отдал Касьян Сечи, пятый год, как умерла жена, и он теперь одиноко доживает свой век на зимовнике, ничего не приобрев, а у полковника необозримые поля, богатство.

Тонко выписана сцена, где Зборовский, ловко манипулируя сечевым демократизмом и умело играя на противоречиях среди запорож-

цев, фактически заставляет избрать войсковым писарем своего приятеля, никому доселе неизвестного Алексея.

Роман «Чайковский» пронизан народными песнями, искрится поговорками. Они помогли писателю воссоздать колорит эпохи, передать лиризм героев, теплоту и искренность их чувств. Кроме того, Гребенка познакомил русского читателя с поэтическими жемчужинами украинского народа.

Роман не во всем совершенен: любовная интрига несколько заслоняет другие события, ощутим налет мелодраматизма, наблюдается некоторая условность ряда образов, растянуты лирические отступления. И все же «Чайковский», безусловно, стал одним из серьезных творческих достижений Гребенки-прозаика.

В. Белинский, внимательно следивший за творческим ростом писателя, поставил «Чайковского» в ряд «лучших оригинальных повестей» 1843 года, высоко оценив его несомненные достоинства: «Чайковский» г. Гребенки исполнен превосходных частностей, обнаруживающих в авторе несомненное дарование. Характер полковника, отца героини повести, многие черты исторического малороссийского быта поражают своею поэтическою верностию». [1] И. Франко также высоко оценивал это произведение, а Максим Горький называл его среди русских исторических повестей и романов, «которые можно читать без скуки, без риска вывихнуть мозг и засорить память ложью».

Как обычно, Е. Гребенка почти к каждой главе предпослал поэтические эпиграфы, пять из них взяты из произведений Т. Шевченко. Переиздавая роман в 1848 году, он сохранил их, опустив только фамилию автора: это фактически была первая подцензурная публикация строк сосланного поэта.

«Нежинским полковником Золотаренко» и «Чайковским» завершается работа Е. Гребенки в этом жанре, если не считать некоторых экскурсов в прошлое, встречающихся иногда в других его произведениях. Причина этого, очевидно, в том, что писателя все больше

---

[1] Белинский В. Г. Русская литература в 1843 г.— Полн. собр. соч.— М., 1955.— Т. 8.— С. 95.

привлекала современность во всем ее многообразии. Расширяется его интерес к проблеме «маленького человека». Не ограничиваясь мелким чиновничеством, он уже стремится сорвать маску добропорядочности с уважаемых столпов общества («Игрок», «Иван Иванович»), показывает смещение общечеловеческих понятий добра и зла в современном ему обществе («Злой человек»). Тема истинной доброты, превосходства «маленького человека» над бездушной средой и все же неминуемая его гибель в этих общественных условиях подробно и убедительно раскрыта в романе «Доктор» (1844). В нем прослеживается некоторая тематическая близость романа с произведениями А. Чехова. Весьма показательно, что Чехов не только «с удовольствием» читал «Доктора», но в 1898 году, через полвека после смерти Е. Гребенки, рекомендовал И. Горбунову-Посадову переиздать его для народного чтения.

Накопленные жизненные впечатления, творческое освоение достижений Н. Гоголя с наибольшей силой проявились в одной из последних повестей Е. Гребенки «Приключения синей ассигнации» (1847).

Композиция повести позволила вывести широкую галерею различных образов на фоне современной писателю действительности. Условно-фантастический сюжет, ранее использованный в «Путевых записках зайца» (1840—1844), получил новое развитие.

В «Приключениях синей ассигнации» Е. Гребенка уже не беспристрастно передает рассказ многострадальной пятирублевой ассигнации, а показывает свое отношение к изображаемому, переходя от возмущения мерзкими поступками угнетателей к сочувствию тяжкой судьбе угнетаемых. Свыше тридцати лет ассигнация меняет своих временных владельцев и всюду сталкивается с неправдой — бедным она приносит только новое горе, а богатым — новые доходы, новое положение.

Сатирически раскрывая сущность изображаемых героев, Гребенка не только достигает правдивого отражения действительности, а использует это и как средство дополнительной характеристики персонажей. Колоритно представлена жизнь «тонной» дамы — жеманничающей с гостями и дающей себе полную волю в обращении с дворней. Ее дочь Полина Александровна ведет не по летам умелую игру с офицером — ловцом богатого приданого.

Не менее ярким типом является наглец и картежник Подметкин — родной брат Ноздрева. Он прибирает к рукам накопленное Канчукевичем богатство, спаивает его безвольного и глупого сына Алешу, за его деньги приобретает на свое имя десяток крепостных и превращается в барина-самодура.

Сам скупец Канчукевич, напоминающий Плюшкина, всю жизнь копил деньги, чтобы, разбогатев, отомстить своему обидчику — «толстому, жирному» помещику, когда-то отказавшему ему, бедному и презираемому учителю, в руке дочери. Однако со временем Канчукевич сам стал пленником золотого идола, вытравившего из него все человеческое, превратившего в верного своего слугу и раба.

Заметив зависимость характера и поведения человека от социальных, в том числе и экономических, условий, Е. Гребенка одним из первых в русской литературе попытался показать конкретное воздействие этих факторов на примере образа несчастного и тем не менее страшного Канчукевича.

Своеобразен и оригинален образ Прибыткевича. Этот простак, случайно попавший на прибыльное место, постепенно овладевает искусством делать деньги. При помощи «счастливой» ассигнации он становится старшим чиновником для поручений «значительного человека», и его мечты «о почете, генеральстве» начинают успешно осуществляться, а ассигнация снова отправляется в дальнейший путь...

В одном из лирических отступлений Гребенка от имени самой ассигнации раскрывает смысл всего произведения: «...я уж пожила довольно на свете, зла наделала много, а добра очень мало; так расскажу все их проделки, всю их подноготную. Слово не воробей, вылетит — не поймаешь; живое слово живет на земле и не умирает; пусть же оно обличительно карает, их нечего жалеть, они никого не жалеют. Я расскажу и про их гостеприимство, и про их простосердечие, и про их страшные суды... Все расскажу, погодите немного! Пускай полетит оно, вольное слово, и зловещим вороном закаркает над грешною головой, ночной птицей усядется на кровле неправедных и страшных, укорительным воплем разбудит притеснителя и взяточника!»

Синяя ассигнация — олицетворение уродующей силы богатства, бездуховности, звериной власти денег, отблеск которых ощутим

в большинстве последних произведений Е. Гребенки. Родительское наследство насмерть рассорило братьев (повесть «Братья»); авантюрист Владимир Петрович успешно использует для своих афер жадность нежинского капиталиста Бакизаки в «Водевиле в частной жизни». Попытку художественно проследить путь становления зарождающейся буржуазии Е. Гребенка предпринял в повести «Сила Кондратьев». Хоть осмыслить и убедительно истолковать подмеченное явление он не смог, знаменательно уже то, что писатель констатировал появление качественно нового хищника, а это свидетельствовало о его художнической зоркости и демократичности взглядов.

Произведения Е. Гребенки, написанные на русском языке, стали составной частью русской литературы; идейные и эстетические искания писателя шли в русле «натуральной школы». В историческом процессе становления в России реализма он, вместе со своим современником Г. Квиткой-Основьяненко, занял достойное настоящего художника место. Метод реализма, осваиваемый Е. Гребенкой, приобщал его к достижениям передовой эстетической мысли, открывал пути развития новой украинской литературы. Лучшие повести, романы и рассказы писателя до сих пор сохранили историко-познавательное и эстетическое значение.

С. Зубков

ЧАЙКОВСКИЙ

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Знаете ли вы Пирятин?

— Пирятин, при реке Удае, уездный город Полтавской губернии, под 50° 4′ 32″ широты; в нем 5700 жителей, 5 церквей, 28 ветряных мельниц и 4 ярмарки; на оные приезжают купцы с красным товаром из соседственных городов, а с Дона привозят рыбу,— говорит, с печатного, школьник.

— Пирятин знаменит преданностью к престолу,— говорит грамотный малоросс.— Когда в 1708 году Мазепа передался Карлу XII, пирятинцы под начальством храбрых Свечек отразили неприятеля и, несмотря на то, что Лохвица, Лубны, Прилуки и все окрестные города были заняты шведами и не далее ста верст, в Ромнах, была главная квартира Карла,— ни один швед, ни изменник не был в стенах Пирятина.

— Пирятин — прескверный городишко! — сердито восклицает *кто-то,* случайно проезжавший этот город по тракту из Петербурга на Кавказ.— В Пирятине всего одна каменная церковь, с деревянными пристройками без всякой симметрии; улицы широкие, пустые, грязные; один каменный дом — почтовая контора, а прочие совестно назвать домами; на станции жиды и пол со скрипом, как сапоги франта двадцатых годов; нет порядочного трактира!.. В тамошнем лафите плавает сандал изумительными кусками, почти бревнами; на бильярде сидит курица...

Согласен, согласен со всеми вами, даже с господином проезжающим, но знаете ли вы, что несколько сот лет назад Пирятин был красивый, сильный, богатый сотенный

город в нашем гетманстве? Широко и далеко раскидывался он по скату горы над Удаем; часто сверкали кресты церквей между его темными, зелеными садами; шумны были его базары; на них громко гремели вольные речи, бряцали сабли и пестрели казацкие шапки и жупаны; польские купцы привозили туда тонкие сукна и бархат; нежинский грек выхвалял свои восточные товары: то сверкал на солнце острием кинжала, то поворачивал длинную винтовку, окованную серебром; между тем в стороне заливалась скрипка, звенели цимбалы, и захожий запорожец выплясывал вприсядку отчаянный танец, подымая вокруг облако пыли; порою, как пламя, вырезывалась из пыли его красная куртка, порою выглядывало дьявольски страшное лицо с поднятыми кверху усами, с черным чубом, веявшим на бритой голове, и опять все исчезало в вихре танца... Народ хлопал; громкий хохот далеко раздавался по базару... Было весело!..

Даже сам Удай, говорит предание, был прежде шире, глубже и многоводнее; на месте плавней и болот, на которых теперь уездные канцеляристы изволят стрелять куликов и водяных курочек, тогда шумели и бежали быстрые волны; Удай, говорят, так был тогда широк летом, как теперь весною во время половодья,— а во время половодья красив старик Удай! Он воскресает вместе с природой, молодится, и кипит, и хлещет волнами о берег, как разгульный казак,— в этом со мною согласится каждый пирятинец.

Быль, которую я вам расскажу, случилась в Пирятине — не то двести, не то триста лет назад. Город был на правом берегу Удая под горою; на горе тянулись длинною цепью ветряные мельницы и виднелись два небольшие земляные укрепления; там день и ночь стояли сторожевые казаки; в центре города, у самого берега реки, был замок — крепость, обведенная высокими валами; на валу стояли пушки, всегда готовые встретить незванных гостей; в крепости хранились военные снаряды и была церковь,

в которой лежал войсковой скарб и казна; во время набегов сносили туда жители свои драгоценности.

На противоположном берегу Удая, в дубовой роще, стоял белый каменный дом, состроенный на польский манер; дом принадлежал лубенскому полковнику Ивану. Предание не говорит фамилии полковника, а называет просто Иваном; и мы будем называть его Иваном. Несмотря на то, что Пирятин был сотенный город, полковник Иван очень любил его и часто, оставляя свои Лубны, проводил лето в пирятинском загородном доме с молоденькой дочерью Мариной.

В одну весну полковник приехал в Пирятин на печальную церемонию, на похороны замковского протоиерея, отца Иакова. Все казаки любили почтенного покойного старика: не раз он являлся среди них с крестом в руках на стены за́мка и под стрелами крымцев и пулями поляков словами веры ободрял воинов, перевязывал раненых, исповедывал умирающих... Все плакали по отце Иакове и просили полковника назначить в Пирятин священником, на место покойного, сына его Алексея.

Сын отца Иакова учился в Киеве. Послали за ним гонца — и вот приехал в Пирятин Алексей-попович, красавец юноша лет двадцати.

— А! — говорит догадливый читатель,— красавец юноша и молоденькая дочка полковника — стоит их влюбить друг в друга, и состроится роман.— Я не выдумываю романа, ничего не строю, а рассказываю быль, как сам слышал; но если вы догадались, спорить не стану. Точно, Алексей и дочь полковника Марина полюбили друг друга страстно, как любят в их лета, пылко, как люди, выросшие под строгою ферулой и готовые предаться всею полнотою души первому влечению сердца... Чем вы крепче сожмете порох, тем сильнее будет взрыв; вспомните, что они любили первою любовью, и позавидуйте им!

Многие почтенные люди при слове «любовь» делают удивительную гримасу, будто попробуют ревеню или услы-

шат про чуму или холеру. Для меня это непонятно. Уж не из зависти ли это, господа почтенные люди? Зачем скрывать, унижать, стыдиться самого лучшего, высокого чувства? Хотел бы я знать, что способнее облагородить, побудить человека к самым великодушным, бескорыстным поступкам, как не любовь? А многие ставят ее в одну категорию с белой горячкой; многие не посовестятся кричать в обществе, что любят пуделя, ружье, лошадь, мороженое, и никак не признаются в любви к подобному себе человеку другого пола.

Не наша ли испорченность этому причиною?

Некоторые считают преступлением даже взгляд, брошенный на женщину, взгляд, исполненный тихого, благоговейного чувства удивления красоте ее!..

Что бы вы подумали об обществе, в котором каждый боится посмотреть на часы или шляпу своего приятеля, чтоб не сказали другие: берегитесь, он хочет украсть ваши часы, вашу шляпу?..

Время шло, а попович Алексей и не думал о посвящении; мысли его были далеко от строгого сана; душа носилась в чудном море мечтаний любви; другой мысли, другому чувству не было места: везде она, волшебница, с своими обаятельными чарами, с томительными тревогами и светлыми надеждами... Иногда, бывало, сидит Алексей в саду под черемухой и читает Цицерона; напрасно воображение хочет перенестись на многолюдный римский форум, где так грозно, так самонадеянно говорит великий оратор. Кругом тепло, свежо, столько неги в весеннем воздухе; черемуха тихо помавает белыми кистями своих душистых цветов; тысячи пчел и других насекомых садятся, перелетывают, жужжат между цветами; за садом плещутся и ропщут тихие струи Удая, и речной тростник нашептывает приятную, успокоительную думу. Чудный аккорд великой музыки природы! Тихо клонилась книга из рук молодого студента, и на великолепное, громовое начало речи Цицерона за XII таблиц: Fremant omnes licet, dicam quod sentio! (Пусть

все дрожат, я скажу, что чувствую!), он едва слышно отвечал: amor!.. [1] — и вслед за этим словом мечта его бросала шумный Рим и неслась к Марине. И вот *она*, чудно хорошая, явилась спокойною, опустив длинные ресницы; сладостное, невыразимое чувство благоговения обвевает робкого юношу; целый бы век смотрел на нее!... Но вот она улыбнулась, открыла очи — будто небо раздвинулось пред Алексеем... Как от солнца, из огненных очей падали ему на сердце лучи жизни и восторга... Чудное видение!.. Вдруг оно скрылось: что-то легонько тронуло по лицу Алексея... Глядит: он весь осыпан цветами, гвоздики, левкои, чернобривцы катятся с него на землю; старика Цицерона прикрыла махровая пунцовая маковка; в стороне слышен тихий смех: из-за плетневого забора лукаво глядит черноокая, чернокудрая головка молодой цыганочки, служанки Марины, кланяется и исчезает, звонко напевая известную песню:

Барвіночку зелененький,
Стелися низенько,
А ти, милий, чорнобривий,
Присунься близенько!..

Почти каждый вечер, когда затихал шум в окрестностях Пирятина и светлый месяц, выходя на темно-синее небо, гляделся в Удай, тихо проплывала лодочка у самого берега перед домом полковника и кто-то пел на ней песни; голос певца, томный, страстный, звучал, переливался, будил дальнее эхо и исчезал постепенно, замирая в отдалении.

— Недурно поет человек! — скажет, бывало, полковник, покуривая на крыльце трубку.

— Так себе! — отвечает Марина, вспыхнув до ушей, а между тем, прислонясь к резной колонке крыльца, жадно слушает знакомые звуки; слезы восторга сверкают в глазах ее, и она завидует месяцу, который с высоты может

[1] Любов! *(Латин.)*

глядеть на певца и ласкать его своими лучами. «Почему я не звездочка,— думала Марина, если падучая звездочка катилась в то время по небу,— я бы слетела к нему с высоты, горя и сверкая любовью; я бы рассыпалась перед ним яркими искрами и осветила путь моему казаку ненаглядному; его очи засветились бы моим огнем — и умереть было бы весело...»

— Распелись пирятинцы нынешнюю весну; всех песен не переслушаешь; пора спать! — говорит, бывало, полковник.

Марина шла в свою светлицу, отворяла окно. Вдалеке чуть слышно отдавались звуки песни; с последними отголосками ее сливалась жаркая молитва бедной девушки об Алексее; песни смолкали, но долго еще Марина стояла на коленях перед образом богоматери, украшенным цветочными венками, и молилась, и плакала, сама не зная о чем.

II

Судя по теперешним образованным, милым, снисходительным полковникам, нельзя составить себе даже приблизительного понятия о полковнике малороссийском времен гетманщины. В нем сосредоточивалась власть военная и гражданская целой области; он был и военачальник, и судья, и правитель; он безгранично, безответственно распоряжался в своем полку. Правда, право жизни и смерти было законом предоставлено гетману; но нередко полковники нарушали это право и даже казнили самовольно преступников. Кто смел жаловаться на полковника? Одетые в серебро и золото, украшенные клейнодами, знаками своей власти, окруженные многочисленною вооруженною свитой, с азиатской пышностью являлись они перед народом — и города и села преклонялись, уважая их военные доблести и трепеща перед их властью. В народе воинственном, полудиком иначе и быть не могло.

Не так давно один какой-то князь получил после отца,

вельможи екатерининских времен, наследство в отдаленной провинции и приехал туда жить. Мне случилось, проездом через эту провинцию, быть в обществе помещиков, соседей князя, и я спросил у них, довольны ли они новым соседом?

— Ничего,— отвечал один,— да если б вы видели, что это за человек: маленький, невзрачный; у нас в полку последний с левого фланга был казистей; словно писарь какой; совестно назвать: ваше сиятельство!

— Никакой важности,— сказал другой,— я было явился к нему, этак, знаете, с почтением, и дворянский мундир сдуру натянул, и медальку дворянскую привесил; думаю: вот тут-то явится в орденах, в лентах и говорить еще, чего доброго, со мной не захочет. Самому смешно, как вспомню! Вышел он, милостивые государи, ко мне, да и не вышел, а выбежал — глазам не верю: в сереньком сюртучишке, молодой мальчик. «Рад,— говорит,— что имею честь познакомиться»,— и садит на диван, и руку жмет, будто проситель какой; верите, мне за него было совестно... Нет уж, думаю, вперед не подденешь; коли случится, и сам явлюсь в сюртуке, охота была мундир надевать... ей-богу!..

— Да стоит ли об нем говорить! — перебил третий.— Человек он без всякой политики, ездит по полям да сам смотрит на работы, с утра до ночи разговаривает с мужиками, как простой человек. Княжеское ли это дело?.. Видно, в Петербурге был последняя спица в колеснице, житья не было, так и приехал сюда. Дает же бог таким людям и богатство, и высокие степени!..

И много еще подобных речей говорили о молодом князе, человеке с прекрасною душой и отличным европейским образованием.

Согласитесь после этого, что суровость, важность и недоступность малороссийского полковника XVI века были разумною необходимостью.

Пышны, грозны, суровы были полковники, но грознее и суровее всех между ними был полковник лубенский Иван.

В молодости он славился между казаками упрямством характера и бешеною отвагой в сражениях, что тогда почиталось величайшею добродетелью и впоследствии доставило ему полковничье достоинство. Покойную жену свою он любил, и даже очень любил, но, считая неприличным доброму казаку показывать какое-нибудь чувство, особенно к женщине, он обходился с нею сурово, деспотически. «Баба дрянь! — часто говаривал полковник.— Ни силы, ни характера! Будь на свете одни бабы, давно бы их всех перебили татары. На что был гетман Сагайдачный, добрая голова! А променял жену на трубку с табаком, да еще сложил песню:

Мені з жінкою не возиться,
А тютюн та люлька
Козаку в дорозі
Знадобиться!..

В крымском походе полковник Иван заболел лихорадкою. Ему не советовали есть рыбы, оттого что лихорадка не любит рыбы. «Вот хорошо! — говорил полковник.— Стану я уважать бабьи капризы! Лихорадка — баба, а я, благодаря богу, казак». И три года жестокая лихорадка колотила полковника, и три года постоянно он ел рыбу и раки, говоря: «Посмотрим, чья возьмет?» И точно: к удивлению всего полка, на четвертый год лихорадка оставила упрямого больного.

Не удивительно, что покойная полковница, несмотря на богатые парчевые одежды, собольи кораблики и алмазные ожерелья, которыми щедро дарил ее муж, все скучала, грустила, сохла и в молодости умерла, оставя маленькую дочь Марину.

Умирая, она горько плакала и просила мужа любить и тише обходиться с дочерью... «Ты никогда ни в чем не верил мне,— говорила она.— Мою болезнь ты называл капризами, мои горячие слезы водою, из которой никакой немец не выгонит ни капли водки... Ты смеялся над моей

слабостью, и — вот я умираю, рано умираю, оставляю дочь сиротою, все через тебя. Да простит тебя бог! Ты делал свое дело, ты был мой начальник по закону божию; не твоя вина, что ты не понимал меня. Не доведи ж до этого дочери; будь ей отцом и матерью, слышишь, Иван?.. Слаба женщина: часто один взгляд убивает ее...»

Полковник был растроган; уже очистительная слеза раскаяния навернулась было на глазах его; но, вспомнив, что он казак, полковник пересилил себя, проглотил непрошенную гостью, вздохнул — и на похоронах жены жестоко напился пьян.

Со смерти жены полковник сделался еще угрюмее: тайная задумчивость примешалась в его характер; он запивал внутреннее беспокойство вином и почти каждый день к вечеру бывал в таком состоянии, как будто сейчас вернулся с похорон покойницы жены. По утрам он часто ласкал Марину, но, приходя в хмель, тотчас удалял ее, говоря: «Ступай себе, дочка, в свою светлицу; у меня пойдут свои казацкие дела: не пристало тебе их слушать; ты такая, как твоя... царство ей небесное! Убирайся же; не бойсь, не расплачусь!..»

Полковник посылал за кобзарем, и пил, и слушал его песни, и бросал ему мелкие деньги, если песня приходилась по нраву, или щелкал его пальцем по лбу, приговаривая: «Врешь, божий человек, не так! Ты пьян и не выспался!..»

А иногда он потешался с Герциком.

Герцик был у полковника что-то вроде шута и приятеля; его биография немногосложна. Когда-то казаки разграбили и выжгли какое-то польское местечко. Что могло гореть — сгорело, что могло убежать — разбежалось. Полковник Иван раскурил головнею из пожара трубку, сел на боченок и начал судить пленников. Привели мальчика лет шестнадцати, с быстрыми серыми глазами и плотно выстриженною головой.

— Ты жид? — спросил полковник.

— Нет, я немец,— отвечал мальчик.

— Врешь! Ты говоришь, как жид, смотришь, как жид, а голову выстриг, чтоб обмануть меня. Хлопцы! Допросить его, пока не признается, что он жид,— да и повесить.

— Ей-богу, я немец, заезжий немец; я не воевал с вами; я люблю вас.

— Спасибо за любовь. Так повесьте его, не допрашивая.

Мальчик упал в ноги полковнику, умолял о пощаде, обещал служить ему верно до гроба и объявил, что он знает всякие науки, даже делает часы.

— Посмотрим,— сказал полковник, вынимая из кармана часы в виде большого яйца,— вот эта штука третьего дня стала — и ни с места; я и встряхивал ее, и дул вседредку — ничего не помогает, а штука дорогая, ваша, немецкая. Коли поправишь сейчас — жить тебе на свете, а не поправишь — не сердись... Начинай!

Мальчик, дрожа от страха, присел на землю и с ужасом открыл часы. Но чем более рассматривал их внутренность, тем становился покойнее. Полковник не успел осудить десятка пленных, как немец, улыбаясь, подал ему часы.

— Хорошо,— сказал полковник, с удовольствием прислушиваясь к звонкому ходу маятника,— хорошо! А как зовут тебя?

— Герцик.

— Хлопцы, дайте Герцику кафтан и шапку; он поедет с нами.

С тех пор Герцик остался при особе полковника, увеселял его разными штуками, делал транспаранты, шутихи и огненные колеса, а главное — строил удивительные часы. Во всем Лубенском полку была известна так называемая *ходячая картина:* на картине была изображена мельница, настоящая ветряная мельница, в каких православные мелют муку, только эта не молола муки, а перемеливала старых баб на молодых. Истинно!.. День и ночь шевелились на этой мельнице бумажные крылья, и в одну дверь

входили старые-престарые бабы, скверные-прескверные — любая лекарство от лихорадки; а в другие выходили из мельницы молодые молодички и девушки свежие, красненькие, чернобровые, полногрудые, с такими ямочками на щеках, что расцеловать хочется... Как жаль, что теперь перемерли уже люди, видевшие эту *ходячую картину:* они бы рассказали про нее лучше меня!

Да еще был у полковника Ивана верный слуга *Гадюка;* вечно без шапки, босой, нечесаный, с немытыми руками, с нечеловечьими ногтями на руках. На войне он всегда был за полковником с огромною палицей на плече и с фляжкою в руках; в мирное время спал, как животное, свернувшись в клубок на полу у порога полковничьей спальни, и готовил полковнику кушать.

Про силу Гадюки до сих пор ходят предания между простолюдинами в Пирятине. Один только Гадюка мог безнаказанно говорить полковнику горькие истины, противоречил ему и даже грубил, как равному. Как-то полковник напомнил ему, что он слуга и заставил его молчать. Гадюка потупил голову, сверкнул исподлобья глазами и замолчал; но ночью пошел на мельницу, снял огромный жерновой камень, принес его и завалил дверь полковничьей спальни. Поутру полковник хотел выйти — нельзя, не пускает камень.

— Это твои штуки? — спросил из-за двери полковник.

— Мои,— хладнокровно отвечал Гадюка.

— Отвали камень.

— Ты, пан, старше меня, сильнее меня: тебе это легче сделать.

— Да я не могу.

— А мне не хочется.— И сказав это, Гадюка вышел из комнаты. Позвали человек десять казаков, и насилу они отодвинули от двери камень. Полковник вышел, посмотрел на камень, покачал головой, улыбнулся и, позвав Гадюку, дал ему большой стакан водки.

III

— Гадюко! А Гадюко! Гадюко!..

— Чего, пане полковник?

— Чего? Что ты не откликаешься? Уши заложило, что ли?

— Разве заложит от твоего крику. Что там нужно?

— А что делается на дворе?

— То, что и делалось.

— Хорошо. Дождя нету?

— Откуда ему взяться?

— Не говори так; люди скажут: дурень Гадюка! Дождю есть откуда взяться, с неба возьмется, коли захочет.

— Разве, коли бог даст; а дождь — что за вольница!..

— Правда, коли бог даст, ты правду сказал.

— Когда б я сказал по-твоему, люди сказали бы: дурень Гадюка!..

— Может, и так. А долго я спал?..

— Почти полдня; лег зараз после обеда, а теперь уже вечер недалеко.

— Ого! Пора полдничать! Вари полдник.

— «Вари полдник»! Проспал человек полдник, да и хочет полдничать; теперь скоро ужинать пора! — ворчал Гадюка, выходя из панской спальни.

— Жаль! — говорил сам себе полковник.— Разве ужинать придется попозже? Пропал день; всему виноват сотник...

Полковник очень любил *здоровый борщ с рыбою.* Для нас, привыкших к легким кушаньям французской кухни, *здоровый борщ* покажется мифом, как Гостомысл или голова Медузы древних; многие не поверят существованию *здорового борща;* но и теперь еще есть старики, которые помнят это кушанье, бывшее лакомством, утехою отчаянных гуляк-гастрономов, хваставших своею железною натурой. Этот борщ начал приготовлять Гадюка для полдника, тут же, в спальне полковника.

Он взял живого коропа (карпа) и без помощи ножа, собственными ногтями очистил его и снял шелуху к неописанному удовольствию полковника, который, глядя на эту операцию, несколько раз повторял: «Славно, Гадюка! Как волк управляется! Добрые ногти! Так его! По-походному...» Очистив коропа, Гадюка положил его в медную нелуженую кастрюлю, влил туда бутылку крепкого уксуса, прибавил горсть крупного перца, соли, несколько луковиц и накрыл кастрюлю плотно крышкою, потом принес канфорку, изделие хитрого немца Герцика, зажег спирт и поставил на него кастрюлю. Пока это снадобье шипело, кипело и варилось на столе перед глазами полковника, Гадюка стал молча у двери.

— Чудесный будет борщ! — сказал полковник, обоняя по временам пар, вылетавший тонкою струей из-под крышки.

— Лучшего сварить не сумеем.

— И не нужно!.. Довольно ли там соли?

— А тебе, пане, хочется соленого после утренней попойки?

— Что за попойка! Так, злость прогнал стаканом-другим-третьим; проклятый сотник, не могу вспомнить!.. Дай мне стакан настойки. Вздумал у меня отнимать добро!..

— Господи твоя воля! Что за времена стали! Прежде сотники кланялись добром полковникам, как и следует по начальству...

— Не ты бы говорил, не я бы слушал... Пришел и кланяется, принес турецкий пистолет — ну, это хорошо, почему мне не принести хороший пистолет? Я взял пистолет и говорю с сотником, как с человеком: «Спасибо, что помнишь службу; мы тебя не забудем и пожалуем; достань и другой, коли случится, под пару этому». А он еще ниже кланяется да и заговорил со мною как с жидом: «Ваша,— говорит,— земля вошла в мою клином, так я пришел просить: продайте мне этот клин». Слышишь, Гадюка?

— Слышу, пане!..

— Я вижу, что сотник кругом дурень, взял его за воротник, вывел на крепостной вал и спрашиваю: «А где солнце всходит?» — «Там»,— отвечал сотник. «А заходит?» — «Вон там»,— сказал он. «Так знай же, пане сотник, что и всходит и заходит солнце на земле полковника, на моей земле, то есть, понимаешь? А ты, поганое насекомое, посягаешь на мою славу, хочешь оттягать у меня землю? Хлопцы, нагаек!..» Пришли хлопцы с нагайками; сотник видит, что не шутки,— повалился в ноги: «Я, говорит, и свою землю отдам, помилуйте...» Мне стало жалко дурня; я плюнул на него и пошел домой, да всилу запил злость. Такой дурень!..

— Дурень, пане! Правду люди говорят: дураков не пашут, не сеют — сами родятся.

— Сами!.. А что борщ?

— Готов.

— Фу! Какая штука! Во рту огнем палит,— говорил полковник, пробуя ложкой из кастрюли борщ,— казацкая пища! В горле будто веником метет; здоровый борщ!.. Я думаю, лошадь не съест этого борщу?

— Я думаю, лопнет.

— Именно лопнет! Один человек здоровеет от него, оттого он человек, всему начальник.

— И человек не всякий. Доброму казаку, лыцарю (рыцарю) оно здорово, а немец умрет.

— Не возьмет его нечистая! Разве поздоровеет.

— Нет, не выдержит, пропадет немец.

— Докажу, что не пропадет. Позови сюда Герцика. Посмотрим, пропадет или нет.

— Послушай,— говорил полковник Иван входившему Герцику,— у нас за спором дело: я ем свой любимый борщ и говорю, что он очень здоров, а Гадюка уверяет, будто для меня только здоров, а ты, например, пропадешь, коли его покушаешь. Бери ложку, ешь. Посмотрим, кто прав.

Герцик проглотил несколько капель борщу, и лицо его судорожно искривилось, слезы градом пробежали по лицу.

— Что же ты не ешь? — спросил полковник.

— Бьюсь об заклад, с третьей ложки он отдаст богу душу,— хладнокровно заметил Гадюка.

— Я не могу; это не человечье кушанье,— сказал Герцик.

— Что ж я, собака, что ли?..

— От этого и собака околеет.

— Так я хуже собаки?

— Боже меня сохрани думать *подобное!* Это кушанье рыцарское, геройское, такое важное — а я что за важный человек... Я просто дрянь.

— Не твое дело рассуждать; ешь, коли велят! — говорил полковник, схватив левою рукой за шею Герцика, а правою поднося ему ко рту ложку *здорового борщу.*

— Не могу, вельможный пане! Умру!

— Это я и хочу знать — умрешь ты или нет. Ешь!

— Послушайте, пане! У меня есть великая тайна, я сейчас только шел говорить ее вам; позвольте сказать, я вам добра желаю, все думаю, чтобы такое полезное сделать; вы мой спаситель... вы...

— Ешь, а после расскажешь.

— Умру я от этого состава, и вы ничего не узнаете, а тут и ваша честь, и все, и все...

— Ну, говори, вражий сын, только скорее...

Герцик вполголоса начал что-то шептать полковнику, который, бледнея, слушал его и закричал:

— Ежели ты врешь — смертью поплатишься!..

— Моя голова в ваших руках; к чему мне врать.

— Пойдем скорее, Гадюко,— сказал полковник,— да возьми с собой крепкую веревку. Веди, немец!..

IV

Та вже ж тая слава
По всім світі стала,
Що дівчина козаченька
Серденьком назвала.

Малороссийская
народная песня

Тихо садилось солнце, зажигая западный край неба, в голубой вышине пламенели два-три облака, переливаясь золотом и пурпуром; тени длиннели, вытягивались по земле; каждый плавучий листок на Удае, стебель водяной травки или тростника, каждая волна и брызга горели, сквозились, просвечивали, таяли в золоте. В пирятинской крепости (за́мке) благовестили к вечерне; чистый серебристый звон колокола далеко звучал, разливался в теплом, сухом воздухе и, переходя постепенно в отголосок, почти неуловимый для слуха, замирал, пока другая волна звука не сменяла его.

В это время молодой человек в синей черкеске быстро проплыл по Удаю на легонькой лодочке к островку, лежавшему между замком и полковничьим домом.

Кругом острова зеленою стеною стоял высокий тростник; далее на мокром берегу росли курчавые кусты лозы; еще далее, на суше, десятка два развесистых плакучих верб; между ними калиновый и бузиновый кустарник, перевитый, перепутанный хмелем и вереском. Дико, глушь, только дрозды выводят там детей на высоких вербах да в лозе ползают змеи; но между кустами есть там узенькая тропинка; чуть приметно вьется она у корней дерев, хоть часто длинные плетни хмеля, падая зелеными каскадами с дерев, кажется, решительно заслоняют путь, но они подорваны внизу, легко раздвигаются и дают дорогу; дело другое в стороны от тропинки: там они спутались такою крепкою стеной, что ни пройти, ни пролезть.

Казак, подъезжая к островку, оглянулся кругом, взмахнул веслами, и лодочка, шумя, спряталась в тростник; только дрожавшие, стройные верхушки его, раздвигаясь в стороны, показывали след, где плыла лодка. Казак привязал лодку к лозовому кусту, выпрыгнул на берег и быстро пошел по тропинке; тропинка оканчивалась у корня толстой вербы, которой ветви, перевитые хмелем, склонясь до земли, образовали кругом толстую плотную стену, точно беседку.

— Ее нет еще! — прошептал казак, обойдя вокруг вербы, прислонил к дереву винтовку, сел на сломанный пень и запел:

Вийди, дівчино, вийди, рибчино,
За гай по корови,
Нехай же я подивлюся
На ті чорні брови!

Казак окончил песню и стал прислушиваться. Вдруг он вздрогнул, быстро раздвинул ветви и радостно посмотрел на тропинку. Там никого не было; только какая-то желтогрудая птичка преусердно теребила носом кисть незрелых калиновых ягод и шелестела листьями.

— Глупая птица! — проворчал казак.— Даже клички не имеет, а. шумит, будто что порядочное,— вздохнул и опять запел другую песню:

Ой ти, дівчино, гордая та пишна!
Чом ти до мене звечора не вийшла?

— Неправда, неправда!..— проговорила вполголоса молодая девушка, резво подбегая к казаку.— Я и не гордая, и не пышная, и люблю тебя, мой милый Алексей!

— Марина моя! — говорил Алексей, обнимая девушку.— Я иссох, не видя тебя, легко сказать — три дня!

— А мне, думаешь, легче?.. Чего я не передумала в эти три дня!.. Отец такой сердитый, все ворчит!.. Из светлицы

не вырвусь, все смотрит за мною... И чего ему от меня хочется?..

— А может, ты сама не хотела вырваться?.. Вот ты уже и плачешь, моя рыбочка!.. Перестань, не то — и я заплачу; не пристало мужчине плакать, а заплачу, не выдержу, глядя на тебя!..

— Я не плачу,— говорила Марина, отирая слезы,— а так сердце заболело, что ты мне не веришь, сами слезы побежали... Грех тебе, Алексей! Когда б не хотела, зачем бы пришла сегодня?.. Наша девичья честь, что ваша светлая сабля: дохни — потускнеет, а я играю честью... В глазах потемнеет, как подумаю, что я делаю?.. Увидь меня кто-нибудь, пропала я!.. «Вот,— скажут,— полковничья дочь», и то, и другое, и прочее сплетут, что не только выговорить, и подумать страшно.

— Так ты боишься любить меня?

— Я?.. Алексей! Ты ли это говоришь? Чем страшнее, тем слаще мне!.. Мой милый! Ты не поверишь, как дрожу я вся, когда одна-одинешенька прыгну в лодочку и плыву к острову!.. Спроси меня батюшка, увидай кто-нибудь из людей — пропала я!.. Ну, что ж, я думаю? Пропаду так пропаду, знаю за кого пропаду... Пропаду не за нелюба; умело сердце полюбить, сумеет и вытерпеть; умела слушать твои речи — сумею выслушать и брань, и проклятия; станут бить меня — вспомню твои объятия, и мне будет весело... Я казачка, Алексей! Умру, а буду любить тебя. Не жить цветку без солнца, а ты мое солнце, ты моя жизнь, мой милый!..

— Верю, верю, моя ласточка,— говорил Алексей, целуя Марину. И долго молчали они, приклонясь друг к другу.

— А хорошо, если б я была ласточкою,— сказала, улыбаясь, Марина,— весело было бы мне!.. Только чтоб и ты был ласточкою... Как бы мы летали высоко, высоко... сели б отдохнуть на облачко, посмотрели бы оттуда на землю, на сады, на села, на людей; я сказала бы: смотрите, люди, вот я, вот где; я люблю Алексея,— и полетела

бы от них — пусть сердятся... Мы носились бы над Удаем, купались бы в воздухе, обнимались бы крылышками и целый день щебетали б про любовь свою!.. Не правда ли?

— Бог знает, что приходит тебе в голову!.. Слушаешь тебя — будто чудесный сон видишь.

— А знаешь, что́ мне снилось!

— Что тебе снилось?

— Снилось... страшно рассказывать... Ну, да я прижмусь к тебе покрепче — и не будет страшно. Видишь, эти дни я не видала тебя, сильно грустила по тебе, а вчера думала долго-долго...

— О ком?

— Еще и спрашивает!.. Думала долго и заснула; не помню как и заснула, и кажется мне, что мы с тобой рыбы: ты такой хорошенький окунь, весь в серебре, так и блестишь; перья у тебя красные, глаза черные, такие, как и теперь, и так же хорошо смотрят — а я, кажется, плотва. Нам было весело, очень весело; мы плавали в каком-то большом озере; вода в нем чистая, светлая, теплая, дно усыпано белым песком, по песку лежат раковины всех цветов, словно цветки на поле; подле берегов растут травы, будто леса зеленеют под водою, а рыбы кругом много, много: плещется, играет, бегает взапуски... Мелкая верховодка собралась в хороводы и гуляет себе толпами; караси играют в дураки; ерши кувыркаются через голову; карп рассказывает сказки; пескари отхватывают вприсядку, точно писаря полковой канцелярии, а рак, подмигивая усами, словно пирятинский сотник, кроит из листочка какой-то наряд... всех чудес не припомню... Вот мы гуляли, гуляли с тобою, резвились, плескались и поплыли отдохнуть к берегу, в траву; приплываем к траве, а она часто срослась, перепуталась, как этот хмель; мы стали пробираться, чем далее, все темней, темней... Мне стало страшно: что-то будет там? — подумала я, и — вдруг перед нами огромная голова сома, пасть раскрыта, оскалены зубы, усы страшно подняты, гляжу — это батюшка!.. Вот он, здесь!

Смотри... он... сом... ух! Батюшка!..— И Марина, затрепетав, судорожно протянула дрожащие руки к ветвям вербы. Алексей взглянул: в двух шагах грозно смотрит на них из ветвей лицо полковника...

V

Что прошло, то будет мило.
А. Пушкин

Кто из нас не помнит своего детства, чудесного возраста, когда видимый мир впервые раскрывается перед человеком, еще не пресыщенным жизнию, еще не озабоченным прозаическими отношениями быта? Отроку мир божий — прекрасный храм, в котором он пирует, увлеченный ежедневно новыми, разнообразными красотами природы; его радует и первый весенний листок на дереве, и легкое облако, летящее по небу, и голубой цветок, благоухающий в свежей росистой зелени, и песни жаворонка в чистом поле, и цветная радуга на сизом грунте тучи, и рассказы старухи няни о Змее-Горыныче, чудной королевне-красавице и злых волшебниках; сердце верует во все чудеса безусловно, не призывая на помощь холодного ума; впечатления живы, неизгладимы. И долго еще после, когда человек, выведенный годами и обстоятельствами на грустное поле жизни, делается тружеником, с каждым днем разрушая свои мечты, разбивая лучшие надежды, он часто оборачивается на прошедшее, и воспоминания детства, тихие, светлые, подобно легким сновидениям, убаюкивают его в дни страданий, в которых он, гордый, действующий по собственному разуму, почти всегда сам бывает причиною!

Помню и теперь рассказы доброго старика баштанника; ни один роман, ни одна повесть наших знаменитостей не производят на меня теперь такого действия. Бывало, учитель рассердится на меня не в шутку за мои вопросы, вроде следующих: как мог дом *такой-то* пресечься? Или дом

такой-то войти в славу? «Не рассуждай»,— отвечал учитель. «Да ведь домы не движутся: как же дом вошел в славу? Вот здесь написано».— «Будешь много знать, скоро состаришься. Учи заданную страничку; вырастешь, сам узнаешь».

Скажет громко, рассердится, позовет двух-трех горничных и идет в рощу ботанизировать — срывать цветочки.

Учитель постоянно занимался ботаникой, когда никого не бывало дома. Тут мне была своя воля: чуть он в рощу, я уже в степи, сижу перед будкой баштанника и слушаю его рассказы.

Старику было за сто лет — и чего не знал он, чего не рассказывал!.. И про шведов, и про татар, и про запорожцев... И солнце, бывало, зайдет, и яркие звездочки сверкнут кое-где на синем небе, и роса станет садиться на широкие листья арбузов и дынь, а старик все рассказывает... Прибежишь домой — целую ночь снятся рыжие шведы на курчавых лошадях, поляки, закованные в сталь от головы до пяток, татары низенькие, черные, плечистые, узкоглазые стоят в строю, уставили копья, как еж иглы; вот скачут запорожцы красные, будто пламя, веют чубы, шумят бунчуки и значки; перед ними Дорошенко, усы в пол-аршина, на плече тяжелая булава. Ударили: треск, стон... проснешься — и рад, и жалко чудесного сна!..

Но более всего остался у меня в памяти рассказ старика об охоте — не о бекасиной охоте, не об охоте на зайцев или волков, нет, это была особенная охота; об ней почти так рассказывал баштанник:

— Невеселые теперь времена, право, невеселые; как-то стало и холоднее, и скучнее; вот с очаковской зимы, как принесли москали с собою снег да морозы, и до сих пор не выведутся: знать, полюбилось, да и солнце что-то светит не по-прежнему: станет вечереть, хоть шубу надевай. А потехи теперешние, срам сказать, мячи да горелки — бабьи потехи, нет характера, совсем нет!.. В старину, на моей еще памяти, какие бывали по веснам охоты... Дурни! — скажет

кто-нибудь,— охотятся весною; дурни, и я скажу, а мы все-таки охотились и не были дурни. Охота охоте рознь.

Как люди, бывало, пообсеются в поле, совсем обсеются и гречихи посеют, а косить еще рано, тут и пойдет гульня: парубки оденутся хорошенько, выйдут после обеда на выгон, лягут на зеленой травке на спину и, глядя на небо, курят люльки да поют песни; или, оборотясь кверху спиною, курят люльки и что-нибудь рассказывают, глядя на траву; так до вечера веселятся; вечером, известно, придут девушки, и пойдет другое веселье.

Вот так иногда лежат парубки, да и говорят между собою, что довольно уже лежать, набрались силы и не знают куда ее истратить; а тут, где ни возьмись, какой-нибудь из Запорожья характерник, вырастет перед ними будто из земли, да и станет насмехаться: «Вот,— говорит,— где лежат гречкосеи; видно, ни одной казацкой души нету, а все кабаны кормленные»,— и прочее все такое обидное...

— Да что ж это за характерник, дедушка?

— Характерник бывал человек очень разумный и знал всякую всячину; его и пуля не брала, и сабля не рубила, у него на все было средствие и способ, на все хорошее слово и польза. Характерники знали все броды, все плавы по Днепру и другим речкам; характерник из воды выводил сухого и из огня мокрого; у них была лыцарская совесть и добродушие; жида и прочую мерзость били, грабили, жгли, а церкви не забывали. Вот что были характерники.

Хлопцы, бывало, рассердятся на характерника за насмешки, встанут и захотят его порядком поколотить.

Тогда характерник скажет: «Ладно, хлопцы; вот так! Не говори казаку худого слова! Только постойте, нам ссориться нечего; а вижу, что вы есте добрые казацкие души, а я на Сечи характерник. Шутка шуткою, я за нее поставлю вам ведро водки, а вы все не правы: не пристало вам сидеть сложа руки, когда пора охотиться. Я сейчас от Днепра; он вам кланяется, почти уже в берега вступил... Ждет гостей...» — «Вот речь, так речь! Сейчас видно чело-

века! — скажут парубки.— Не трогайте его, хлопцы: он хороший человек; мы и сами думали на охоту, да не было ватажка: тебя сам бог прислал, батьку, веди нас куда знаешь».— «Называйте меня дядьком, для меня и этого довольно».— «Э, нет! Не смотри, что мы оседлые, а все-таки знаем казацкую поведенцию. Ты по летам нам дядько, а теперь, если наш начальник, так и батько; вот наши чубы, дери сколько душе угодно; веди, батьку, куда хочешь».— «Ну, добре, дети; я вижу, вы народ, знающий службу! Прежде всего я вас поведу в шинок, расплачусь ведром водки за свои прежние речи; у нас и сам кошевой поплатится, когда посмеется над казаком».

Выпив в шинку горелки, хлопцы с характерником едут в другое село, в третье, в четвертое, и — смотри, дня в три наберется сотни две охотников; тогда едут к Днепру, днем прячутся в плавнях и кустарниках, а ночью втихомолку по одному человеку переплывают на конях в разных местах речку, собираются в кучи и глядишь — к свету запылали ляхские села! И там днем кроются в лесах, ночью с криком нападают на деревни и местечки, бьют неприятеля, грабят всякое добро и погреба, разгоняют тысячи народа, а коли почуют, что поляки собирают против них войско, так домой врассыпную, переплывут Днепр — и дома. Тут пойдет гульня!.. И давно ли это было, подумаешь!..

Тут, бывало, старик набожно перекрестится и долго-долго думает, понурив седую голову.

Точно такая ватага охотников расположилась ночевать в лесу у Днепра недалеко от деревни Домантова, чтоб с рассветом въехать в плавни, и там, выкормя целый день лошадей, на следующую ночь отправиться в набег за Днепр. Казаки сидели в кружках и, весело разговаривая, ели походную кашу из деревянных корыт.

— Добрый вечер, паны-молодцы,— сказал молодой человек, подходя к одному кружку.

— Здорово, братику,— отвечали казаки.

— Хлеб да соль.

— Едим, да свой, а ты у порога постой,— прибавил характерник.

— Где тут у дьявола порог! Давайте-ка и мне, братцы, место,— сказал пришедший, вынимая из кармана деревянную ложку.

— Вот казак догадливый. Вечеряй, братику; садись возле меня,— почти вскрикнул характерник, очищая место пришлецу.

За ужином разговорились. Пришлец сказал характернику, что он из Пирятина Алексей-попович, что его застал один важный пан с своею дочкою, и бог знает, чем бы это кончилось, если б он, попович, не бросился в лодку и не уплыл, а что теперь пошел по свету искать счастья.

— И ладно! — заметил характерник.— Ты казак хоть куда с виду, а учен — еще лучше. Поедем теперь на охоту за Днепр, а там я, пожалуй, сведу тебя в Сечь. У нас житье привольное, и разумному человеку почет, только не хвастай своим разумом. Года четыре назад к нам пристал в бору под Киевом ваш брат, студент, а теперь, шутка сказать, он кошевым! Ну, да и голова! Фу, голова!.. В Киеве, видишь, поспорил с начальством за бабу, что ли. Начальство посадило его до расправы в комнату с железными решетками; Грицка бог силою не обидел: хватил молодец решетку — и осталась в руках; он вылез в окно да в лес, и пристал к нам; теперь не кается.

— Грицко? — спросил удивленный попович.— Такой белокурый?

— Да, это наш теперешний кошевой, Грицко Зборовский. Разве ты его знаешь?

— Нет; я знал в Киеве Грицка *Стрижку;* он также убежал года четыре назад из карцера, а Зборовского не знаю.

— Эх, ты, молодая голова! Он по-нашему Зборовский; у нас долг велит давать всякому казаку фамилию, а у вас он был *стрижка* или *нестрижка,* нам нет дела! Привели

молодца из бору, вот он и стал Зборовским... Такой высокий, белобрысый, на правой щеке бородавка.

— Коли так, то я его знаю. Большой был мне приятель Грицко; учивали мы с ним вокабулы вместе, и говорили о святой вирши, и каникулами пели псалмы, ходя по дворам.

— Чего же лучше? Так после охоты едем в Сечь?

— Едем.

VI

Считаю лишним описывать подвиги охотников за Днепром. Они прошли с огнем и мечом лесами до речки Выси, за которою уже начинались вольные степи, принадлежащие теперь к Херсонской губернии, разделили добычу и поехали домой, а характерник с Алексеем-поповичем, переплыв реку, углубились в зеленое море степей.

Порою из-под лошадиных ног, свистя, вылетали степные стрепеты; порою, раздвигая кусты ракиты, проползал перед ними огромный желтобрюхий змей, красиво изгибаясь и сверкая волнистыми линиями, и, подняв голову над травою, злобно шипел вслед за ними; порою трусливый заяц, испуганный лошадиным топотом, срывался из-под широких листьев дикого хрена и, будто мячик, укатывался в зеленую даль; да иногда суслик, взобравшись на высокий курган, свистел, присев на корточки. А наши путники все ехали да ехали на юго-восток; кругом были степь да небо; но характерник ехал как по битой дороге, и через несколько дней они были близко Сечи.

Характерник остановился, слез с лошади, протер ей ноздри, что посоветовал сделать и Алексею, и отпустил ее пастись, привязав конец чумбура (длинного ременного повода) к своему поясу; потом сел на траву, поджав ноги по-турецки, и сказал Алексею:

— Садись, братику.

Алексей сел.

— Ну, вот мы скоро будем в Сечи,— продолжал характерник, набивая и раскуривая трубку.

— А далеко ли она?

— Отсюда не видно, а подъедешь ближе, и шапкою докинешь.

— Ты уж и рассердился, батьку?

— Я не сержусь. А как можно доброму казаку прямо допрашиваться чего-нибудь?.. Будто баба, у которой язык чешется, или жид нечистый!.. Ты еси еще дурень во казачестве, как я вижу. Казак все знает, а чего и не знает никогда не спрашивает, разве выведывает политично. Ты сказал бы: «Должно быть, к вечеру доедем», а я отвечал бы: «Разве на птице; дай бог завтра к вечеру». Вот ты и смекнул бы, как оно есть. Это раз. А другое: не зови меня больше ни батьком, ни дядьком; на Гетманщине дело иное: там я вам всем дядько, и вашему полковнику, да и на гетмана не очень смотреть стану: там я запорожец. Вот что! На охоте я был ваш ватажок, начальник, вы меня и звали батьком. А тут мы все равны: я казак славного Запорожья, ты пристаешь в наше товариство — мы равны. Называй меня, братику, просто Никита Прихвостень.

— Прихвостень?

— Что? Не нравится мое прозвище?.. Посмотрим, какое еще тебе дадут! У нас все переменяют прозвища; да не в прозвище дело; не оно тебя скрасит, а ты его скрась. Я простой человек, так себе, прихвостень, а на войне Прихвостень впереди всех, а Прихвостню кланяются куренные и сам кошевой говорит: «Прихвостень — настоящий казак». Это два. А третье: как бы ты прежде ни был дружен с нашим кошевым, не признавайся к нему сразу, пока он сам тебе не скажет, что тебя помнит. Было время, вы бурсаковали вместе — хорошо, бурсаковали так бурсаковали — и кончено. Теперь он великий начальник, ему не покажется, коли всякая дрянь станет к нему лезть в приятели; ты не дрянь сам по себе, да в казачестве еще теленок. Понимаешь?

— Может, и так.

— Так оно и есть. Теперь у меня к тебе есть просьба. Любишь ли ты хмельное?

— Употребляю из политики, как следует человеку, а не то, чтоб великий был охотник.

— Так после чарки, другой, десятой, не порывает ли тебя прогулять все, дочиста, до нитки, не тянет ли даже душу заложить?..

— Такой оказии не бывало.

— Ну, ладно! Спрячь, пожалуйста, вот эти пять дукатов и не отдавай мне, как бы я не просил, как бы ни приказывал, что бы ни делал — не отдавай до Сечи; а с остальными я управлюсь.

— Пожалуй. А те все прокутишь?

— Прокучу!.. Да и на беса ли они мне? В Сечи все общее; что твое, то мое; такое уже братство, все общее, кроме коня и оружия; это уже связано с душою, как чубук с трубкою — его не разрознишь. Я бы и пяти дукатов не оставил, да знаешь, нужно поклониться куренному и кошевому; не будь этого, все пустил бы на волю. После чарки у меня так вот и загорится в глазах; хочется музыки, песней, грому, распахнется казацкая душа, гуляй!.. А тут, верно, за грехи мои, явится чертенок и сядет на носу... ей-богу, вот так-таки и сядет верхом, как на кобылу, и вижу, да не могу снять, так и ездит, так и вертится и шепчет: «Давай, Никита, денег на водку». Чуть замешкаешь или второпях не отыщешь скоро кармана, так ущипнет, проклятый, за кончик носа, что слезы градом побегут, а сам оборотится ко мне и язык показывает. Вот какая оказия! Порой не вытерпишь, дашь ему щелчка, кажись, пропал, только на носу затуманится; прошел туман — опять сидит проклятая тварь и щиплет за нос!..

— Где же будешь кутить, брате Никита?

— Опять спрашиваешь по-бабьи! Ох, мне эти белоручки-гетманцы!.. Казак не без доли. Садись, поедем.

Казаки поехали крупною рысью. Скоро Никита начал

оглядываться по сторонам, приложил кулак к правому глазу, долго всматривался вдаль и закричал:

— Так и есть, вот близко. Берег, Алексею!

— Где?

— Разве ты не видишь впереди ничего?

— Ничего, кроме птицы.

— Вот эта птица, что летает, и есть берег.

— Мало ли мы видели птиц!

— Птица птице рознь; это ворона, вот что хорошо...

— Ворона — птица так себе.

— Оттого и хорошо, что так себе; ворона — дурак; вольный кречет, словно казак, быстро летает по дикой степи, а ворона мужиком дело — трется около жилья; увидел ворону — и жилье близко... Скачи за мной...

Через полчаса казаки прискакали на край крутого оврага, подле его глубоко, чуть приметною тесемкою вился по песчаному дну маленький ручеек; по сторонам громоздились, торчали огромные серые скалы; в расселинах лепился терновник, шиповник и выбегал прямыми зелеными побегами гордовый кустарник, очень известный на юге по своим крепким, бархатистым чубукам. Внизу молодая девушка, сидя на камне у берега ручья, мыла ноги.

— Вот и Варкина балка (Варварин овраг),— сказал Никита,— тут ее и зимовник.

Девушка быстро запрокинула назад голову, взглянула вверх, вскрикнула и исчезла.

— Экая проворная Татьяна! — проворчал Никита.— Это племянница Варки, веселая девушка!

— А Варка кто?

— Варка — вдова нашего казака, по смерти мужа держит шинок тут неподалеку от Сечи. Духу мужского нет здесь, все бабы — она да ее племянницы; а живет хорошо: все деньги наши сиромы (безродные, холостяки) тут оставляют. Тут пьют, тут гуляют, тут... А вот она сама.

В это время шагах в двадцати из-за скалы показалась женщина лет сорока; волосы ее были убраны под казацкую

шапочку-кабардинку; лицо и шея смуглые, загорелые; над темными сверкавшими глазами черною скобкою лежали густые сросшиеся брови; за поясом у нее была пара пистолетов и татарский нож, в руках турецкая винтовка. Уставя дуло винтовки против казаков, она грозно спросила: «По воле или по неволе?»

— Вот так лучше! — отвечал, захохотав, Никита.— Известно, по воле! И своих не узнала, Варка Ивановна...

— Тьфу вас к черту! — сказала Варка, опуская винтовку.— Напугали меня. Думала невесть кто, так принарядился Никита Прихвостень! Откуда, коли по воле?

— Пшеницу пололи.

— Доброе дело! А куколя много?

— Есть, небого! — отвечал Никита, побрякивая в кармане дукатами.— Пока с собою носим.

— Милости просим! Отваливайте же камень... А это новитний (новичок)?

— Еще теленок, а будет волком.

Казаки отвалили камень, и им представилась узкая тропинка, по которой с трудом сошли они и свели лошадей. Лошадей спрятали под навес скалы, а сами отправились в шинок.

Шинок был вроде грота или землянки; он состоял из большой комнаты и двух маленьких по сторонам; маленькие были спальни хозяйки и трех ее племянниц, а большая служила сборным местом для казачьих оргий. Вокруг, под стенами, стояли лавки и столы, в углу бочка пенника, на которой часто, сидя верхом, засыпал какой-нибудь характерник; над нею, в нише, стояли бутыли с разными настойками, ковши, стаканы; на стенах висели сабли, ружья и пистолеты.

Угрюмый Никита вовсе переменился, войдя в этот чудный шинок, где уже ожидали их Варка с бутылкою и чаркою в руках; три девушки, очень недурные, сидя у окна, что-то шили.

Сонце низенько, вечір близенько,
Прийди до мене, моє серденько! —

весело пропел Никита, принимая чарку; выпил, разгладил усы и, обратясь к девушкам, сказал:

— Здравствуйте, мои перепелочки! Живы, здоровы? Ждали в гости доброго казака?

— Куда как ждали! — закричали девушки в один голос.— Много вас таких поганых!

— Та-та-та, го-го-го, затрещали, сороки! А покажет поганый польское золото, не так запоете... Ба! Что это за новый крест у вас на том берегу?

— То так,— отвечала шинкарка,— третьего дня подгуляли хлопцы, немного поспорили, да один и остался на месте.

— Все по-прежнему, горячие головы! Кто ж остался?

— Старый хрен, войсковый писарь,— сказала смеясь Татьяна,— стал меня целовать, дурень, при всех; я закричала; казаки заступились за меня, да Максим Шапка так как-то нечаянно хватил его саблею, что он уже и не встал с места.

— А попробую я поцеловать тебя; посмотрю, убьет ли кто меня,— сказал Никита, обвивая рукою шею Татьяны.

— Отвяжись! Еще не выросли руки обнимать меня! Право, закричу, сейчас закричу! Вот-вот-вот закричу!

— А я тебе вот этим рот зажму,— говорил Никита,— держи покрепче зубами! — И, дав ей в рот червонец, начал целовать, приговаривая: «Экая королевна!» — Что ты сидишь, братику Алексею, как ополудни сова на березе? Пей, гуляй — я плачу! Видишь, как весело! Пой песню, подтягивай за мной:

Давай, Варко,
Еще чарку,
И поповичу под парку.
Выпьем — небу станет жарко!
Ох, моя Татьяна,
Чернобрива кохана!

У красавицы шинкарки,
У казацкой тетки Варки,
Много водки, меда, пива,
И племянницы на диво!
Ох, моя Татьяна,
Чернобрива кохана!

Белогруда и красива
Татьяночка чернобрива,
И блестит меж казаками,
Как дукат меж пятаками!
Ох, моя Татьяна,
Чернобрива кохана!

Вот вам и песня, сейчас сразу сложил, такая моя натура казацкая — хмель в голову, песня из головы, а ничему не учился... Эх, братику Алексею! Что-то было б из меня, если б учили, как вашего брата!

К вечеру приехали еще человека четыре казаков поминать, как они говорили, покойного писаря, и поднялась страшная кутерьма. Никита бросал злотые и червонцы и, беспрестанно щелкая себя по носу, ворчал: «Уж тут! Уж уселся, проклятый! Вот божее наказание!»

— Если б музыку,— сказали казаки,— то-то была бы потеха!..

— Истинная была бы потеха,— прибавил Никита.

— У меня есть бандура; Супоня на прошлой неделе заложил за бутылку водки,— говорила шинкарка.— Играйте, коли умеете.

— Хорошо! Хорошо! — закричал Никита.— Давай ее сюда!

— Давай ее сюда,— закричали казаки.

Принесли бандуру.

— Хорошо! — говорили казаки, посматривая друг на друга.— Да кто ж сыграет?

— Кто сыграет? Эка штука! Мало я видел играющих! Кто хочет, пусть и играет, только не я.

— И не я! И не я! И не я! — отозвалось со всех сторон.

— Это б то вышло: есть в кувшине молоко, да голова не

влазит! — сказал Никита.— Не умеешь ли ты, Алексей? Ты человек грамотный.

— На гуслях-то я немного маракую, а на бандуре никогда не пробовал,— отвечал Алексей.

— Пустое! Гусли, бандура, балалайка, свистелка — все одно, все играет, все веселит! Ей-богу, оно все родня между собою! Играй!

Алексей положил бандуру на колени, как гусли, взял два-три аккорда, и вышла какая-то музыкальная чепуха вроде казачка. Казаки пришли в восторг и пустились вприсядку.

Никита с приятелями гуляли нараспашку, съели годовалого поросенка, выпили неимоверное количество всякой всячины, и за полночь у Никиты не осталось ни гроша в кармане. Шинкарка перестала давать водки и не хотела брать под залог ни оружия, ни коня.

— Да отчего же ты не берешь моего добра? Моя сабля добрая и конь добрый; отдам дешево. Бери, глупая баба!..

— Ты сам глуп, Никита; нельзя, так и не беру: кошевой не приказал.

— Правда, правда,— говорили казаки,— только позволь пропивать оружие, через неделю на всю Сечь останется один пистолет.

— И одним пистолетом всех переколочу!.. Такие-то вы добрые товарищи, бог с вами, тянете руку за бабою!.. Верно, моя такая несчастная доля,— жалобно говорил Никита.— Еще бы чарку-другую, и довольно... А! Постойте, постойте! Я и забыл! У тебя, Алексей, есть мои деньги?

— Есть пять дукатов.

— И хорошо; давай их сюда!

— Не дам.

— Как ты смеешь не давать ему его денег? — спросили казаки.

— Он сам не велел: нужно, говорит, оставить на гостинец куренному.

— Да-да, правда, Алексей! Нужно поклониться начальству, нужно... Вот приятель; поди сюда, я тебя поцелую.

— Вот еще, великая птица куренной! — сказали казаки.

— И то правда, как подумаешь,— продолжал Никита,— не велика птица, ей-богу! Был простой казак, а теперь куренной; мы выбрали — и стал куренной, а был простой казак, как и я, и все мы. Поживу — и меня выберут в куренные. Выберете, хлопцы?

— Выберем, выберем! — закричали казаки.

— Выберите его сейчас,— сказала шинкарка.

— Хорошо, хорошо! Сейчас. Да здравствует наш куренной Никита Прихвостень! Ура!..

Казаки бросили шапки кверху; Никита важно раскланялся, поблагодарил за честь, сел на лавку и, подбоченясь, сказал:

— Ну, теперь, Алексей, отдавай гроши своему начальству; оно тебе приказывает.

— Не отдам, хоть бы ты вправду был начальник; проспись, тогда отдам.

— Эге! Твердо сказано, характерно. Хлопцы, из него путь будет! А вы что там смеетесь, бабы? Думаете не отдаст? Посмотрим. Хлопцы, станьте подле этого изменника; так, сабли вон!..

— Ну, что? теперь отдашь, братику? а?

— Не отдам.

— Не отдашь? — протяжно сказал Никита.

— Чужие, чужие! — закричала Татьяна, вбегая в комнату.— Слышь, скачут по степи!..

Один казак прильнул ухом к стене и значительно сказал:

— Сильно скачут: верно, за кем погоня.

— Я разведаю,— быстро проговорила шинкарка, схватив со стены ружье,— а вы молчите, гасите огонь.

Огонь погашен: в темноте защелкали курки ружей и пистолетов и прошептал один казак:

— Скачут, сильно скачут; уж не крымцы ли? Говорят, они сбираются на Гетманщину.— И все стало тихо, как

в гробу. Чья-то мягкая рука сильно схватила за руку Алексея и кто-то прошептал ему на ухо:

— Ступай за мной, я спасу тебя.

— Кто ходит? — спросил Никита.

— Это я,— отвечала Татьяна,— сидите смирно; пойду проведаю, что делается.

Она вышла и вывела за собой Алексея.

Ночь была тихая, безлунная; звезды ярко горели на чистом небе; чуть слышно роптал ручей, разбиваясь о встречные камешки, да порою шелестела земля, сыпавшаяся из-под ног шинкарки, которая осторожно пробиралась между скалами вверх по тропинке. Вдали на степи слышался глухой топот. С полверсты шел Алексей за Татьяною вниз по ручью; потом она быстро вскочила на скалу и почти втащила туда за руку Алексея, раздвинула терновник, села на камень, посадила возле себя изумленного поповича и сказала:

— Не бойся, ничего не бойся; мне жалко стало тебя, они б тебя убили ни за что, вот я и выпустила в степь казацких коней; кони побегают да и прибегут сюда, а нашим гулякам страху задала: они забыли о тебе сперепугу. Сиди здесь; как уснут наши, мы убежим; твоего коня и еще другого я нарочно оставила: я украду у Варки мешок дукатов, и мы славно заживем. Хочешь?

— Пожалуй, убежим, я тебе за это заплачу, а золота не крадь у тетки; грех красть.

— Какая она мне тетка!.. Твоей платы я не возьму: не век же мне все делать за плату!.. Сиди смирно; послезавтра будем далеко, у вас, на Гетманщине.

— Нет, я хочу в Сечь.

— Зачем тебе в Сечь?

— Видишь, Татьяна: я люблю девушку богатую, знатную, люблю и не могу назвать ее своею; так пусть же пропадет моя голова, коли позволила сердцу полюбить неровню. Поеду в Сечь, авось в схватке сложу голову под ножом татарина.

— И ты ее любишь?

— Очень люблю.

— И она хороша?

— Лучше всех на свете! Я ее люблю больше всего, больше своей жизни. Если мне доведется умереть за нее, я поблагодарю бога; мне будет весело и умирать.

— Я бы убила ее.

— За что?

— Так. Отчего она счастлива, отчего меня никогда никто не любил так? Ласкали меня, как собаку, и как собаку отталкивали ногою, когда я наскучала им. Алексей, поцелуй меня как сестру; хоть из милости... Я полюбила тебя с первого взгляда; я смеялась, шутила, пела перед тобою — а ты был грустен, даже не улыбался, от чего хохотали другие; даже не смотрел на меня, и мне стало совестно самой себя; я была сердита; мне казалось, я ненавижу тебя, казалось, готова была убить тебя, и не знаю, чего бы ни дала, чтоб спасти тебя от пьяных казаков... Бог с тобою, люби другую! Не думай обо мне, только поцелуй меня... Мне ночью приснится твой образ, твои стыдливые очи, кроткие речи, твой поцелуй, и мне станет весело, весело... Поцелуй же меня! Посмотри, я плачу, ей-богу, плачу!.. Ну, вот так, спасибо! Сиди смирно, спи на здоровье; казаки проспятся — все забудут; они люди добрые... вы поедете вместе...

И, жарко, судорожно обняв и поцеловав Алексея, Татьяна исчезла в кустах терновника.

Несколько времени был слышен топот около балки, потом громкие голоса казаков, ловивших лошадей, потом восклицание: «Агов, Алексей! Где ты? агов!..» Затем какая-то песня, звон разбитого стекла, еще какие-то отголоски все тише и тише... и Алексей заснул.

Было уже около полудня, когда проснулся он; перед ним стояла Татьяна.

— Я пришла будить тебя,— говорила она,— и жалко было будить, так хорошо спал ты. Вставай скорее; Никита и казаки готовы ехать на Сечь.

— Ехать так и ехать,— отвечал Алексей.

Никита, увидев Алексея, очень обрадовался; казаки удивлялись, как он мог пропасть из шинка, будто сквозь землю провалился, и предрекали из него в будущем великого характерника; но и Никита и все вообще не могли представить, как мог человек вытерпеть, не отдать на попойку чужих денег, и даже чуть не попал через это в весьма неприятную ссору.

— Странное дело для меня бабы,— говорил Никита, выезжая из балки,— никто их не поймет. Хочешь поцеловать Татьяну, бьет по рукам, царапается, как кошка; а выезжаешь — не вытерпит, в слезы ударится!

Алексей оглянулся: стоит Татьяна над балкою, смотрит им вслед и отирает глаза белым платком.

VII

> Обычаи запорожские чудны!
> Поступки хитры! И речи, и
> вымыслы остры и больше
> на критику похожи.
>
> *Никита Корж*

Начало вечереть, когда перед нашими путешественниками открылась крепость, обнесенная высоким земляным валом, с глубоким рвом вокруг и палисадом; вал был уставлен пушками; за валом раздавался говор, дымились трубы, блестел золотой крест церкви и торчала высокая колокольня; из ее окон глядели пушки на все четыре стороны.

— Вот и Сечь-мати! — сказал Никита.

— И святая Покрова,— прибавили казаки, сняли шапки, перекрестились и въехали в городские ворота. Казаки поехали по своим куреням, а Никита прямо к кошевому представлять новобранца.

— А что, узнал ты Зборовского? — спрашивал Никита, идя от кошевого к куреню.

— Как не узнать! Он тот самый Стрижка, с которым не раз мы гуляли в Киевской бурсе. Я уже хотел признаться, да такая в нем важность!..

— Важная фигура, настоящий кошевой! Всем говорит: «Здорово, братику»,— будто простой казак, да как скажет: «братику», словно тумака даст, только кланяешься,— настоящий начальник.

— Я думал, он узнает меня.

— Молчи, братику, он узнал тебя, я это сейчас заметил; да себе на уме, верно, так надобно. Правду говорит песня:

Только бог святой знает,
Что кошевой думает-гадает!..

А вот мы уже близко нашего Поповичевского куреня. Есть ли у тебя в кармане копейка?

— Больше есть.

— Я не спрашиваю больше; а есть ли копейка?

— Найдется.

— Ну, так войдем в курень; скоро станут вечерять.

Курень была одна огромная комната вроде большого рубленого сарая, без перегородок, без отделений, могущая вместить в себе более пяти- или шестисот человек; кругом под стенами куреня до самых дверей были поставлены чистые деревянные столы, вокруг их — скамьи; передний угол был уставлен иконами в богатых золотых и серебряных окладах, украшенных дорогими каменьями; перед иконами теплились лампады и висело большое серебряное церковное паникадило; несколько десятков восковых свеч ярко горели в нем и, отражаясь на блестящих окладах образов, освещали весь курень. Под образами, за столом, на первом месте сидел куренной атаман.

Когда Никита с Алексеем вошли в курень, казаки уже собрались к ужину и толпою стояли среди комнаты, громко разговаривая кто о чем попало. Всилу протолкались они к атаману между казаками, которые, неохотно пода-

ваясь в стороны от щедрых толчков Никиты, продолжали разговаривать, даже не обращая внимания на то, кто их толкает.

— Здорово, батьку! — сказал Никита, кланяясь в пояс атаману; Алексей сделал то же.

— Здоровы, паны-молодцы. Чем бог обрадовал?

— Вот кошевой прислал в твой курень нового казака.

— Рад... Ты, братику, веруешь во Христа?

— Верую.

— А что тебе говорил кошевой?

— Поважать старших, бить католиков и бусурманов.

— Добре!

— Говорил: стоять до смерти за общину и святую веру, ничего не иметь своего, кроме оружия; не жениться.

— Добре, добре! И ты согласен?

— Согласен, батьку.

— А еще что?

— А после сказал: ты еси попович, так и ступай в Поповичевский курень; там же и казаков теперь недостает.

— Правда, нет у меня теперь и четырех сотен полных: много осталось в Крыму, царство им небесное!.. А что был за курень с месяц назад, словно улей!.. Ну, перекрестись же перед образами и оставайся в нашем товаристве.

Между тем куренные кухари (повара) уставили столы деревянными корытами с горячею кашей и такими же чанами с вином и медом, на которых висели деревянные ковши с крючкообразными ручками — эти ковши назывались в Сечи «михайликами»,— разносили хлеб и рыбу, норовя, чтоб она была обращена головою к атаману; принесли на чистой длинной доске исполинского осетра, поставили его на стябло (возвышение) перед атаманом и, сложив на груди руки, низко поклонились, говоря:

— Батьку, вечеря на столе!

— Спасибо, молодцы,— сказал атаман, встал, расправил седые усы, выпрямился, вырос и громко начал: — Во имя отца, и сына, и святого духа.

— Аминь! — отгрянуло в курене, и все благоговейно замолкло.

Куренной внятно прочел короткую молитву, перекрестился и сел за стол. Это было знаком к ужину: в минуту казаки уселись за столы, где кто попал; пошли по рукам михайлики, поднялись речи, шум, смех.

— Да у вас на Сечи едят чисто, опрятно; а как вкусно, хоть бы гетману! — говорил Алексей своему товарищу Никите.— Одно только чудно...

— Знаю,— отвечал Никита,— что мы едим из корыт? Правда?

— Правда.

— Слушай-ка нашу поговорку: вы едите с блюда да худо, а мы из корыта досыта...

— Дурни ж наши гетманцы: они перенимают у Запорожья только дурное, а на хорошее не смотрят.

— Люблю за правду; видно, что будет казак. Выпьем еще по михайлику.

К концу ужина кухари собрались в кучку среди куреня; атаман встал, за ним все казаки, прочитал молитву, поклонился образам, и все казаки тоже; потом казаки поклонились атаману, раскланялись между собою и отвесили по поклону кухарям, говоря:

— Спасибо, братики, что накормили.

— Это для чего? — спросил Алексей Никиту.

— Такая поведенция, из политики. Они такие же казаки, лыцари, как и прочие: за что ж они нам служили? Вот мы их и поважаем.

После ужина куренной подошел к деревянному ящику, стоявшему на особом столе, бросил в него копейку и вышел из куреня; казаки делали то же.

— Бросай свою копейку,— сказал Никита Алексею,— завтра на эти деньги кухари купят припасов и изготовят нам обед и ужин.

«Чудные обычаи!» — думал Алексей, выходя из куреня. А вокруг куреня уже гремели песни, звенели бандуры; кто

рассказывал страшную легенду, кто про удалой набег, кто отхватывал трепака... И молодая луна, серебряным серпом выходя из-за высокой колокольни, наводила нежный дрожащий свет на эти разнообразные группы.

VIII

Проснувшись рано утром, Алексей-попович заметил в курене необыкновенное движение: казаки наскоро одевались, брали оружие и торопливо выходили. Возле церкви был слышен глухой гром.

— Зовут на раду,— сказал Никита,— пойдем!

— Пойдем,— отвечал Алексей.— Зачем же нас зовут?

— Придем, так услышим. Может, поход куда или что другое, бог его знает!

Площадь перед церковью Покрова кипела народом; у столба, среди площади, стоял доубиш (литаврщик) и бил в литавры. В растворенных церковных дверях виднелись священники и диаконы в полном облачении. Но вот зазвонили колокола, засверкали перначи, бунчуки, зашумели войсковые знамена, преклоняясь до земли,— явился кошевой атаман. Священники вышли к нему с крестами, народ приветствовал громким «ура». Кошевой был одет, как простой казак: в зеленой суконной черкеске с откидными рукавами, в красных сапогах и небольшой круглой шапочке-кабардинке, обшитой накрест позументом; только булава, осыпанная драгоценными камнями, да три алмазные пуговицы на черкеске, величиною с порядочную вишню, отличали его от рядового запорожца, между тем как бунчужные и другие из его свиты были в красных кафтанах, изукрашенных серебром и золотом.

Кошевой приложился к кресту, взошел на возвышенное место, нарочно для него приготовленное, и, обнажив свою бритую голову, поклонился народу.

— Здоров, батьку!..— закричал народ и утих.

Литавры перестали бить, колокола замолкли.

— Я вас созвал на раду, добрые молодцы, запорожское товариство! Как вы присудите, так тому и быть.

— Рады слушать! — закричали казаки.

— Вам известно, молодцы, что бог взял у нас войскового писаря. Так богу угодно; против его не поспоришь! Жил человек и умер, а место его всегда живо; другой человек живет на нем. Так и мы умрем, и после нас будут жить!

— Правда, батьку! Разумно сказано! — отозвалось в толпе.

— Вот и у нас теперь осталось место войскового писаря; изберите, молодцы, достойного человека.

Кошевой спокойно стал, опершись на булаву, а меж народом пошел говор; тысячи имен, тысячи фамилий слышались в разных концах; не было согласия. Долго стоял кошевой, наконец поднял булаву, махнул — и говор прекратился.

— Вижу,— сказал кошевой,— что дело трудное: Ивану хочется Петра, Петру — Грицка, а Грицку — Ивана, и кто прав? Дело темное, в чужую голову не влезешь; будь спор о храбрости, о характерстве, сейчас бы решили — это дело видимое; а письменность не по нас...

— Правда, батьку!

— Хотите ли, молодцы, я вам предложу писаря? Вчера пришел к нам в наше товариство попович из Пирятина; я с ним говорил вчера и удивлялся его разуму. Сам бог его прислал на место покойного; выберите его — и не будет ни по-чьему, а будет по воле господа.

Алексей слушал и не верил ушам своим.

— Хитрая собака наш кошевой! — шепнул ему Никита, толкая в бок.

Между тем народ заговорил:

— Да, он молодец,— кричал один казак,— не задумается над михайликом!

— А какой характерный! — продолжал другой.

— А как играет на гуслях и на бандуре! — подхватил третий.— Заморил нас танцами у Варки в шинке.

— Лучше этот, хоть я его и не знаю, нежели пройдоха Стусь! — кричал четвертый.

Говор час от часу делался сильнее, одобрительнее — и вдруг разом полетели кверху шапки: Алексей-попович был избран в войсковые писаря. Тут же, на площади, надели на него почетную одежду, привесили к боку саблю, а к поясу войсковую чернильницу и вместе с куренными атаманами и прочею знатью, повели на завтрак к кошевому. Простому народу выставили на площади жареных быков и бочку водки.

После завтрака все разошлись; кошевой оставил писаря для занятий по делам войска. Когда они остались одни, долго кошевой смотрел на Алексея и сказал:

— Алексей! Разве ты не узнаешь меня?

— Давно узнал, да не знал, как признаться к тебе.

— Ну, обнимемся, старый товарищ! Вот где мы сошлись с тобой!.. Помнишь Киев? Быстроглазую Сашу? А?

— Помню, Грицко! А как злилось начальство, когда узнало о твоем побеге!

— Неужели?.. Я думаю...

— Сказали, что ты знаком с нечистою силою, а без нее не выломил бы решетки. И в голову не пришло, что я подпилил ее.

— Век не забуду твоей услуги. А Саша что?

— Три дня плакала, на четвертый утешилась, а на пятый вышла за того ж магистра, что посадил тебя в карцер.

— Вишь, гадкая! Да я об ней больше не думаю... Расскажи мне лучше, как ты сюда попал?

Алексей начал говорить.

— Вот наш кошевой трудящий человек,— говорили за ужином по куреням казаки,— с утра до самого вечера занимался с новым писарем войсковыми делами: писарь у него и обедал.

А у кошевого во весь этот день о войсковых делах и помина не было. Алексей рассказывал свои приключения,

как он попал в Сечь и т. п., и решительно объявил сильное желание умереть. Кошевой утешал его, обещал при случае хлопотать у полковника Ивана, а между прочим сказал, что скоро будет случай ему отличиться и, заслужа известность храброго рыцаря, лично просить руки дочери полковника, «потому что (прибавил он) через несколько дней мы отправимся морем жечь крымские берега; наши лазутчики известили, что хан хочет напасть на Украину — чуть узна́ем, что татары вышли в поход, мы на чайки и, словно снег на головы, падем на их города и села. А до тех пор ты займи палатку войскового писаря: она вот рядом с моим кошем: тебе теперь, как старшине, не пристало жить в курене; да при людях не показывай вида, что мы старые приятели; запорожцы очень подозрительны — и тогда я мало могу сделать тебе полезного, не рискуя потерять свою власть. Ну, прощай, Алексей!»

— Прощай, Грицко.

Старые приятели обнялись и расстались.

IX

Веди меня, пустынный житель,
Святой анахорет...

В. Жуковский

Никто в Пирятине не догадывался, куда исчез Алексей-попович. Утром нашли на берегу Удая пустую лодку; в ней лежала шапка Алексея, и все положили, что он утонул. Донесли об этом полковнику Ивану.

— Коли утонул, так ищите себе другого попа,— хладнокровно отвечал полковник, а сам к вечеру со всем своим двором уехал в Лубны.

Недели две после возврата полковника в Лубны приехал туда старый запорожец Касьян. Он уже не жил в Сечи, а сидел где-то в степи зимовником, по старой привычке занимался охотою на Великом Лугу и привозил по време-

нам в Гетманщину шкуры видных (выдра, loutre) на так называемые кабардинские шапки, которые были в великой моде на Запорожье и, из подражания, очень уважались на Гетманщине. Распродав свой товар и купя кое-что в Лубнах для домашнего обихода, Касьян возвращался домой.

Запорожцы никогда не ездили ни в каком экипаже; но везти разные громоздкие вещи верхом было Касьяну неловко. Касьян купил в Лубнах *беду,* то есть повозку на двух колесах, запряг в оглобли оседланную лошадь и поехал, проклиная при каждом толчке глупую езду в повозках.

— Наказал меня бог проклятыми оглоблями,— ворчал Касьян,— давят коня в бока, да еще и развязываются. Ну, Бурый, ну, старик! Наказала и тебя лихая година! Были мы с тобой, Бурый, молоды... Ой-ой! Скверная трясучка словно кулаком в бок хватила. Ну, Бурый! Днепр недалеко, напою... Так ли, бывало, ездишь в старину! Опять развязалось! Тьфу ты, наказание, сущая бабья езда; молоко бы только возить... Стой, Бурый!

Касьян привязал оглоблю к хомуту, для крепости затянул зубами узел и проворчал: «Чего лучше? Настоящий калмыцкий узел; после этого разве калача ей захочется, проклятой оглобле!» Сел на беду, весело махнул кнутом и запел:

Славно жить на кошу:
Я земли не пашу,
Я травы не кошу,
А парчу все ношу;
Сыплю золотом!..
Тра-ла-ла! Тра-ла-ла!

— Эх, Бурый, выноси! Днепр недалеко.

На войне не шучу,
А на смерть колочу,
Без войны я кучу́,

Да кучу́, как хочу,
В свою голову!..
Тра-ла-ла! Тра-ла-ла!

— Здоров, дядьку! — зазвучал чистый, приятный голос за повозкою.

— Тьфу ты, нечистая сила, как человек сзади подкрался!.. Здоров, хлопче!

— Я не подкрался, дядюшка, а скакал верхом; вольно ж тебе было не слышать.

— Тут не до того, чтоб прислушиваться; проклятые оглобли так и разлазятся, словно живые раки из горшка; так умаешься, так умаешься...

— Что запоешь песню.

— Ого, какой вострый! И песню запоешь; так что ж? Тут степь, а в степи воля; пою, коли хочется...

— Не сердись, дядюшка Касьян, я пошутил только. Коли хочешь, и я с тобой спою.

— А ты почему знаешь, что я Касьян?.. Может быть, я Демьян или Митрофан...

— Как не знать! Тебя все Лубны знают; у тебя мой двоюродный дядюшка купил себе шкуру.

— А зась ему, твоему дядюшке, ходить в моей шкуре; пусть свою носит.

— Э, дядюшка Касьян, будто я сказал твою шкуру! Известно, купил звериную шкуру того зверя, что на плавнях раки ест; вот у меня из него шапочка.

— Хорош казак, не знает какую шапку носит.

— Не до того было прежде, дядюшка, все учился, и сабли в руки не брал. Послушай, дядюшка Касьян, ты домой едешь?

— Домой в зимовник.

— А Сечь далеко от тебя?

— Далеченько.

— Послушай, дядюшка: возьми меня с собою в зимовник.

— На что ты мне?

— Погоди, дядюшка Касьян, а из зимовки проводи меня до Сечи.

— Тебя? До Сечи? Да куры станут смеяться, коли я приведу в Сечь мальчишку, школяра! Верно, высечь хочет дьячок, так ты удрал из школы и не знаешь куда деваться.

— Нет,— отвечал казак, потупив полные слез глаза,— не бранись, дядюшка, доведи меня до Сечи; дам тебе два дуката, у меня больше нет; я ухожу от беды неминучей, от смерти... Возьми меня, дядюшка; не то брошусь при тебе в Днепр — на твоей душе грех останется.

— Пожалуй, пожалуй... Да кто ты сам?

— Ах, спасибо тебе, дядюшка!.. Я... Не выдавай меня, дядюшка!.. Я Алексей-попович из Пирятина.

— С нами крестная сила!.. Тот самый, который утонул, говорят?

— Тот самый.

— И ты жив?

— Жив.

— Что ж за охота тебе прятаться без причины?

— Слушай, дядюшка; я тебе признаюсь. Видишь, я любил, очень любил дочку полковника Ивана...

— Фи, фи, фи! — просвистел Касьян.— Ну?

— А полковник и застал меня...

— Вот оно что!

— Я убежал и все прятался в тростниках, да пробирался в Сечь, пока тебя не увидел. Свези, дядюшка!

— Сказал свезу, так свезу. Поезжай за мною... Откуда ж ты взял такое доброе платье и коня?

— Платье мое, дядюшка; а коня, грешный человек, украл. Не сердись...

— Вот еще! Кто не крал чего-нибудь на веку...

Переезжая Днепр, Касьян думал: «Чем больше живу, тем больше уверяюсь, что глупее бабы нет ничего на свете. Как можно полковницкой дочке врезаться в такого мальчишку, в школяра? Был бы человек, здоровая, дебелая

душа — куда бы ни шло, а то бог знает что! Известно, баба!..»

— Что ты ворчишь, дядюшка?

— А так, вспомнил баб...

— Да и рассердился?

— Да и рассердился.

— Отчего?

— Не всем рассказывать! Состарился, присмотрелся, живу долго на свете — умирать пора!

X

Во времена Запорожья Великий Луг (то есть болотистые острова и низменные места днепровского берега) был покрыт дремучим лесом; из этого леса казаки строили большие одномачтовые гребные лодки, вмещавшие в себе до сотни человек, и, к удивлению мореходцев, безопасно переплывали на них Черное море, являлись нежданно даже в Малой Азии, грабили, разоряли города и безопасно возвращались в Сечь. Эти лодки были узки, длинны, легки на ходу и назывались чайками, вероятно, по своей быстроте и по тому, что по наружным краям с обеих сторон они были обшиты смоленым тростниковым фашинником, который давал им вид птицы с сложенными крыльями и препятствовал лодке тонуть, хотя бы она и наполнилась водою.

Свежий южный ветер быстро гнал по Черному морю несколько сот казачьих чаек, впереди всех вырезывалась лодка атамана, с небольшим крестиком на мачте. Ветер дул ровный, округляя тяжелые паруса из циновок, кое-где заплатанных бархатом и турецкими шалями. Казаки, подняв весла, отдыхали, курили трубки. Было жарко; полуденное солнце жгло, ветер дышал зноем будто из раскаленной печи. Кошевой и несколько человек куренных, расстегнув воротники рубашек, полудремали, прислушиваясь к однообразному ропоту и плеску морской волны; войско-

вой писарь, лежа, перелистывал какую-то церковную книгу; кормчий, старый казак, сидел на корме, поджав ноги и не спуская глаз с пенистой струи, бежавшей за кормою, пел заунывную песню:

Где ты ходишь, где ты бродишь,
Казацкая доля?
Придавила казаченька
Горькая неволя!
О-ох! ох, о-хо!
Горькая неволя!

Нет ни племени, ни роду;
Тяжко жить на свете:
Ну, хоть просто с мосту в воду.
Доля моя, где ты?
О-ох! Ох, о-хо!
Доля моя, где ты?

Отозвалась моя доля
По тот бок Лимана:
«Терпи, казак, я ласкаю
Богатого пана».
Ох-ох! Ох, о-хо!
Богатого пана!

Вдруг лодка дрогнула, накренилась, парус заплескал по воде, поднялся, встрепенулся, будто живое существо, и обрызгал всю лодку.

— Ого! — сказал кошевой, быстро вскакивая на ноги.— Долой парус! Спускай мачты!

В минуту упал парус, и мачта тихо легла в длину атаманской чайки; другие сделали то же. Гребцы принялись за весла. На корме старый казак сидел по-прежнему спокойно, неподвижно и напевал:

Доля моя, где ты?

— Вишь, как разыгралась погода,— закричал кошевой,— молодецкая погода, потешная погода! А ты, старый хрен, тянешь бабскую песню; накликаешь беду на свою

голову, что ли? Нуте, хлопцы, хором, да повеселее! и работать лучше с песнями.— Гребцы переглянулись, прилегли на весла и запели в такт:

С понизовья ветер веет,
Повевает;
Ветер лодочки лелеет
И качает.

Гей, хлопцы, живо, живо!
В Сечи водка, в Сечи пиво...
Будем отдыхать,
Будем отдыхать.

Дружно в весла! Чайкой чайку
Обгоняйте!
Про Подкову, Наливайку
Запевайте.

Гей, хлопцы, пойте песни,
Словно птицы в поднебесье
Вольные поют,
Вольные поют!

Казалось, лодки пошли на веслах еще быстрее; они будто понимали песню, неслись, как птицы, смело прядали по волнам. А ветер все крепчал; сильнее и сильнее колыхались волны, крупнее и крупнее накатывались валы, сшибались, разбивались друг о друга, обдавая мореходцев брызгами и пеною. Черное море, всегда готовое пошуметь, разыгралось не на шутку. Оно кипело, стонало, клокотало; над водою поднялся туман от мелких брызг; на небе не было ни облачка, солнце шло по небу, странное, зловещее, без лучей, будто красный шар. Казачью флотилию разметало в разные стороны; чайки потеряли друг друга из виду.

На атаманской чайке гребцы выбились из сил, положили весла; ее качало, бросало по волнам, как мячик; старшины и казаки собрались вокруг кошевого.

— Чудная погода, кошевой батьку! — говорил один куренной,— видимое наказание божее! Была бы туча, буря,

гром, дождь, молния и прочее — оно бы ничего; а то дует, бог знает откуда и зачем?.. Видимое наказание!

— Не придумаю, чем прогневили бога,— отвечал кошевой,— в церковь мы ходили, посты держим, возвращаемся с лыцарского подвига: много истребили бусурманских голов, чтоб христианам было жить на свете шире. Крым долго нас не забудет!

— Так; а зачем же он дует так страшно, и чего ему хочется?

— Я знаю, чего ему хочется,— перебил кормчий,— ему хочется грешной головы; пока не кинем в море эту голову, ветер не утихнет. Помню, давно, еще при Степане Батории, было на нас такое попущение; кинули в воду грешника — как сто баб прошептало: разом утихло!

— Что ж! Одному не штука умереть для славы и добра всему товариству,— закричали казаки, падая на колени,— слушай, кошевой батьку, нашу исповедь; чьи грехи больше, того и кидай в море.

— Погодите,— сказал войсковой писарь Алексей-попович,— завяжите мне, братцы, глаза черною китайкою, привесьте к шее камень и бросьте в море. Я грешник: пусть я один погибну за все славное казацкое воинство.

— Как? — заговорили кошевой и казаки.— Ты Святое письмо читаешь, народ научаешь на добро; неужели ты грешнее нас?

— Я лучше себя знаю, братцы-товарищи; тяжки мои грехи: я ушел из дома, как вор, не простился с отцовскою могилою, бросил беспомощную старуху матушку... Слышите? Это не ветер воет: это она плачет о недостойном сыне!.. Не море клокочет — гремят ее проклятия на мою грешную голову. Не буря подымает тяжелые волны — это вздохи матери колеблют море!.. И мало ли еще грехов на мне!.. Берите, братцы, камень и бросайте меня с ним.

Алексей-попович надел белую рубаху, стал на колени и, раскрыв церковную книгу, начал молиться. А между тем ветер стал утихать. Казаки переглянулись и закричали:

— Читай, Алексей! Читай! Твои молитвы спасают нас.

Скоро ветер совершенно стих; заходящее солнце светло и радостно глянуло на море; волны улеглись; чайки, как птицы, слетелись со всех сторон по сигналу к лодке кошевого и на ночь пристали отдохнуть к небольшому островку недалеко от лимана. Сосчитали лодки, людей — и, к изумлению всех, не было никакой потери. Тогда с криками радости подняли казаки на руках Алексея, называя его спасителем, а после ужина, за чаркою водки, тут же сложили про него песню, которая и до сих пор живет в устах украинских кобзарей и бандуристов:

На Чорному морі, на білому камні,
Ясненький сокіл жалобно квилить-проквиляє, *и проч.*

Эта дума даже напечатана между украинскими народными песнями, изданными в 1834 году Михайлом Максимовичем.

Я вам переведу ее, если хотите.

«На Черном море, на белом камне, ясный сокол жалобно стонет. Смутен сокол, пристально смотрит на Черное море. Не добро начинается на море. На небе звезды потускнели, полмесяца затянуло тучами, а низовый ветер бурно шумит; а на море поднимаются супротивные волны, разбивают суда казачьи на три части.

Одну часть понесли волны в Агарскую землю, другую пожрало дунайское устье. А третья где? — тонет в Черном море.

При третьей части был Грицко Зборовский, атаман запорожский; он по судну ходит и говорит: «Кто-то меж нами, паны, великий грешник; недаром злая погода так нас гонит, налегает на нас. Исповедуйтесь, паны, милосердному богу, Черному морю да мне, вашему кошевому, и бросайтесь в море, не губите казацкого войска».

Казаки это слышали, но все молчали; никто за собою не знал греха.

Тогда отозвался войсковой писарь, реестровый казак Алексей-попович пирятинский: «Хорошо вы, братцы, сделаете, когда возьмете меня, завяжете глаза, прицепите к шее камень и бросите в море; пусть я один погибну, а казацкого войска не допущу до беды».

Услыша это, казаки сказали Алексею: «Ты Святое письмо в руки берешь, читаешь, нас на добрые дела наставляешь; как же ты имеешь более грехов?» — «Хоть я и читаю Святое писание, и вас наставляю, а сам нехорошо делаю. Когда я из Пирятина выезжал, не прощался с отцом и матерью, гневался на старшего брата, добрых людей лишил хлеба-соли, детей и старых вдов толкал стременами в груди; гуляя по улицам, проезжал мимо божией церкви, не снимал шапки, не крестился — за это и гибну теперь! Не волна встает по морю, это родительская молитва карает... Если б меня не утопила буря и молитва сохранила, умел бы я уважать отца и матушку, старшего брата почитал бы как отца, а сестру как матушку».

Начал Алексей-попович исповедывать свои грехи, начала утихать буря; волны, словно руками, потихоньку подымали казацкие суда и приносили к Тентереву острову.

Тогда начали казаки удивляться, что в Черном море под бурею совсем потопали, а ни одного человека не потеряли.

Тогда Алексей-попович вышел из судна, взял в руки Святое письмо и стал научать народ:

«Надобно, паны, людей уважать, почитать отца и матушку: кто это делает, тот всегда счастлив, смертельный меч того обминает, родительская молитва вынимает человека из дна морского, от грехов душу искупляет и помогает на суше и на море...»

XI

На другой день, к вечеру, вся Сечь встречала кошевого и казачью флотилию; при радостных криках разделили награбленное серебро и золото; быстро ходили по рукам михайлики за здоровье кошевого и войскового писаря; по всем куреням слышна была новая песня:

На Чорному морі, на білому камні,
Ясненький сокіл жалобно квилить, проквиляє...

И где ни проходил Алексей, летели кверху шапки и раздавались радостные клики. К ужину позвал Алексея кошевой.

— На ловца и зверь бежит,— сказал он входившему Алексею,— про волка помолвка, а он и тут! Вот лубенский полковник Иван просит нашей помощи. Крымцы узнали, что половина его полка ушла по гетманскому приказу к ляхской границе, и хотят напасть на Лубны. Теперь полковник и просит нас, как добрых соседей, помочь ему, коли что случится нехорошее. Так напиши ему, что я рад с товариством помогать ему, нашему собрату, единоверцу, как бог повелел — только коли он отдаст свою дочь за войскового писаря войска запорожского, Алексея-поповича. Напиши так поскорее; я подпишу, и отдай этому посланцу — надобно торопиться.

Теперь только взглянул пристально Алексей на полковничьего гонца и радостно закричал:

— Ты ли, Герцик?

— Я, пане войсковой писарь,— отвечал гонец, низко кланяясь.

— А ты его знаешь, Алексею? — спросил кошевой.

— Знаю, батьку; это искусный человек. Здоров ли полковник?

— Здоров, и полковник здоров, и его дочка Марина, и все здоровы...

— Думал ли ты меня здесь увидеть?

— Никак не думал; все думали, что вы утонули, ловя рыбу, и плакали по вас, а вы здесь... великим паном. Силен господь в Сионе!..

Ужинали у кошевого очень весело. Каждый на это имел свои причины. После ужина кошевой отдал письмо полковничьему гонцу, приказав ему торопиться. Алексей зазвал Герцика на минуту в свою палатку. На дороге их встретил Никита Прихвостень, он был навеселе и уже щелкал себя по носу, приговаривая:

— Да убирайся, проклятая гадина, с доброго носа! Вот наказание божее!.. Да тут и сидеть неспокойно. Казацкий нос — вольный нос; лети себе лучше вот к тому пану, старому шляхтичу, забыл его прозвище... досадно, забыл! Да тебя не учить стать, злая личина, и сам знаешь... Вот у него нос уже оседланный золотым седлом со стеклышками; сидеть будет хорошо, покойно! Ступай же... А! И наш войсковой писарь!.. Говорил вражьим детям, что будет толк из Алексея-поповича, будет,— и вышел... И бьет ворога, как мух, и на гуслях играет, и богу молится за наше товарищество!.. И песня есть, ей-богу, есть... Вот она, песня:

На білому морю, на соколиному морю,
Чорний камень квилить-проквиляє.

Тут что-то не так, одно слово не так поставлено, а завтра выучу, и будет хорошо: сегодня некогда!.. Куда ж ты идешь, пане писарь?

— Спать пора, брат Никита, и ты ложись спать.

— Куда тебе спать, тут такая комедия! Послушай. Прихожу в курень и сел ужинать; подле меня новичок, просто дрянь, ребенок, сидит и ничего не ест; я ему михайлика — не пьет, говорит: «Нездоровится, дядюшка».— «Какой я тебе дьявола дядюшка? Зови меня брат Никита. А тебя как звать?» — «Я, говорит, Алексей-попович».— «А может, еще и пирятинский?» — говорю я.— «Именно пирятинский!»

Вот тут я и покатился от смеху. «Какой ты,— говорю,— Алексей пирятинский... Бог с тобой, уморил меня смехом! Есть у нас Алексей-попович пирятинский, не тебе чета: хоть и молод, да дебелая душа, и от михайлика не отказывается, и прочее... А ты что за казак! Молодо-зелено, еще не сложился; хоть и порядочного роста, да прям и тонок, словно тростинка...» — «Я вот с неделю живу в курене,— сказал он,— от всех слышу, что есть другой Алексей-попович пирятинский и хотел бы посмотреть на него».— «Увидишь,— сказал я,— он теперь приехал вместе со мною. Я бы тебе его сейчас показал, да он у кошевого».— «Покажи мне, когда выйдет».— «Ладно»,— сказал я,— я вот тут уже давно брожу да напеваю новую песню.

— Странно, если это тебе не снилось,— отвечал войсковой писарь,— в Пирятине, сколько помню, не было другого Алексея-поповича.

— А явился, ей-богу, явился! Вот я тебе его покажу.

— Пускай завтра.

— Нет, не завтра, сегодня покажу. Никита Прихвостень справедливый казак, не станет снов рассказывать; выпить — выпьет при случае, а лгать не станет. Приведу, сейчас приведу пирятинца, докажу правду.

Ох! По соколиному камню, по чорному камню,
Білоє море квилить-проквиляє.

И Никита ушел к Поповичевскому куреню, напевая новую песню. А Алексей-попович вошел в свою войсковую палатку, расспросил Герцика, надавал ему пропасть поручений и в Лубны, и в Пирятин, снабдил на дорогу несколькими дукатами и подарил дорогой турецкий кинжал, осыпанный алмазами, говоря: «Я сам своеручно убил пашу и снял с него этот кинжал; пусть он будет залогом нашей дружбы».

Герцик со слезами обнял Алексея, обещал выполнить все поручения, тотчас дать знать обо всем в Сечь и вышел.

Еще тихо колебалась, еще не успела успокоиться опущенная пола войлочной палатки войскового писаря, как опять поднялась — и робко вошел молодой, стройный казак; из-за него выглядывала голова Никиты.

— Вот тебе земляк! — говорил Никита.— Толкуйте с ним про Пирятин, а мне некогда, меня зовут. Прощайте! Никита врет, Никите снится! Никита так себе; дурень Никита! А Никите все свое...— Последние слова едва слышно уже отдавались за палаткой.

XII

Попід гаєм, мов ласочка,
Крадеться Оксана.
Забув; побіг; обнялися.
«Серце!» — та й зомліли.

Т. Шевченко

Скромно стоял у дверей молодой казак, опустив глаза, судорожно поворачивая в руках красивую кабардинскую шапочку. Алексей взглянул на него, протер глаза и почти шепотом сказал:

— Боже мой! Или я рехнулся, или это Марина!..

Две крупные слезы покатились по щекам молодого казака; он быстро поднял ресницы, выпустил из рук шапочку и уже лежал на груди Алексея, тихо повторяя:

— Я, мой милый! Я, мой ненаглядный Алексей!

И долго они ничего не говорили, глядели друг на друга, смеялись, плакали и, сливаясь горячими устами в один бесконечный поцелуй, уносились далеко от земли.

За все печали, заботы и страдания, за всю тяжесть нашей земной жизни великий творец щедро наградил человека, дав ему молодость и — любовь...

— Как же ты попала сюда, моя горлица? — спрашивал Алексей.— Как ты оставила отца и прошла пустые вольные степи?

— Помнишь ты страшный вечер, когда отец подстерег

нас на острове?.. Я сказала тебе: «Беги скорее, беги в Сечь, я тебе приказываю!» И ты убежал, поцеловав меня; а из-за дерева вышел отец, грозно посмотрел на меня, поднял надо мною сжатую руку — и остановился, будто неживой; после ударил себя кулаком по лбу и тихо, грустно сказал: «Не гляди на меня так страшно! Ты похожа на мою покойницу... поедем домой!» Отвернулся и пошел; я за ним иду и ног не слышу. Пришли к берегу, там стоит лодка, на лодке Гадюка и Герцик. Батюшка сказал им весело: «Я пошел гулять по острову и дочь нашел; она тут же гуляла». Мы сели и приехали домой.

— А ты не видала здесь Герцика? — с беспокойством спросил Алексей.

— Как же! Он с нами повстречался у самой твоей палатки, да не узнал меня, только сказал Никите: «Проведи меня, добрый человек, к Полтавскому куреню...»

— А ты его сразу узнала?

— Еще бы! Ночь лунная, как день... О чем ты загрустил?..

— Ничего. Тебе надобно бежать скорее из Сечи. Если узнают, что ты здесь, будет худо, мы можем поплатиться жизнию.

— Лишь бы вместе, я согласна умереть.

— К чему умирать, когда мы будем жить вместе счастливо, спокойно? Наш кошевой писал сегодня к твоему отцу: он для меня тебя сватал, а кошевой нужен отцу твоему. Как ты думаешь: благословит нас отец?

— Бог его знает, его не разгадаешь! Раз он пришел ко мне утром, а я плакала. «Знаю,— сказал он,— о чем ты, дура, плачешь. Если б мне поймать этого Алексея...» — «Так что бы?» — спросила я. «Чему обрадовалась? Тебе на что? Уж я знал бы, что с ним сделать!» Я пуще заплакала и пошла в сад; смотрю — солнце так светит тепло, а мои цветы цветут и наклоняются друг к дружке; на них ползают, вокруг летают мушки, жучки, пчелы, все вместе, все роем, а я одна на свете, подумала я, как тот подсол-

нечник, что стоит одиноко над дорожкою, но и ему есть дело, есть радость: он любит солнце, и куда пойдет оно, светлое, подсолнечник поворачивает за ним свою лучистую цветную головку. И стало мне совестно... Бездушный цветок поворачивается к солнцу; будь у него сила, он оторвался бы от корня и полетел бы к нему — а я? Мое солнце, моя радость далеко; знаю, где он, и сижу, будто связанная!.. Досижусь, что просватают меня за нелюба... страшно!.. К вечеру моя цыганочка продала все мои дорогие серьги и дукатовые ожерелья, и в ту же ночь я убежала из отцовского дома, пристала дорогою к запорожцу Касьяну, отдохнула у него день на зимовнике, а после он, спасибо, провел меня до самой Сечи... Ну полно, полно, перестань, ты меня зацелуешь!..

— Ах ты, моя ненаглядная Марина! И для меня ты бросила дом, отца, родину? Для меня решилась ехать верхом, по дикой стороне, надела казацкое платье, обрезала свои длинные, темные косы? [1]

— На что они были мне?.. Разве удавиться было ими?.. Я с радостью взяла ножницы и обрезала их. Но когда они упали передо мною на стол, темные, длинные, волнистые — словно что оторвалось от моего сердца; не стану скрывать, я заплакала.

«Косы, мои косы! — подумала я.— Сколько лет я свивала и развивала вас, сколько лет я гордилась вами перед подругами, когда вы, как черные змеи, красиво обвивались, переплетались вокруг головы моей и красный мак порою горел над вами, словно пламя! Сколько раз вы жарко разметывались по изголовью моей девичьей постели, когда чудный сон о нем волновал мою кровь, и сколько раз черною тучею закрывали мое лицо от светлого утра, от

---

[1] И до сих пор в Малороссии считается величайшим бесчестием отрезать девушке косу. Ни за какую плату девушка не согласится добровольно лишиться этого украшения. «Коса вырастет, а позора не вернешь»,— обыкновенно отвечает она на предложения парикмахера или другого афериста, покупающего волосы.— *Е. Г.*

божьего солнца, когда я, пробудясь, краснела, вспоминая сон свой!.. Думала я в гроб лечь с вами, темные мои косы, с вами, подруги моей одинокой радости и печали... И вот я подняла на вас руку, подняла руку на самое себя!.. Падайте, слезы, крупным дождем на мои косы; не приростут они, не пристанет скошенная трава к своему корню, не цвести сорванному цветку...» Так я думала — не сердись, мой милый... но это было недолго: я вспомнила, для кого лишилась своей красы — и перестала плакать, даже сама сплела обрезанные косы, спрятала на груди своей и принесла тебе в подарок. На, возьми их, они твои!..

Алексей прижал их к сердцу, обнял и расцеловал Марину. Алексей и Марина плакали.

— Скажи мне,— спросил Алексей после долгого молчания,— зачем ты назвалась Алексеем?

— Оттого, что мне нравится это имя... Ох вы, казаки, казаки! Думаете, что у баб и ума нет; а пойдет на хитрости — пятнадцатилетняя девчонка проведет старика. Видишь, я назвалась Алексеем, пирятинским поповичем нарочно, чтоб сыскать тебя скорее. Я знала, что ты должен быть на Сечи; я и не знала даже верно этого, но мое сердце вещевало, что ты здесь. А как сыскать тебя? Стану расспрашивать — может, догадаются, да и спрашивать как? А может, ты еще и не в Сечи?.. Я и подумала: назовусь сама Алексеем; коли кто тебя не знает, тот ничего не скажет, а другой, может, скажет: знаю и я одного Алексея-поповича пирятинского, видел его вот там и там, или что подобное. Это мне и на руку...

— Вишь, какая хитрая!

— Придется хитрить, когда силы нет. Чуть я сказала в курене свое имя, так все и закричали: «Вот штука! Есть у нас уже один Алексей-попович, да еще и пирятинский; вот комедия! Да его теперь нет, поехал на крымцев; да что за молодец! Да он у нас войсковым писарем!» И я все узнала, не спрашивая о *тебе,* мой сокол. Не грусти же так! Или ты разлюбил меня?..

— Меня бог покарает, коли разлюблю тебя! Оттого я и задумался, что люблю тебя, что мне жалко тебя. Мои товарищи не злы, но суровы и неумолимы, когда кто нарушает их закон. Беда, если тебя узнают! У меня сердце замирает, как подумаю... Я боюсь, чтоб этот Герцик...

— Что за нужда Герцику мешаться в ваши войсковые дела? Ведь он не запорожец, а твой приятель; да он и не узнал меня!..

— Последнему-то я не верю: у него глаза, как у кошки; скажи разве, что ему гораздо выгоднее не изменять нам...

— Разумеется!.. Оставь свои черные думы, посмотри на меня веселее, поцелуй меня!..

— Рад бы оставить, сами лезут в голову. Опять думаю: ведь Герцик знал, что ты убежала?

— Он остался в Лубнах, в нашем доме, так, верно, знал.

— Отчего же он мне не сказал? Как подумаю, тут есть недоброе...

— Ничего!.. Вот ты мне дай доброго коня, я поеду прямо на зимовник Касьяна и там подожду тебя; батюшка, верно, согласится на нашу свадьбу; не согласится — бог с ним, займем кусок степи, сделаем землянку и заживем.

Тут пошли толки, планы о будущем, уверения в любви, клятвы — словом, пошли речи длинные, длинные и очень бестолковые для всякого третьего в мире, исключая самих двух любящих. Наконец Алексей вдруг будто вздрогнул и торопливо сказал:

— Пора нам ехать; ночь коротка; чуешь, как стало свежо в палатке, скоро станет рассветать. Мне нельзя отлучиться, я тебе дам в проводники Никиту: он человек добрый, любит меня и мне не изменит; боюсь только, что он пьян... Ну, пойдем! Боже мой! Слышишь, кто-то разговаривает за палаткой?

Марина молча кивнула головою.

— Да, разговаривают; не бойся, это запоздалые гуляки, я сейчас прогоню их...

Алексей быстро распахнул полы палатки и остановился: на дворе уж совсем рассвело; перед палаткою стоит толпа казаков.

— Что вам надобно? — спросил Алексей.

— Власть твоя, пан писарь,— отвечали казаки,— а так делать не годится. Недолго простоит наша Сечь, когда начальство само станет ругаться нашими законами, когда...

— Убирайтесь, братцы, спать!.. Вы со вчерашнего похмелья...

— Дай господи, чтоб это было с похмелья! Вот я сорок лет живу на Сечи, а никогда с похмелья не грезилось такое, как наяву совершается,— говорил седой казак,— как можно прятать в Сечи женщину? От женщины и в раю человеку житья не было; а пусти ее в Сечь...

— Жаль, что из моего куреня вышел такой грешник! — сказал куренной атаман.— Испокон веку не было на Поповичевском курене такого пятна.

— Вишь, какое беззаконие! — говорили многие голоса громче и громче.— Вот оно, нечистое искушение! Вот сидит она. Возьмем ее, хлопцы, да прямо к кошевому.

— Вы врете! — сказал Алексей.— Ступайте по куреням, а то вам худо будет.

— Нет, нет! — кричали казаки.— Лыцари не врут; может, врут письменные — в школе выучились; еще до рассвета нам сказали, что у писаря в палатке женщина, мы и собрались сюда и слышали ваши речи и ваши поцелуи — все слышали, и попа призвали...

— Так есть же, коли так, у меня в палатке женщина: она моя невеста. Не хотел я оскорблять товариства и нарушать Сечи; через час ее уже здесь бы не было, а теперь ваша рука не коснется ее чистой, непорочной; разве труп ее и мой вместе вы получите...

Алексей обнажил саблю.

— Стой, сын мой! — закричал голос священника, выходившего из толпы.— В беззакониях зачат еси и во грехах рожден ты, яко человек; не прибавляй новой тяжести на

совесть. Прочь оружие! Смирись, грешник, перед крестом и распятым на нем.

Священник поднял крест; казаки сняли шапки; Алексей бросил саблю и стал на колени.

— Так, сын мой, покорись богу и законам; бери свою невесту и пойдем на суд кошевого и всего товариства. Не троньте его, братья, он сам пойдет.

— Пойдем,— твердо сказала Марина, выходя из палатки,— пойдем, мой милый; наша любовь чиста, бог видит ее и спасет нас.

И, окруженные казаками, Алексей и Марина пошли за священником к ставке кошевого.

Строго принял кошевой весть о преступлении войскового писаря, сейчас же собрал раду (совет), и несколько часов спустя, Алексей и Марина были осуждены на смертную казнь. Из уважения к заслугам писаря сделали ему снисхождение: позволили умереть вместе с Мариною. В Сечи не нашлось казака, который бы решился казнить женщину.

— Нет ли где татарина? — спросил кошевой.

— Известно, мы не берем в плен этой сволочи,— отвечали ему,— а сотник Буланый, который теперь живет зимовником, весною поймал на охоте отсталого татарина и засадил его молоть в жерновах кукурузу (маис), так разве привести этого татарина, коли он не замололся уже до смерти.

Послали за татарином, казнь отсрочили до завтра, а преступников посадили под караул в рубленую избу с железными решетками на окнах.

XIII

Отакий-то Перебендя,
Старий та химерний!
Заспіває весільної,
А на журбу зверне.

Т. Шевченко

У запорожцев был обычай доставлять преступникам перед казнию всевозможные удовольствия. Вкусные кушанья и дорогие напитки были принесены к обеду Алексею и Марине; но они не тронули их и грустно сидели, по временам взглядывали друг на друга и, с какой-то бешеною радостью улыбаясь, сжимали друг друга в объятиях. Но вот уже солнце клонится к западу; в воздухе стало прохладнее; толпы казаков, шумно разговаривая, бродили между куренями; вдалеке наигрывала бандура плясовую песню, слышался топот разгульного трепака, неслись неясные слова песни:

От Полтавы до Прилуки
Заломала закаблуки!
Ой лихо! Закаблуки!
Дам лиха закаблукам! —

и усиленный трепак заглушал окончательные слова. С другой стороны слышались торжественные, протяжные аккорды, и чистый мужественный голос пел:

На Чорному морі, на білому камні,
Ясненький сокіл жалобно квилить-проквиляє.

Народ кругом слушал песню о храбром войсковом писаре,— а сам писарь, приговоренный к смерти, задумчиво стоял у решетки и, слушая хвалебную песню, грустно глядел на солнце, идущее к западу. Резвая ласточка высоко реяла в воздухе, весело щебетала и, спускаясь к земле, вилась около тюрьмы; недалеко перед окном на старой крыше вытягивался одинокий тощий стебель какой-то

травки; он сквозился, блестел от косвенных лучей солнца и, колеблемый вечерним ветерком, тихо наклонялся к тюрьме, будто прощаясь с заключенными. На глазах Алексея показались слезы.

— О, не гляди так грустно, мой милый! — говорила Марина, ломая свои белые руки.— Твоя тоска разрывает мое сердце! Я, неразумная, довела тебя до смерти... знаю, что ты думаешь.

— Полно, Марина! Перестань кручиниться; не знаешь ты моих тяжких дум.

— Знаю, знаю! «Прощай,— ты думаешь,— ясное солнце, завтра не я уже стану глядеть на тебя! Завтра в это время веселая ласточка станет петь и летать, как и сегодня, и спокойно уснет вечером в своем гнездышке, да и эта хилая травка завтра будет еще колебаться на божьем свете, и какой-нибудь залетный жучок посетит ее одинокую, а меня уже не будет! Не станет молодого удальца; будет меньше на свете одним добрым казаком, и напрасно вороной конь станет ждать к себе хозяина — не придет больше хозяин! Другой господин сядет на коня! Закроются,— ты думаешь,— мои светлые очи! Сорвет хищный ворон чуб с моей буйной головы и совьет из него гнездо для своих детей!..» — Рыдания прервали слова Марины.

— Бог с тобой, моя ласточка! Что за черные мысли пришли к тебе? Видит бог, я не думал этого.

— Знаю, ты думал, к чему довела любовь наша? Что из нее вышло, кроме печали и несчастья?.. Алексей, мой ненаглядный сокол! Разве я хотела этого? Я несла к тебе мою чистую любовь, мое непорочное сердце, а принесла — смерть!.. Завтра мы умрем, так возьми сегодня мою чистую любовь... Послушай,— шепотом продолжала Марина, робко озираясь,— скоро будет ночь; проживем ее как никогда не жили, а завтра посмеемся над людьми; они хотят казнить любовников, им завидна чистая любовь наша — пускай казнят супругов... Будем знать, за что умрем!

И Марина спрятала пылающее лицо свое на груди Алексея.

— Ну, о чем же ты еще грустишь, мой милый? — сказала Марина, с тихим упреком глядя в очи Алексею.

— Не о себе грущу я: я вспомнил Пирятин, мою старуху матушку; может быть, в это самое время она узнала от Герцика о моем почете, помолодела, думая скоро увидеть меня... И, может быть, она глядит там далеко, в Пирятине, на это самое солнце и просит бога, чтоб спряталось оно скорее за гору, выводило скорее другой день, и чтоб и тот проходил скорее и пришло радостное время нашего свидания. И теперь, когда я, глядя на солнце, прощаюсь с ним, может быть, она в замковской церкви перед образом богоматери стоит на коленях, радостно плачет и благодарит ее... Чует ли твое сердце, добрая матушка, что ты не увидишь более сына, что он, убегая, как вор, из Пирятина, не простясь с тобою, навеки покинул тебя, оставил беспомощную на старости и завтра умрет позорно? Вот что думал я, моя милая. А смерти я не боюсь, за гробом жизнь вечная! Там не плачут, не вздыхают.

— Там мы не разлучимся с тобою! — весело сказала Марина.— Мы станем жить вместе вечно, вечно! Не правда ли? Наши души будут летать на светлом облачке, сядут на мо́ре и поплывут с волны на волну далеко-далеко, и никто им не скажет: куда вы? Зачем вы? Мы будем вольнее птиц небесных, весело слетим на могилу, где будут покоиться наши кости; я разрастусь над твоею могилою кустом калины, пущу корни глубоко и обовью ими тебя, словно руками, раскину ветви широко, чтоб твой прах не топтали люди, не пекло солнце; темною ночью вспомню нашу здешнюю жизнь, наше горе — и тихо заплачу; но чуть взойдет солнце, отру слезы, пусть никто не видит их, весело зашевелю, засмеюсь дробными листочками и душистыми цветочками; молодой казак сорвет ветку моих цветов, подарит их своей коханке; коханка вплетет мой цветок себе между косы — и пуще полюбит казака; я сумею навеять, нашеп-

тать ей чары любви — я любила на свете... любила тебя, мой чернобровый казак, тебя, моя радость.

— Ого! Какие веселенькие! — сказал, входя, Никита.

— А о чем же нам печалиться? — спросила Марина.

— Разве вас простили?

— Нет; а мы здесь вместе, и умрем вместе, и будем всегда вместе...

Никита покачал головой.

— Как нам не радоваться, брат Никита! — сказал Алексей.— Попали в беду, а тут как все нас любят, все навещают, приходят утешать...

— Гм! Вот оно что! Хитро сказано! Чистый московский обиняк. На что людям мешать? Вам, я думаю, веселее без третьего... А то досадно, что Алексей дурно думает о Никите, а Никита вот и теперь пообещал караульным сорок михайликов вина да меду сколько в горло влезет, чтоб пустили увидеть вас, пару глупых Алексеев... Господи, прости, что бабу нарекаю мужским именем!.. На Никиту сердятся, а Никита целый день поил стариков, говорил с попом да с письменными людьми, каким бы побытом и средствием спасти пана писаря. Бог вам судья, братику!

— Ну, что ж они говорили? — спросила Марина.

— У! Быстра! Цикава! Довела до беды доброго казака да и не кается! Что говорили? Ничего не говорили. Вот уже и плакать собирается!

— Оставь ее, Никита; грех обижать женщину. Что? Видно, нет надежды?

— Да я только так, я знаю их натуру; с тобою другая речь пойдет. Говорить-то они говорили много, а толку мало; все равно, что кашу варить из топора: хоть полдня кипит, и шумит, и пенится; сними с огня котелок, хлебни ложкою — чистая вода, а топор сам по себе остался... Поил я до обеда стариков-характерников; нечего сказать, старосветские люди, стародавние головы, дебелые души, а к обеду сдались — лоском легли; я тогда за советом к одному, к другому: молчат, хоть бы тебе слово, ни пару из

уст, лежат, как осетры! Сам виноват, подумал я, передал материалу. После обеда собрал с десяток письменных душ, поставил перед ними целое ведро горелки и говорю: «Вы, братцы, народ разумный, не чета нам, дуракам, вы часто в письмо глядите и знаете, что там до чего поставлено и что за чем руку тянет, дайте совет и помощь в таком деле, как оно будет?..» — «А будет так, как бог даст»,— отвечали они. «Разумно сказано! Сейчас видно птицу по полету»,— прибавил я. «О! Мы, брате, живем на этом; от нас все узнаешь, вот только хватим по михайлику».

Выпили по два, по три михайлика, а все молчат; гляжу: пьют уже по десятому; я вспомнил сердечных характерников, что до сих пор храпят под валом, и сказал: «Что ж, панове, как ваша будет рада (совет)?» — «Вот что я тебе скажу, Никита,— начал один,— а что я скажу, тому так и быть; вся Сечь знает, что я самый разумный человек».— «Не знаю, братику, где он такого разума набрался? Разве в шинке у Варки,— перебил другой,— я не скажу о себе, а Болиголова его за пояс заткнет».— «Убирайся ты с своею Болиголовою подальше, куда и куриный голос не заходит; вот я расскажу...» — сказал третий. «А чтоб ты кашлял черепками, стеклом да панскими будинками (хоромами)!» — закричал другой. Да как подняли меж собою письменные души спор, крики, брань, что твои торговки на базаре в Гетманщине, только и слышно: Я! Я! Я! Я! Не успел оглядеться да расслушаться, а они уже друг друга за чубы; перессорились, передрались, словно петухи весною, и пошли до куреня позываться (судиться); пропала только моя горелка!.. А вот уже вечереет, я и пошел до панотца (священника). Панотец меня выслушал и говорит: «Дело, брате, важное, не выскочить Алексею от смерти».— «Будто, батьку, никак не можно спасти?» — спросил я. «Нельзя,— сказал панотец,— таков закон на Сечи. Правда, коли найдется женщина, которая захотела бы из-под топора или петли прямо вести преступника в церковь и перевенчаться с ним, то его простят; да кто

захочет опозорить себя? Да и где возьмется на Сечи женщина? Люди в старину нарочно сделали такой закон: знали, что женщине неоткуда взяться».

— Вот и все тут, брате Алексею! Плохо!

— Плохо, Никита! Видно, на то воля божия! А все-таки тебе спасибо, бог тебе заплатит за твое старание.

— Да я выйду за Алексея,— почти закричала Марина,— я скажу перед народом, что...

— Овва! Опять свое. Что ты скажешь? Ну что? Сама заварила кашу да хочешь и расхлебать... Не до поросят свинье, когда ее смалят (палят)... Молчала б лучше да богу молилась... Прощай, Алексей!

— Куда ты?

— Так, скучно, брате, хоть в воду броситься, скучно! Целый день поил дураков, а сам ни капли в рот не брал; кутну с досады...

— Не ходи, Никита, потолкуй с нами.

— С вами теперь толковать, что воду толочь: только устанешь; и вам веселее вдвоем; наговоритесь, пока есть время.

— Куда же ты?

— Поеду с горя к Варке в шинок!

— Что ж тебе за горе?

— Грех спрашивать, брате Алексею! Разве мне не жалко тебя? Черт вас знает, за что я полюбил вас, сам не доберу толку! Еще тебя куда ни шло, ты человек с характером, а то и ее полюбил... кто-нибудь подслушает, смеяться станет, а ей-богу, полюбил! Будь она казак, я плюнул бы на нее, она дрянь-казак, неженка, а для бабы — молодец баба, характерная баба! Вот что!.. Как вспомню про вас про обоих, тошно станет, словно не ел трое суток... Прощайте! Тяжело на душе; разве успокоюсь, как... как похороню вас...— Никита махнул рукой и вышел.

XIV

Тілько бог святий знає,
Що Хмельницький думає-гадає.

Малороссийская
народная дума

Встало утро, тихое, светлое, радостное; на востоке показалось солнце, и навстречу ему поднялись жаворонки с широкой степи, взвились высоко под чистое небо, запели звонкую приветственную песню; в садах отозвалась кукушка, засвистала иволга; белый аист, дремавший над гнездом на кровле хаты, закинул за спину голову и, громко щелкая носом, медленно приподнял ее и опустил до самого гнезда, будто приветствуя этим наступающий день, потом распустил свои широкие белые крылья, приподнял их кверху, словно руки, и плавно отделился от крыши вольными кругами, подымаясь все выше и выше, с любовью посматривая на землю, на детей своих, протянувших к нему из гнезда шеи. Был весел божий мир, а в Сечи нерадостно встречали светлое утро; смутно, угрюмо сходился народ на площадь; на площади прохаживался рябой узкоглазый татарин в красной рубахе с короткими рукавами, в красной шапке; лицо татарина было бледно, измучено, но жилистые руки легко поворачивали, играли топором. По временам татарин дышал на светлое, острое его лезвие и внимательно смотрел, как сбегало с него легкое облачко, навеянное дыханием, или осторожно трогал пальцем острие, причем злая, мгновенная, неуловимая улыбка быстро мелькала на узких, плотно сжатых губах мусульманина. Казаки с презрением отворачивались от татарина, даже скидывали и бросали на землю жупаны, до которых он случайно дотрагивался.

Перед тюрьмою вилась и щебетала вчерашняя ласточка; как и вчера, тихо колебалась на крыше одинокая травка; в тюрьме Алексей и Марина стояли на коленях перед ико-

ною и молча слушали наставления священника. Но вот послышался на площади глухой гром литавр.

— Пора, дети! — кротко сказал священник.— Готовы ли вы?

Заключенные взглянули друг на друга, потом на образ, перекрестились, крепко обнялись и тихо вышли из тюрьмы за священником; четыре вооруженные казака шли за ними. Кругом бесчувственно глядели суровые лица запорожцев; порою с сожалением кивал в толпе черный чуб, порою скатывалась по седым усам старика блестящая слеза; но старик сейчас же спешил сказать: «Экие овода! Хватил за ухо, словно собака; даже слезы покатились».

Перед церковью Покрова Алексей и Марина упали ниц, молясь со слезами, потом встали, отерли слезы и бодро, смело подошли к подмосткам, на которых стоял страшный татарин с топором в руках, в красной рубахе.

— Христианские души! — замечали в толпе.

— Характерные души! — говорили другие.

Площадь была битком набита народом; некуда было яблоку упасть, как говорил Никита. Против подмосток, где был палач-татарин, стоял на возвышении кошевой, окруженный старшинами; в толпе народа, у самых подмостков, был Никита. Глядя на Никиту, можно было подумать, что он для бодрости в таком печальном случае спозаранку был пьян. Он стоял как-то странно, переминаясь с ноги на ногу, точно школьник, поставленный человеколюбивым педагогом на горох на колени; его глаза страшно сверкали и хлопали, он по временам, наклоняясь к своему товарищу, закутанному в кобеняк (плащ с капюшоном), таинственно шептался, громко кашлял и самодовольно опускал руки в бесконечные карманы своих широких шаровар.

Осужденные, подошед к подмосткам, низко поклонились кошевому и всему народу. Перед ними была маленькая площадка. В это время Никита значительно посмотрел на своего товарища, закутанного в кобеняк, мигнул ему усом

и наконец толкнул локтем под бок; товарищ стоял, как статуя.

— Вот, братцы...— начал было Никита, но вдруг замолк: его молчаливый товарищ ровным шагом выступил на площадку, поклонился народу, снял шапку и спустил с плеч кобеняк. Народ с ужасом подался в стороны: на площадке стояла женщина.

— Урожай на баб в это лето! — заметил кто-то в толпе.

Бледная, дрожащая стояла эта женщина, распустив по плечам длинные каштановые косы, тихо повела глазами над площадью и остановилась на Алексее. Вмиг щеки ее вспыхнули, глаза заблистали, руки вытянулись, и твердым голосом сказала она:

— Волею или неволею я возьму у смерти Алексея-поповича; пускай на меня падут грехи его, я отвечу за них богу. Алексей! обними меня, жену твою!

— Ай да Татьяна! — сказал в толпе молодой казак. И все утихло.

В какой-то торжественной красоте стояла перед Алексеем Татьяна, сознав в душе всю цену своей заслуги перед любимым человеком; ее глаза блестели, щеки горели, полная, круглая грудь высоко подымалась.

Алексей молчал; толпа притаила дыхание.

— Хочешь ли ты вместо плахи обручиться со мною? — спросила Татьяна; но уже голос ее дрожал, прежняя бледность быстро сгоняла с лица румянец.

Алексей поглядел на Татьяну, подал Марине руку — и твердо взошел на подмостки. Никита плюнул и махнул обеими руками; Татьяна, шатаясь, упала на землю.

— Молодец! Отказался! — раздавалось в толпе.— Характерно, черт возьми! И поганая Татьяна хотела его взять мужем! Хотела извести добрую душу! Вон ее, скверную бабу! Гоните ее палками, коли не хочет прогуляться между небом и землею...

И с насмешками и толчками толпа передавала с рук на руки Татьяну. На площади поднялся шум и говор. Уж

не видно стало Татьяны, а толпа все еще волновалась и только замолкла, когда кошевой взмахнул булавою.

— Тише! — раздалось в толпе.— Кошевой просит слова.

— Войсковой писарь Алексей-попович нарушил законы нашего товариства,— сказал кошевой.— Это ведомо?

— Ведомо, ведомо!

— Старшины войсковые и рада присудила его, Алексея, с его искусителем, Мариною, лишить живота, хоть Алексей и верно служил войску и ни в какие художества не мешался — да закон велит.

Народ молчал.

— Что же вы, паны товариство, согласны?

— Делать нечего, коли закон велит,— угрюмо отвечали казаки.

— Хорошо, хлопцы! Знаменитые лыцари вы есте! Закон прежде всего, а там уже прочее. Зачем же мы до сих пор беззаконно поступали с нашим войсковым писарем? Даже сам я, каюсь в грехе своем, и я поступил беззаконно.

— Не знаем, батьку.

— А я так знаю. Не следует ли всякому человеку нашего товариства давать благородное лыцарское прозвище?..

— Следует, следует! Как же без этого?..

— Сами говорите; а какое достойное лыцарское прозвище дали вы своему собрату Алексею-поповичу?

— Какое?.. Какое?.. Известно какое — попович.

— Ведь с этим прозвищем приехал он из Гетманщины; да это не прозвище; мало ли у нас есть поповичей, а все они титулуются по-лыцарски: вот перед нами Лапоть, вот Чубарый.

— Вот и я, Максим-попович из Чигирина,— отозвался один казак,— а зовут меня Недоедком, и за то спасибо.

— Тши!..

— Не шикайте, братцы! — продолжал кошевой.— Не перебивайте хорошей речи вольного казака; казак волен говорить толковые речи. Так вот вам и Недоедок, вот

Брехун, вот Бродяга, а все они суть поповичи! И как любо им носить добрые имена, и, посмотрите, как весело глядит на них солнце, оттого что они законно живут на свете.

— Правда, правда.

— Сами знаете, братцы, что правда; вы народ разумный — а промахнулись, не дали имени храброму казаку; за то, может быть, бог карает его и нас вместе, отнимая у Сечи характерного человека.

— А может, и так?..— сказал кто-то в толпе.

— Именно так, дело ясное! — почти вскрикнул Никита и за ним несколько голосов.

— За что ж мы обидели христианскую душу,— продолжал кошевой,— не дали запорожского имени лыцарю-товаришу? Без имени овца — баран, говорят мудрецы...

— Баран, батьку, баран!..

— Как же явится на тот свет добрый казак без законного прозвища? Грех нам всем, великий грех! Готовились к набегу на Крым и забыли закон исполнить.

— Виноваты, батьку! Что ж нам делать?

— Дадим ему хоть теперь доброе имя, снимем грех с души.

— Добре, батьку! Добре — дельно сказано! Какое же ему имя дать?

— Вот послушайте, братцы, моей рады (совета). Вам известно, что Алексей-попович сам хотел умереть за наше войско, просил, чтоб его бросили в море, лишь бы спасти наши чайки, а с чайками, известно, и наши головы — исповедывал перед богом, морем и нами, старшинами-товарищами, свои грехи, и умилостивил бога своими молитвами и тем спас наши чайки. Многим из нас не стоять бы на площади, не думать бы о Сечи и о михайликах без заступления Алексея.

— По век не забудем этого! — громко закричали казаки.

— И хорошо делаете. Так не назвать ли Алексея-попо-

вича, в память избавления чаек, Чайковским? Как вы думаете?

— Ты нам, батьку, голова, ты думаешь, и мы думаем: быть ему Чайковским!

Громкое «ура!» отозвалось на площади; шапки полетели кверху...

— Итак,— продолжал кошевой, поднимая булаву, отчего народные крики утихли,— отныне впредь никто не смеет под смертною казнью иначе называть бывшего Алексея-поповича, как Алексеем Чайковским. Слышите, храбрые лыцари?

— Чуем, батьку! Никто не смеет!..

— Теперь на прощанье не спеть ли нам, братцы, Алексею Чайковскому песню про Алексея-поповича? Пускай человек в последний раз услышит наш казацкий, лыцарский напев про свои добрые дела для нашего воинства! Хорошо, братцы?

— Добре, добре! — кричали казаки.— Начинай, Данило.

И Данило-кобзарь чистым ровным тенором затянул:

На Чорному морі, на білому камні,
Ясненький сокіл жалобно квилить-проквиляє.

Мало-помалу окружающие принимали участие в песне, и под конец вся площадь слилась в один звучный, дикий, но стройный хор. Песня, видимо, разжалобила запорожцев...

— Жалко доброго казака! — сказал будто сам себе кошевой, когда казаки окончили песню и стояли в каком-то раздумье.

— Жалко, жалко! — со всех сторон отозвалось в народе.— Жалко, а делать нечего, когда законно...

— Еще, хлопцы, я прошу у вас одной рады: войсковый писарь Алексей Чайковский хочет жениться на дочери лубенского полковника Ивана. Полковник Иван сдурел на старости и было призадумался, да его дочка лучше знает,

что такое запорожский лыцарь, бросила отца и пришла в Сечь просить у товариства благословения!.. Согласны вы на это?

Казаки в недоумении молчали.

— Знаю, братцы,— продолжал кошевой,— вам жалко лишиться такой характерной души, как Алексей Чайковский, но надобно ему заплатить за услугу. Он обещается всегда помогать нам на войне и детей своих пришлет служить на славное Запорожье.

Казаки любили Алексея и уважали за личную храбрость и непреклонный характер, а потому с радостью согласились на его свадьбу.

— Ай да собака наш кошевой! — кричал Никита, размашисто толкая товарищей.— Выкинул штуку!

— Штука! — говорил народ.— И справедливо, и законно, и весело!..

— А для чего ж я привез татарина? — спросил угрюмо седой казак.

— Чтоб казнить Алексея-поповича,— отвечал строго кошевой,— найди его и прикажи казнить.

— Да, найди его, Дмитро,— кричали старику казаки,— и пускай его казнят! Вот штука!.. Ей-богу, штука!

— Смерть Алексею-поповичу и многая лета Алексею Чайковскому! — гремела толпа, ломая подмостки и торжественно уводя Алексея и Марину к церкви Покрова.

— Бейте для потехи поганого татарина!

Подмостки рухнули, и долго еще было видно между досками тело татарина, одетое в красную рубаху, когда народ отошел и окружил церковь, в которой венчали Алексея Чайковского с Мариною.

После венца сейчас же выпроводили новобрачных за ворота Сечи; там старшины простились с Чайковским; кошевой подарил ему пару добрых коней и порядочный мешок дукатов, советовал ехать на зимовник старого Касьяна и там ждать вестей от полковника, обещался приехать к ним на свадьбу в Гетманщину и быть посаженым отцом.

Случилось ли вам видеть страшный сон? Не то будто вы проиграли пульку в преферанс, или вас оклеветал ближний, или вам подали холодного супу, или смазливенькое личико, давши вам слово танцевать, отказалось и пошло с мягкими бархатными усиками, а вы для vis-a-vis[1] полчаса гуляли по зале с каким-то привидением — или будто вы в театре, где играют нестерпимую нелепицу: перед вами на сцене русский мужик, бородач, широковещательно перелагает на *российский диалект* «*De officiis*»[2] Цицерона и машет руками и горячится, как в старину сам *оный* пресловутый вития перед романским *народишком,* а его жена в кокошнике, в сарафане и французских башмаках, попивая православный квасок, решает вопрос о Востоке лучше заморских газет и парламентов... Вы хотите бежать, но двери заперты, никого не пускают, а между тем автор пьесы самодовольно глядит на вас из ложи и, улыбаясь, будто говорит: «Что, приятель, попался? Знай наших!» Согласен, это страшные видения, невыносимые сны — но не о таком говорю я: нет, случалось ли вам видеть сон тяжкий, сокрушительный, убивающий ваш дух в самом существе его, сжимающий ваше сердце, открывающий перед вами одно отчаяние и безнадежность?.. Испытали ли вы радость при пробуждении от такого сна?.. Не правда ли, что эта радость не имеет ничего общего с другими нашими радостями? Перед нею бледны и бесцветны, как горящие свечи перед солнцем, лучшие минуты, украшающие вашу жизнь, и первые эполеты, и гармоническое *«люблю»,* сказанное вам когда-то очень благовоспитанною барышней, сказанное, может быть, потому, что ей очень хотелось сказать кому-нибудь это слово, и рукопожатие вашего начальника, и приглашение на обед к значительному лицу, и все прочие блага земли, которые в свое

---

[1] Для компании *(фр.)*.
[2] «Об обязанностях» *(латин.)*.

время сильно заставляли трепетать ваше сердце, не правда ли?

Если вы можете представить эту восхитительную, светлую, спокойную радость, это успокоительное сознание, что прошедшее — мечта, пустой сон, тогда вы приблизительно поймете состояние Алексея и Марины — я не берусь его описывать: есть минуты в жизни, есть чувства, ощущения, которые не подлежат никакому описанию, хоть они доступны почти всякому. Кто из нас не понимает вполне красоты и величия солнца и кто из прославленных живописцев изобразил его, хотя многие изображали, изображают и будут изображать?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Там родилась, гарцювала
Козацькая воля;
Там шляхтою, татарами
Засівала поле,
Засівала трупом поле,
Поки не остило...
Лягла спочить... а тим часом
Виросла могила.

Т. Шевченко

...............Cher amant,
J'ai vécu pour t'aimer, et je meurs en t'aimant.
....
Je les ai tous perdus... je n'ai plus qu'à mourir.
Gilbert [1]

Когда уехал кошевой и старшины, Алексей с Мариною, упав на колени, помолились богу, обнялись и поехали на зимовник старого Касьяна. И вот они одни в чистой степи; Сечь уже скрылась из виду; кругом зеленая пустыня — только земля да небо; по земле серебристою волною, словно море, лоснится ковыль, когда ветер слегка его заволнует; на небе горит одинокое солнце. Тихо, пусто... но нашим путешественникам степь не казалась пустынею: их души были полны внутреннею жизнью, сердца близко бились друг подле друга; им улыбался божий мир, и они улыбались, глядя на него, и, останавливая друг на друге взоры, пожимали руки, как бы стараясь увериться, не сон ли это? Счастье было слишком велико, слишком неожиданно...

---

[1] Дорогой возлюбленный,
Я жила, чтобы тебя любить, и я умираю, тебя любя.
....
Я всех их потерял... мне осталось только умереть.
Жильбер (фр.)

На далеком горизонте показалась черная точка; она, казалось, не росла, не умалялась, не двигалась в стороны.

— Уж не ворог (враг) ли это? — сказал Алексей.— Только быть не может.

— Куст или камень,— отвечала Марина.

— Сколько я помню, здесь неоткуда взяться ни кусту, ни камню. Впрочем, посмотрим,— прибавил Алексей, остановил коня, поднес к глазам нагайку и, прищуря левый глаз, долго смотрел вдаль правым через нагайку.

— А что? — спросила Марина, когда Алексей, опуская нагайку, сомнительно пожал плечами.

— Не приберу толку что, а что-то живое; как ни прицелюсь верно нагайкою — сходит немного в стороны с нагайки. Отчего ж оно не едет к нам, не уходит от нас?

— Может быть, орел теребит зайца.

— Похоже на это; приедем ближе — увидим.

Чем более подъезжали они к незнакомому предмету, тем более точка увеличивалась, яснее обозначались формы предмета, и скоро легко можно было различить стоящую лошадь и возле нее в тыл человека, припавшего над чем-то на колени. Человек был в одних шароварах и рубахе; куртка и черкеска лежали в стороне, брошенные на траву; засучив рукава по локоть, казалось, он что-то связывал или развязывал и так был занят, что не слышал, когда его лошадь, завидя сторонних, чутко выпрямила уши, вытянула шею и заржала вполголоса; он тогда только обернул свою голову, когда Алексей был от него в двух шагах.

— Никита! — закричал Алексей.

— Да, Никита! Хорошо тебе горланить! Посмотри, вот твоя работа.— При этом он встал, держа в руках окровавленный нож, и показал им на лежавшую мертвую женщину.

— Бедная Татьяна! Неужели ты ее зарезал, Никита?

— По речам видно гетманца! Прямой запорожец не скажет этого. Никита турка режет, татарина режет, жида

режет и всякую нехристь, а баб не станет резать; ты убил ее своими быстрыми очами, да черными бровями, да сладкою речью!.. Дура была покойница — и все тут... А подумаешь — и я дурак.

— Бог с тобою!..

— Бог со мною, всегда со мною, оттого, что я христианский лыцарь, а все-таки моя правда: глупо я сделал, что поехал к Варке в шинок; думал-то разумно, а вышло глупо — думал тебя спасти, Алексей, а погубил добрую бабу!.. Я, видишь, как услышал от панотца (священника), что есть способ тебя вызволить от смерти, и поехал нарочно к Варке в шинок, отвел в сторону Татьяну и рассказал ей, в какой ты оказии находишься; гляжу, она побледнела, бедная, как полотно: верно, душою почуяла близкий конец. Я вижу, что разжалобил Татьяну, и стал просить ее: спаси, дескать, войскового писаря, коли меня любишь; через тебя, говорю, пропал старый писарь — пусть же через тебя молодой поживет на свете. Как кинется она мне на шею, как стала целовать меня и говорит: я тебя теперь так люблю, Никита, как никогда не любила; ты мой и такой и этакой; я пойду на Сечь, вырву Алексея из рук смерти, ей-богу, вырву!.. И опять кинулась целовать, мне даже стало как-то немного неспокойно, что девка так меня любит, а будет твоею женой... Я кутил всю ночь, прикинулся пьяным, оставил в шинке все крымское золото, а споил с ног и своего товарища Бурульку, и Варку, и ее племянниц и после полуночи поехал домой; я подождал немного в долине, недалеко от балки (оврага), Татьяну; она скоро приехала ко мне на Бурулькиной лошади и в его кобеняке; мы поскакали и к утру были на площади у подмостков, где гулял неверный татарин, нахваляясь на твою крещеную голову. Что было после, ты сам знаешь. Эх, бедняжка! Вишь, как ее вытянуло! Жаль!.. Веселая была Татьяна!

— Зачем же теперь ты здесь? Что ты делал с нею?

— А что ж? Разве грех помочь христианской душе?

Покойница хоть была баба, да все-таки христианка. Видит бог, как жалко мне стало, когда погнали ее хлопцы вон из Сечи, хоть я и смеялся над нею с другими и тюкал из политики, как на бешеную собаку. Хорошо еще, что на Сечи было много знакомых покойнице между молодыми казаками, те ее кое-как защитили: окружат, будто толкают, а сами все дальше да дальше выводят из Сечи, а то старики уколотили бы ее в смерть. Сначала бедная Татьяна шла пошатываясь, спотыкалась немного, отдувалась на стороны, ворочая головою, будто человек, только что вынырнувший из воды, а потом ничего, обошлась, попривыкла; кого и сама толкает, кого ругает, кому язык покажет, так что всех развеселила. Вывели мы ее за ворота Сечи и сказали: «Убирайся теперь на все четыре стороны, теперь твоя воля».— «Вот вам за труды»,— сказала Татьяна и плюнула нам почти в глаза и побежала в степь.

Из политики нельзя никому было провожать ее, да притом все торопились на площадь узнать, что там делается. А когда я увидел, что дело пошло хорошо и тебя повели венчать с Мариною, то и подумал: теперь Чайковскому и черт не брат; разве одна с ним беда будет — что баба повиснет на шее, а теперь, пока народ шумит и толпится возле церкви, меня никто не заметит, поеду, проведаю Татьяну; сел на коня, махнул по свежему следу, как собака за зайцем — и нашел ее здесь.

— Мертвую?

— Как бы не мертвую! Живехонькую! Лучше бы мертвую застал, а то сидит на траве, задумалась и смотрит на медный дукат, что висел у ней на шее вместе с крестиком.

«Здравствуй, Татьяна! — сказал я.— Ждала меня?» — «Здравствуй, Никита,— отвечала она,— и не думала ждать!» — «Вот тебе и раз! Зачем ты сидишь тут, дурная баба?» — «Бежала, Никита,— говорит она,— устала, очень устала, ноги подкосились, села отдохнуть. А ты зачем тут ездишь, дурной казак?» — «Вольному казаку никто не запретит ездить, где ему хочется. Я приехал тебя

проведать, моя уточка, да привез тебе хорошую весточку: наш Алексей жив, здоров и тебе кланяется».— «Неужели? — закричала она.— Вы отняли его у кошевого?.. Ай да молодцы запорожцы! Расскажи же поскорее, как это было».

И где взялась сила у покойницы! Прежде ни жива ни мертва сидела, а то бойко вскочила на ноги, схватила за повода коня и кричит: «Рассказывай!» Я рассказывал ей все как было. «Оставил,— говорю,— их в церкви...» Гляжу: выпустила Татьяна из рук повода, побледнела, опустила руки, вытянулась и смотрит на меня страшно, будто съесть хочет, а сама смеется...

«Что с тобою?» — спросил я. «А! Старый дурень,— сказала она,— ты мне такие вести носишь?.. Мой милый, мой Алексей венчается с другою... а ты зачем здесь? Слушай песню:

Ты думаешь, дурню,
Что я тебя люблю,
А я тебя, дурню,
Словами голублю!

Понимаешь, Никита?.. Я думала, он умер... Жаль было, душа болела, только и радовалась, что ни *ей,* ни мне не достался! А теперь!.. у!.. свадьба!.. свечи, гроб!.. Слышишь!.. поют!..

Жук гуде,
Свадьба буде..

Слышишь?.. Пойдем!..»

Тут она залилась слезами, а я догадался, что кругом дурак; что она тебя, Алексей, любила, а меня голубила словами, и, право, горько стало, не от того, прах ее возьми, чтоб я любил ее, как там паны любятся в Польше, а с досады, что баба, да еще молодая, проводила меня. Лях не проводил, татарин не проводил, а провела баба!.. Приснится, так перекрестишься!.. Немного поплакав, Татьяна

заговорила со мною, да я ничего уже не понял: то кланялась тебе, то целовала крестик и медный дукат на шее, но, глядя на дукат, вспоминала свою матушку, просила у нее благословения, потом запела свадебную песню... затянула высоко-высоко, я уж было и заслушался; вдруг остановилась, будто кто ей рот зажал рукою, и повалилась на землю; я к ней — не дышит, глаза открыты и не двигаются. Что будешь делать?.. Вспомнил я, что в прошлом году в походе почти такая притча случилась с моим Гнедком, совсем издыхал конь и ноги откидал; присоветовали люди пустить степную кровь — он и ожил. Не было со мною ланцета, я взял нож и кинул Татьяне степную кровь; как пошла кровь порядочно, гляжу, вздохнула Татьяна, повела глазами, посмотрела на меня и шепчет: «Прощай, Никита, кланяйся Алексею... Да сними с моей шеи и отдай ему этот медный дукат; в нем, говорят, много силы, он...» — да и не договорила... Богу душу отдала. Я уже и тру ее суконкою, и водки лью в рот, ничто не помогает, холодна, как лед. Вот что!

— Бедная Татьяна! — сказал Алексей.— Царство ей небесное; добрая была душа! Что же ты, Никита, станешь делать?

— Вырою саблею яму, прочитаю молитву, да и похороню небогу (сердечную).

— И я помогу тебе...

— А куда вы едете? — спросил Никита.

— На зимовник Касьяна.

— Вот же что я тебе скажу: поезжай ты с женою своею дорогою; дорога тебе еще далекая: дай бог засветло добраться, не заморивши коней; а как со мною еще простоишь час-другой, то придется заночевать в поле; казаку-то в поле ночевать — здоровья набираться, да ты не один, с тобою такая птица, что подчас и росы боится. Поезжай, брате Алексею, пусть я один похороню Татьяну, у тебя есть теперь о чем заботиться... Прощай, Алексею! Да возьми дукат, что тебе отказала Татьяна.

— Бог с ним! Что она мне была? Ровно ничего. Зачем же я возьму дукат?

— Отдай его мне, Никита,— сказала Марина,— она мне родная, она любила моего Алексея, я буду носить ее подарок... Ты мне отдаешь его, Алексей?

— Бери, коли тебе хочется, мое золото,— говорил Алексей, надевая на шею Марины снурок с медною татарскою или турецкою монетою и глядя ей в очи, полные слез.

— Вишь, какие горлицы! — почти закричал Никита.— Не пристало вам быть подле мертвого, убирайтесь отсюда!.. Прощайте! Да хранит вас бог и покроет от напастей святая наша *Покрова!*

Алексей и Марина простились с Никитой и быстро поскакали по степи, будто убегая страшного зрелища смерти. Никита вынул из ножен саблю, перекрестился и начал рыть могилу, напевая вполголоса:

Ветер веет, трава шумит,
В степи лежит казак убит;
Не для него ветер веет,
Не для него солнце греет;
На голову, покрытую
Зеленою ракитою,
Уж сел ворон, шумно крячет,
А верный конь у ног плачет.
«Не кушанье, не мед готовь
Мне, матушка, а домик нов,
В нем три доски сосновые,
Четвертая кленовая!..»

II

Ой, гоп! по вечері
Замикайте, діти, двері.
А ти, стара, не журись,
Та до мене прихились.

Т. Шевченко

А девушке в семнадцать лет
Какая шапка не пристанет!

А. Пушкин

И теперь, проезжая херсонские степи, вы часто можете видеть подобие запорожских зимовников, или хуторов, на которых жили женатые запорожцы. Та же ограда из камня, довольно неровная, потому что круглые валуны булыжника всегда неохотно ложатся друг подле друга и оставляют между собой отверстия, которые теперь иногда замазывают поселяне глиною: в старину они служили вместо амбразур; из них житель зимовника часто высматривал на степи друга и недруга и, в случае надобности, посылал недругу меткую пулю; и теперь подобная огорожа часто украшается сверху густым венком из сухих ветвей колючего степного терновника, что в старину было непременным условием; и теперь многие избы сложены из камней, покрыты соломою или грубыми стволами степного бурьяна. Словом, кто видел полудикий херсонский хуторок, тот может иметь понятие о наружности зимовников запорожцев; только те часто бывали обширнее и в своей каменной ограде заключали или могли заключать все хозяйство, даже скирды хлеба и стада.

Уж был вечер, когда Чайковский с своею женою приехали на зимовник Касьяна и остановились у ворот. Казалось, нет в нем ни одной живой души. Словно крутая батарея стоял зимовник, обведенный высокою каменною стеною, часто утыканною сверху терновником; только собаки, почуя чужих, заливались за оградой.

— Отвори, дядюшка Касьян! — закричала Марина.

— Молчи,— сказал Алексей,— кто так говорит, да еще ночью, с запорожцем! Беду накличешь, слышь?

Точно, кто-то подошел изнутри к ограде; стая воробьев, дремавших на терновнике, вспорхнула; тихо щелкнул ружейный курок...

— Пугу, пугу! — закричал Алексей, приложив воронкою ко рту кулак.

— Пугу? — вопросительно пропел таинственный, невидимый голос за оградою.

— Казак с Лугу,— отвечал Алексей.

— И давно бы так! — сказал голос.— Хлопцы, отворяйте ворота, а коней повешайте там, где и наши (привяжите к яслям). Милости просим до хаты.

— Ваши головы, пане ота́мане и товариство,— говорил Алексей, входя с Мариною в хату.

— И мы ваши головы, ваши головы!.. Прошу сидаты,— отвечал хозяин.— Откуда бог несет? Хлопцы, дайте меду!.. С дороги не худо выпить...

— А ты и не узнал меня, дядюшка Касьян? — сказала хозяину Марина.

— Так и есть! Он! Пари держу, что ты кричал у ворот, как баба. От тебя только и может это статься.

— Отгадал, дядюшка.

— Благодари бога, что с тобой разумный товарищ и знает все наши поведенции, а то недалеко было бы тебе попробовать пули.

— За что?

— Еще и за что? Пожил на Сечи хоть немного, а ума ни крошки не набрался! Всякого народу бродит по степи: коли кто не откликнется по-нашему, так и не наш, а коли ночью ходит, так и неприятель, бей его, пока он тебя не убил. Благодари своего товарища...

— Он мне не товарищ, а муж, дядюшка Касьян.

Старый Касьян молча уставил глаза на Марину, как бы не понимая, что должно ему делать, смеяться или сердить-

ся за такую нелепую шутку, и пришел в ужас, когда Чайковский растолковал ему, в чем дело.

— Ах ты окаянная! — сурово говорил Касьян.— Так ты провела мою седую чуприну (чуб), как теленка?.. Счастье ваше, что вы у меня в хате и отдали мне свои головы, а то я ведь сердит, очень сердит... Верно, все вы созданы для обмана... Как умерла покойница жена, вот и подумал: все кончено; отдыхай, Касьян, на старости: уж никто тебя больше не станет обманывать — а тут нашлась другая... И не знал и не ведал, привязалась бог весть откуда на дороге и в круглые дураки записала... Срам подумать. Господи многомилостивый,— продолжал грустно Касьян, набожно смотря на образа,— прости мне, старому дурню, мое согрешение... За два дуката провел было я в родную Сечь страшного неприятеля, хуже ляха и татарина, злее турецкой чумы и крымской лихорадки... провел было окаянную бабу!.. Не знал я, господи, что оно такое, ей-богу, не знал... вот тебе крест!..— Касьян перекрестился.

После молитвы Касьян успокоился. Марина начала у него просить прощения.

— Бог с тобою, я на тебя не сержусь; на себя сержусь я, что оплошал... Ну, да было, что было, верно, так богу угодно, прошло — и я забуду... Теперь мое дело уважать тебя: ты еси жена славного запорожца Чайковского; наш кошевой вас поважает и не забыл меня, старика: отправил ко мне в гости; спасибо ему, живите у меня, пока не соскучитесь. Вот вам мое слово.

Алексей и Марина бросились обнимать Касьяна.

— Полно, полно, дети! Вы задушите старика,— говорил Касьян, отирая слезы,— вы добрый народ, бог вас возьми!.. Были и у меня дети, была жена... Нет детей, нет сыновей: один утонул под Азовом, другого сожгли ляхи, а третьего конь убил, свой конь... добрый был конь, а убил сына!.. Ни за что, ни про что пропал человек!.. Вот пятый год жена умерла... и я один доживаю век с хлопцами... Спасибо вам, что приехали.

— Да ты, кажется, Касьян, не любил жены? — спросила Марина.

— Кто тебе сказал? Может, не любил, а может, и любил. Не все правда, что говорится, не все золото, что блестит... Не любил! А какой же нечистый заставил бы меня жениться?.. Я не пан какой, меня никто не присилует против воли!.. А, много говорить, да нечего слушать,— сказал весело Касьян, махнув рукою,— вы, я, чай, голодны с дороги. Гей! Кухарь, изготовь нам *вечерю;* у меня гости, я помолодел двадцатью годами, ей-богу!.. Вари до молока тетерю да мамалыгу до масла, а хлопцы пускай заварят знаменитую варенуху! Извините, паны; вы, гетманцы, привыкли к вареникам, галушкам, панпушкам, буханцам и всяким лакомствам, а наши степные запорожские кушанья просты.

— Мы и сами, батьку, запорожцы,— сказал Чайковский.

— Добре, добре! Вот спасибо за правду. Зови меня, сынку, батьком; давно я не слышал этого имени... ей-богу, давно, мои дети!

Теперь многие, даже из моих земляков, очень хорошо знают и страсбургский пирог, и лимбургский сыр, и пьемонтские трюфели, и много других тому подобных вещей, правда, очень приятных — и, пари держу, станут в тупик при словах «тетеря», «мамалыга», «варенуха». «Это старина!» — скажут мне в ответ. Согласен; но мы знаем малейшие привычки древних греков и римлян, знаем, что последние любили жарить ветчину с медом и финиками, или что, пресытясь вкусным столом, они, pour la bonne bouche [1], кушали иногда живых рыбок. Зачем же презирать родную старину? Впрочем, я не обременю вас подробностями и скажу в коротких словах, что «тетеря» была род жидкой каши из ржаной муки, на воде, молоке или на чем кто любил; «мамалыга» — род пудинга, из маисовой

[1] На закуску *(фр.)*.

муки: ее едят, пока горяча, с свежим коровьим маслом и разрезывают ниткою; а «варенуха» — вареное вино с сухими плодами и пряными кореньями, нечто вроде глинтвейна.

За ужином старик Касьян развеселился и обещал, если чрез неделю не будет никаких вестей из Сечи, сам съездить в Лубны к полковнику Ивану и во что бы ни стало добиться от него ответа.

— А теперь выпьем еще по чарке варенухи,— продолжал Касьян,— да с дороги, может, кому и спать пора.— При этом он мигнул на Марину седым усом, прищуря левый глаз. Марина покраснела.

— Вам никто не помешает спать,— говорил Касьян,— я вам отведу светелку моей покойницы; теперь хоть и с богом, почивайте, дети, на здоровье. Да нет, погодите...

Касьян вышел и скоро возвратился, держа в руках железный ключ, и, отдавая его Марине, сказал: — Вот это ключ от скрыни (сундука), которая стоит в вашей светелке: отопри ее и принаряжайся как знаешь: там лежат наряды моей покойной жены, у нее были добрые наряды и парчи много, и всякой всячины — не стыдно надеть полковничьей дочери.

— Не нужно, батьку; к чему ей? — говорил Алексей.

— Я и так привыкла, мне и так хорошо,— сказала Марина.

— Молчите, дети! — вскрикнул Касьян.— В чужой монастырь со своим уставом не ходят; за мою хлеб-соль да еще станете спорить со мною!.. Разве мне будет весело смотреть, что у меня в гостях жена войскового нашего писаря ходит не в своей шкуре, переряженная, словно пьяный гость на свадьбе? Разве пристало христианке ходить в человеческом (мужском) платье, как поганой татарке, когда бог дал ей особое платье, законное платье? Нет, дочко, распоряжайся всем, что найдешь в сундуке; оно твое; на что оно мне? Не сдурею под старость, не стану носить ваших юбок! Все равно пропадет, моль съест... И не

думайте мне перечить: завтра чтоб я не видел на твоей жене, Алексей, казацкого убранства; не то с зимовника сгоню! Ну, прощай! До завтра!

Наутро Марина чудно была хороша в новом наряде: плахта и запаска ярких цветов, перехваченные по талье красным шелковым поясом, прелестно обозначали ее стройный стан; под тонкою белою, вышитою шелком рубашкою вольно дрожала, волновалась крутая грудь; на голове был надет черный бархатный кораблик (род шапочки). На плечи накинула Марина легкий кунтуш из зеленого атласа, обшитый золотым позументом, посмотрелась в металлическое зеркальце, прибитое снутри на крышке сундука, и покраснела от удовольствия.

— Какая пышная пани! — сказал Алексей, крепко обнимая и целуя свою жену.

— Ей-богу, так! Вот так! — говорил Касьян, входя в светлицу.— Господи, какая красавица! И казачком ты была прехорошенькая, а казачкою вдвое похорошела!..

III

Не спи, казак, во тьме ночной:
Чеченец ходит за рекой!..

А. Пушкин

Ждали неделю — нет вестей; прождали еще два дня, и Касьян поехал в Лубны; выбрал доброго коня и легкое вооружение, то есть, саблю да пару пистолетов, в гаман (кисет) насыпал мелкоизрезанных корешков роменского тютюну (табака), положил кусок стали, новый кремень и сухого трута, привязал за седлом небольшой мешочек поджаренного в масле пшена и поехал. Сборы запорожца не долги.

Теперь вы спокойно едете запорожскими степями, по гладким широким дорогам, которые, в сухую погоду, лучше и покойнее всех шоссе в мире; вас беспокоят разве суслики,

шныряющие беспрестанно поперек дороги, чли великаны-овода, которые, наскучив сновать на жару над лошадьми, залетают под тень коляски и, монотонно жужжа, садятся вам на нос. А в прежние времена не то было: эти степи, никому не принадлежавшие, служили ареною беспрестанным боевым схваткам; тут наездничали, молодечествовали полудикие народы; в каждом овраге надобно было опасаться засады, в каждом кусте ракиты можно было подозревать скрытого врага, который, как змея ползая между травою, смотрит на вас зоркими очами и в тишине натягивает меткий лук или ведет за вами верное дуло винтовки, выжидая удобной минуты спустить курок.

Первый день Касьян ехал довольно весело, беззаботно, напевал под нос песенки, разговаривал с конем, иногда срывал молодые побеги катрану (дикого хрена), очень спокойно опускал поводья, аккуратно сдирал кожу с побега и ел, приговаривая: «Хороший катран; не дураки лошади, что так его любят...» К ночи Касьян, как опытный казак, принял свои меры: въехал в глубокую долину, ослабил немного подпруги и пустил коня пастись, но привязал наперед конец длинного ременного повода (чумбура) к своей руке, раскинул на траве бурку из овечьей шерсти, из предосторожности, чтоб не подползла какая гадина, особливо тарантул, который по инстинкту боится овечьей шерсти, даже овечьего запаха, будто зная, что овцы очень любят кушать его собратий, и тихо вздремнул, даже не куря трубки, чтоб дымом не накликать беды на свою голову. Перед светом Касьян был уже на коне; но на этот раз что-то его беспокоило: часто он озирался, часто всматривался вдаль, часто, остановясь против ветра, расширял ноздри, нюхал воздух и пристально посматривал на росистую траву; видно было, что его душа чуяла недоброе. А кругом все было чисто, тихо; весело всходило солнышко; добрый конь схватывал мимоходом цветистые верхушки трав и прыскал, когда роса попадала ему в ноздри.

Касьян увидел в стороне измятую траву, слез с лошади, долго рассматривал траву, ворча: «Так и есть, я так и думал»; потом припал ухом к земле, послушал немного, сел на лошадь и, поворотя ее круто налево, помчался, как стрела. Проскакав несколько верст, Касьян опять поехал по первому направлению довольно спокойно и около полудня только своротил направо и снова начал беспокойно оглядываться по сторонам. Уже вечерело; до Днепра оставалось недалеко: доброй езды до ночи — не больше, когда Касьян, ехавший крупною рысью, вдруг остановился, будто окаменел на месте, прилег на шею коня и внимательно смотрел на далекий, чуть видимый вдали курган. «Они! — сказал Касьян, слезая с коня и ведя его в поводу.— Они, проклятые крымцы! Наши никогда по три человека не взъезжают на курган; у нас один видит за троих; да теперь и гетманцам заказано кучкою взъезжать для надзора... Как бы поспеть вовремя!» Спустясь в длинный, глубокий овраг, может быть, бывший когда-нибудь руслом речки, впадавшей в Днепр, Касьян поехал вдоль оврага ровным шагом; но, сделав несколько верст, из предосторожности слез с коня, вышел, пригнувшись из оврага, и, увидя невдалеке курган, пополз к нему, чтоб с высоты высмотреть неприятеля. Курган был покрыт густою, высокою травою; на вершине его стояли несколько низеньких кустов ракиты. Как пресмыкающееся, полз между травою Касьян, бережно разводил в стороны руки, хватался ими за траву или упирался в землю и, тихо шевеля всем телом, будто раскачивая лодку, подымался выше. Наконец, он всполз на самый верх кургана; оставалось только раздвинуть куст и осмотреть окрестность; уже Касьян поднял руки — и остановился, затаил дыхание: за кустом послышался шорох, зашевелилась трава и, волнисто вытягиваясь, выползла из-под ракиты страшная змея; увидя человека, она быстро подала назад свою голову, завилась в несколько колец, сердито сверкнула глазами и, раскрыв страшную пасть, протяжно зашипела; но, вероятно, боясь

поднятых рук Касьяна, сильно отпрянула в сторону и заскользила, извиваясь, вниз по кургану. Когда скрылась незваная гостья, Касьян протянул к раките руки; но едва коснулся ветвей, они, будто по волшебному мановению, сами раздвинулись, и между ними явилась голова татарина; ее узкие глаза на расстоянии нескольких вершков прямо уставились против глаз Касьяна. Татарин, в свою очередь, видно, заметивший издали конного Касьяна, опасался засады и тоже полз на курган высматривать неприятеля.

Несколько мгновений враги были неподвижны, как бы обдумывая, что начать им; потом страшно обменялись взорами, проникнутыми глубокою ненавистью, лица их судорожно искривились, и вдруг, будто по команде, разом и Касьян и татарин схватили друг друга за горло; молча, не приподымаясь от земли, из опасения открыться врагам, сжали они друг друга жилистыми руками; но татарин был если не слабее, то легче Касьяна, оттого последний, осунувшись вниз, увлек за собою татарина и они клубком скатились с кургана. Жестока была борьба их; без звука, без стона, они жали друг друга объятиями смерти, грызлись зубами, как свирепые звери; заходящее солнце по временам освещало то гладко выбритую голову татарина, то чубатую запорожца: они попеременно подымались кверху, каждый раз страшнее, ужаснее, облитые кровью, обрызганные пеною. Наконец Касьяну удалось достать из-за сапога широкий нож: это положило конец борьбе.

«Сейчас смеркнется,— думал Касьян, отходя от зарезанного татарина и спускаясь в овраг,— враги конные раньше меня будут у Днепра, хоть я и конем поеду, да конь будет еще стучать копытами по степи и меня выдаст... Плохо! Надобно заставить их прогуляться в другую сторону».

Потом наскоро, из своего кобеняка (плаща) и травы, сделал он куклу, привязал ее на седло, наклоня к луке, и, сорвав какое-то крепкое колючее растение, положил под

седло прямо на голую спину лошади, проворно подтянул подпруги и в то же время ударил ее нагайкой, примолвя: «Прощай, добрый конь! Вряд ли увидимся». Горячий конь прянул и, чуя боль на спине от колючей ветки, помчался, как птица, в степь по дороге к своему зимовнику. Долго скакал одиноко быстрый конь все шибче и шибче, беспрестанно понукаемый колючкою, и уже стал теряться в горизонте, как слева мелькнуло ему наперерез что-то как муха, потом еще, еще — и целая стая крымцев вытянулась в погоню, словно борзые собаки за зайцем. Увидя это, Касьян улыбнулся, махнул рукою и, спустясь в овраг, быстрым шагом пошел, почти побежал к Днепру.

Была уже глубокая ночь, когда Касьян, измученный быстрою ходьбою, пришел к Днепру, напился, освежил лицо и голову студеною водою и тихо пошел по берегу, чтоб немного отдохнуть и, выбрав удобное место против *фигуры,* переплыть реку. Все было тихо; ночь безлунная, но звездная; за рекою, на широких лугах, перекликались коростели; порою сонная рыба, поворачиваясь, всплескивала хвостом воду, да лягушки, испуганные шагами Касьяна, прыгая с обрывистого берега в реку, нарушали общее молчание. Когда все стихло, один только Днепр плескался своими вечными волнами. В воздухе разливалось благоухание от душистых трав, с которых крупным дождем валилась роса на Касьяна, когда он раздвигал, разрывал их, идя по берегу; но вот на противоположном берегу затемнело что-то, будто колокольня. «Фигура!» — сказал Касьян и поплыл на ту сторону.

На границе Гетманщины, вдоль по левому берегу Днепра, начиная от устья Орели до Конки-реки (Конские Воды), построены были около самой воды заезжие дворы, называемые радутами; дворы были обнесены крепким частоколом; внутри находилось просторное здание для людей, крытое соломою или тростником, и конюшни; в каждом радуте помещалось пятьдесят человек гетманских казаков с есаулом, которые составляли пограничную

стражу и ежегодно сменялись. Радуты всегда строились так, чтоб из одного было видно другой, и были один от другого, судя по местоположению, верстах в двадцати, десяти и даже менее. Около каждого радута, не ближе четверти версты, иногда немного и далее, в осторожность от огня, были *фигуры,* сложенные в виде башен или колоколен из смоляных бочек; для этого поливали землю смолою и ставили перпендикулярно шесть смоляных бочек одну около другой и связывали крепко высмоленными веревками, наблюдая, чтоб внутри образовалась правильная круглая пустота вроде чана; на этот круг ставили другой такой же точно, только из пяти бочек, сверху третий круг из трех бочек, на этот прибавляли еще две, а на самый верх ставили, как трубу на самовар, одну пустую бочку, не имевшую ни нижнего, ни верхнего дна. В этой бочке была сделана перекладина из железного прута, а через перекладину был перекинут канат, которого оба конца спускались до земли; к одному из концов привязывался большой пук мочалки, вываренной в селитре и напитанной разными горючими веществами. У *фигуры* находилось бессменно два или три человека часовых.

Если вы проводили когда-нибудь бессонные ночи не за картами, не за бокалом, не в шумных танцах, где оглушающий гром оркестра или женщины, то сверкающие, жгучие, как солнце, то отрадные, томные, как свет луны, заставляют противоестественно биться ваше сердце и забывать весь мир, кроме одного бурного чувства наслаждения; если вы проводили бессонные ночи в уединении, лицом к лицу с природою, то, верно, заметили, верно, помните чудесный предрассветный час, когда, будто чуя близкий конец свой, ночь усиливает обаяние, становится еще темнее; все в природе затихает: ни звука, ни шороха, даже вода льется вяло, словно в дремоте; на всех тварей налегает неодолимый сон, ночные птицы не летают в это время, лошади перестают есть, дремлют, опустив голову, или даже ложатся.

В такой предрассветный час вышел Касьян на берег, около *фигуры.* Кругом была гробовая тишина; коростели не перекликались, лягушки не прыгали в воду, рыба не плескалась. Мрачно чернея, высилась на темном небе *фигура;* два казака спали под *фигурою;* недалеко три лошади лежали, словно убитые, откинув ноги, вытянув шеи; сторожевой казак в четвероугольной гетманской шапке, опершись на мушкет (ружье), вздремнул и — не заметил Касьяна.

— Добривечор! — крикнул Касьян, подходя к часовому.

Часовой вздрогнул, подался назад и выстрелил по Касьяну. Выстрел отгрянул рекою, далекое эхо наперехват стало повторять его по рощам и заливам, дым покрыл Касьяна; лошади вскочили на ноги, казаки из-под *фигуры* прибежали к товарищу.

— Да полно вам дурачиться,— говорил Касьян, подходя к казакам,— не узнали старого Касьяна!.. А еще казаки! Здоров ли Семен Михайлович? Ваш есаул Семен Михайлович Дижка?.. Что же вы оглохли?

— Да это в самом деле дядько Касьян,— говорили казаки.

— А то ж какой черт? Нуте-ка поворачивайтесь; нет ли у вас табаку понюхать?

— Есть,— отвечал один,— да и напугал ты нас!

— Добрый табак, будто свечкою в носу палит,— говорил Касьян,— а ты, брате часовой, просто дрянь, не сто́ишь десятой доли щепотки этого табаку; ей-богу, не стоишь; смешно сказать, дремлет на часах над мушкетом, будто баба над пряжею, да еще и стрелять не умеет: стрелял по мне в пяти шагах и тут повысил, только верх шапки распорол пулею... На, посмотри мою шапку, коли не веришь.

Во время этого разговора прискакал из радута с несколькими казаками есаул.

— Что здесь за шум? — строго спросил есаул.

— Ничего, пане есаул,— отвечал один казак,— запорожец с той стороны, а часовой обознался да и выстрелил.

— Добре сделал, хоть бы и не обознался; пускай нечистый не носит в такую пору; что такой за казак? Зачем он?

— Не сердись, Семен Михайлович! Я человек вам знакомый: уже два раза в это лето гостил у вас на радуте — разве не узнали Касьяна?

— Здорово, старик! Что же ты плаваешь по ночам, словно русалка?

— Хотелось попробовать, как стреляют гетманцы; да не бойко стреляют, в пяти шагах промахнулись.

— Полно шутить.

— Сперва шутки, а там будет и дело. Доставай-ка огниво да зажигай фигуру: крымцы за рекою.

— Ты видел?

— Не только видел, и силы пробовал, и коня через них лишился. Засветишь огонь, увидишь, как меня исцарапали, словно кошки... Насилу добрался до радута, чтоб дать весть.

Есаул вырубил огня, положил трут в горсть сена, размахал его своими руками, и когда сено вспыхнуло, поджег мочалку, привязанную к веревке и потянул веревку за другой конец: огненным снопом поднялась горящая мочалка кверху, толкаясь о бочки, и, осыпая *фигуру* искрами, вошла в пустую бочку на самом верху *фигуры*; в минуту верхняя бочка запылала, как из трубы, высоким столбом поднялось из нее яркое пламя, и быстро загорелась вся *фигура,* великолепно отражаясь в темных водах Днепра. Через несколько минут недалеко влево загорелась другая *фигура,* вправо—третья, за ней еще и еще, и весь Днепр осветился зловещими огнями. Стаями поднялись испуганные птицы с заливов и тростников, наполняя воздух криками; стада диких коней, дремавшие у Днепра, шарахнулись в степь, пробуждая далекую окрестность звонким топотом. Не один поселянин, застигнутый в лесу или в поле

на ночлеге страшными *фигурами,* торопливо спешил домой спасать старуху мать, или молодую хозяйку, или малых детей от смерти или позорного плена татарского; не одна мать, с ужасом посматривая на зловещий пожар, робко прижимала к груди ребенка и босыми ногами, в одной сорочке, по жгучей крапиве, по колючему терновнику — пробиралась в непроходимую чащу леса; не одна девушка со страхом вспомнила о своей красоте, о своей молодости, трепеща сластолюбивого татарина... В ночь, когда горели *фигуры,* покойно спал разве бесчувственно пьяный человек.

Выпив чарку водки из рук есаула, Касьян взял в радуте доброго коня и поскакал в Лубны, завтракая дорогою куском черного хлеба. Назади полнеба было залито пожарным заревом *фигур* и по временам слышались выстрелы. Впереди расстилалась степь; но уже не мертвою пустыней лежала степь: то там, то в другом месте раздавались беспрестанные оклики; взошло солнце и осветило тревожную картину: у дороги чумаки, состроив из тяжелых возов каре, выглядывали из него, как из крепости, сверкая стволами мушкетов и винтовок, без которых тогда никто не отлучался из дому; поселяне быстро угоняли из степи в села стада волов и табуны коней; заставляли въезд в деревни рогатками, прятали в землю всякое добро и хлеб, завязывали в кожаные мешки, заколачивали в бочонки деньги и опускали их в глубокие колодцы, в пруды и на дно речек; с мостов снимали доски и заводили лодки в непроходимые тростники.

— Далеко ли? — спрашивали люди Касьяна, когда он въезжал в село, покрытый пылью и пóтом.

— Вот-вот, за горою,— отвечал Касьян.

— А куда бог несет?

— В Лубны к полковнику. Переменитe-ка мне коня; скачу по вашему делу.

— Бери хоть всех, дядьку!

Так переменяя коней, Касьян, можно сказать, летел

день и ночь в Лубны. Тревога и удаль поездки помолодили Касьяна; он не чувствовал усталости, он не слыхал на себе восьми десятков лет и, подъезжая к Лубнам, пел веселые песни.

IV

Одарка мички не допряла,
Аж ось Харко у хату вбіг,
Під лаву кинув свій батіг:
«Вп'ять татарва на нас
напала!» —
Він зопалу сказав.

С. Писаревский

— Гадюко! Гадюко!

— Чего, пане полковник?

— Скучно, Гадюко, очень скучно! Не знаю отчего.

— Может, объелся, пане.

— Умный человек, а говорит глупости. Объелся! Какого я дьявола объелся? Ну, скажи на милость, чего б я объелся? Чего бы человек объелся, когда еще не обедал, а только завтракал?..

— Чего ж бы тебе и скучать, пане? Житье хорошее, поступки твои все законные, лыцарские: чего ж бы скучать?

— В том-то и дело! Я тебя спрашиваю, а ты меня спрашиваешь. Это глупо.

— Кобзаря позвать разве?

— Кобзари божии люди, да из ума выжили — ни одной песни порядочной не знают.

— Выкричались.

— Как выкричались?

— Вот, примерно, взять бутылку и стать из нее наливать в стаканы вино или что другое: до времени из бутылки все льется вино, а вылилось, уже и не станет и не льется, хоть

сожми бутылку обеими руками; тогда разумный человек принимается за другую. Так и кобзари пели песни, кричали, а теперь уже выкричали все и петь нечего.

— А что ты думаешь? Ведь оно так.

— Не нашему глупому разуму рассуждать, а может, и так.

— Так, так, Гадюко! А все-таки мне скучно. Веришь ли, чарка не идет в душу: взял чарку в рот сегодня, чуть не выплюнул, из политики только проглотил... Хоть дом подпалить от нечего делать.

— Эту потеху можно поберечь на дальше, а теперь не послушал ли бы, пан, сказки?

— Пожалуй, только лыцарскую сказку я готов слушать. Жаль, Герцик пошел на охоту; он много знает сказок... Жаль!

— Я знаю сказку, коли станешь слушать — расскажу...

— Что ж ты давно не говоришь? Говори! Хорошая у тебя сказка?

— Оно сказка не сказка, а быль; я не москаль, сам своего товару хвалить не стану; одно знаю, что Герцику не рассказать этой были.

— Не говори, Гадюко! Герцик очень разумен; у него сидит в носу муха, большая муха...

— Может, и не одна,— угрюмо заметил Гадюка.

— Полно ворчать! — сказал полковник Иван.— Прикажи часовому, чтоб стал у моей двери и никого не пускал; хоть бы кто пришел судиться или с жалобою — всем одно: полковник, мол, занят делами, бумаги подписывает. Да придвинь ко мне вот эту бутыль с наливкою и чарку, авось под сказку перестанет упрямиться да и пойдет тихомолком в горло. Ну, начинай!

— Жил-был,— начал Гадюка сказочным тоном,— один полковник, как бы и твоя милость, и стало скучно полковнику, нигде места не нагреет, ходит из комнаты в комнату, хлеба кусок не идет ему на душу, чарка не льется в горло, как бы...

— Что, «как бы»? — спросил полковник, ставя на стол опорожненную чарку.

— Хотел сказать, как бы и твоей милости, да вижу, что чарки, благодаря бога, лезут к тебе в рот, словно вечером воробьи под крышу.

— А тебе завидно, собачий сын! На, выпей чарку да говори хорошенько, чтоб у тебя слова не летели, как воробьи из-под крыши.

— Хорошо сказано,— продолжал Гадюка, выпивая чарку,— теперь пойдут слова, словно молодые утки выплывают из тростника рядом за маткою. Вот сгрустнулось полковнику, и стал он от скуки рассматривать новое ружье, что купил недавно за *так гроши* (отнял) у какого-то не то ляха, не то немца.

— Молодец был полковник!

— Видно, молодец. Долго смотрел он на ружье: на ружье была хорошая оправа, серебряная; по серебру будто пером выведены люди, и звери, и казаки; головки у винтов коралловые, а прицельная мушка на стволе золотая.

— Не в оправе дело. А хорошо било оно?

— Не знаю; говорят, упало раз со стены, с гвоздя сорвалось, что ли, да прямо на бутыли с наливкою, бутылей с десять стояло внизу на полу — все сразу перебило.

— Хитро! А дурацкие речи, Гадюко!

— Статься может; не моя вина, за что купил, за то и продаю. Вот посмотрел полковник на ружье да и захотел его попробовать от скуки; собрал сотню молодцов, сел на коня и молодцы сели и поехали в Польшу погулять.

— Хорошо, Гадюко, добрая сказка.

— Не сказка, а быль.

— Один черт, что сказка, что быль.

— Один, пане, да не одной масти. Вот едут они в Польше густым лесом, а в лесу пахнет луком не луком, чесноком не чесноком, нехорошо пахнет. «Гей, хлопцы,— сказал полковник,— чуете ли вы, пахнет неверною костью?» —

«Чуем,— отвечали молодцы,— жидом пахнет». Послали разъезд; разъезд вернулся и говорит: «С версту отсюда над рекою стоит местечко».— «Много народа? Большое местечко?» — спросил полковник. «Я лазил на дерево,— отвечал один разъездный казак,— и все высмотрел: местечко большое, и площадь есть, и костел, и лавки, а народу не заметил — все жиды, словно в муравейнике; жид на жиде да жидом погоняет». После этого казаки слезли с лошадей, притаились в глубоком овраге и выжидали вечера, чтоб ударить на местечко.

— Молодцы!.. Уж не про Хвилона ли миргородского эта быль?

— Может, про Хвилона, может, и нет; раз сказал я: за что купил, за то и продаю.

— Хорошо, говори, да подай мне другую бутыль; эта пуста, как наши кобзари,— ничего нет нового! Добрая сказка! Самого забирает в лес, душе весело! Ну?

— Настал вечер,— продолжал Гадюка,— а это было в пятницу против субботы. Пораньше собрались жиды домой, заперли лавки, пересчитали барыши впотьмах, чтоб никто не видел, и тогда уже зажгли свечи; у самого бедного горело свеч двадцать, хоть и тоненьких, маленьких, да двадцать — шутка ли?

— Неужели ты, Гадюко, веришь, что есть бедные жиды? Откуда же взялась пословица: много денег, как у жида.

— Нет, у всякого жида много серебра и золота, а все-таки у одного меньше, у другого больше: вот последний и будет богаче.

— Так. Ну-ну? А казаки где?

— Дойдет и до казаков. Зажгли жиды свечи — и в местечке стало светло, будто в праздник какой, а это было в постный день — в пятницу!..

— Слыхано ли!.. Нечестивые!

— Кроме того, что начинался шабаш, у жидов было и другое веселье: в тот день они держались и стар и мал за райское яблоко.

— Врет твоя быль, Гадюко! Где бы они достали райское яблоко?

— Оно не райское — куда им до рая! А так называется. Приедет какой-нибудь жид в город, простой жид, как и все — в ермолке, в пейсиках,— и называет себя не жидом, а хосетом,— это-то у них старшой,— вот назовет себя хосетом, приехал, говорит, из Иерусалима, привез старые жидовские деньги и райское яблоко. Идет к нему каждый жид, дает деньги, подержится за яблоко и трет себе руками лоб: это, говорят, здорово; а женщины покупают у хосета старые деньги, словно полушки из желтой меди с дырочками, дают за полушку червонец и вешают детям на шею, чтоб лихорадка не пристала, что ли!

— Вот дурни!

— Известно. Вот в этот вечер пришел в свою поганую хату жид Борох, а у него лоб красный-красный — натер, говорит, яблоком,— пришел и сын, не то ребенок, не то человек, а так подлеток. Старуха Рохля, жена Бороха, тоже была у хосета, купила старую полушку и нацепила ее на шею трехлетней дочке; дочка бегала вокруг стола, пела, кричала, а Борох с женою и сыном ужинали гугель, по-нашему лапшу, с шафраном, да рыбу с перцем, да редьку вареную в меду, а закусывали мацою, лепешками без всего на одной воде, даже без соли.

— Фу! На них пропасть! Скверно едят!

— Оттого они жиды. Едят они — а в окно как засветит разом, словно солнце взошло: пустили казаки *красного петуха,* зажгли местечко. Выстрел, другой, крик, шум, резня, звенят окна...

— Славно, Гадюко! Так их!

— Жидовский подросток выскочил из хаты, за ним старый Борох... только Борох не выскочил, упал назад в хату с разбитою головою к ногам Рохли, а в дверях показался казак: сабля наголо, шапка на правом ухе, усы кверху. Рохля упала на колени, схватила на руки маленькую дочку и стала просить и плакать: «Убей, говорит, меня, а не бей

дочки, я все расскажу». Выслушал казак, где золото, набил полные карманы золотом, взял на руки жидовочку, а Рохлю так задел, выходя, саблею, что она тут же и растянулась.

— На что ж казаку маленькая жидовочка?

— У полковника между охочими казаками было человек пять запорожцев: дорогою пристали до компании, а запорожцам за детей хорошо платят оседлые, что живут на зимовниках; вот запорожец и взял дитя и продал его за деньги, и слово лыцарское сдержал — не убил дитяти; ему же лучше.

— Лучше! Ну?..

— Вот казаки разграбили местечко, потешились и вернулись домой, и давай гулять на чужие деньги; а сколько парчей навезли, а сколько бархату, а сукон, а позументов!

— Молодцы! Ей-богу, молодцы!.. И все тут? И конец?

— Конец-то конец, да еще есть маленький хвостик.

— Говори и хвостик. Что там за хвостик? У хорошего барана хвост лучше другой целой овцы. Недалеко, в Молдавии, по пуду хвосты весят, да какие жирные... даже мне есть захотелось, как вспомнил... Говори, говори!

— Казаки уехали, а Рохлю не взял нечистый: полежала до света, а светом и очуняла, ожила.

— Ожила?

— Ожила; они ведь словно кошки — умрет, совсем умрет; перетяни на другое место — оживет! Такая натура. Собрались жиды, которые уцелели, поплакали над пожарищем, да и стали попрекать Рохлю: «Ты,— говорят,— продала казакам детей; сын поехал с ними: старый Иоська из-под моста видел, и одет, говорит, в казацкое платье, а дочь увез казак на лошади: это не один Иоська видел; да и дом твой не сожгли казаки, да и самую тебя не убили». Пошла Рохля к хосету, словно помешанная, и воет, и плачет, и шатается, а хосет уцелел где-то между бревнами; долго говорила с ним, да к вечеру и пропала.

— Ага! Околела?

— Нет, без вести пропала, из местечка пропала, исчезла, будто ее кто языком с земли слизал. Скоро после этого появилась за Днепром ворожея, знахарка, очень похожая на Рохлю и стала шептать православным людям, и лечить православных, и кому ни пошепчет, кого ни напоит зельями — все умирают, никто не выскочит, леском ложатся, словно тараканы от мороза в московской избе. И много уже лет ходит она, изводит честной народ, приходит ночью на каждую свежую могилу и хохочет, окаянная, и веселые песни поет.

— Ух! Сила крестная с нами! Что ж ее не изведут-то?

— Попробуйте, пане. Где видано спорить с нечистою силою!.. А вот сын ее прикинулся христианином, зажил меж казаками, как наш Герцик.

— Не мешай Герцика! Я тебе раз сказал, не говори худо о Герцике; я знаю, все не любят Герцика оттого, что он мне верно служит, что я ему и отец, и мать, и родина, а это другим не нравится; другие рады продать полковника за люльку тютюну (трубку табаку), за чарку водки — вот что я раз сказал и не отступлюсь от слова, пускай на меня грянет гром, и сто тысяч бочонков чертей расщиплят мою душу, как баба с курицы перья, если отступлюсь... Я сказал — и будет так! Мое слово крепко...

Полковник запил последнюю фразу чаркою настойки и быстро начал ходить по комнате. Гадюка замолчал, стоя у порога, и угрюмо смотрел исподлобья на полковника.

— Ну, что ж? — говорил полковник, садясь на кровать.

— Было из-за чего сердиться,— сказал Гадюка.

— Я не сердился, я только сказал, что я человек характерный,— и все тут.

— И без того все это знают.

— И хорошо делают... Ну, что ж?

— Ничего. Моя быль хоть и кончена. Известно, может, и выдумка, а может, и правды зерно есть...

— Разумеется, сказка! Где же сын?

— Живет между казаками, морочит добрых людей; это еще бы ничего, а то говорят...

Но сказка Гадюки не кончилась: дверь в светлицу с шумом распахнулась, и часовой казак грянулся на пол, став на четвереньках перед кроватью полковника; за ним в дверях стоял вооруженный седой запорожец.

— Вот тебе, дурень, на орехи! — говорил запорожец, поглядывая на часового, который карабкался по полу, силясь встать.— Выдумал, дурень, не пускать запорожца к пану полковнику. Здоров, пане!

— А ты как смел входить, когда не приказано?

— А как смеет ходить ветер по полю? Небойсь, спрашивается у гетмана?.. А запорожец — родной брат ветру; и я к кошевому хожу, коли дело есть, не спрашиваясь; я не баба, не приду болтать о соседках. Дело есть, нужное дело — вот и все.

— Посмотрим, какое там дело! Посмотрим, Гадюко.

— Два дела есть у меня,— сказал Касьян.— Первое: вели скорее запирать ворота, вооружай людей — татары идут...

— Где они там у дьявола?

— До сих пор, чай, уже грабят твой полк. Вчера ночью они должны перебраться через Днепр.

— Не велика важность! — сказал полковник, вопросительно посмотрев на Гадюку.— Не видали мы этой дряни...

— Хорошо сказано,— отвечал Касьян,— так зачем же ты просил помощи у запорожского товариства и зачем я, дурак, скакал сюда, почитай, от самой Сечи, на переменных конях, по приказу кошевого Зборовского?

— А ты чего тут стоишь? — закричал полковник на часового.— Ворона! Ступай на двор и вели трубить тревогу.

Казак вышел.

— Ну, коли ты от Зборовского и знаешь наши нужды, то спасибо тебе за весть, хотя она и не очень приятна.

Да не оставляй нас, погости; при обороне города один, говорят, запорожец в деле стоит десяти простых человек.

— Дело известное! — отвечал Касьян.— Теперь другое: кланяется тебе твоя дочь.

— Дочь? А она жива?

— Жива и здорова, и ...

— Ну, пойди сюда, обними меня, братику! Слава богу, что жива она; а о ее бабских делах расскажешь после: теперь надобно Лубны спасать; слышишь, трубят тревогу!

— Это по-нашему, по-запорожски, лыцарские речи, пане полковник!

— А ты как думал, брате?...— самодовольно отвечал полковник.— И у нас души запорожские!

И они вышли на широкий двор, где на возвышении стоял трубач и трубил тревогу; народ стекался отовсюду на двор.

Часто в Малороссии, проезжая степи весною, вы услышите пронзительный, отчаянный вопль: *«Татары йдут!»* Осмотритесь — и никого не увидите, кроме двух-трех мальчиков, пасущих скот, вовсе не похожих на татар; но в этом вопле так много грусти, отчаянья, безнадежности, что он, верно, надолго останется у вас в памяти. Это последние отголоски тяжких, страшных воплей, оглашавших некогда села Малороссии; это крик, переданный от деда внуку, от отца или матери сыну; это вопль, потерявший уже все свое значение, перешедший в игру, и детскую забаву, но сохранивший в своей музыкальной стороне еще много правды; сердце ноет, замирает, слушая его: это новая, красноречивая строка из истории бедной стороны... Хотите знать, для чего кричат мальчики: «Татары йдут!»?

Всем известно, что муравей — насекомое общежительное и трудолюбивое, об этом даже когда-то было напечатано в новейших российских прописях; известно также, что многие, узнав из новейших российских прописей о трудолюбии муравья, остались этим очень довольны

и даже при случае говорят своим детям: «Будь трудолюбив, как муравей, и тебе дадут бонбошку, а со временем сделаешься значительным человеком»,— а весьма немногие старались наблюдать жизнь этого умного насекомого, хоть она, право, занимательнее, разнообразнее, поучительнее жизни весьма многих... Как бы выразиться понежнее?.. Многих ... очень вкусно обедающих и просиживающих ночи за преферансом. Но не пугайтесь! Я не стану читать вам лекции инсектологии: мне бы только очень хотелось, чтоб вы в тихое, прекрасное весеннее утро посмотрели на муравейник, когда это маленькое царство покроется белыми личинками (подушками, как говорят в Малороссии). Муравьи инстинктивно чувствуют необходимость держать свои личинки, надежду на будущие силы муравейника, в сухости, и вот бережно выносят они из своих темных подземных коридоров беленькие подушечки, раскладывают их рядами против солнца и удаляются на работы, оставя возле каждой подушечки двух часовых, которые тихо сидят, будто неживые, сторожа свое сокровище; малейший шум, легкая тень от перелетного облачка — и они тревожно хватаются за личинки. Деревенские мальчики знают эту заботливость муравьев и, пася скот иногда целый день, от скуки перебегают от муравейника к другому и пугают *комашек;* для этого они подбегают к муравейнику, наклоняются над ним и громко в один голос кричат:

Комашки, комашки,
Ховайте подушки —
Татари йдуть!

(Муравьи, прячьте личинки — татары идут).

Первые два стиха говорят каким-то беглым речитативом, а третий поют громко, пронзительно. И, боже мой! Какая суматоха подымается в муравейнике от этого крика; в секунду все черное поколение высыпает наружу, караульные схватывают личинки, шум, беготня — и личинок буд-

то не бывало: только некоторые муравьи бросаются из конца в конец муравейника, как бы стараясь узнать причину суматохи, другие таскают соломинки и этими бревнами заваливают входы в свои подземелья...

Вот причина крика: «Татары йдут!», если вы когда-нибудь его услышите теперь на степях Малороссии.

А в старину такое явление представляло почти каждое село от зловещего крика *татары йдут,* и Лубны очень были похожи на перепуганный муравейник. Весть о близком набеге татар быстро разнеслась по городу: кто чистил оружие, кто делал патроны, кто натачивал саблю, кто сносил добро в церковь. А в церквях священники в полном облачении служили молебны; толпы женщин, упав на колени на церковный помост, громко молились и плакали; порою заходил туда казак, клал земной поклон, ставил свечку перед образом спасителя и поспешно выходил заняться своими работами. Гонцы скакали в окрестные села; из сел шли толпы народа защищать и прятаться в крепость, шли женщины, неся на руках грудных детей; гнали скот; громко шумел народ, бабы кричали, дети плакали, скот уныло ревел, бессмысленно посматривая на незнакомые улицы и домы. На Касьяна смотрел народ с каким-то особенным уважением, как на запорожца, да еще бывшего вчера в схватке с крымцами. Полковник на коне беспрестанно скакал по улицам; за ним Герцик и Касьян. На валу зарядили пушки; поставили сторожевых; гармаши (пушкари) сидели на лафетах; к воротам навезли бревен и камней, чтоб на ночь завалить их; на валу в особенных земляных печках поставили котлы, наполнили их смолою и постным маслом, подложили под них дров и сухого тростника, чтоб в случае нужды мигом вскипятить их и обдавать с валу крымцев. К вечеру все было готово; завалили ворота крепости, разложили на валу сторожевые огни, и полковник, измученный дневными трудами, пошел на минуту отдохнуть, приказав Герцику не спать до полуночи, а с полуночи разбудить себя. Герцик увел Касьяна в свою

комнату, хоть старую, мрачную и с железными решетками, но ярко освещенную огнем, пылавшим в печке: там жарилась баранина и в кувшине варилась вкусная варенуха. Приятно было старому Касьяну отдохнуть, и понежиться, и поесть, и подкрепить силы варенухой после тяжкой езды, добровольного поста, двух бессонных ночей и двух дней, проведенных в тревоге. Касьян хоть был запорожец и лет двадцать-тридцать назад проплясал бы еще и эту ночь, однако лета взяли свое: после куска жирной баранины и нескольких чарок теплой варенухи на него нашла лень, истома, рука в плече заболела, ноги стали будто не свои, глаза поминутно слипались, и, наконец, он, склонясь на лавку, захрапел молодецким сном.

V

«Бач, чортяка! Бач, падлюка,
Як умудровався!
Се вже, бач, німецька штука!» —
Твардовський озвався.

Гулак-Артемовский

Зажурилася Хмельницького сідая голова,
Що при йому ні сотників, ні полковників нема.
Час приходить умирати,
Нікому поради дати.

Народная малороссийская дума

Рассветало. Проснулся Касьян, потянулся, зевнул и, посмотря на окно, проворчал:

— Стар стал Касьян! Незаметно проспал до утра.

В разбитое окно, через решетку, веяло утреннею свежестью; где-то недалеко слышен был шорох, будто от ходящего человека. Касьян подошел к окну; за окном узкий дворик, огороженный высокой стеной; на дворике никого не было, только воробей, сидя на ветке какого-то сухого кустика, надувался, ерошил свои перья и встряхивался.

За дверью опять послышались шаги. Касьян бегло взглянул по комнате — нет его оружия; подошел к двери — дверь заперта. Протяжно свистнул он и отошел.

— Штука! — ворчал Касьян, ходя по небольшой комнате.— Немецкая штука! Хитро, чтоб ему первою галушкой подавиться! Да и нехорошо как! Не приведи господи, нехорошо! Где это видно: зазвать гостя, упоить, отобрать оружие, да и запереть в клетку? Нехорошо! Что, я им дрозд какой, что ли? Перепел, что ли? Зачем меня держать в клетке?.. Дурень я, не догадался вчера, когда пришел в эту гадкую тюрьму, разбить было немецкому казаку голову, приговаривая: «Не води угощать в тюрьму вольного запорожца!» Так нет, поддался, старый дурак! Сам вошел, седой баран, в загорожу. Недаром этот перевертень [1] так подбивался, подъезжал ко мне, словно парубок к смазливой девке, и о Чайковском расспрашивал, и о Марине, и пил их здоровье, будто они ему родня какая!.. Не догадался, просто не догадался! Что я ему за приятель? Правду говорят: коли человек больно тебя ни с того ни с сего ласкает, берегись: или он обманул, или обмануть хочет...

За дверью опять послышались шаги. Касьян подошел к двери и сильно ее дернул — нет ответа; только снаружи загремел, застучал тяжелый замок.

— Эй, ты! Слушай, ты! Откликнись! Коли ходишь, так и говорить умеешь. Кто там?

Молчание.

— Ну, что ж ты не отвечаешь? — продолжал Касьян.— Языка нет? Верно, не человек ходит; это корова ходит.

— Врешь, не корова, а казак,— отвечал за дверью голос, обиженный неприличным сравнением.

— Всилу-то отозвался! Скажи мне на милость, что за комедию со мною играют? Зачем меня заперли сюда? Верно, боялись, чтоб я в хмелю не разорил вашего города? А?

Молчание.

---

[1] Слово, выражающее в Малороссии идею *ренегата*.— *Е. Г.*

— Да что же ты не говоришь? Отозвался было, как человек — и замолчал, словно рыба!

Молчание.

Касьян махнул рукою и начал ходить по комнате; подошел к окну; там опять только воробей весело прыгал по сухим веточкам чахлого кустика и, поворачивая кверху головку, отрывисто перекликался с товарищем, который отзывался где-то на кровле. Касьян плюнул — воробей улетел; все стало тихо.

— Жидовская птица! — сказал Касьян, отходя к своей постели, сел и задумался.

Бог знает, что думал Касьян; но верно не очень веселое, потому что, мурлыкая себе вполголоса, мало-помалу перешел в песню и запел известную в Малороссии трогательную думу о побеге трех братьев из Азова:

Из города из Азова не великие туманы подымались:
Три казака родных брата из тяжелыя неволи убирались.
Двое конных, третий пеший вслед за братьями спешит;
По кореньям, по каменьям меньший брат босой бежит;
Ноги белые о камни посекает,
Кровью теплою следочки заливает,
Конных братьев догоняет
И словами промовляет:
«Станьте, братцы, быстрых коней попасите
И меня, меньшого брата, обождите»
. . . .

С первых стихов заметил Касьян, что невидимый голос за дверью подтягивает ему; Касьян запел громче, начал выводить голосом трудные переходы — голос вторил ему верно. Касьян не выдержал и, не кончив песни, закричал:

— Славно, брат! Ей-богу, славно! И голос у тебя хороший... Ты до конца знаешь эту песню?

Голос умолк.

— Странный человек! — продолжал Касьян.— Поет хорошо, а говорить не хочет.

— Говорить не хочет! — сказал сам себе казак вполголоса: — Рад бы говорить, да когда не велено!

— А! Вот что! Говорить не велено, так петь, верно, можно, коли поешь. Ну, пой мне, я начну.

И Касьян запел.

Ой на горе явор зелененький...
Скажи ты мне всю правду, казак молоденький:
За что меня невинного в тюрьму засадили?
Железным запором тюрьму затворили?

— Ну, что ж ты не поешь? — сказал Касьян.

Видно, часовому понравился разговор в новом вкусе: за дверью послышался тихий смех, прерываемый словами: «Сказано, запорожец! Вот притча!»; потом смех немного успокоился, и часовой запел на тот же голос:

За что тебя посадили, я того не знаю;
Я так себе человек, моя хата скраю.

Касьян

Да какому ж я обязан собакину сыну,
Что я не в поле, а в тюрьме, может быть, загину?

Казак

Ой, спит казак под горою; сабля сбоку
И мушкет, и конь пасется недалеко.
Пришли люди темной ночью полегоньку,
Обобрали казаченька потихоньку:
Так пан велел, старшой велел, говорили,
И казаченька в темницу затворили;
А темницу замком запер панский чура [1].
На нем платье казацкое, а натура...
А натура не казачья, не...

— А в солому!.. Вишь, как воет! — закричал за дверьми строгий голос.— Что ты, на улицу вышел?.. На вечерницах?

---

[1] Любимец, оруженосец.— *Е. Г.*

— Мне говорить запрещали, а петь не запрещали, так я и пою со скуки.

— Молчи! *Петь не запрещали!..* Разговорился; я тебя проучу... *Он* спит?.. Не слышно?

— Нет, не спит, уже и пел песни.

— То-то, ты своими криками да воем хоть мертвого разбудишь... Не дал гостю успокоиться...

После этого загремели замки, заскрипела дверь, и послышались шаги под окном Касьяна; скоро он увидел между решеткою лицо Герцика.

— Здравствуй, дядюшка! Здравствуй, старик! — говорил Герцик, улыбаясь.

Касьян молчал.

— Не сердись, храбрый запорожец, не сердись, лыцарь; не моя вина; видит бог, как я люблю тебя; уже за одно то люблю, что ты дал пристанище моему бедному другу Алексею! Что-то он теперь делает...

— Чего тебе хочется? Отвяжись от меня! — грубо сказал Касьян.

— Чего мне хочется? Ай, боже ж мой! Ничего мне не хочется; я всем доволен, по милости полковника. Славный человек полковник, только хитрый, подозрительный. Целый день вчера все отведет меня в сторону да и говорит: «Боюсь я, Герцик, этого запорожца; кто знает, может, он подослан крымцами, да им и ворота отопрет».— «Бог с вами, пане мой! — говорил я.— Такой ли это человек; да он и вашу дочку приберег у себя; да он и смотрит не так».— «Нет,— говорит полковник,— мне не верится, чтоб и моя дочка была жива». И все такое неподобное... даже хотел пытать тебя...

— Меня? — громко сказал Касьян.— Пытать запорожца?

— То-то и есть; а делать нечего: сила солому ломит!.. Всилу я упросил, чтоб тебя посадили в тюрьму.

— Вот за это спасибо! Видно, что добрый человек.

— Именно добрый. Не пугайся, Касьян, тебе будет

хорошо: ты будешь и сыт, и пьян; а когда прогоним татар и полковник увидит, что ты прав, что у тебя нет с ними ничего, вот мы и поедем все к тебе на зимовник. Полковник простил дочку; она приедет сюда с мужем, и пойдут пиры да веселье! Ой, ой, ой! Что за пиры будут!.. Не скучай, Касьян! Не сердись на меня, я тебе добра желаю; да как выпустят, не говори полковнику, что я был у тебя: он очень подозрительный человек, и мне худо будет! Прощай, Касьян! Не сердись на меня, не скучай! — и есть, и пить принесут тебе вволю, отдыхай после дороги.

— А моя сабля где?

— Сабля у полковника, висит на стенке под образами! В почете твоя сабля, добрая сабля! Нельзя ли мне пошалить твоею саблею с татарами? С лыцарскою саблею и сам станешь словно лыцарь.

— И не думай!..— закричал Касьян.— До сих пор верно служила моя сабля, крестила головы неверных, не выкрошивалась, не притуплялась; до сих пор чужая рука не трогала ее — и не тронет; умру — завещаю положить ее в гроб со мною. Ты, может быть, и добрый человек; бог тебя знает, что у тебя на уме, только не трогай моей сабли, не обижай старика, да еще заключенного, не ссорься со мною.

— Сохрани меня боже, боже меня сохрани! — говорил уходя Герцик.— Прощай, дядюшка, не сердись; я полковнику передам твою волю: добрый казак любит саблю, как жену, больше жены, сто раз больше, тысячу раз... сто тысяч...

А между тем, при первых лучах солнца, сторожевые казаки с крепостного вала приметили вдали большие клубы пыли, и вскоре показались на степи легкие отряды татар. Вооруженные казаки высыпали на вал; гармаши (пушкари) стали у пушек; известные, опытные стрелки, зарядив гаковницы (длинные крепостные ружья), навели их в поле и, припав за щитками, выжидали неприятеля. Татары наездничали, гарцовали, подскакивали к крепости,

изредка пуская стрелы, которые, не долетая к цели, вонзались в землю. Казаки не стреляли. Несколько раз казаки просились у полковника из крепости погулять за валом и переведаться с татарами; но полковник угрюмо отвечал им: «Не пора!» или «Не спешите прежде отца в пекло (ад)» — и с нетерпением поглядывал на север. Еще вчера, сейчас по приезде Касьяна, полковник Иван послал гонца к полковнику прилуцкому просить помощи и приказ Пирятинской сотне немедля явиться под Лубны; гонец не являлся, помощи не было, пирятинцы не шли. Татарские наездники стали смелее, начали ближе подъезжать к валу; но грянула с крепости гаковница, другая, третья — и они рассеялись, оставя на месте двух человек да коня; один лежал ничком будто спал; другой, лежа кверху лицом, махал руками почти до полудня, словно ветряная мельница, а раненый конь все силился подняться, становился на передние ноги и, сидя на задних, как собака, судорожно вытягивал длинную шею, глядя на крепость, так что страшно было смотреть на него; потом, шатаясь, падал и опять становился на передние ноги...

Настал полдень, тихий, знойный. Татары, выехав изпод выстрелов крепостных орудий, стояли густыми толпами; над чистым полем плавал в небе большой коршун; распустив широкие крылья, вытянув ноги, вооруженные острыми когтями, медленно спускался он на трупы и, торопливо откидываясь в сторону, будто нехотя подымался кверху, когда раненый татарин быстро взмахивал руками. По полю труском бежала какая-то пестрая собака, опустив хвост, повеся голову и длинный высунутый язык; усталая, остановилась она перед трупами, кругом понюхала поле, завыла и, поджав хвост, бросилась бежать со всех ног. Полковник, отирая потные глаза, посматривал на север — на севере никого не было — только чистая степь, раскаленная полуденным солнцем, да по степи, словно бегущие стада белых овец, мелькал порою жаркий пар на далеком горизонте.

Герцик советовал полковнику сделать вылазку; полковник не соглашался, ожидая скорой помощи.

— На что вам, к чему вам помощь, когда вы сами великий лыцарь? — говорил Герцик.— Придет помощь, вы разобьете татар, и все скажут: не сам разбил полковник Иван, люди помогли, еще, пожалуй, запоют песню, бабскую песню:

> ,Ой не сама пряла,
> Кума помагала;
> Дала куме миску пшена
> И два куска сала...

Бабская песня, а запоют ее на ваш счет — и вам будет совестно, и придраться будет не за что.

— А хотел бы я послушать, кто запоет?

— Язык без костей! Любая баба запоет — что вы ей скажете? Эту песню давно поют, не стать вам, пане, запрещать ее! Запретите, еще хуже, неподобное скажут про вас, про храброго лыцаря; и в Прилуках, и в Миргороде будут петь песню, коли в нашем полку побоятся... Я вас люблю, пане мой, очень люблю... вот откуда берутся слова мои...

— Знаю, друже мой, знаю, братику Герцик, спасибо тебе; даст бог утихнет жар, я с ними переведаюсь, я докажу, что сам побью эту погань, без прилуцких дегтярей... хоть осторожность не мешает... А что запорожец?

— Сидит под караулом.

— И слава богу! Ты надоумил меня припрятать эту старую лисицу. Спасибо, брате; мне и в голову не пришло сначала, что это шпиг (лазутчик) от татар; наделали бы кисло во рту, если б оставили его на воле...

— Известно!.. Вы сами, пане, прежде об этом думали, да не хотели обижать лыцаря; вы сейчас и приказали, что думали...

— Экая голова у тебя, Герцик! — сказал самодовольный полковник.— Мысли мои даже знает...

— Я дрянь против вас, пане мой, а господь умудряет слепцов... И какую историю выдумал этот старик: будто покойница Марина — царство ей небесное — воскресла!

— Чудно и мне показалось это, да долг лыцарский не велел расспрашивать о бабе... А что, если она жива?

— О, боже ж мой! Разве, пане, мертвые воскресают? Сам видел, как она взошла на подмостки, сам видел... да я уже говорил вам... всилу ушел из Сечи, и меня казнили б, если б нашли, так разлютовались эти неверы!

— Не говори так, Герцик,— грустно сказал полковник,— они христианские лыцари, а хитры бывают и люты, словно волки... Не думал я пережить моей Марины; не сдержал слова покойнице жене...

— Что с воза упало, то пропало, пане мой. Что ж, если б и осталась в живых Марина?

— Видит бог, я бы отдал ее за Алексея. Я и тогда хотел это сделать... да... бог его знает... как... Ну, да что говорить об этом!.. Выспрашивал ты вчера запорожца о моей дочке?

— Целый вечер... Да врет небылицы, старая лиса! Так, говорит, пришли, да и живут у меня — видимо, путается в речах; он, живя на зимовнике, верно, не знал того, что вы знаете из письма кошевого и моих слов... а выдумал сказку, для большего почету: думал, что вы баба — оттого, что они всех нас, гетманцев, считают бабами — и расплачетесь при весточке о дочке и дадите ему волю делать, что захочет, для крымцев. Верно, получил от хана не один дукат...

— Так, так! Постой, собака! Управлюсь я с татарами, я научу его, как шутить с полковником Иваном. Что же *он* теперь? Ты его видел сегодня?

— Видел. Сильно загрустил, бьется об решетки, даже плачет...

— Пускай плачет, пускай плачет, от злости плачет! Понюхал пирога, да не удалось попробовать... А не худо бы и нам перекусить, Герцик.

Начало вечереть. Татары небольшими кучками стали

разъезжать по полю перед крепостью; одна из них, побольше, подъехала довольно близко и окружила трупы товарищей; некоторые слезли с коней; казалось, хотели поднять и увезти мертвые тела. Гармаш прилег к пушке, приложил фитиль — и с крепостного вала грянул выстрел: ядро попало прямо в кучу; как живое серебро, разбрызнулись татары в стороны, оставя на месте еще нескольких товарищей и две длинные пики, воткнутые в землю; на пиках торчали только что отрубленные казачьи головы; кровь струилась по длинным древкам; вечерний ветерок покачивал их в стороны и веял черными чубами...

— На коней, хлопцы! — сказал полковник, заскрежетав от злости зубами.— Вот я им! А где Гадюка?

— Готовит ужин для пана,— отвечал Герцик,— да позвольте я поеду за вами. На что вам Гадюка? Ждать долго...

— Пожалуй! Что это у тебя за перышко на шапке?

— Заговор (талисман) от пули, и стрелы, и всякого оружия,— отвечал Герцик, выезжая рядом с полковником из крепостных ворот.

Быстро понеслись казаки врассыпную на крымцев, и в минуту по всему полю завязалась жаркая схватка. Человек десять татар скакали прямо на полковника. Полковник с Герциком скакал на них. Шагах в двадцати от крымцев полковник выхватил из кобуры пистолет, спустил курок — вспышка; другой пистолет тоже не выстрелил; брося и этот на землю, полковник поднял руку, вооруженную тяжелою кривою саблей, сверкавшею в воздухе, как светлый рог молодого месяца, но в ту минуту две стрелы впились ему в грудь; полковник зашатался на седле, опустил поднятую саблю, а татары, схватя за поводья его лошадь и лошадь Герцика, поскакали в степь. Казаки бросились выручать своего начальника; но их было мало, а крымцы прибавлялись с каждою минутой, били казаков и теснили к крепости. Вдруг страшный вопль огласил поле: из крепости скакал чудный воин,

на неоседланной и невзнузданной дикой лошади; быстро летел он, схватя ее за гриву и поворачивая жилистою рукою во все стороны, словно поводами; голова без шапки, нестриженая, небритая, нечесаная, ноги обнажены до колен, руки до локтей, в правой руке поднят тяжелый топор.

— Где вы дели, собаки, моего пана? — страшно кричал он, ринувшись в толпу татар.— Пане мой, пане мой! Здесь я, здесь Гадюка! — кричал он, быстро опуская направо и налево тяжелый топор, от которого, как снопы от бури, валились татары. Отбив раненого полковника, Гадюка перебросил его поперек коня и помчался в крепость; но вслед за ним поскакали и Герцик и казаки, теснимые со всех сторон множеством крымцев. Уже были они у крепостных ворот, неся на плечах своих неприятеля, как с гиком ударила вбок Пирятинская сотня; крымцы испугались засады, сробели свежего войска и, преследуемые в свою очередь казаками, ускакали в степь, присоединяясь к своим обозам. Пирятинцы, распустив сотенные значки, вошли в крепость, приветствуемые народом. Вместо раненого полковника, принял над крепостью начальство пирятинский сотник.

Настала ночь. На далекой степи, словно звездочки, засветились сторожевые огоньки татар; на крепостном валу казаки удвоили стражу.

В своей опочивальне, на широкой кровати, покрытой до полу азиатским ковром, лежал полковник Иван, сильно страдая от ран. Казак-знахарь (лекарь) осмотрел раны, перевязал их и покачал головою.

— Что? — спросил слабым голосом полковник.

— Ничего, пане полковник! — отвечал знахарь.

— Нет надежды? А?

— Богу все возможно...

— Оставь это... я не баба. А по-твоему, как?... Что?..

— По-моему, плохо.

Полковник покачал головою и тихо спросил:

— А Гадюка где?

— Лежит раненый,— отвечал Герцик.

— Худо! Останься со мною, Герцик; а вы все...

Тут полковник махнул рукою — все вышли. Герцик запер дверь и подошел к полковнику.

— Слушай, Герцик,— говорил полковник,— расспроси этого запорожца о моей Марине... мне ... мне все кажется, что жива она... Казаки не поймут меня, подумают, я без характера... а ты любишь меня, слушай: если это правда... если она...— И полковник начал шепотом говорить Герцику.

Наклонясь над полковником, Герцик долго слушал, вперив свои быстрые очи на умиравшего, и страшно улыбнулся. Когда умолк полковник, он с дикою радостью прошелся по комнате, подошел к кровати, наклонился к лицу полковника, внимательно прислушивался и сказал: «Хорошо, пане, вам неприятен свет, я вас поворочу к стенке». Потом поворотил полковника лицом к стене, покрыл его синим походным плащом и, отойдя на середину комнаты, кашлянул и сказал довольно громко:

— Теперь хорошо, пане? А?

— Хорошо,— отвечал полковник слабым шепотом.

— Хорошо, хорошо! — сказал Герцик.— Теперь я пойду исполню вашу волю, пане мой — слышите?

— Слышу.

Герцик вышел.

— А что? А что? — спрашивали Герцика старшины, бывшие в другой комнате.

— Ангельская душа! — отвечал Герцик со слезами на глазах.— Он чует свой близкий конец и обо всех помнит.

— Неужели?

— Да; говорит: «Если я умру, Герцик, скажи, чтоб отдали пирятинскому сотнику моего черкесского коня Сивку...»

— Добрый конь! — говорили старшины.

— Мне с ним и не управиться! — сказал сотник.

— «А хорунжему Подметке,— продолжал Герцик,— мое старое ружье».

— Знает, что я охотник; добрая душа!

— «Есаулу Нелейводу-Присядковскому — серебряную чарку».

— Упьюсь из этой чарки,— сказал Нелейвода-Присядковский,— ей-богу, упьюсь!

— «Есаулам Гопаку и Тропаку по паре красных сапогов с серебряными подковами...»

— Спасибо, спасибо! — говорили Гопак и Тропак.— Спасибо; дай бог ему...

— Здоровья?..— лукаво спросил Герцик.— Что ж вы не кончаете?

— Известно, здоровья! — торопливо отвечали есаулы.— Мы от горя не договорили... Бог с ними и с подарками, лишь бы здоров был наш добрый начальник!

— Да, да, правда! Добрый начальник! Хороший человек! Дай бог ему всего, что мы ему желаем,— повторили хором остальные.— А тебе что, Герцик?

— Пока ничего; разве что вам скажет; велел вас позвать. А ты, Потап,— сказал Герцик, обращаясь к часовому,— сходи сейчас в тюрьму, узнай о здоровье запорожца Касьяна: полковник, мол, велел; а оттуда забеги к священнику, попроси его сюда с *дарами:* полковник, мол, просит. Слышишь?

— Слышу,— отвечал казак, выходя за двери.

— Христианская душа! Благословенная душа! — тихо говорили старшины, входя в полковничью опочивальню.

— Оно? — шепотом спросил Подметка, указывая глазами и бровями на ружье, висевшее над кроватью полковника.

Герцик утвердительно кивнул головою.

Полковник лежал, оборотясь лицом к стене, и тяжело вздохнул, когда вошли старшины и стали почтительно у двери.

— Старшины пришли,— сказал вполголоса Герцик, наклоняясь к полковнику.

— Добре! — тихо отвечал полковник и что-то начал говорить вполголоса.

— Полковник, уезжая на сражение сегодня, написал свою волю и запечатал ее войсковой печатью, а теперь просит на случай чего-нибудь нехорошего, чего, боже сохрани,— говорил Герцик,— просит всех старшин взять эту волю и исполнить ее на случай смерти пана полковника.

— Рады стараться,— отвечали в один голос старшины, низко кланяясь.

— Спасибо! — шепотом отвечал полковник, все еще отворотясь спиною к 'своим подчиненным.

— Где же бумага, пане мой любезный? — спросил Герцик.

— За образами... Ох!..

— Поищите, пане сотник,— сказал Герцик.

Сотник приблизился к образам, ударил земной поклон и, перекрестясь, вынул из-за образа пакет, запечатанный полковничьею печатью. Герцик взял из рук сотника пакет, подошел к полковнику и спросил, поднеся бумагу к самому лицу полковника:

— Это твоя воля, пане?

— Она... ох... душно!..

— Душно, пане? Не открыть ли окна?

— Добре...

Гопак и Тропак бросились и открыли окно, говоря:
— Уже мы, пане полковник, открыли.

— Добре...— И полковник опять начал тихо говорить; Герцик, наклонясь, слушал его со вниманием и потом сказал старшинам:

— Полковник хочет успокоиться и наедине помолиться богу о грехах. Выйдем, паны.

— Какие у него грехи? Чистая душа! Добрая душа! — говорили старшины, выходя из комнаты; впереди шел,

важно неся запечатанный пакет, пирятинский сотник, гордясь доверенностью полковника.

Через четверть часа явился священник, вошел в опочивальню и опять возвратился, говоря:

— Молитесь, братья! Он умер!

— Умер?! — вскричали старшины.

— Умер! — сказал священник.— Умер нераскаянный! В грехах умер человек! Молитесь...

— Царство ему небесное! — крестясь, печально говорили все присутствовавшие. Но, бог знает, почему, присмотрясь хорошенько, можно было заметить, что на всех печальных лицах, не исключая даже Герцика, мелькала какая-то скрытая радость.

— Добрый был пан! — сказал Герцик.

— Добрый был начальник,— прибавил сотник.

— Правда, правда,— почти радостно подтвердили все.

— А какой-то будет новый?..— заметил один есаул.

— Бог знает, что бог даст, то и будет,— говорили старшины. И на этот раз их лица действительно омрачило горькое раздумье.

«Чудна игра физиономии человека»,— невольно подумаешь иногда. Душа, словно вода: никогда не бывает спокойна — вечно меняется...

VI

Прийшов ні за чим, пішов ні з чим,
Шкода й питать, тільки ноги болять.

Малорос. народная поговорка

В полночь протяжный звон соборного колокола известил лубенцев о смерти их полковника; другие колокольни отвечали этому звону, и скоро весь город загремел колоколами; народ проснулся и толпами всю ночь до самого света приходил смотреть на усопшего полковника, который лежал среди комнаты на длинном дубовом столе, одетый в богатую парчевую одежду; кругом стола в тя-

желых подсвечниках горели свечи; в головах икона и над нею сложенные крестообразно пернач и булава. Входя в комнату, казаки крестились, молясь о душе усопшего, а выходя на двор, громко проклинали крымцев, собирая охотников сделать вылазку на рассвете и дорого отплатить неверным за своего полковника; но вылазка не состоялась, к великой печали охотников.

Крымцы знали через своих лазутчиков, что в миргородский полк посланы гонцы за помощью, и, услыша в городе колокольный звон и тревогу, вообразили, что идет отдаленная помощь, и, вообще любя более нечаянные набеги и разбой, нежели правильную войну и сражение, ночью убрались потихоньку, оставя зажженные стороженые огни: так все думали в Лубнах — а может быть, были и другие причины. На рассвете казаки с валу не заметили крымцев, послали разъезды — разъезды никого не нашли, будто неверные провалились сквозь землю, будто их свеяло, унесло ветром.

Целую ночь не спал Касьян, думая о причине необыкновенного звона, и расспрашивал часового, и соблазнял его пением; часовой, к великой досаде Касьяна, упорно молчал. Утром загремели замки, завизжали на ржавых петлях двери, и в тюрьму вошел Герцик.

— Поздравляю тебя, друг мой Касьян, поздравляю! — весело говорил Герцик, обнимая Касьяна.

— С чем? Не собрались ли повесить меня?..— угрюмо спросил Касьян, отталкивая Герцика.

— Боже мой! Что за человек! Настоящий воин, настоящий запорожец! Характерный человек! Крымцы ушли; теперь ты свободен.

— Молодцы! Ай да гетманцы! Вы их прогнали?

— Да, мы их порядочно поколотили вчера, а они ночью и ушли; верно, испугались колоколов: думали, мы что недоброе против их замышляем.

— Вот оно что! Есть чем хвастать. Так вы звоном прогоняли татар, словно налетную саранчу? Бабы!

— Нет, Касьян, мы звонили по другой причине; разве ты не знаешь нашей печали?

— Откуда бы я знал?

— Ты не знаешь! О, боже мой! Плачь, Касьян! Полковник умер! Крымцы его убили...

— Вот оно что?.. Царство ему небесное, а плакать мне не о чем.

— Как хочешь, Касьян; это твое дело; ты умный человек. Пойдем же на раду; вот твое оружие: я приберег его из любви к тебе; пойдем на раду, уже собралась она. Один бог знает, я так полюбил тебя, Касьян!

— Что мне делать на вашей раде?

— Там все старшины, да запорожец сам не простой человек: и между старшинами тебе дадут почет; там будут читать последнюю волю полковника: может, он что такое и о дочке написал, и о моем приятеле Алексее. Пойдем; тебе не худо знать: поедешь, им передашь радость.

— Это дело; пожалуй, пойдем.

Собралась рада. Сотник и старшины присягнули, что перед смертью полковник вручил им это самое завещание и просил исполнить последнюю свою волю; после этого священник распечатал и громко прочел завещание:

«Во имя отца, и сына, и святого духа, аминь. Я, не имея родных, в случае моей смерти, завещаю в лубенскую соборную церковь сто червонных, да в пирятинскую замковскую пятьдесят, а остальное все мое имение движимое и недвижимое отдаю в вечность и бесповоротность приемышу моему Герцику за его полезные моей особе службы, с тем чтобы он кормил до смерти Гадюку и наливал для него ежегодно бочку наливки из слив, купленных по вольным ценам в местечке Чернухах.

Року NN,
месяца и числа NN

Славного Войска запорожского
полка Лубенского полковник
Иван NN ...»

Священник сложил бумагу и поклонился Герцику; все старшины тоже стали ему кланяться и поздравлять с наследством; даже самые злые недоброжелатели Герцика приятно разглаживали усы и осклаблялись перед ним.

— А о коне ничего не сказано? — спросил сотник.

— И о ружье?.. И о сапогах? ...— говорили старшины.

— Что сказано, то свято,— смирно отвечал Герцик,— я не отопрусь; сказал покойник — берите; хоть оно и мне принадлежит, а берите, я не хочу перечить...

— Честный человек этот Герцик! — говорили старшины между собою.

— Нет! — сказал Герцик твердым голосом.— Не хочу я наследства. У полковника осталась дочь, она наследница; вот вам честный запорожец; он приехал с поклоном от нее; ей следует, а не мне...

— Нет, нет! — закричали сотник и старшины.— Имени ее нет в духовной; он ее изрекся, она ушла от него...

— Может быть, покойный не знал, жива ли она,— заметил Герцик.

— Вот дурень! — ворчал, обратясь к товарищам, сотник, которому, как видно, очень хотелось сивого коня.

— Говорил ты, добрый человек, покойному полковнику, что его дочь жива, и точно это правда? — спросил Касьяна священник.

— Говорил, сейчас как приехал, говорил полковнику; а его дочка и теперь у меня живет на зимовнике...

— А это завещание писано вчера,— сказал священник,— значит, он с умыслом умолчал о дочери, хоть и знал, что жива она; значит, он устранил ее от последней своей воли, и ты, Герцик, не смеешь отказываться от исполнения воли умирающего, должен принять все его земные блага и стараться о приобретении таковых же на небе.

— Не смею вам перечить,— отвечал Герцик, смиренно кланяясь.

Старшины получили подарки, назначенные им по словесному приказанию полковника. Полковника похоронили

при громе пушек, звуке труб и мелкого ружейного огня, и к вечеру вся знать пировала у нового своего товарища по богатству, у Герцика. За ужином сперва пили печальные кубки за упокой души покойного и пели *вечную память;* потом начали пить здоровье Герцика, потом сотника и старшин, закричали «ура», запели *многие лета* и перед светом разошлись очень довольные собою.

Когда разошлись гости, Герцик пришел в полковничью опочивальню — она теперь сделалась его комнатою,— весело прошел по ней несколько раз, потирая руки, странно улыбаясь, и сел на кровать, на которой в прошлую ночь лежал умиравший полковник. Герцик задумался и вдруг вздрогнул, быстро вскочил на ноги и, подняв ковер, тревожно посмотрел под кровать: там ничего не было. «Дурак!» — прошептал Герцик, сел и опять задумался. Лицо его сделалось страшно, болезненная дрожь пробегала по нем, порою губы его судорожно искривлялись — бог ведает, от злой улыбки или тяжкой боли сердечного страдания.

Уже было утро, а Герцик все еще сидел на кровати, задумчивый, печальный, опустя голову на руки, упертые в колени, и только тогда поднял ее, когда скрипнула дверь и на пороге показался Касьян. Видно было по одежде, что запорожец собирается в дорогу.

— Ты, Касьян? — спросил Герцик.

— Уже не кто другой,— отвечал запорожец,— прощай; я сейчас еду.

— Куда?

— К себе на зимовник. Тут мне нечего делать.

— Погоди, Касьян; погуляй с нами.

— Спасибо. Не весело мне, да и тебе, как видно, не очень весело.

— Правда твоя, Касьян; сейчас видно умного человека: не весело мне, я лишился благодетеля, а тут еще покойник обидел бедную свою дочку; видит бог, Касьян, как мне жаль ее и ее мужа! Ты сам слышал, как я отказывался...

что ж делать; рада присудила: нельзя, говорят, переменить завещания: воля покойника, говорят, свята.

— Не солгу, слышал.

— Ну, вот видишь, сам не знаю, чего б я не дал, чтоб переменить это... Видит бог, Касьян, я добрый человек; мне Алексей Чайковский большой приятель; вот посмотри кинжал — это его подарок; скажи ему, что висит у меня, видишь, где? На почетном месте. А Марина всегда была такая ласковая, всегда меня отпрашивала, как, бывало, покойник — чтоб над ним земля пером лежала,— захочет меня, бывало, потузить за что-нибудь...

— Спасибо и за доброе слово. Прощай.

— Нет, погоди, Касьян; скажи Марине, что я всегда буду ее помнить и все имение полковника буду считать ее имением; я буду просто ее арендарь; все ей доставлю: пусть ни в чем не нуждается, ест и пьет из серебра, ходит в бархате, слышишь?..

— Слышу.

— А на первый раз возьми вот этот мешок дукатов, кланяйся от меня, и ее мужу кланяйся, скажи, что я с ним скоро увижусь... Вот только управлюсь с делами, сейчас приеду к вам на зимовник. Погуляем вместе, забудем горе...

— Из хороших уст хорошее и слово,— отвечал Касьян, укладывая мешок в карман бесконечных своих шаровар.

— Теперь прощай, братику, прощай, Касьян; веришь ли, я и тебя люблю не меньше Алексея; что для него, то и для тебя готов сделать. А как же мне найти твой зимовник?

Касьян рассказал дорогу, поклонился и вышел. Скоро вздохнул он свободно на широкой родной степи. Ветер веял, трава шумела, добрый конь скакал; Касьян пел песню, подъезжая к своему зимовнику.

VII

«Ой полети, галко,
Де мій рідний батько,—
Нехай мене одвідає, коли мене жалко».
Летить галка, кряче,
А дівчина плаче:
«Нема в мене рідненького! Тілько ти, козаче!»

Малороссийская народная песня

Гости пьют и едят,
Речи гуторят;
Про хлеба, про покос,
Про старинушку.

А. Кольцов

— Что вам сказать, мои дети? — говорил Касьян Чайковскому и жене его, сидя за столом в своем зимовнике.— На Гетманщине, как я заметил, так все перепуталось, перемешалось, словно волоса в войлоке; порядку нет; одно только мне чудно, хоть и верно, что Герцик смотрит великим мошенником: так и просится на веревку, а делает хорошо, ей-богу, хорошо; что ни говори, у него душа лучше рожи.

— Ты, батьку, чудно говоришь, говоришь обиняками; тут что-то есть.

— Ничего нет.

— А батюшка что, полковник? — спросила Марина.

— Ничего. Известно: умер, похоронили, и все тут; всем придется умирать... Вот ты уже и плачешь, доню! Нехорошо...

Но Марина его не слушала; громкие рыдания, прерываемые восклицаниями: *я этому причиною, на мою голову падет смерть его* и подобные в этом роде, задушали Марину.

— Вот говори бабам правду! — заметил Касьян.— Они из мухи коня сделают и давай плакать... Татары его убили, а не ты; он не очень о тебе беспокоился...

Когда немного утихли рыдания Марины, Касьян рассказал всю историю своей поездки, которая нам уже известна, и заключил ее словами:

— Вот я приехал к вам ни с чем, кроме этого мешка дукатов... Что ни говори, а Герцик добрый человек.

— Так он не проклял меня?

— Вот дурная баба! За что бы он проклял тебя? Да коли б и проклял, я не скрыл бы...

— Ну, я рада! Камень свалился с души моей от слов твоих, Касьян. Меня не проклял отец... Благодарю тебя, господи! Теперь я ничего не боюсь, я еще не одна на свете...— И Марина, обняв Чайковского, прильнула к груди его и тихо плакала.

— И давно бы так!.. Бог знает об чем плачет!..— прибавил Касьян.— Вы останетесь у меня жить; деньги у вас есть и еще будут; зовите меня батьком, а умру — ваш зимовник и все ваше,— для вас станет; будут дети, сыновья — посылайте служить на Сечь; послужат, узнают политику и характерство — будут людьми. Вот и все тут. Полно, дети, плакать!

Спокойно зажил Чайковский на зимовнике; днем ходил на охоту, вечером слушал рассказы Касьяна о подвигах запорожцев в давно минувшие времена, и когда на какой-нибудь подвиг была сложена песня,— а это было сплошь и рядом,— то все пели эту песню и Касьян пояснял им некоторые аллегории, без чего вы найдете мало песен в Малороссии, что и подало повод многим умным людям, не понимавшим их, упрекать бедные создания народной поэзии в бессмыслице.

Недели две спустя, в одно утро, старый Касьян очень прилежно вырезывал из куска сухого липового дерева столовую ложку; Марина, сидя у окна, вышивала цветным шелком хустку (носовой платок) для мужа; Чайковский, собираясь на охоту, посадил на руку ученого ястреба и привязывал к его лапе погремушку. Вдруг раздался конский топот; несколько казаков остановились у ворот

зимовника и спрашивали хлопца, ходившего по двору: *Это зимовник Касьяна?*

Касьян вышел и скоро возвратился, ведя гостя, одетого в богатый наряд.

— Алексей, друг мой! — закричал гость, бросаясь обнимать Чайковского.

— Неужели ты, Герцик? — сказал Алексей.— Я всилу узнал тебя... паном стал...

— Ох, тяжело мне это панство! Не говори об нем, братику! Касьян свидетель, как это случилось... Сердце у меня так и рвалось к тебе... Как посмотрю на твой кинжал да вспомню наше прощанье — помнишь, на Сечи,— вот так сердце и рвется, так и шепчет: «Есть у тебя друг, ты забыл его...» Видит бог, правда!

— Постой, Герцик, я человек прямой; скажи мне, ты знал, когда был на Сечи, что полковничья дочка, теперешняя моя жена, ушла?

— Ах, бог мой, и пани Марина здесь! Я от радости не заметил! Да как вы похорошели, пани; позвольте поцеловать вас...

— Ай, Герцик! Ты сильно целуешь,— вскричала Марина, вырываясь от Герцика.

— От радости себя не помню... Да, ты спрашивал, Алексей, знал ли я? Разумеется, знал.

— Отчего ж ты мне не сказал?

— Э, братику! Не так легко сказать печаль, как радость. Ты был такой веселый, что мне было жаль тебя печалить; да и мы сами не знали, где дочка полковника — пропала, и только. А сбежала ли она, утонула или ее кто извел со света — никто не знал. Как же мне было сказать тебе!.. Посуди сам... Виноват, пожалел тебя; а видишь, все вышло к лучшему. Чему быть, тому не миновать.

— И то правда,— отвечал Алексей.

— Теперь, дядюшка Касьян, я попрошу твоей ласки,— сказал Герцик,— не оставить моих казаков; со мною их

человек шесть; знаешь, взял для безопасности в ваших степях...

— Пустое! — отвечал Касьян.— Как бог даст, и один человек проедет — вот я всегда один езжу; а не даст — и десяток не спасет... А твоим и коням, и хлопцам будет место; у меня своих хлопцев человек десятка три-четыре живет на зимовнике, так шестерых и не заметят.

— Ого! А я думал, один живешь...

— Один не долго бы прожил...

День прошел очень приятно. Герцик навез много гостинцев для Касьяна, Чайковского, а особливо для Марины; говорил, что никогда не забудет благодеяний отца ее, что мать Чайковского здорова и уже знает о женитьбе сына, и что даже он постарается привезти ее зимою на зимовник, и тому подобными речами расположил их всех в свою пользу; даже и Чайковский начал подумывать: «Да, в самом деле Касьян прав: Герцик добрый малый». Одна только Марина инстинктивно ненавидела его и не хотела принять подарков.

Касьян угощал на славу, и за ужином, после порядочного чаркованья, гость сделался совершенно своим. Начали рассуждать, как провести завтрашний день.

— Я предлагаю вам съездить на охоту,— сказал Касьян,— здесь очень много дичи, а я займусь сам с кухарем, да приготовлю вам такой стол, что и гетману не иметь подобного. Я сам, ей-богу, сам — не смотрите, что стар,— а вот так засучу рукава по локти, вот как видите, и пошел стряпать... Вы не шутите со мною!

— Прекрасно, дядюшка Касьян! — подхватил Герцик.— Мы поедем с Алексеем на охоту... у меня же есть чудесное ружье.

— И у меня тоже,— прибавил Алексей,— и дичь я знаю, где водится.

— Стой! — закричал Касьян.— Видать, сейчас видать, что оба гетманцы. Хлопать пойдут по степи; одну штуку

убьет, а десять разгонит... То ли дело с ястребами! У меня и ястреба есть.

— Что за охота с ястребом? То ли дело ружье! — сказал Герцик.— Я и не умею охотиться с ястребом, а поеду с ружьем... Правда, Алексей? Поедем с ружьями.

— Эх вы, дурные головы! Что ваше ружье? Выстрелом убил и кончено, да разогнал, распугал десяток. А как спустишь ястреба, как взовьется он, как бросится с налету на птицу — шумит воздух, крепкие перья, будто струны, звенят на крыльях... да, звенят, прислушайся, коли есть уши; недаром сложена песня:

Конь бежит — земля дрожит,
Сокол летит — перо звенит.

Ей-богу, чудо как весело! Нет, с ястребами поезжайте на охоту; я сам бы поехал, да дела много дома; а вы молодой народ: погарцуете — и пообедаете вкуснее.

Герцик еще противоречил Касьяну, но старик и слышать не хотел; и так решено завтра утром рано ехать на ястребиную охоту.

Было любо смотреть на Герцика и Чайковского, когда они утром выехали вдвоем на охоту. Марина еще спала; старый Касьян в нагольном тулупе проводил их за ворота, повторяя разные охотничьи наставления. Весело ехали они рядом рука об руку, как родные братья, смеялись, разговаривали, вспоминали прошедшее... Когда зимовник скрылся совершенно из виду, Герцик пустил своего ястреба на стрепета; ястреб сразу убил неповоротливого стрепета, стрепет упал на песчаную поляну, поросшую мелким бурьяном; охотники подскакали к дичи, слезли с лошадей.

— Славная штука! — говорил Чайковский, подкидывая на одной руке стрепета.

— Это ли охота! — отвечал Герцик.— Стрепета ловить — просто брать мясо руками.

— Правда; вот если б журавль, натешились бы.

— Да, посмотри, не журавль ли это?

— Где?

— Вон высоко-высоко, будто черная точка в небе, прямо над твоею головой.

Чайковский поднял голову, пристально глядя в синее небо. Герцик, не сводя глаз с Алексея, быстро присел, опустил до земли руку, захватил горсть песку и — жалобно вскрикнул. Алексей испугался, когда посмотрел на него: страшно крича, бледный от страха, Герцик махал по воздуху правою рукою; около руки, как тонкая плетка, вилась темно-серая змея.

— Алексей, спаси меня! Злая гадина впилась мне в большой палец,— кричал Герцик,— и не оставляет меня, огнем жжет, проклятая.

Наконец убили змею; Герцик был бледен, желт; холодный пот крупными каплями блестел на лбу его; укушенный палец раскраснелся, распух.

— Пропал я! — шептал Герцик.— Наказание божее... видимое наказание.

— Пустое! — говорил Чайковский.— Мало ли змеи кусают, да не все укушенные умирают: притом же эта змея была маленькая, тоненькая — дрянь.

— Это и страшно, что она маленькая да тоненькая; это и есть самая злая порода; не всякий знахарь отшепчет ее!.. Бог наказал меня!..

— Перестань, не гневи бога; ты сделал доброе дело: утешил нас, помог нам, за что тебя наказывать?

Герцик молча покачал головою.

— Я ума не приложу, как она тебя укусила?

— Бог наказал! Я хотел...

— Что хотел?

— Хотел... сорвать былинку, а она, скверная змея, верно, лежала под кустиком и схватила за палец. Ой! Господи, как болит! Мороз за кожею ходит. Поедем, брат, поскорее домой.

Печальные приехали на зимовник наши охотники. Чайковский вел в поводу лошадь Герцика, который едва сидел

на седле: так его корчила страшная боль; рука раздулась, распухла, словно обрубок; на ней, будто ростки, торчали пальцы; от укушенного места, как лучи, шли во все стороны багровые линии.

Касьян распорол рукав кафтана и рубахи, потому что их снять уже было невозможно, посмотрел на руку и хладнокровно сказал:

— Ничего, пройдет. Меня на веку три раза кусали змеи, да все знахари отшептывали; только ничего не кладите на рану, пока приедет знахарь; я пошлю сейчас за ним хлопца, он недалеко.

VIII

У вівторок зілля варила,
А у середу Гриця отруїла.

Малорос. народная песня

Я не таков: нет, я не споря
От прав моих не откажусь,
Или хоть мщеньем наслажусь.

А. Пушкин

Хлопец не застал знахаря дома и рысцой поплелся назад.

День был к вечеру. Едет хлопец, а навстречу идет, бог ее знает откуда, цыганка, в синей исподнице, в красной изорванной юбке, старая, скверная, лицо — как ржавый котелок, волосы седые висят клочками из-под какой-то грязной тряпки, намотанной на голову; нос крючком к бороде, борода крючком к носу, а глаза так и светятся. Хлопец перекрестился и, боязливо сняв шапку, сказал:

— Здравствуй, тетушка!

— Здорово, небож,— отвечала она шепелявя,— куда бог несет?

— Домой.

— А откуда?

— Ездил за знахарем; дома не застал.

— А на что вам знахарь?

— Казака укусила гадюка (змея).

— Ох, боже мой! И давно укусила?

— Не знаю когда, должно быть, сегодня; вчера он был еще некусаный и поутру сегодня поехал на охоту, кажись, некусаный, а ополудня вернулся уже укушенный.

— Ну, благодари бога, что повстречал меня! Веди меня скорее; я помогу ему, я знаю заговаривать и кровь, и змею, и лихорадку, и всякие напасти; веди меня.

— Спасибо вам, тетушка,— отвечал, почесываясь в затылке, хлопец, которому очень не хотелось быть вместе со страшною цыганкою,— да меня не за вами послали; боюсь, как рассердятся.

— Дурень! Разве не все равно, кто ни вылечит казака? Еще спасибо скажет тебе хозяин; а умрет человек, на твоей душе грех будет.

«Правду говорит бесова баба,— подумал хлопец,— да страшно! Если она ведьма, зайдет сзади, вскочит на коня, а после и мне на плечи и станет ездить на мне куда захочет...»

— Что же ты молчишь?

— Пожалуй, тетушка; только, будьте ласковы, не идите со мною рядом, а ступайте вперед; я буду рассказывать дорогу, а то мой конь не любит бабьего духу.

Цыганка пошла впереди; хлопец поехал за нею шагом на благородном расстоянии.

Солнце зашло, и полная луна взошла на чистое небо, когда хлопец и цыганка прибыли на зимовник.

В темной комнате стонал Герцик; его рука распухла до плеча и будто покрылась лаком; но опухоль не шла далее. Видно, яд потерял свою силу. В соседней комнате сидели, при свете каганца (плошка из толстой светильни и бараньего жира) Касьян и Чайковский с женою, рассуждая, куда пропал хлопец. Наконец он явился.

— Где ты пропадал, вражий сын? — закричал Ка-

сьян.— Человек умирает, а ты, верно, спал в степи? Где знахарь?

— Знахаря нет дома; сказали: поехал в паланку (род городка оседлых запорожцев) лечить какую-то паню; говорят, что-то съела, что ли, так в животе неблагополучно; а вернется послезавтра, сказали, приедет.

— На черта он мне послезавтра, дурень? Где же ты пропадал?

— Я нигде не пропадал, а все ехал ходою, проводил сюда какую-то знахарку, что ли, цыганку, что ли, я не разберу ее толком; стар человек, тихо ходит, а говорит: «Вылечу от гадюки». Вот мы и опоздали.

— Где же твоя знахарка?

— Тут за дверью, только не испугайтесь. Пожалуйте сюда, тетушка!

Хлопец, толкнув ногою, отворил дверь и быстро отошел в сторону. Цыганка вошла.

— У вас есть недужий (больной),— говорила она,— змея укусила его; злые змеи в это лето, очень злые, трудно заговаривать их, а я знаю заговорку, заговорю змею, хоть водяную, хоть степовую...

— Это степовая,— сказал Чайковский.

— А ты почему знаешь? Ты знахарь? Так заговори, коли знахарь.

— Я не знахарь, бог не дал мне мудрости, а змея укусила на степи, так должна быть степовая.

— Не мешайся не в свое дело; ученого учить — портить.

— Правда, тетушка,— сказал Касьян,— идите скорее к больному, время не терпит.

Цыганка сбросила с головы тряпку, встряхнула головою, и длинные седые волосы совершенно закрыли лицо ее; потом подошла к Герцику, осветила ему руку, взглянула на лицо и остановилась.

— Что, бабушка, можно отшептать? — спросил Герцик жалобным голосом.

— Можно, лишь бы угодно было богу. Я, кажется, где-то видела тебя? Не ворожила я тебе когда-нибудь?

— Нет, бабушка, никогда не ворожила; в первый раз тебя вижу.

— Ну, хорошо; идите себе, вынесите и светло.

Все вышли в другую комнату; скоро послышалась заговорка цыганки:

«Помолюся господу богу и всем святым его! Десь-недесь на Лукоморье стоит яблоня сухая; на тую яблоню муха налетае, лист обвивае, черва нападае, корень источае, яблоню сгубляе... И на человека,раба божьего,есть напасть злая, болести и хворобы и всякие наробы, и гады заклятые; ты у меня, подтинница, веретинница, не крутись, не вертись, я тебя знаю, от сестер различаю, есть веретинница луговая, лесовая, гноевая, земляная и веретинница водяная. Я тебя словом сильным изгоняю, заклинаю; убирайся к сестрам-посестричкам, малым невеличким, где топор не стучит, где люди не ходят, где коровы не бродят, куда петушиный голос не залетает; не палить, не сушить тебе белого лица, желтые кости, горячия крови раба божия!.. Тьфу! Сгинь!.. Сгинь, говорю!»

Три раза прочитала цыганка заговорку и вышла в другую комнату, где на нее с благоговением смотрели Касьян и Чайковский с женою.

— А что? — спросил Чайковский.

— Трудная змея, не простая змея! Да и запустили рану; много времени прошло... Посмотрим, что будет.

Через несколько времени пошли к больному. Рука была все в одном состоянии.

— Каково тебе? — спросил Касьян.

— Немного стало будто легче.

— Худая примета! — сказала цыганка.— После этой заговорки должно быть немного труднее: яд испугается и начнет метаться, а то он спокоен, злая змея укусила тебя!.. Опасно, очень опасно; заговор не берет, надо лечить, вот приложим на рану этот корень: он последнее средство.

Цыганка достала из кармана своей юбки корешок темного цвета, разрезала его, помочила водою, приложила на рану и крепко обвязала кругом тряпкою.

— Это поможет? — спросил Чайковский.

— Поможет. Какая бы ни была змея, от всякой поможет, разве укусит змеиха, у которой убили детей: от этой ничто не поможет, ничто не спасет,— говорила цыганка, странно улыбаясь.

Не успела цыганка докончить своих речей, как Герцик страшно застонал, заметался на постели.

— А что? — спросила цыганка.

— Жжет, словно огнем; жилы тянет...

— Ага! Испугался яд. Терпи, казак, атаман будешь.

Но Герцику невмочь было терпеть: он метался, кричал, ревел нечеловеческим голосом и сорвал перевязку. С ужасом все увидели страшную перемену: рука посинела, опухоль быстро подвигалась к шее; укушенный палец почернел.

— Жаль мне тебя, добрый казак! — говорила цыганка, смотря прямо в глаза Герцика.— Ты умрешь, непременно умрешь, никакие силы не спасут тебя, и умрешь скоро; опухоль охватит горло и задушит. Пошли за попом, приготовься к смерти; тебя укусила змеиха, у которой отняли детей; яд ее неизлечим ... неизлечим ее яд... Слышишь?.. Не увидишь ты более солнца; в эту ночь закроются навеки глаза твои.

И, страшно улыбаясь, глядела она в очи Герцику, будто с наслаждением читая в них всю глубину мучений безнадежного отчаяния.

— Отойди от меня,— простонал Герцик.

Цыганка тихо вышла из комнаты, из другой и скрылась.

«Чужая беда — людям смех»,— говорит народная поговорка и, к несчастью, она, как и все поговорки, очень справедлива. В природе человека есть много зла; все четвероногие и четверорукие, говоря в смысле животном, отдавая преимущество своему двурукому собрату в уме и способ-

ностях, должны уступить ему и в жестокости. Стоит сравнить дикого, который с радостным смехом и неистовыми прыжками режет на части живого человека и с наслаждением ест его еще трепещущее тело, стоит сравнить с христианином, который любит и врагов своих, чтоб убедиться в святости и божественности религии и великой силе воли человека духовного, так победившего, уничтожившего животного человека... Но есть люди, даже в образованном обществе, люди-ненавистники, странные натуры, которым несчастье ближнего доставляет душевное наслаждение; они без всякой видимой причины готовы делать зло, где только можно, готовы повредить вам не из желания поважничать, не из корыстолюбия, не из личных отношений — нет, а просто безотчетно, для собственного своего удовольствия готовы замарать ваше доброе имя, уничтожить вашу службу, испортить всю вашу будущность, чтоб после в тишине кабинета сказать самому себе самодовольно: «А! Он страдает! Он терпит. Это мое дело!» Но если человеком овладеет страсть, особливо мщение, тогда тигры и гремучие змеи перед ним — кроткие барашки; он способен удивить самое воображение.

Старая цыганка вышла из хаты, и, пойдя к окну, села на корточках на завалине, смотря с наслаждением в окно на муки умиравшего Герцика. По временам улыбалась она, тихо смеялась, закрывая рукою рот и шептала: «Это яд змеихи, у которой отняли детей. А что? Любо? Тянет жилы твои? Ломит кости? Палит, сушит казацкую поганую кровь?.. Не помню, где я его видела, как он ушел от моих рук; еще ни один не уходил... ни один...»

— Ох! Тяжело! — стонал Герцик.— Жарко, душно! Дайте воды... Умру я. Неужели нет никакого спасения?..— И он страшно озирался, медленно поводя уродливою большою рукой, а здоровою рвал на себе волосы...

Касьян и Чайковский печально стояли у постели больного. Марина подала ему ковш холодной воды. Слезы струились по лицу Марины и падали в ковш.

— И ты плачешь обо мне, Марина?.. О, боже мой!.. Недаром я умираю... Дай воду. У! Как свежа она!.. Легче, право, легче... Марина! Для меня принесла воду, Марина?

— Для тебя, Герцик.

— Для меня?! Как бы хотелось мне заплакать!.. Да слезы высохли, искры сыплются из глаз вместо слез. Что, Касьян, умру я? Скажи правду?

— Пошлю я за священником, Герцик; опухоль у самого горла; знахарка правду сказала.

— Чертова колдунья! Она извела меня со света. Как приложила корешок, будто огня в меня налила. Ох!.. Дайте мне ее, я задушу ее одною рукой!

— Полно, Герцик, гневить бога нехорошими речами! — сказал Чайковский.— Бог все знает, все видит, сам накажет грешника! Лучше подумай о покаянии... Время дорого; ты не баба, приготовься...

— А я пошлю за попом,— прибавил Касьян.

— Нет,— закричал Герцик,— я не могу видеть попа. Правду сказал ты: бог накажет грешника... накажет!.. Я вам исповедую грехи свои: перестанет Марина плакать обо мне, вы отступите от меня... Я грешник, страшный грешник... Позовите сюда моих казаков, позовите своих людей, пускай все слушают. Ох! Воды, воды!..

Полная светлица набралась народа. Все окружили Герцикову постель и молча стояли. Герцик посмотрел кругом, закрыл глаза левою рукою, как бы собираясь с мыслями, спросил воды и начал исповедь:

— Не гляди на меня, Марина, такими кроткими глазами; я не стою этого; я причина всех ваших бед; я привел полковника на остров, потому что я любил тебя; мне было завидно, что ты любишь другого... Много бессонных ночей провел я, думая о тебе, проклиная свое рождение. Ты знаешь, кто я был, а ты была дочь моего полковника; я был раб твоего отца и твой; мне было любо унижаться перед тобою, и ни одного взгляда, ни одного привета от тебя не было мне... Я проклинал твой образ, когда он являлся

мне во сне, и любил тебя еще более. Мог ли я терпеть любовь твою к Алексею?.. А у меня глаз очень зорок: я все видел и поклялся извести Алексея, сделаться богатым и, во что бы то ни стало, быть твоим мужем. Мне стало жить веселее, у меня была цель, для чего жил я... Жарко... Воды!

Марина подала ему воду.

— Добрая душа! Как бы мне хотелось теперь заплакать!.. Вышло не так, как я думал. Алексей ушел, ты ушла, никто и следа вашего не знал... Я овладел доверенностью полковника, я стал другом ему в его одиночестве. Между тем пошли в народе толки о татарах, будто хотят напасть на нас; я вызвался ехать на Сечь и там, узнав тебя, предал вас в руки запорожцев. «Не мне, так и не ему!» — думал я, выезжая из Сечи, и поехал не в Лубны, а в Крым, где сговорился отдать Лубны крымцам, а, возвратясь, донес полковнику, что все благополучно, и что вас казнили на Сечи. Полковник не велел никому этого рассказывать; я и замолчал, поджидая гостей. Один жид, которого хотели поляки повесить за подделку монеты, ушел в Лубны и ходил в казачьем платье, называя себя казаком, а он был Гершко, медник из Львова; я познакомился с Гершкою и посылал его шпионом куда было нужно. В один день, рано утром, Гершко сказал мне, что в овраге будут крымцы. Я поехал будто на охоту и виделся с ними и продал им полковника; но, приехавши, узнаю, что у полковника запорожец и полковник знает уже о крымцах и что дочка полковника жива. С первых слов я хотел извести тебя, Касьян; но когда узнал, что у тебя живет Марина, я повел дело иначе — ты знаешь как. Полковника, по условию, я выставил крымцам: по перышку на шапке они узнали меня и его; но Гадюка освободил его полумертвого; пирятинцы не пустили татар ворваться в город... Я опять повел дело иначе. Под кровать умирающего полковника посадил Гершка, и когда умер полковник, Гершко разговаривал с старшинами вместо полковника и приказал

старшинам выполнить завещание, которое я сам написал под руку полковника. Гершко ушел в отпертое окно; я не знаю, где он — найдите его, он вам лучше расскажет. И вот я стал богат, очень богат; но ты, Марина, была жива, тебя обнимал другой, а не я — обнимал злейший мой враг, оттого что ты любила его. Это мне не давало спать покойно. Я и поехал сюда в зимовник и взял с собою лучших казаков... Винюсь перед вами, хлопцы; хотел употребить вас на нечистое дело и силою взять Марину... Но много людей у тебя, Касьян, на зимовнике, каждую ночь ходят вооруженные сторожа, и я переменил дело: хотел на охоте застрелить Алексея, сказать, что он сам застрелился — и тут не удалось; ты, Касьян, выпроводил нас с ястребами, только и было у нас по кинжалу за поясом. Хотелось мне, очень хотелось отправить тебя, Алексей, на тот свет твоим же кинжалом, да не мое дело владеть холодным оружием, особливо против людей сильнее меня, здоровее меня... Вот я показал тебе журавля в небе, хоть его совсем там и не было; думаю, ты подымешь глаза, а я засыплю тебе песком глаза, и пока ты будешь слеп, заколю тебя; в один раз не удастся — десять раз ударю кинжалом, и ты не будешь видеть меня, не будешь знать, с которой стороны падет удар... Ты поднял глаза, я захватил горсть песку, да вместе схватил и смерть свою. Бог послал страшную змею: от его руки умираю теперь... Ох, воды! Боже мой! И вы даете мне воду, и вы помогаете страшному грешнику?.. А как полковник любил тебя, Марина! Как мне говорил много о тебе перед смертью: я все затаил, грешный человек... Простите меня!

— Бог наказал, бог и простит тебя,— сказал Алексей,— а мы простили...

— И ты, Марина, не сердишься на меня?.. Ох, душит!.. И ты простила?

— Бог тебя простит, Герцик...

— О, боже мой!.. Чайковский! Алексей! Я умру скоро, не откажи в просьбе, позволь Марине проститься со мною?.

Марина, простись со мною!.. Пускай твой поцелуй, будто крыло ангела, осенит меня перед смертью.

Марина подошла к нему, подумала и тихо наклонилась к лицу Герцика. В тишине только зашумели опускаясь металлические кресты и дукаты, висевшие на шее Марины.

— Отойди!..— страшно закричал Герцик.— Отойди! Я укушу тебя... Зачем ты так хороша?.. Боже мой... Да... Это что?.. Ох, душит! Точно... это она, святая монета...— тихо говорил Герцик, будто припоминая сон,— да зачем ты носишь нашу монету?

— Какую вашу?

— Иерусалимскую монету! Вот она у тебя висит на шее рядом с крестом; она мне сверкнула в глаза страшным воспоминанием; такую монету моя мать надела на шею маленькой сестре моей давно-давно. Эта монета от святого человека, эта монета из храма Соломона... Надела на шею, а казаки взяли сестру мою... Что вы так смотрите? Что глядите! Я еврей...

С ужасом все отступили от Герцика.

— Боитесь меня? Теперь нечего бояться! Я как теперь помню сестру: черные очи, на правой щеке красная родимочка... Хороша была сестра моя... Куда вы?..

— Иосель, Иосель, сын мой! — кричала старая цыганка, вбегая в светлицу и бросаясь на грудь Герцика.— Будь проклят час, когда ты надел казачье платье! Я не узнала тебя!.. Горе мне! Не узнала родного детища, сама убила тебя, положила яд на рану, не змеиный яд, свой яд; много им отправила я на тот свет врагов наших, злых казаков; я мстила за вас, мои дети; мне было любо, когда умирал казак; я думала: вот новый выкуп за детей моих!.. И сама тебя отравила! Горе мне! Ты умрешь, Иосель — силен яд! Горе мне! Горе!

И старуха упала на пол, ломая руки, судорожно теребя костистыми пальцами седые пряди волос своих.

— Что вы смотрите? Смейтесь, враги мои! Не я убила сына, вы убили его. Слушайте, как хрипит он! А где дочь

моя, где моя Текля?.. Вы убили ее, вы взяли нашу монету... Вот она, вот она! — кричала цыганка, схватив медный дукат, подаренный Татьяною, который висел на шее Марины.— Вот благословение хосета. Еще видны на нем следы зубов моих; я заломила край дуката своими зубами, прощаясь с дочерью. Нет уже зубов тех! Растеряла я их по вашим степям: но я полила их вашею кровью, и вырастут из них на вашу голову страшные змеи. Где дочь моя?

— Она умерла,— отвечал Чайковский.

— Умерла! Бог мой! Слышишь, Иосель, сын мой? Она умерла, умерла, сестра твоя! Слышишь?

Но Герцик лежал уже мертвый.

— Что же ты не отвечаешь, сын мой? Не гляди так страшно на меня! Я убийца твоя, но я не желала тебе зла. Посмотри! — И, быстро разорвав на груди рубаху, достала цыганка старый кошелек и высыпала на мертвого горсть мелких монет.— На, вот они; я для вас собирала, питалась по целым дням травами, жила как собака, ночевала под заборами, и собирала деньги, чтоб отдать вам, мои дети. Я мстила за вас — и жила для вас! Да скажи ж хоть одно слово. Не гляди на меня так страшно, Иосель! — И старуха сильно дергала за руку труп; труп бессмысленно кивал головою.

— Он умер,— сказал Касьян.

— Умер! — тихо проговорила цыганка.— Умер? И она умерла, и он умер?.. Умер, ха-ха-ха! Еще один умер! Двухсотый умер! Хорошо, Рохля, хорошо!.. У, гу, гу, гу!..— запела старуха, подняв кверху руки, и, ходя по комнате, поводила на всех безумными глазами.

Казаки со страхом жались по углам.

— Убирайся, нечистая сила, откуда пришла! — сказал Касьян, широко растворяя двери.— Не нам тебя судить; божий суд над тобою.

— У, гу, гу, гу! — пела старуха, и хохотала безумно, и, подпрыгивая, тихо пошла по степи, озаренной луною.

Страшно краснела при луне яркая одежда колдуньи и сверкали седые волосы, разметанные по плечам. Но вот уже ее стало не видно; только изредка долетало протяжное *гу, гу!* — и печально завывали на зимовнике собаки, отвечая на эти отголоски

IX

> «Добре, добре! Ну, до танців,
> До танців, кобзарю!»
>
> *Т. Шевченко*

Грому, грому, хлопцы! — кричал запорожец, неистово выплясывая посреди светлицы отчаянного казачка.

Музыка гремела, стонала; казалось, трубы готовы были разлететься от ярых звуков, литавры и барабаны полопаться от усиленных ударов; других инструментов не было слышно. А запорожец кричал: «Грому, грому!.. Ѓрому, собачьи дети!» Никита разгулялся и кружился быстрым вихрем по комнате, то вскинув кверху руки, вырастал красным столбом под потолок, то со свистом и щелком расстилался по земле, словно пламя, гонимое сверху ветром. Кругом плясуна толпились хорошенькие личики девушек, и синие жупаны гетманцев, и зеленые черкески запорожского товариства.

— Давно так бы танцевали, если б слушали Гадюку! — сказал Гадюка Касьяну, стоявшему подле него.— И он сам танцевал бы.

— Кто? — спросил Касьян.

— Известно, покойный полковник! Душа у меня не лежала к Герцику; я узнал кое-что от прохожего кобзаря из Польши и стал было обиняком рассказывать полковнику, да ты приехал и помешал.

— Вот что! Что ж ты ему прямо не сказал?

— Не такой был покойник; у него коли было хочешь, чтоб спал, так говори: не спи — он нарочно и ляжет, чтоб

показать характерство. Такой был упрямая душа! Я уже стал было ему говорить околицею, да не удалось досказать. Так и умер не дослушавши... Жаль!.. Тряхнем, Касьян, стариною?

— Тряхнем!

И оба, выскочив из толпы к Никите, начали выписывать ногами невообразимые вензеля.

Третий день уже длился пир в Пирятине — такой пир, какого и старики не помнили и потомки впоследствии никогда не видели, а нам тем более не увидеть. Третий день уже пировали у пирятинского сотника Чайковского неслыханные гости — запорожцы с своим кошевым Зборовским. Шуму, крику, потехам конца не было. То на раскрашенных лошадях ездили по городу разные машкары (маски), кто жидом, кто цыганом, кто немцем; некоторые, даже не боясь греха, наряжались чертом, совершенным чертом, настоящим чертом, и с хвостом, и с рогами; то, выходя на базар, запорожцы садились в чаны с дегтем (смолою), и представляли, как души грешников кипят в аду, а после, выскочив все мокрые, бросались в пыль, в песок и валялись по земле, потешая народ.

— Да откуда набралось у вас этого народа? — спрашивал захожий прилучанин своего приятеля-пирятинца.

— Разве ты не знаешь, что сын нашего покойного протопопа жил на Сечи, женился на дочери лубенского полковника и стал богат? Тут целая история. На той неделе казнили жида Гершка: он им много делал зла, я расскажу тебе после. А как нашего сотника выбрали в Лубны полковником на место покойного Ивана, вот мы и сделали Чайковского своим сотником. А тут подъехали гости, старые приятели Чайковского из Сечи, и заварили кашу. Веришь, братику, третий день жонки обедать не варят: все смотрят на чудеса; хорошо, что хоть у сотника на дворе всего вдоволь, ешь, пей и танцуй, коли вздумаешь. Не хочешь ли перекусить? Пойдем.

— Кто отказывается от хлеба-соли.

— Славный завтрак! — говорил прилучанин своему приятелю, убирая за обе щеки жареную баранину.

— Наш сотник богат; и еще недавно купил себе землю в Домантове над Днепром, знаешь — то самое место, где он пристал к запорожцам.

— Купил?

— Купил. Эх, жаль, что теперь не лето! Оно хоть и не холодно, вторые Параски (14 октября), да все уже осень; паны сидят в комнатах; знаешь, нежные — а то бы ты увидел столько панства, что если б каждый снился в ночь по разу, то руки устали бы от крестов... Здесь и лубенский полковник, и сотники, и есаулы, и хорунжие, и всякое панство...

Тут распахнулись двери из панского дома; выскочил Никита, а за ним толпа запорожцев и музыкантов, и все с пеньем, с пляскою пустились к погребу Чайковского. В минуту были выкочены несколько десятков бочек и бочонков с наливками и медами и внесены в дом.

— Комедию замышляют запорожцы,— говорили одни.

— Посмотрим, что из этого выйдет? — говорили другие между народом, стоявшим толпою на широком дворе.

Запорожцы внесли бочки в комнаты, затворили двери; немного погодя послышался стук молотков, потом со звоном вылетели окна и вслед за ними посыпались в народ обручи, донники и клепки разбитых бочек, а вслед за клепками явилось в окне лицо Никиты и громко сказало народу:

— Люди добрые, хотите знать, от чего говорится: «Пьяному море по колено?»

— Хотим! — отвечал народ.— Как не хотеть!

— Так посмотрите сюда, в окно.

Кто не глянет в окно — только всплеснет руками. Запорожцы заколотили двери в светлице, выпустили из бочек настойку и ходят по колени в дорогих напитках и, наклонясь, пьют их, как лошади воду.

«Но всякому веселью бывает конец»,— сказал, должно

полагать, какой-нибудь большой философ: так и пирам Чайковского пришел конец. Поживя неделю, кошевой собрался ехать.

Было чистое, свежее, осеннее утро, когда запорожцы, выпив по чарке на дорогу и по другой на конях, выехали за город. Алексей с женою и старшинами провожал их. С полверсты от города, в степи, стоял курган; на кургане горел большой огонь и толпились люди.

— Кошевой батьку! — сказал Чайковский с комическою важностию, подъезжая к Зборовскому.— На кургане видны люди, кучею стоят: должно быть, татары или турки; позволь языка достать.

— С богом, братику,— отвечал кошевой.

— Зимовник, батьку,— отвечал Чайковский, возвращаясь от кургана,— зимовник старого Касьяна; должно быть, тут и Сечь недалеко. Просит хозяин до хаты.

— Добре, ваши головы,— кричал кошевой, подъезжая к кургану.

— Ваши головы, ваши головы! — отвечал Касьян и казаки, принимая гостей.

Здесь устроена была на скорую руку походная кухня. Сели завтракать, начали пить здоровье и кошевого, и Чайковского, и старшин, и даже всех казаков поочередно; опять явилась музыка, пошли танцы — и только перед вечером выехали в поход запорожцы. Ярко горели их шитые красные жупаны, сливаясь с горизонтом в лучах заходящего солнца. Чайковский с женою грустно следил за ними... И вот уже красною полоскою мелькали они на далекой степи; вдруг что-то отделилось от них, росло, росло, близилось — и у кургана явился Никита.

— Что тебе надо, Никита? Здравствуй, Никита! — сказал Чайковский.

— Я думала, что и до смерти не увижу тебя, Никита! — радостно закричала жена Чайковского.

— Дело есть.

— Какое дело?

— Пойдите сюда, важное дело, тайное дело. Кроме вас, никому сказать нельзя.

— Ну, что? — спросил Чайковский, отойдя с женою в сторону от кургана шагов на сто.

— Ничего. Я обманул кошевого, сказал, что забыл тут свою люльку (трубку), да и вернулся.

— Зачем?

— Вот видите... Хорошо, что вы отошли от кургана, нас никто не услышит — там Касьян, старый характерник, там и прочие казаки.. еще смеяться стали бы надо мною... Видите... Жалко мне кидать вас, добрые люди, ей-богу, жалко. Как выехали в степь, будто камень проглотил я, тяжело стало, в глазах туман разостлался; еще уезжая от вас, видел на носу черта, а то и черта не видно стало,— а тут подо мною конь споткнулся: «Худая примета, скоро умереть доведется»,— подумал я, обманул кошевого и вернулся. Теперь прощайте! Прощайте, братцы! Обнимите меня... Видите, я плачу, некому обнимать меня, ей-богу, некому! Прощайте! Вот так! Спасибо!

Никита махнул рукою, склонился на седло и ускакал из виду.

X

ЭПИЛОГ

В 182* году далеко за Кавказом, у персидской границы, летнее полуденное солнце жарко накаляло песчаную равнину. На равнине стоял белый городок из солдатских палаток; там кочевал ... ий пехотный полк. Ни тучи на небе, ни ветра на равнине, а солнце так и обдает жаром желтые окрестности. В лагере тишина, странная тишина; кое-где ходит, как маятник, часовой, без этого можно бы подумать, что вымер народ в лагере и нет живой души. В стороне стояла одинокая палатка — не начальничья палатка, не почетная палатка, простая, обыкновенная; у входа ее

сидел молодой человек, в пестрых шароварах, в солдатской фуражке и тихо плакал, склоняясь головою почти до колен.

— Васька! А Васька! — послышался слабый голос из палатки.

— Сейчас, барин,— отвечал, вскочив на ноги, молодой человек и торопливо утер слезы.

— Васька! Я, должно быть, выздоровею, право, выздоровею,— говорил вошедшему человеку молодой офицер.

— Выздоровеете, барин; я это давно говорил.

— Нет, Васька, чума не такая болезнь; никто еще от нее не выздоровел... А мне представилось сейчас, что я дома, в Пирятине; на небо нашли тучи, идет дождик, такой прохладный! Вода с кровельного желоба льется на камень... Помнишь камень, что лежит перед крыльцом?

— Помню, барин.

— Льется вода, свежая вода, а брызги так и летят кругом, и шепчет кто-то мне: «Напейся этой воды: ты выздоровеешь: чума боится этой воды». Дай мне хоть каплю, Васька!

Васька принес воды.

— Скверная, теплая вода! — сказал офицер.— Дай мне той воды... Верно, мне придется умереть... Смотри, Васька, после моей смерти, когда придешь в Пирятин, напейся воды из желоба... Пойди, принеси мне свежей воды.

Васька принес другой воды, но уже не застал своего барина: умер последний потомок Алексея Чайковского.

В газетах было напечатано: «Исключается из списков умерший прапорщик ... го пехотного полка, Созонт Чайковский».

Еще в детстве я посещал пирятинскую замковую церковь, и теперь очень хорошо помню ее странную, древнюю живопись. Под иконами везде были нарисованы воинские клейноды: булавы, бунчуки, перначи, стрелы и копья; дубовые стены были изрезаны разными надписями; каждая икона имела свою примечательную историю. Тогда был еще цел дом Чайковских, странной архитектуры,

с высокою крышею, с узкими окнами; перед крыльцом лежал большой, жерновой камень. Верно, давно лежал он там; вода, падавшая с крыши, вымыла на нем глубокие ямы. За садом рос большой тенистый сад (теперь на этом месте, кажется, широкая пустая улица); перед домом, словно луг, расстилался зеленый двор с разными дубовыми воротами, выходящими на улицу.

В последнюю турецкую кампанию этот запустелый дом и двор снова было оживились: в доме громко говорили, еще громче смеялись. Казаки в синих кафтанах, в шапках с красными верхами ходили по двору; у коновязи бессменно стояло несколько десятков лошадей: здесь была квартира комиссара (капитана-исправника).

В мае 1841 года я подъезжал к Пирятину. Мой ямщик был удивительный человек: дай ему побольше денег и пусти в Петербург — он бы сделался величайшим онагром. С бритой бородой, с длинными запорожскими усами, он был острижен вплотную, по-солдатски; в левом ухе у него висела огромная медная серьга, признак франтовства многих удалых ефрейторов: при широчайших казацких шароварах он был одет в русский армяк, носил московскую красную рубаху с косым воротником и на голове имел безобразнейшую в мире круглую шляпу с высокою, узкою тульею, перевязанною пополам покромкою от голубого ситца; на покромке можно было прочитать слова: *«Ивана Лаптева в Москве»;* за покромкой натыкано множество павлиньих перьев, словом, шляпа, какую носят в Малороссии русские купцы, торгующие скотом. Добрые кони, не во гнев русским ямщикам, быстро мчались; но ямщик беспрестанно поводил над ними кнутом, приговаривая: «Ой вы, соколики! Матери вашей лыхо! Ей, дети! С горки на горку! (выговаривая: s'horky na horkou), даст барин на водку!» Потом запел песню:

Ой, на горе на зеленой дорожка лежала;
Туда наша сударыня некрут (рекрут) выряжала.

Влево от дороги, за Удаем, ходили тучи и по временам гремел гром. Вдруг, будто выстрел, раздался удар в стороне к Пирятину и поднялся столбом густой дым. Ямщик привстал на козлах, перекрестясь, сказал: «Ей же богу, замковская церковь горит!» И ударил по лошадям.

Мы были верстах в шести от города, скакали шибко; но когда приехали, застали одни только развалины церкви. «Гром разбил нашу церковь!» — печально говорил народ. Несколько старушек неутешно плакали над дымящимися развалинами церкви, в которой крестились и венчались их предки, сами они крещены, венчаны и молились до глубокой старости. Между тем тучи разошлись, легкий дождик спрыснул город, прибил пыль, оживил сады, и солнце весело глядело на землю.

Переменив лошадей, я поехал далее не почтовым трактом. Под горою, при самом выезде, влево, зеленел огромный пустырь; на нем порос высокий бурьян и крапива и желтели кучи развалин — едва я узнал в этом пустыре бывший дом и двор Чайковского! Слепой кобзарь, сидя на дороге у самого пустыря, пел заунывным голосом:

На Чорному морі, на білому камні,
Ясненький сокіл жалібно квилить-проквиляє;
Смутно себе має, на Чорнеє море поглядає,
Що на Чорному морі недобре ся починає.

Кобзарь не подозревал, как была кстати, к месту, его древняя легенда, но пел ее с чувством; голос его дрожал, струны дрожали, замирали в диссонансах, которые мало-помалу переходили в стройный аккорд, жалобный, вопиющий, страдальческий. А люди шли мимо, не обращая внимания ни на старика, ни на его песню.

1843

КУЛИК

Повесть

Всяк кулик свое болото хвалит·
Народная пословица

Кулик
Не велик,
А все-таки птица!
Философская песня

I

Россия — страна богатая, изобилует водами, лесами и пажитями; в ней есть много золота и серебра, много драгоценных камней, а еще более отставных поручиков.

Я намерен познакомить вас с одним из бесчисленного множества этих поручиков — Макаром Петровичем Медведевым; он служил в кавалерии корнетом года полтора и вышел в отставку поручиком вследствие рассуждения:

«Служба от меня много не выиграет; я тоже не хочу быть фельдмаршалом, да, признаться, и трудно!.. Много есть людей бедных, которые рвутся служить, а у меня порядочное состояние: уеду в деревню, женюсь себе, да и буду жить барином».

Подумал, взял отставку, сел в коляску и уехал.

Приехав на родину, Медведев сшил себе модную венгерку, привел в порядок охотничьи ружья, купил в Ромнах на ярмарке парные дрожки и женился на хорошенькой брюнетке, Анне Андреевне, дочери соседнего помещика.

Теперь Медведев женат, независим, спокоен; живи себе да толстей! Завидная перспектива, право, завидная!

Не улыбайтесь так зло, мой приятель с пожелтевшею, поношенною физиономией; вы ненавидите всех толстяков, потому что сами высохли от злости, как насекомое; вечно бранитесь, клевещете, сплетничаете, как старая дева; пеняйте на себя, сами виноваты... Из-за чего хлопочете? Согласитесь, что тихая деревенская жизнь чего-нибудь да

стоит. Тенистый сад с своими золотыми, румяными плодами, чистое озеро, по которому так весело гуляет ваша лодка, пруд, обсаженный плакучими ивами, на пруде под вечер робкое стадо диких уток, за прудом звонкие песни поселянок, идущих с поля домой... А поле с душистым сенокосом? А молодая супруга-красавица, не растратившая первых дней жизни в бессонных ночах однообразных балов, супруга, приветствующая возврат ваш крепким поцелуем? А этот свежий, чистый поцелуй?.. Ай-ай! Сколько тут поэзии, сколько... Нет полно, лучше замолчать.

Вы теперь знаете отставного поручика Медведева, знаете, что он женат,— кажется, и все тут. Позвольте, еще есть одно замечательное лицо — это Петрушка, слуга Макара Петровича, его крестьянин и вместе с тем крестный сын. Макар Петрович почти рос вместе с Петрушкою, и когда уезжал в полк, то уговорил покойного своего отца отдать Петрушку в уездное училище. Барин служил, крестьянин учился. Макар Петрович, приехав домой, нашел Петрушку красивым 18-летним парнем, да еще грамотным и проворным. Он взял его к себе, любил, как сына, и даже немного баловал, как говорили соседи, позволяя читать все книги из своей деревенской библиотеки.

II

Чацкий !
Молчалин Мне завещал отец...
Горе от ума

Медведев в начале ноября, часу в седьмом вечера, с своею супругою пил чай; они сидели на диване перед круглым столом, на котором кипел светлый бронзовый самовар и в тяжелых старинных подсвечниках горели две свечки; у двери стоял с подносом в руках Петрушка; на ковре, у ног Макара Петровича, сидел Трезор — большая лягавая собака.

В комнате было тихо. Изредка раздавалось протяжное: «*Ти-бо! Ти-бо!*», потом скорое: «*Пиль!*», потом несколько секунд было слышно, как Трезор ел сухарь, и опять все умолкало. Анна Андреевна, от нечего делать, очень прилежно ловила ложечкою в чашке чайный листочек; Макар Петрович затягивался и потом как-то особенным образом перепускал через усы табачный дым.

Супруги, с позволения сказать, скучали — не то чтобы они наскучили друг другу — боже сохрани! нет, нет: а только просто скучали. Осенний дождь стучал однообразно в окно, самовар шептал какую-то усыпительную легенду; свечи горели тускло... В такие минуты в деревне особенно приятно зевается. Тогда гость — дорогой человек, неоцененный подарок, благодеяние судьбы.

В гостиной Макара Петровича тишина продолжалась по-прежнему. Вдруг Трезор тревожно поднял голову, вытянул шею, заворчал и бросился в переднюю с громким лаем.

— Назад, назад Трезор! Тибо! Тибо! — закричал Медведев.— Кто там, Петрушка?

— Не беспокойтесь, это я! — сказал, улыбаясь, тоненький гость, в синем фраке, и начал вежливо раскланиваться.

— Ба, ба! Юлиан Астафьевич! Мое почтение! Откудова, братец, а?

— Мое почтение, Макар Петрович! Из П-вы, прямо из канцелярии губернатора, послан курьером в П-в.

— Здоровы ли вы?

— Слава богу! Слава богу!

— Очень рад! Слава богу!

— Мое почтение вам, Анна Андреевна. Здоровы ли вы?

— Слава богу!

— И слава богу!

— Полно вам строить комплименты! Эти губернские господа так и засыплют речами!.. Лучше давай-ка, жена, поскорее чаю: он озяб с дороги.

— Ваша правда, грешный человек. Ба! Да как Петрушка вырос, поздоровел! Ну, подойти сюда, поцелуемся: мы с тобой приятели. Экой молодец! В прошедшем году, когда приезжал с вами на выборы, он был гораздо моложе... А! Трезор! Не узнал меня? Злая собака! Только одного барина и любит. Позвольте ему дать сухарик!

— Перестаньте возиться с собакою, вы ее вечно балуете! Пейте чай — да расскажите нам, как там у вас, в губернском свете? Что новенького?

— Решительно ничего. Войны не слыхать, набора тоже.

— Набора тоже?

— Тоже!..

— Это хорошо. А Катерина Федоровна что?

— Слава богу! Здорова; велела вам кланяться. У нее для дочери есть жених на примете... Что вы говорите, сударыня?

— Военный?

— Да, военный, сударыня, и, говорят, очень богат; где-то в Олонецкой губернии свои виноградники...

— Скажите! Какая завидная партия!

— Да, и еще, говорят, у него есть где-то возле Торжка свой судоходный канал; что прошла лодка — гривна в кармане; барка или там что другое — двадцать копеек. Такое заведение!..

— Неужели?!

— Да, сударыня! И наш советник Горох Дорохович, и Ульяна Ульяновна... и... все говорят; а сам такой молодец, эполеты как жар горят...

— И в чинах? — спросил Макар Петрович.

— Чин офицерский — уже восьмой месяц прапорщиком.

— Ну, так послужить бы еще немного.

— Говорят, ему в этом году приходится в подпоручики.

— Понимаю, через год в отставку поручиком — это другое дело... Ну, да пусть себе он убирается к болотному дедушке, наше дело сторона. А сама-то Катерина Федоровна?

— Ничего! Живет по-прежнему; недавно купила у барышника для себя серого рысака.

— А Петр Потапыч? — спросила Анна Андреевна.

— Все танцует мазурку.

— Охота же спрашивать об этом чурбане! — перебил Медведев.— Что наш почтеннейший Туз Иванович?

— На прошедшей неделе схоронили.

— Схоронили?!

— Да, схоронили; впрочем, потешил-таки он весь город. Представьте себе, в духовном завещании запретил своей жене покупать карету.

— Как так?

— Так; написал просто: «Как-де моя жена происходит из хвастливого рода, да и в продолжение многолетнего супружества нашего всегда оказывала неимоверную наклонность к суетности и тщеславию, что неоднократно выражалось нелепыми требованиями о покупке кареты, то я, сохраняя пользу детей наших и не желая видеть их со временем нищенствующими, запрещаю, под опасением моего проклятия, жене моей покупку кареты не только новой, но даже и поезженной, как вещи, могущей служить поводом к разорению моего семейства».

— Ха-ха-ха! Экой пострел! Царство ему небесное! Утешил!

— Что же бедная его вдовушка? — спросила Анна Андреевна.

— Тут нечего спрашивать, душа моя: верно, ругается.

— Изволили отгадать: сильно ругается, ругает покойника и дома, и в гостях, и на улице. Такая стала сердитая; недавно сделала большой афронт жениху дочери Катерины Федоровны.

— Оставьте его в покое: смерть не люблю прапорщиков, которые сватаются, лучше бы вы сами женились.

— Это единственная цель моей жизни; я рад жениться, но, вы знаете, я человек небогатый...

— А если бы я тебе, приятель, нашел невесту с состоянием?

— Полноте шутить!

— Нет, право. Помнишь ли ты полковницу Фернамбук, которая целое лето прожила с дочерью в губернском городе?..

— Как же, я ее имел честь часто видеть у Катерины Федоровны, еще у нее дочка — сущий амур или грация!

— Ни амур, ни грация, а так, девушка недурная, с 300 душ приданого. Эта самая дама без души от тебя. Как приехала в деревню, все твердила: «Вот человек — Юлиан Астафьевич, какой вежливый, услужливый, толковый!..» Влюблена в тебя, да и баста!..

— Шутите! Она, кажется, уже степенных лет.

— Экой приказный! Ей лет за шестьдесят; женись на ее дочке...

— Куда нам! Такого счастья я и во сне не видывал.

— Что за счастье? Ты молодец, добрый малый, дворянин. Чего этой бабе еще надобно?..

— Она может найти себе зятя офицера.

— Стыдись, братец, разве ты не офицер? Какой на тебе чин?

— Губернский секретарь.

— Черт вас разберет! Переведи, братец, как это будет по-христиански.

— В ранге поручика.

— И прекрасно! Чем ты не жених? Хочешь, я женю тебя?

— Будьте благодетелем! Да нет, меня смех берет: ха-ха-ха! Вот оказия!.. Впрочем, делайте, что хотите!

— Ладно! Куда ты едешь курьером?

— В П-в.

— Сколько ты можешь прожить у меня?

— Два дня.

— Вздор! Ты должен прожить неделю.

— Невозможно, Макар Петрович!

— Почему? Какие-нибудь дрянные бумаги нужно отдать кому? Это можно сделать: я пошлю в П-в форейтора Ваську, он их отдаст по адресу, а на другой день привезет ответ. П-в всего от нас 50 верст. Остаешься? Завтра же начну действовать — и не будь я Медведев, если ты не женишься на молодой Фернамбуковой. Поедешь — пеняй на себя.

— Делать нечего,— сказал Юлиан Астафьевич.

— Люблю за обычай. Давай, приятель, руку! Благодари, жена: теперь не будем скучать целую неделю в эту скверную погоду. А я, право, женю молодца!..

— Если даст бог вам успех,— сказала Анна Андреевна,— какой вы будете близкий сосед: деревня Фернамбуковой от нас всего три версты; только через реку.

— Скажите: и сосед, и ваш покорнейший слуга.

— Это уже много; а шутки в сторону, у меня будет к вам просьба.

— Приказывайте, сударыня.

— Если вы женитесь, прежде всего должны исправить плотину и мост, а то всякий раз, как переезжаю плотину Фернамбуковых, я прощаюсь с белым светом: кажется, так коляска и слетит с плотины или провалится под мост.

— Будьте уверены, что в мире не будет другой подобной плотины: сам пойду работать, лишь бы угодить вам.

— Что за страсть, подумаешь, у этих губернских франтов нести такую чепуху! Полно, брат, мою жену морочить, а я себе выговариваю право стрелять дичь во всех твоих дачах безданно и беспошлинно.

— Помилуйте, Макар Петрович! На что мне эта дичь? Я сам отроду не стрелял из ружья и не знаю, как оно стреляет. Вся дичь — ваша. Мое почтение к вам всегда было непреложно, и если вы пособите моей карьере такою выгодною женитьбою, то я...— и проч... и проч...

В таком роде разговор продолжался до самого ужина.

Четверо суток изволил кутить Макар Петрович на ра-

достях, что поймал губернского гостя, и каждый вечер губернский гость почти сквозь слезы говорил Медведеву:

— Боже мой! Когда же мы будем сватать m-elle Фернамбук?

— Погоди, братец, время впереди,— отвечал Медведев,— не возьмет ее нечистая сила; завтра непременно поедем.

Приходило завтра, и опять та же история.

Наконец на пятый день Медведев представил своего гостя семейству Фернамбук, а еще через день поехал сам с решительным предложением.

Это был роковой день для Юлиана Астафьевича. Задумчиво ходил бедный губернский секретарь по комнате, по временам щелкая пальцами; лицо его было бледнее обыкновенного; принужденная улыбка на тонких губах его превращалась в какое-то судорожное кривлянье; иногда он, тяжело вздыхая, обращал глаза к образам, иногда, подойдя к окну, очень правильно барабанил по стеклу модную песенку:

Во всей деревне Катенька
Красавицей слыла.

Он очень хорошо чувствовал, что в эти минуты решалась судьба всей его будущности: от «да» или «нет» зависело, быть ему достаточным человеком или прозябать в канцелярии, с перспективою седых волос, при великом счастии секретарского места и чахотки.

Напрасно Анна Андреевна старалась развеселить Чурбинского (это была фамилия Юлиана Астафьевича) своими шутками: он, против обыкновения, не понимал их, не старался предупредить окончание какого-нибудь анекдота, давно известного всей губернии, улыбкой удивления или громким хохотом. Юлиан Астафьевич был не похож на самого себя.

Пришло время обедать — нет Макара Петровича; вот и вечереет — нет его; вот уже и самовар на столе — все

его нет. Несносный день, несносный человек Макар Петрович!

Но вот зазвенел колокольчик, борзая тройка остановилась перед крыльцом, и в комнату вошел Медведев.

С первого взгляда можно было заметить, что Фернамбуковы его приняли *за гостя:* лицо Макара Петровича горело румянцем удовольствия, глаза блестели; он живо переступал с ноги на ногу, потирая руки.

— Ну, что, почтеннейший Макар Петрович? Решайте мою участь! Отказ? Гарбуз? Говорите, говорите, я наперед это знаю!

— В чистую, братец, без мундира и пенсиона!

— Так, так, я это знал. Душа моя это предчувствовала. На смех подняли!.. И не грех ли вам меня, беззащитного сироту, вводить в такие истории, будто я не понимаю, что я, а что они? Бог свидетель, я никогда и не думал о Фернамбуковых; вы сами затеяли неподобное; вам смех, а я что теперь стану делать? Еще под арест посадят!..

— Что, приятель, впятил тебя в брак, а?

— Хорошо вам издеваться, что меня забраковали, как лошадь никуда не годную, а мне каково?..

— Ха-ха-ха! У тебя страх и разум-то выгнал! Кто тебе говорит о негодности? Ха-ха-ха! Запиши, жена, каламбур: в брак тебя введем, т. е. в законное супружество,— вот что! Давай руку! Поздравляю! И старуха, и дочь сначала было, знаешь, этак, немного закуражились, да как я им объяснил все толком: и ты что за человек, и то, и другое, и прочее — они сдались, и дело в шляпе, как говаривал мой эскадронный командир,— понимаешь?.. Завтра едем к Фернамбуковым вместе; завтра же надо известить соседей, а послезавтра — и под венец. Куй железо, пока горячо!.. Не рад, что ли?

— Понимаю, что значит «в брак»! Я, кажется, не подал повода к шуткам. Грех вам, Макар Петрович!

— Прямое ты, брат, чучело гороховое! Еще и петушишься! Прошу покорно!.. Коли не хочешь — сейчас еду

к невесте и в полчаса все расстрою, заварю такую кашу, что весь дом пойдет вверх дном. Эй! Петрушка, лошадей!..

— Перестаньте, что вы, что вы! Ей-богу, я не знаю, как принимать слова ваши, мне все не верится! Неужели?.. Счастие велико!..

— Так велико, что я остался есть обед с деревянным маслом — господи, прости мое согрешение! — и выпил лишнюю рюмку гадкой наливки. Уговор лучше денег: сейчас после свадьбы прошу запретить во всем доме употребление деревянного масла и улучшить питейную часть...

— Как прикажете! Что угодно! Вы благодетель мой, второй отец!..

Юлиан Астафьевич обнимал Медведева, целовал руки Анны Андреевны и даже, второпях, толкнув нечаянно Трезора, взял его за морду и пренежно сказал: «Извини, душа моя!..»

Макар Петрович, человек добрый от природы,был очень рад счастию знакомого, тем более, что эта свадьба доставляла ему развлечение в скучные осенние дни, когда, как нарочно, ненастье препятствовало ездить на охоту. Он хлопотал об экипажах, о лошадях, созвал своих музыкантов и приказал им повторять увертюры из «Калифа багдадского» и «Двух слепых».

— Слушай, жена,— кричал он,— ведь Юлиан Астафьевич наш гость, мы его женим; после свадьбы будет у нас бал; смотри, не ударь лицом в грязь, прикажи наготовить поболее всякой всячины: пирамид, кремов и разной этакой дряни, а я уж потревожу свой погреб — кутить так кутить!.. О чем ты, Юлиан Астафьич, опять загрустил?

— Знаете ли что? — сказал Юлиан Астафьевич, взяв тихонько Медведева за полу венгерки и отведя его к окну, повторил вполголоса: — Знаете ли что?

— Ровно, братец, ничего не знаю.

— Не кричите так. Мне кажется, что нам не следует венчаться так скоро.

— А почему?

— Да так, видите, мне невозможно.

— Это что значит? — сказал Медведев, прищуривая левый глаз.— Понимаю, какие-нибудь шашни.

— Нет, нет, нет, боже сохрани! Не думайте, чтоб я что-нибудь такое или этакое — нет!

— Так что ж?

— А вот, видите, я выехал из П-вы налегке, со мной нет приличного платья.

— Вздор, братец! Есть о чем думать! Сегодня же пошлю человека на всю ночь, и завтра к вечеру все здесь будет.

— К чему посылать? Это лишнее беспокойство, лучше я сам съезжу и через неделю-другую явлюсь.

— Пустое, тебя-то не пущу! Эй, кто там? Человек!

— Не делайте шуму и не посылайте, потому что я не знаю хорошенько, отдал ли мой приятель немного переделать мой фрак; сукно отличное, сам платил по 18 р. за аршин, да фасон некрасив; если привезут непеределанный, то еще хуже!..

— Прямо сказать: у тебя нет фрака вовсе; давно бы так и говорил! Не беспокойся: у меня целая дюжина этих дурацких фраков, выбирай любой. Да, кажется, у тебя нет ни белья, ни прочего? Полно краснеть, прикажи Петрушке приготовить, что нужно, из моего гардероба. Не к чему скромничать! Эх, странный народ эти господа статские!..

III

Милостивый государь, любезнейший друг
Кузьма Демьянович!

По обстоятельствам, я женился на прекраснейшей девице известной фамилии Фернамбук. Еще в П-ве я пленил сию девицу своим светским обращением и теперь, мимоездом, окончил начатое, а что главнее всего, получил в приданое 300 душ крестьян. Я теперь намерен жить, нимало не беспокоясь насчет службы, буду служить по выборам дворянства. Еще есть к вам моя просьба, а именно:

вам известно, что я взял, в угодность Катерине Федоровне, билет в собрание на всю зиму и со взносом 25 р. записался в члены; а как я теперь, по дальности расстояния, бывать в собрании не могу, то вспомнил о Григории Михайловиче, который когда-то, кажется, при вас, выразился: «Я взял бы зимний билет, да дорог, анафемский; по-нашему, если бы рубликов 15 — куда бы ни шло!» Я, любя Григория Михайловича, решился уступить ему оный билет за 15 р., хотя и понесу убытку 10 р. И еще сделайте одолжение: у меня в квартире остался горшок коровьего масла, подаренный мне Катериною Федоровною; масло очень хорошее, доброго качества и приятного вкуса; его было десять фунтов, мною израсходовано оного масла 2 фунта, следственно, осталось 8; без меня же оно убыть не могло, ибо, уезжая, я запечатал горшок собственною моею вензелевою печатью, а потому возьмите на себя труд, посмотрев предварительно, не нарушена ли печать, взять горшок и приказать вашему Петьке продать заключающееся в нем масло; еще раз повторяю, что масло очень хорошее, чтоб Петька при продаже не опростоволосился. Не верьте, если, паче чаяния, хозяин квартиры моей станет претендовать на масло: он всегда был грубиян. Скажите ему, в случае надобности, что если б он был почтительнее и не входил ко мне в комнату в колпаке, то я и ему уделил бы что-нибудь из означенного масла. Надеюсь, вы не замедлите выслать деньги за билет, равно и за масло, а прочие мои вещи, как-то: старый фрак, сапожные щетки, две пары ножей с костяными колодочками и проч., сохраните у себя до моего приезда: хочу по зимнему пути побывать в П-ве с женою.

Имею честь быть вашим, милостивый государь, благоприятелем.

Юлиан Чурбинский

18.7 года, ноября 12 дня.
Деревня Фернамбуковка

P.S. На случай сие письмо затеряется, то я сию же почту пишу и отсылаю другое, точно такого же содержания, к Марку Титовичу, в коем, упоминая о вышепрописанном вам поручении, прошу и его принять участие, в случае вашей (чего боже сохрани!) болезни или чего другого. Еще просьба: еще с прошедшего лета я обещал Аннушке,— знаете, которая мне мыла манишки,— купить золотые сережки. Делать нечего! Из полученных денег за мои вещи возьмете 80 копеек ассигнациями и купите ей сережки из металла, называемого *семилёр;* это металл немного дешевле золота, но в носке приятнее и имеет разительный блеск. Я полагаю, последняя порученность вам не без приятности.

IV

Милая моя сестрица,
Анисья Парамоновна!

Наказал меня бог, сестрица, наследством в глупой стороне: ни сосен, ни елок, ни людей нету — все чучелы; крестьяне без бород, и бань не строят, и в семик не пляшут, и сохой не пашут. Один, кажись, был человек из соседей — Медведев, да и тот, как я узнала, змея подколодная. Я писала к тебе, милая, что выдала дочку за Чурбинского: золотой малый, ни в чем не перечит, так нас любит, мне и платок подает, и скамеечку под ноги ставит, да в дела не мешается, говорит: «Имение ваше, и я ваш; делайте, что хотите». А мы с дочкой что знаем? Наше дело женское; вот мы и хотим ему записать нашу деревню, авось охотнее делом займется. Только зять мой все упрашивает: «Не говорите,— дескать,— об этом Медведеву».— «А что?» — я спросила. Вот он тут мне всю правду и рассказал: что он совсем не приятель нашему дому, что насмехается над нашим хлебом-солью, говорит, что у нас в кушаньях скверное деревянное масло... Ужасти такие наговорил, что беда! Меня вот так лихорадка и взяла, а он говорит: «Сва-

тал меня из своих интересов: и плотину почини, чтоб его жене было хорошо ездить, и то, и другое; да еще обращается со мною, как с каким-нибудь лакеем, все ты, да братец, при публике так унижает». Третьего дня обедал у нас окаянный Медведев; я сама нарочно подлила во все кушанья деревянного масла — что ж? И не ел ничего, надул усы, словно сом-рыба, и сидит. «Что не кушаете, сосед? — я спросила.— Может статься, у нас не умеют готовить?» — «Нет,— говорит он,— что-то голова болит»,— да и уехал сейчас после обеда. Вот что, моя сестрица, а я только и надеялась на одного соседа, а и тот в лес смотрит!.. Я уже советовала своему зятю не позволять наступать себе на ногу. Да, моя милая! Скверная сторона! Скоро Петров день, клубника у нас отошла, а была крупная; черешен в саду пропасть, и белых, и красных, и черных, да все скверные ягоды, как сахар, сладкие; и вишни поспевают, и шелковицы, а нет ни клюквы, ни брусники, ни черники, ни голубики, ни одной ягоды с кваском, я уже о морошке и не вспоминаю... Сахар у нас дорог, а мед свой; варю варенье больше медовое для поста. Прощай, моя милая сестрица; пришли записку, как делать шипучку, моя где-то затерялась. Прощай, милая сестрица.

Полковница Ф. Фернамбук

18.8 года, июня 26 дня.
Деревня Фернамбуковка.

V

Светлое июльское солнце взошло уже высоко; был час десятый утра; широкий скошенный луг Юлиана Астафьевича далеко развернулся светло-зеленою скатертью, испещренною частыми копнами сена, на которых то там, то там сидели, охорашиваясь, маленькие степные ястреба; на горизонте луга, как оазы, виднелись темно-зеленые кусты тростника: там были небольшие озера; над ними легким облачком, беспрестанно меняя формы, носилось стадо

скворцов, подле одного озера паслась стреноженная пегая лошадь; с полверсты в сторону человек около сотни крестьян сметывали копны сена в одну огромную скирду.

По дороге к озерам ехал какой-то вооруженный экипаж, вроде блаженной памяти испанской армады: рассмотрев хорошенько, можно было узнать в нем широкую, длинную и глубокую брику без верха; на козлах сидели кучер и два человека с ружьями в руках; на запятках тоже два человека с ружьями; из самой внутренности брики торчало пять или шесть голов в картузах, столько же ружейных стволов и четыре собачьи морды. Брика остановилась у озера; из нее выскочил человек в сапогах до пояса, в зеленой куртке и таких же шароварах; через правое плечо у него висела охотничья сумка с сеткою для дичи, через левое, на зеленом снурке,— деревянная черкесская трубка с коротким чубуком. Едва-едва в этом рыцаре изумрудного образа можно было узнать Макара Петровича. За Макаром Петровичем выскочил Трезор, далее начали выгружаться приятели и егеря Медведева. Всех набралось человек около десятка.

— Рекомендую вам, господа, чудесное озеро,— сказал Медведев,— здесь мы найдем пропасть молодых уток. Ох! Жаль, что бекасы еще нехороши. Впрочем, не давать и им спуску, коли попадутся.

Приятели молча осматривали ружья.

— За работу, что ли? — продолжал Макар Петрович.— Выпьем на дорогу, да и с богом. Петрушка! Дорожную фляжку!

На этот раз приятели оставили ружья и подошли к Медведеву.

Петрушка подал барину плоскую, обшитую красным сафьяном фляжку. Медведев отвинтил на ней серебряную крышку, которая имела форму и вместимость порядочного стаканчика, наполнил этот мудрый сосуд, выпил и передал следующему. Отставной капитан Здрав, с золотою головою, закусил кусочком черного хлеба с солью; другой со-

сед, русский немец, достал на этот случай из своего ягдташа сухую корку голландского сыра, погрыз ее немного и, завернув в бумажку, опять спрятал в карман. Прочие ели, что попалось под руку.

Перекусив, охотники осмотрели ружья, подсыпали на полки свежего пороху, выстроились в ряд и мерными шагами вступили в болото; собаки шныряли впереди охотников; несколько пар испуганных уток поднялось с озера и, сопровождаемые выстрелами, сновали над болотом. А между тем, оставив работу, с дикими криком и воплями бежала к озеру толпа полупьяных мужиков, вооруженных граблями и вилами. В минуту озеро было окружено.

— Стой, стой! — кричали мужики.— Отнимай ружья, представляй в суд — так приказано!

Стрельба остановилась.

— Что вам надобно? — закричал Медведев.

Крестьяне Чурбинского, как ни были пьяны, однако узнали Медведева, и уважение, которое народ искони питает к коренным панским фамилиям, в минуту пробудилось. Сняв шапки, стояла толпа, а приказчик Потапович, в синем кафтане, подпоясанный пестрым кушаком, подошел к Медведеву, разгладил длинные усы и, низко кланяясь, сказал:

— Извините, пане, мы вас не узнали; но все-таки, видите, стрелять невозможно — я в этом не причиною.

— А какой же дьявол?

— Оно, разумеется, вы люди ученые и знаете, что дьявол, когда восхощет, принимает образ человека, ибо хитра сила нечистая, но все-таки это не бесплотный дьявол, а наш многопочитаемый барин причиною.

— Убирайся с твоею чепухою, не мешай нам охотиться!

— Да что вам в этом болоте — такое гадкое, только лягушки водятся... Лучше бы поехали вот версты за три на болото генеральши Оглоблиной. Господи твоя воля, чего там нет!.. Что шаг, то местоположение, всякая дичь кишмя кишит.

— Полно врать. Нам и здесь хорошо; вперед, ребята!

— Нет, ей-богу, нет, пане! Я буду в ответе. Не моя вина, а стрелять все-таки нельзя — не приказано. Говорит барин: «Пусть птица плодится; может быть, я когда-нибудь возьму ружье, попрошу кого знающего зарядить да и поеду стрелять на озеро; к тому времени дичь освоится, и заряд не пропадет даром: сразу убью пар десяток»,— говорит.

— Кого другого не пускай, а мне, верно, не станет запрещать твой барин.

— Будь кто другой, а не ваша милость, мы бы его давно спровадили в город — так приказано. Говорит: «Лови, Потапович, всех моей рукою да и в суд, да и в суд, хотя бы мой родитель,— говорит,— пришел, и того в суд: не его земля, моя земля!»

— Что он, с ума сошел?

— Уповательно это их воля, и я об этом прямо сказать не могу; а если хотите, я пошлю хлопца справиться: верно, барин вам позводит.

Озеро было верстах в двух от дома Чурбинского, а потому охотники тут же, в болоте, присели на кочках в ожидании, пока сын приказчика, проворный мальчик, поскакавший во весь дух на отцовской лошади к барину, привезет милостивый фирман.

Через четверть часа обратно прискакал мальчик, слез с лошади и, утирая рукавом с лица пот и пыль, крестился и кричал:

— Не можно, пусть я пропаду, если можно.

— Врешь! Ты, верно, не расслышал,— сказал Медведев.

— Как бы то не расслышал? Я приезжаю, а барин стоят в красном халате у амбара, где девки подточивают пшеницу, и такие веселенькие; вот я и говорю им: «Как зволите прикажете, у нас стреляют на болоте птицу».— «Зачем же ты приехал? — говорят они.— Ловите их, бездельников, дармоедов, да и в суд». Я им поклонился да и говорю: «Такой человек, что и ловить нельзя, настоя-

щий пан».— «Губернатор, что ли?» — «Не знаю, может, их и так дразнят, а мы все зовем их Медведевым».— «Дурак! — сказал барин, топнув ногою.— Я такой же пан, как и Медведев, когда не почище его. Скажи, чтобы сейчас убирался вон из болота. А твой отец за чем смотрит? Вот я его, старого осла!»

— Так-таки, так! Я так и думал,— ворчал Потапович.

— И только? — спросил Медведев.

— Нет, еще оборотились к Феске, дочери нашего кузнеца, взяли ее за подбородок да и говорят: «Отчего ты так раскраснелась, Феодосия?» Я вижу, что это уже не ко мне, взял да и уехал.

Макар Петрович с досады кусал ус.

— Как изволите,— заметил ему, кланяясь, приказчик,— а не угодно ли вам убираться; не моя воля; не винен гвоздь, что лезет в стену, коли его колотят по голове обухом.

Молча вышел из болота Медведев и его спутники. Мужики значительно переглядывались между собою, не веря сами: как это можно Медведева выгнать из болота?..

По моему мнению, кулик самая бесхарактерная птица; иногда он увидит человека за версту, подымается с места; кружит над болотом, кричит, свистит, будит всю окрестность; иногда запустит в болотную тину свой нос и сидит себе в траве преспокойно, разве толкнешь его под бок, тогда только он схватится, зачастит крыльями, завопит, как... ну, как человек, когда затронут его самолюбие.

Петрушка выходил из болота, и вдруг из-под его ног выпорхнул кулик и с жалобным криком понесся в степь; Петрушка выстрелил — и бедная птица, закружась в воздухе, упала перед приказчиком.

— Не дурачиться! — закричал Медведев и подошел к толпе мужиков.

В это время приказчик поднял застреленного кулика и, рассматривая его, ворчал:

— Экое страдание!..

— Делать нечего, ребята, скажите вашему пану, что так делать нехорошо: он жалеет для меня перелетной птицы, а я не пожалел ему дать к венцу и свое платье, и... может, слыхали!

— Мы сами небезызвестны об этом,— заговорили мужики; но Потапович погрозил пальцем — и все притихло.

— Прощайте, ребята. Вот вам рубль серебра: выпейте по чарке водки; теперь жарко.

— А ваш куличок? — сказал приказчик, подавая Петрушке застреленную птицу.

— Отвезите его, дядюшка, своему барину, пусть он им подавится.

Охотники уехали, мужики ушли, скворцы улетели, и возле озера опять только осталась стреноженная пегая кобыла...

VI

Месяца за два до женитьбы Чурбинского Медведев с женою были в гостях у Фернамбуковых. В гостиной старуха Фернамбук рассказывала о вчерашнем висте, как она с управителем сделала шлем, а играли четверо; она, ее дочь, управитель и ее сосед, отставной юнкер; как у нее на руках был валет и т. п. Бог с нею, она всегда рассказывает скучные вещи. Молодая Фернамбук показала Анне Андреевне баночку духов с надписью: Extrait triple à la violette [1], привезенную будто бы из Парижа, нюхала пробку и, подымая глаза к небу, восторженно шептала «Ах, какое благовоние! Ах, как, должно быть, хорошо в Париже!» Медведев делал по временам странные ужимки, пересиливая зевоту, и посматривал на жену, как бы спрашивая: не пора ли домой?

---

[1] Тройной экстракт фиалки (*фр.*)

В передней было веселее. Петрушка, сидя на длинной зеленой скамейке, толковал Фильке, лакею в тиковой куртке, как цветут орехи и отчего на орехах бывает цвет двух родов.

— Э, Петрушка, надуваешь! — протяжно говорил Филька, нюхая табак из тавлинки.

— Придет весна — посмотри сам.

— Разве посмотрю, а так не поверю, и ты не верь книгам: там, я думаю, все написано такое!..— Филька махнул рукою.

— Им нельзя иначе цвесть.

— Так, конечно, орехи, небойсь, у тебя спрашивают?

— Не спрашивают; а это оттого...

— Хе-хе-хе! Ну, отчего?

— Оттого... Послушай, Филька, что это за барышня перешла через комнату?

— Вот тебе и грамотный! Знает, отчего орехи цветут надвое, коли-то еще цветут, а нашего брата называет барышнею! Это, брат, Машка, горничная нашей барышни.

— Полно, Филька, кто она?

— Я не грамотей, надувать не умею, сказал раз — и правда. Не диво, что ты ее первый раз видишь: она шесть лет училась около моря в Аддестах у мамзели убирать головы, знаешь, разными цацками; вот как наша барышня на поре замуж, так и выписали Машку для уборов; вот уже другая неделя, как она приехала, да какая, брат, бойкая, и книги читает по-твоему, и день в день ситцевое платье носит, а на нашего брата и смотреть не хочет; на что приказчик Потапович — человек и почетный, и грамотный, третьего дня подошел к ней и начал заигрывать — она хвать его по рукам. «У вас,— говорит,— седина в голове, а не умеете обращаться с девушками»,— засмеялась ему под нос и убежала. «Тю-тю,— сказал Потапович,— для нее судовой паныч растет! Бросьте ее, хлопцы, вишь, какая бучная!..» А мы так и покатились по земле от

смеха. Вот что, ей-богу!.. Этакая! А сама не больше, как дочь нашего коновала Ивана. О чем ты задумался?

— Ничего, так; а какая хорошенькая эта Маша!

— Да, нечистой ее не взял; сухопара немного.

Маша была очень хороша; ей было 17 лет. Высокий, стройный рост давал ей какую-то особенную величавость; ее черные волосы были украшены алою махровою маковкою; смугловатое лицо Маши, оттененное легким румянцем — признак чистой украинской крови,— длинные, пушистые ресницы, большие голубые глаза, легкая походка, даже самый покрой платья, отличный от здешнего,— все очаровывало Петрушку... При первом взгляде на Машу он затрепетал от удовольствия; какое-то тревожное и вместе приятное чувство запало в грудь его.

Люди много толкуют о сочувствии душ; я мало верю людям, но в этом случае вполовину соглашаюсь.

Когда Петрушка и Филька разговаривали, дюжая дворовая девка внесла в переднюю коробку яблок. Минуты через две вышла Маша, подошла к коробке и, не смотря ни на кого, сказала:

— Снеси, Дуняша, эти яблоки в девичью — барыня приказала сосчитать их.

— А позвольте узнать, какие это яблоки, кислые или сладкие? — спросил Петрушка, подойдя к коробке, да и покраснел, сам не зная чего.

— Не знаю,— отвечала Маша, посмотрела на Петрушку и сама покраснела еще более Петрушки, взяла из коробки яблоко и начала вертеть его в руках.

— Его можно попробовать,— сказал Петрушка,— вот прекрасный ножик.

Петрушка вынул из кармана складной охотничий нож своего барина и подал его Маше.

Маша разрезала яблоко и отдала половину его, вместе с ножом, Петрушке.

— А какой это удивительный нож! — заметил Петрушка.— Это у нас, в России, в Туле такие великие мастера

— Да,— отвечала Маша.

— Вот, видите, точно немецкий складной, и как умно все придумано: один большой нож — видите? — один маленький, вот пробочник, огниво, гвоздь — чистить трубку, и уховертка.— Говоря это, Петрушка раскрыл нож и показывал каждую штуку особенно.

— Спрячь-ка, приятель, свой нож,— сказал Филька,— а вы с яблоками проваливайте: застанет старая барыня, что вы едите фрукты, надает вам тумаков, и мне, как свидетелю, достанется. Слышь? Идут!

Девушки ушли в боковую дверь; в переднюю вошел Медведев и приказал подавать лошадей.

Так началось знакомство Петрушки с Машей, а если хотите — и любовь их.

С этих пор всякий раз, когда приезжал Медведев к Фернамбуковым, Маша всегда находила какой-нибудь предлог придти в переднюю. Петрушка, с своей стороны, всегда имел что-нибудь любопытное передать Маше; мало-помалу они до того ознакомились, что Петрушка начал привозить Маше из господской библиотеки романы: *«Природа и любовь»* Лафонтена, *«Алексис, или Домик в лесу»* Дюкре-Дюминиля и другие подобные.

VII

Заметили ли вы, господа, что, пируя на свадьбе, холостые люди и девушки бывают как-то особенно настроены? Они откровеннее, мечтательнее, решительнее, разговорчивее, доверчивее... Право! Музыка ли располагает к этому человеческие сердца, или веселые, счастливые лица новобрачных, или яркое освещение — не знаю, но уверяю вас, что мое замечание справедливо.

На свадьбе Чурбинского пир приходил к концу. Музыка играла мазурку. Юлиан Астафьевич танцевал в первой паре с своею супругой, далее Макар Петрович с Еленою

Павловною, еще Василий Александрович с Александрою Ивановною и еще много, много пар. Можете представить, как было весело!

Лакеи и горничные приехавших господ столпились у дверей залы и с изумлением смотрели, как уездный учитель математики, приглашенный на свадьбу ради великого искусства и знания танцевального дела, изогнув данную ему богом обыкновенную человеческую фигуру в иноземную букву S, отчаянно носился по зале из угла в угол; правою рукою поддерживал он за кончики пальцев огромную даму, а в левой держал за уголок белый носовой платок, который, как флюгер, шумел, кружился, плясал в воздухе и летел за своим господином, точно хвост за кометою. Зрелище диковинное и не для одних лакеев.

Маши не было в толпе любопытных зрителей. Петрушка и прежде видел эти танцы, потому он и не тискался вперед, закинул за спину руки и стал почти у самой двери, ведущей в сени. Вдруг ему послышалось, будто за ним отворяется дверь; он взглянул — нет никого; через минуту кто-то дернул его сзади за сюртук; оглянулся — опять никого; немного погодя чья-то нежная ручка робко пожала его руку; в секунду Петрушка был за дверью, в больших темных сенях,— ему навстречу какая-то женщина бросилась на него и обвила жаркими руками.

— Это ты, Маша?

— Я, Петрушка!

— Я не верю сам себе,— это ты, моя ненаглядная! Что с тобою? Ты плачешь?

— Грустно мне, Петруша: они пляшут, веселятся, а мне грустно-грустно... так и хочется заплакать... да все хочется говорить с тобою: кажется, все и отляжет от сердца от твоих речей. Как я люблю тебя, Петрушка! Смейся надо мною, а я давно хотела тебе сказать это...

Петрушка отвечал длинным поцелуем.

— Ах, Петрушка, как ты хорош! Я сегодня все на тебя смотрела, пока начали надо мною смеяться. Дунька такая

злая! «Посмотрите,— говорит,— Марья Ивановна и на панов не смотрит, как в танцах прохлаждаются, да все на Петрушку, и глаз с него не спустит». А я себе думаю: «Петрушка стоит того»,— и нарочно хотела на тебя глядеть, да так стало совестно; ушла в девичью и оттуда в щелку все на тебя смотрела — ты лучше всех!

— Я давно люблю тебя, да сказать боялся: ты такая быстрая, кажется, сразу на смех подымешь.

— Грех тебе говорить это, Петрушка! Не бойся меня, что я быстра. Сова тиха, да птиц душит, а ласточка целый день летает да щебечет, только хвалит бога, зла никому не делает. Скажи мне еще раз, что ты меня любишь,— мне так весело слушать... от радости, кажется, не доживу до утра.

— Люблю, люблю, моя радость!.. А я все не верил, что ты меня любишь, хоть Филька и божился... Вздумаю было тебе сказать так что-нибудь стороною, да вспомню, как ты насмеялась над приказчиком,— и язык онемеет.

— Бог с тобою! То приказчик, седой дурень, а то ты — мой ясочка; с тобой и жить и умереть готова...

— Послушай, завтра же, если хочешь, я скажу своему барину; нас перевенчают — и будем жить счастливо.

— Делай, как знаешь, мой голубь сизый.

Тут музыка перестала играть: в сенях раздался звонкий поцелуй. Маша выбежала из сеней в сад, а Петрушка тихо вошел в переднюю.

Дня через два Петрушка сказал Маше, что Макар Петрович не соглашается теперь его сватать: скажут, дескать, что нарочно женил Чурбинского, чтоб через него отнять у Фернамбуковых ученую девочку. «А ты,— говорит,— молод, и она молода, потерпите до осени — это менее года,— тогда я сам буду сватом; если не согласятся господа ее выдать, я им заплачу, что они захотят».

— Как не согласятся! — отвечала Маша.— Ведь ты сам говорил, что у Чурбинского ни кола ни двора, а твой барин женил его на такой богатой невесте; да и на что я

им? Нет, не станут противиться, будем ждать да молиться богу.

— Будем,— отвечал Петрушка.— А нескоро придет эта осень! Зима, весна, лето... а там уж осень!..

VIII

Я очень люблю начало осени, особливо на Украйне: томительный жар лета сменяется прохладою; природа наградила труды людей своими дарами; везде довольство, везде веселые лица. Едешь полем: и направо, и налево от дороги длинным строем вытягиваются копны хлеба; в стороне где-нибудь краснеет запоздалая нива гречихи; тяжелые черные грозди ее, как виноград, клонятся к земле на ветвистых пурпурных стеблях... Вечереет. Крикливые стада журавлей пируют на полях, вереницы уток шумят над головою... Перед вами вьется в чистом воздухе легкий дымок. Вы подъезжаете к куреню баштанщика (так у нас называют стариков, которые смотрят над бахчею), старичок разложил огонь перед своим шалашом и варит к ужину кашу. Пламя с треском обхватывает ветви степного ракитника, голубоватый дым тонкою струйкою вьется кверху и исчезает в воздухе; против старика сидит его внук — ребенок лет десяти; он разбил арбуз чуть не в себя ростом, рвет руками его сочное, алое, сахаристое мясо, ест и хохочет от удовольствия; за шалашом лежит косматая серая собака и весьма пристально рассматривает летающего вечернего жука; далее кучи арбузов и дынь... И эта тихая картина облита ярким золотом заходящего солнца. По дороге вы обгоняете возы, нагруженные тяжелыми снопами; в деревне из-за хат выглядывают золотые стоги, как залог благоденствия многих людей; в садах целые семейства собирают яблоки, груши и бергамоты; на вас веет благоухание душистых плодов; вы слышите в саду хохот и песни девушек.

Хороша, богата природа! Невольно снимешь шапку и от души перекреститься! Стоит ли человек прекрасных да́ров божьих?

Кроме того, осень — время свадеб; поселяне, кончив уборку хлеба, хотят отдохнуть, повеселиться. А где же лучше попировать, как не на свадьбе? Старосты, перевязанные через плечо поясами, начинают ходить по улицам. Не одна пара черных девичьих глаз высматривает их, жданных гостей; не одна роскошная, полная грудь дрожит от страха и сомнения; *любой* или *нелюб* шлет к ней сватов?..

Август приближался к концу. В селении Медведева из улицы в улицу ходили толпы свадебных гостей, с музыкою, с песнями, с красными знаменами...

Петрушка загрустил... От рокового дня охоты на озерах Чурбинского он раза два видел Машу в церкви: но Маша так печально говорила ему: «Чует мое сердце, что не бывать нам счастливыми; наш барин готов съесть вашего барина; не отдаст он меня за тебя!» Петрушка утешал ее, как мог, но в душе и сам чего-то боялся напомнить барину об его обещании, грустил, скучал — и слег в постель.

Медведев, узнав о причине болезни Петрушки, написал к Чурбинскому письмо, предлагая за Машу тысячу рублей или более, если Юлиан Астафьевич будет согласен, и в ответ получил на лоскутке бумаги четыре слова: *Ничего не хочу, не бывать этому.*

Оправился от болезни Петрушка или нет — бог его знает... только он встал с постели, взял ружье и пошел на охоту; подошел к реке и побрел тихими шагами берегом прямо к деревне Чурбинского.

Утреннее солнце светило ярко, стада дичи, подымаясь с реки, кружили над головою Петрушки — он ничего не видел, ничего не слышал. Вот и деревня Чурбинского, вот и роща над рекою; по реке плавает большое стадо свойских уток; на берегу, под кустом, сидит босоногая девка в лохмотьях. Петрушка смотрит и не видит — идет далее.

— Петрушка! — закричал кто-то позади его; бедняк вдруг очнулся, будто тяжелый сон слетел с глаз его.

«Кажется, голос Маши»,— подумал он и начал осматриваться. Девка в лохмотьях стояла перед ним — это была Маша.

Ружье выпало из рук Петрушки.

— Ты ли это? — прошептал он.

— Я, мой милый, ненаглядный,— отвечала Маша, обнимая его,— а ты и не узнал меня... Неужели платье так переменило меня?.. А я все та же, так же люблю тебя; чем они злее, тем больше я люблю тебя. Пусть они... бог с ними. . . . .

. . . .

Ты был болен, мой голубчик; я все слышала, а меня и болезнь не берет...— Рыдания заглушили голос Маши.

— Успокойся, моя рыбка... Сядем вместе, да расскажи мне, что у вас такое делается и отчего ты такая простоволосая?..

— Ох, много я вынесла! Была бы я давно рыбою — бросилась бы в самую быстрину, если б не хотела хоть еще раз увидеть тебя...— Маша обняла Петрушку, склонилась головою к нему на грудь и тихо плакала.

— Бог с тобою, моя горлица, успокойся: все будет хорошо...

Маша покачала головою.

— Садись вот здесь,— продолжал Петрушка,— здесь будет покойнее... Господи! Ты босая!.. Теперь холодна осенняя роса, холоден мокрый речной песок... возьми мою шапку, положи в нее свои ножки, пусть отогреются...

— И вспомнить страшно, как рассердился барин, получа письмо от твоего барина. «Это,— говорит,— насмешка: меня обидели и еще сватают мою девушку за урода, который публично желал мне подавиться куликом». Кричал, кричал, ругался, а после и говорит: «Да у меня для Марьи есть жених получше этого сорванца, я ее сделаю счастливою. Позвать ко мне Машу!» Я пришла ни живая

ни мертвая. «Послушай, Маша,— сказал барин,— я давно хочу наградить тебя за службу и составить тебе партию. Потапович, наш приказчик, очень желает на тебе жениться; я с своей стороны согласен... Что же ты молчишь?» — «Помилуйте, барин,— сказала я,— у приказчика дети от первой жены старее меня; мне Потапович годен в отцы, а не в мужья».— «Дура!.. А богатство его разве ничего не значит?» — «Богатство пусть останется при нем, мне ничего не нужно!..» — «Ого-го, сударыня, так вам прикажете выписать жениха из губернского города?..» — «Будьте милостивы,— сказала я и бросилась ему в ноги,— не разлучайте меня с Петрушкою; или за ним, или ни за кем не буду замужем...» Как он толкнет меня ногою прямо в лицо! Как закричит... Я и света не взвидела... «Так и ты заодно с моими врагами! Они и тебя, знать, подкупили на мою обиду. Вот я тебе сам отыщу жениха, а до времени... Гей! Потапович! Сейчас с нее долой панское платье да в черную работу». Обрадовался Потапович этому приказанию. «Помните, Марья Ивановна,— сказал он мне,— вы говорили, что я не умею обходиться с девушками,— вот увидим. Пока отправляйтесь варить для работников галушки, да поворачивайтесь проворнее! Я человек сердитый, знаете, от старости; берегитесь, отеческое наказание у меня в руках»,— и он, улыбаясь, посмотрел на свою длинную палку. Трои сутки варила я галушки, носила воду тяжелыми ведрами, мыла чугунную посуду... От непривычки работа валилась из рук моих. Сердитый Потапович за всякую безделицу без милосердия меня наказывал... Вчера я нечаянно опрокинула огромный горшок кипятку и — вот видишь — совсем обварила себе левую руку... Меня все-таки наказали и до выздоровления заставили пасти господских уток...

— Бедная моя Маша! — шептал Петрушка, целуя ее больную руку.

— Еще не все. Сегодня... когда я гнала сюда уток, повстречался мне Потапович и говорит: «Я стар, Марья Ива-

новна, и глуп, и непригож, и не гожусь вам в мужья, а все-таки люблю вас, отыскал вам жениха, и барин приказал завтра вечером перевенчать вас... Знаете Фомку-дурачка, что пасет господских свиней; правда, он не пересчитает на руках пальцев, зато человек молодой; готовьтесь к венцу».

— Да он пугал тебя,— сказал Петрушка.

— Ох, нет! Еще вчера барин приказал выстричь и вымыть Фомку и дать ему новую рубашку... Весь двор удивился, за что такая милость к этому дураку... А теперь я знаю... я не переживу своего несчастия!..

— Нет, Маша! Нет, быть не может, чтобы эти ясные очи, черные косы, белая грудь, это сердце, такое доброе, которое так меня любит... чтоб все это досталось неумытому дураку... Он — это животное — станет ласкать тебя, станет целовать тебя... Нет, Маша, этого быть не может!..

— А будет!..— едва слышно сказала Маша.

Молчание.

— Послушай,— говорила Маша,— ты любишь меня, и я люблю тебя более всего на свете; нам еще можно спастись, нас никто не разлучит... послушай меня...

И, притянув к себе на грудь Петрушку, она что-то стала шептать ему.

Петрушка пришел домой веселее, спокойнее: необыкновенная радость блистала в глазах его.

— Тебе лучше, Петрушка? — спросил Медведев.

— Лучше, барин, я совсем здоров.

На другой день рано-поутру, чуть стало солнышко показываться из-за леса, Петрушка, с охотничьею сумкой за плечами, с ружьем в руках, был уже в роще Чурбинского на берегу реки; немного погодя пришла Маша. На ней была белая, шитая шелком рубаха, завязанная красною лентою; косы лежали на голове черным венком, и между ними блистали осенние белые астры...

— Хороша твоя невеста? — сказала Маша, подходя к Петрушке.

Петрушка бросился целовать ее.

— Погоди, Петрушка, не целуй меня: станем молиться богу, чтоб он не разлучал нас и в будущей жизни...

Они упали на колени и тихо молились; в речном тростнике пела пеночка... Солнце величественно выходило на небо... Село начинало пробуждаться...

Помолясь, Петрушка подошел к Маше, обнял ее, и уста их слились долгим поцелуем.

— Слышишь,— говорила Маша,— они придут сюда — и все пропало! Поспешим, моя радость: там нас не разлучат. До свидания!..

Она стала на колени и распахнула рубашку на полной груди своей.

— Смотри же, мой милый, стреляй прямо в сердце, вот оно, вот бьется, стреляй сюда, а как я умру, и сам за мною скорее: без тебя мне будет скучно и минуту... Ах, как весело умереть от твоей руки!..

Петрушка поднял ружье и прицелился.

— Что же ты ждешь? Я душою чую, что идут сюда и отдадут меня Фомке!..

Выстрел раздался — и Маша упала на траву. «Приходи ко мне скорее...» — были последние слова ее... Алая кровь теплым ключом била из ее раны; светлые глаза подернулись смертным туманом.

Петрушка торопливо начал заряжать ружье, а между тем в роще раздавались голоса: «Кто смеет стрелять! Лови, лови, да и в суд, кто б ни был, моею рукою... барская земля!» — и Потапович с тремя десятниками бежал к Петрушке.

Вот они уже близко. Петрушка спешит прибить заряд, взводит курок, упирается дулом ружья в грудь, и, перегнувшись вперед, спускает курок; щелк!.. не выстрелило; Петрушка второпях забыл насыпать на полку пороху. Десятники схватили Петрушку.

— И умереть не дадут! — простонал Петрушка.— Прощай, Маша; я сдержу слово: скоро увидимся!..

IX

Был осенний вечер. В гостиной Медведева, по-старому, на круглом столе кипел самовар и горели две свечки в тяжелых подсвечниках; на диване, у стола, Анна Андреевна разливала чай, в кресле сидел Медведев, только не было Трезора, а перед хозяином сидел сосед с большим круглым лицом, да у двери, вместо Петрушки, стоял дюжий черномазый лакей.

— Прескверная погода! — говорил, сморкаясь, сосед.— Давно ли было тепло, и вдруг стало холодно! Кажется, и не пора бы: еще половина сентября!

— Будто очень холодно? — спросила Анна Андреевна.

— Нет, оно не холодно, а дождик идет, такой, знаете, ехидный, так всего и измочит; кажется, и небольшой, а пронзительный.

— Так вы так бы и говорили,— перебил Макар Петрович.

— Нельзя же иначе выразиться, когда хочется с дороги пуншу!

— Ну, то-то! Ох, Евграф Пантелеймонович, все еще неспроста говорите, все смекай его, да смекай, куда что сказано! Откуда же вас бог несет?

— Из нашего уездного города.

— Что там новенького?

— Новенького? Гм! Особенного ничего. Разве что ваш Петрушка вчера умер.

— Царство ему небесное! — в один голос сказали, перекрестясь, и Медведев, и его супруга.

— Да, умер, и, знаете, очень странно; со дня вступления в тюрьму он все худел, таял, как свечка; послали и доктора — не признается: «Я,— говорит,— совершенно здоров»,— а все чахнет, все день от дня хуже, да вчера и умер!.. Что ж бы вы думали? Весь хлеб, что ему давали, нашли у него под постелью,— ничего не ел и умер с голода!.. Впрочем, тут вы много виноваты: зачем было давать

ему читать книги?!! Сам бы не выдумал такой штуки! Прочитал где-нибудь — и баста!..

Медведев молча встал и начал скорыми шагами ходить по комнате.

— А вы зачем ездили в город? — спросила Анна Андреевна.

— Избирать судью на место умершего в прошлом месяце нашего почтеннейшего Цвиринковского.

— И выбрали?

— Общим голосом Юлиана Астафьевича.

1840

ЗАПИСКИ СТУДЕНТА

Entre le commencement et la fin il y a la vie.

V Hugo[1]

Я желал бы знать, что думают лошади во время гололедицы?

Не знаю, как вы, а я с большим сожалением смотрю на лошадей, когда улицы покроет гладкий лед и бедные животные, робко ступая, скользят, шатаются и всякую секунду готовы упасть, может быть, с тем, чтобы не встать более. Особенно гибельны в это время торцовые мостовые и мосты. Люди — животные разумные, привыкшие ходить без опасения на скользком паркете, и те нередко падают во время гололедицы,— а лошади, бедные лошади! Право, жаль их...

Осенью 184... года часу в десятом утра в Петербурге была знаменитая гололедица. Все живое, всякого пола и возраста, более или менее падало. Тучков мост представлял длинное поприще для этого упражнения.

Он был похож на арену, усеянную побежденными. Особливо камнем преткновения, о который разбивались усилия путешественников, был маленький подъемный мостик посреди длинного моста на сваях... Я предполагаю моих читателей до того образованными, что они очень хорошо знают Тучков мост, что, проезжая или проходя его, они на половине своего пути подымались на холмик и, спустясь с холмика, опять продолжали свой путь спокойно, даже до каменной мостовой,— и очень хорошо понимают, что этот холмик не есть произведение природы, но подъемный мост, построенный инженерами для пользы общественной: ночью он растворяется и пропускает корабли, а

---

[1] Между рождением и смертью — жизнь. *В. Гюго (фр.).— Ред.*

днем, имея подобие естественной горки, приятно разнообразит путешествие...

Утром, во время знаменитой гололедицы, о которой уже сказано выше, я подходил к подъемному мостику на Тучковом мосту; деревянная горка, остеклованная льдом, представилась глазам моим: перед горкою стояла дюжая серая лошадь, запряженная в роспуски, и, поставя врозь все четыре ноги, с ужасом смотрела на предстоящую опасность; так называемый ломовой извозчик, стоя сбоку, собрал вожжи в одну руку и махал ими над лошадью, приговаривая нараспев: «Ну! ну-у-у! у!» На роспусках лежал белый досчатый гроб, привязанный веревкою; сзади стояла женщина лет пятидесяти, в голубой заячьей шубке, с желтым, поношенным платком на голове.

— Ну! ну! ну-у-у! — крикнул извозчик сильнее прежнего.

Лошадь с усилием ступила передними ногами на мостик, зачастила ими, скользя вниз по льду, и упала на колени.

— Ну! Разом! Ну! Серко! — прикрикнул извозчик, ударив лошадь концом вожжей. Серко быстро встал, прянул вперед, неверно цепляясь подковами, и, стеня, растянулся на мосту.

Два офицера выругали извозчика за то, что его лошадь мешала им пройти свободно.

Извозчик ругал мост и гололедицу и бил вожжами Серка, который стонал, жалобно смотря на своего хозяина.

— Он не подымется; разве ты не видишь, у него ноги изломаны? — сказал хладнокровно какой-то прохожий, в синем картузе, с красными выпушками.

— Ой, матушки! — вскрикнула старуха в голубой шубке, стоявшая позади роспусков.— Бедный Яков Петрович! И тут ему талану нету: и на Смоленское сразу не доедет!

— Ты родственника хоронишь, старуха? — спросил я.

— Какого родственника! Это их благородие, дворянин, чиновник. Добрый был, царство ему небесное, а какой

бесталанный!.. Вот хороню на свои деньги... хоть сама не купчиха какая, не богачка... Бог заплатит ради доброго покойника...

Недавно члены какого-то человеколюбивого общества, сложась по четвертаку, схоронили безродного бедняка. Целую неделю говорили об этом поступке, и восемь разных статей было написано о нем в газетах, между тем как о приезде хивинского посланца говорили только сутки, о возвращении Тальони — двое, о привозе свежих устриц трое суток, о механическом диве и о *превосходнейших* каменных зубах (каждого из Вагенгеймов особо) публикуется в «Полицейской газете» только по три раза.

Передо мною стояла простая необразованная баба, которая, не будучи членом человеколюбивого общества, не складываясь ни с кем, на последние деньги, как могла, хоронила своего бедного собрата-человека и, как мне казалось, даже далека была от мысли публиковать о своем пожертвовании.

Я вообще очень привязан к прекрасному полу: люблю без души молоденьких и чрезвычайно уважаю пожилых; но я с особенным уважением смотрел на старушку в голубой шубке, и как ниже ее в то время показались мне многие из прекрасных дам, читающих французские романы, отчаянно играющих в карты и даже могущих доставить своему protégé выгодное место!..

Прохожий, которого по синей фуражке я счел за ветеринарного врача, более солгал, нежели сказал правду, потому что Серко, наконец, не выдержал манипуляции извозчика, встал на все четыре ноги и, кое-как переправясь через подъемный мостик, тихо потащил гроб.

Я пошел за гробом, разговорился со старухою и узнал, что умерший был ее постоялец, что он во время болезни даже продал все свое платье; что умер, не оставя ничего, кроме свертка бумаг. «И умер над ними, голубчик! За них, если даст лавочник пятачок, и то спасибо»,— прибавила старуха.

Вы догадываетесь, что я купил у старухи бумаги: она на другой день принесла мне их. Это был повседневный журнал: между листами его лежали письма; каждое пришито к тому дню записок, в который было получено; все это вместе составило род простой повести, и я решился ее напечатать, не изменяя ни одного слова.

* * *

183... года, 20-го июня

Экзамен окончен сегодня — и я вступаю в новую жизнь... Мир праху твоему, добрый человек, основатель лицея! Благословляю память твою!..

Давно ли я был еще ребенок? Как сегодня, помню день моего отъезда в лицей. Я на своей маленькой лошадке хотел ехать гулять в степь; меня позвал папенька.

— Послушай,— сказал он мне,— собери свои книги; мы сегодня поедем далеко: я тебя отдам учиться в лицей.

— А это очень далеко? — спросил я.

— Верст полтораста.

— Так мы завтра не воротимся?

— Нет, ты проживешь там долго.

— Более недели?

— Гораздо.

— Месяц?

— Больше.

— Неужели год?

— Шесть лет.

Меня обдало холодом. Ехать в такую даль, за 150 верст от дома, на шесть лет проститься с папенькой, с маменькой, с моею маленькою комнатой, с белою акацией, которую я поливал каждое утро,— а она, как нарочно, так душисто расцвела теперь!..

Грустно стало мне; я вышел на крыльцо; моя лошадка,

увидев меня, приветно заржала; я подошел к ней, машинально сел на нее и шагом выехал в поле.

Нивы шумели от утреннего ветерка, росистая степь пестрела в цветах, жаворонки пели; но ничто меня не радовало. Я не спешил нарвать букет анемонов, не старался поймать красивую бабочку, чтоб подарить ее маменьке,— одна мысль тяготила меня: я должен все это оставить, оставить надолго!.. «Как хороша воля!» — подумал я и соскочил с лошади. «Прощай, лошадка,— сказал я,— ступай на волю!» Поласкал я ее и бросил повода. Лошадка стояла передо мною. «Глупенькая, ты будешь гулять!» Я обнял ее и махнул руками. Через минуту только ее головка далеко ныряла между цветистою зеленью; еще минута, и я уже не видел ничего: все зарадужилось, закружилось в глазах моих, наполненных слезами.

После обеда мы с папенькой выехали из дома. Прощаясь, маменька уговаривала меня не грустить, обещала приехать ко мне, дала мне коробочку конфет — и я утешился.

. . . .

И вот я в лицее. Меня ввели и оставили в этом огромном здании. Все незнакомые лица, все такие страшные, классические физиономии профессоров, все так сухо, так важно! Папенька уехал.

Я подошел к окошку: оно было в третьем этаже; внизу краснели крыши одноэтажных домиков: далее стройно вытянулась улица, за нею стояла березовая роща, а там — боже мой! — гладкое поле, на нем змеилась дорога на мою родину!.. По дороге неслось облако пыли: мне казалось, что я вижу в нем нашу коляску, даже казалось, что папенька машет мне из коляски платком; но вот и это облако слилось с горизонтом... Я стоял и тихо плакал. Тут подошел ко мне Ш.; он так мило заговорил со мною, такое принял участие в моей печали, что мы с того дня сделались друзьями.

Милый Ш.! Мне теперь смешно, когда вспомню, как он

утешал меня. Он говорил, что лицей непременно должен сгореть, потому что в нем много несчастных, нам подобных, а когда он сгорит, то мы опять поедем по домам. И как эта глупая мысль восхищала меня! Я целый месяц ложился спать, наперед хорошенько увязав свои книги и платье, чтоб сейчас же бежать, когда начнется пожар. Вся кровь, бывало, бросится в голову, когда услышишь запах дыма или кто пройдет ночью по коридору со свечою: все ждешь, вот загорится, вот будет тревога, вот разольется огонь по комнатам... Но угрюмо дремали во мраке каменные стены огромного здания; изредка где-нибудь хлопнет незатворенное окошко или в дальнем коридоре простонут тяжелые шаги старого инвалида, и опять все тихо, тихо... Так и захочется спать.

Но вот сегодня шесть лет, как я здесь; завтра день выпуска. И сколько перемен с того времени!.. Наука открыла передо мною свои святые сокровищницы: мой ум смело ширяет в тучах и разлагает громы и молнии, я дерзаю вычислить пути светил небесных; наука увлекает меня на дно моря и показывает жемчуг и подводные чудовища, сводит в недра земли, где растут жилы золота и зреют драгоценные камни; она рассказала мне судьбы народов, и дела давно минувшие переходят в уме моем яркою фантасмагорией; я изучаю природу, изучаю человека, самого себя и люблю творца, как благодетеля моего, люблю по убеждению.

А поэзия? Боже! И есть люди, которые не понимают поэзии!?. Бедные, жалею о вас: вы не знаете лучшего наслаждения в жизни! Вы не понимаете ни Жуковского, ни Шиллера, ни Байрона, ни Пушкина, великого Пушкина! Вы произносите эти имена, как имя славного портного, парикмахера — и ваше сердце не трепещет сладким восторгом. Жалкие! Плачьте о вашем невежестве и дивитесь этим именам как проявлению неба на земле... Шесть лет — и как я вырос духовною жизнью!..

Я должен сказать «прости» моим милым товарищам, с

которыми я рос вместе, с которыми делил и радость, и горе, с которыми не раз молился перед святым алтарем; я должен сказать им «прости». Долг чести зовет меня — я должен служить отечеству. Сколько раз я завидовал мудрым Сципионам, Фабрициям, Аристотелям... И вот передо мною широкое поле жизни, поле чистое. Какой разгул для деятельности! Вперед! Какое раздолье быть полезным ближнему... Мой девиз — презирать все низкое, любить одно возвышенное... Я... увидим, что я сделаю!..

27-го июня

Вот я опять в нашей маленькой деревне. Свободен, как божья птица. И Кант, и Юстиниан, и несносный Лакруа забыты до времени.

28-го июня

Чудная жизнь в Малороссии летом! Вчера я приехал домой; отец обнял меня и поздравил *человеком;* мать заплакала; сбежались братья, поднялся шум, хохот — так прошел целый день. Сегодня мне отвели квартиру, как говорит батюшка, в саду, в беседке. Эта беседка утонула в зелени деревьев; перед моими окнами цветут целые пирамиды душистого горошка, стройно колеблются разноцветные мальвы, а розы, полные, пышные розы, тянутся густою гирляндою вдоль по сторонам темно-зеленой аллеи. Если б живописец мог нарисовать такую картину, он умер бы от восторга.

29-го июня

Сегодня день моего ангела. Я проснулся рано поутру. В головах у меня стояла огромная ваза только что расцветших роз. Человек сказал мне, что с восходом солнца моя маменька сама поставила эти розы и тихонько ушла, перекрестив меня... Как я сладко сегодня молился богу; эти розы курились чистым фимиамом к его престолу! Есть ми-

нуты в жизни, которыми выкупаются все страдания человечества.

Люди! Понимаете ли вы, что такое мать? Понимаете ли вы это страдательное существо, эту вечную, безграничную, бескорыстную любовь? Мужчины, благоговейте перед матерью; это алтарь, на котором неугасимо горит любовь к человечеству, может быть, одна любовь в мире без холодного эгоизма.

У нас были гости; человека четыре соседей, все люди отставные с мундиром. Целый почти день рассказывали о разных случаях войны; мой отец говорил о взятии Очакова так подробно, как будто вчера только его брали. Тут были свидетели и Семилетней войны, и войны Отечественной. Какая поэтическая жизнь военного человека! Сегодня здесь, завтра там, после в третьем месте; везде новые лица, новые знакомства, прелесть отдыха, грусть разлуки — все это должно тревожить сердце, возбуждать дух к деятельности. А это глубокое самоотвержение, эта всегдашняя готовность пожертвовать для блага общего самым драгоценным для человека — жизнью, не возносит ли это меня самого в глазах моих? Как понятна благородная гордость рыцарей, надевавших меч! Нет, я непременно посвящу себя войне, я буду кавалеристом; мои предки жили и умирали на конях, я последую их примеру.

1-го июля

У нас есть два соседа, статские: один Щука-Окуневский, говорят, удивительный вестовщик и любит говорить свысока, а другой Сутяговский; об этом отзываются как об умном человеке. Они оба вышли в отставку и приехали из губернского города в уезд, в свои деревни, когда я был в лицее.

14-го июля

Я очень не люблю нашего соседа Сутяговского, хотя он и пользуется какого-то особенного рода уважением

всего уезда: все за глаза его ругают, а в глаза как-будто его боятся; даже вид Сутяговского мне не нравится: высокий мужчина, вечно наклоненный вперед; на лбу всегдашняя дума о чем-то недобром; голос — хриплый бас, похожий на ворчанье бульдога; глаза постоянно опущенные вниз; о чем бы ни говорил он, с кем бы ни говорил, они всегда устремлены на одно место, на пол. Мне кажется, он должен быть большой грешник и боится поднять глаза, чтоб не увидеть над собою карающей десницы правосудия. Важность, с какою он входит в комнату, как поправляет медленно орденскую ленту, как прикидывается простаком, чтоб больше еще выказать свою ученость, которая, enrte nous soit dit [1], не слишком глубока,— все это нестерпимо. Куда бы ни приехал он, всех перецелует, начиная с хозяина до последнего гостя, хотя бы ему кто был и незнаком — ему все равно: идет потихоньку вокруг комнаты, схватит человека в объятия, поцелуется раз, два, три, заворчит какую-то любезность или заклинание — кто его разберет! — и принимается за другого, пока всех обойдет... Да это так важно, будто он бог знает какая знаменитость и не хочет никого обидеть, лишив частички своей высокой ласки.

Я недавно видел, как в сети паука попалась муха; в одну секунду паук был уже возле своей жертвы, схватил ее, прижал к своей груди и долго обнимал ее двумя передними лапками, опутывая роковой паутиною; потом прокусил бедной мухе голову, выпил из нее кровь и преспокойно возвратился в свою засаду как ни в чем не бывало, только потолстел немного. С тех пор я не могу равнодушно смотреть на Сутяговского: когда он обнимает человека, мне все кажется: вот запищит бедный страдалец, вот сосед прокусит ему голову...

Сутяговский тоже меня не очень жалует: то экзаменует меня и чрезвычайно важничает, когда я, чтоб не огорчить

---

[1] Между нами говоря *(фр.)*.

батюшку, отвечаю ему, как профессору, то берет на себя труд делать мне наставления, поет с бемольного тона о нравственности, как пресвитерианец времен Кромвеля. Несмотря на все это, в нем сильно отзывается дух прошедшего XVIII века, не слишком нравственного.

Какую он состроил сердитую рожу, когда я сказал, что не считаю Вольтера великим поэтом! Он готов был скушать меня, как паук муху, проворчал себе под нос, вероятно, какую-нибудь глупость и начал проповедывать о чести, обязанности всякого дворянина служить отечеству, о том, что молодому человеку гораздо приличнее служить даже в городской ратуше, нежели заниматься пустыми мечтами, ведущими к растлению нравов; что в старину так не бывало; оттого было более и учтивства, и утонченной вежливости, и приличного всякому обращению... Я вышел из комнаты и возвратился, увидя, что Сутяговский уехал.

Несносный человек!

15-го июля

Скоро будет в Р* ярмарка; весь наш уезд приходит в движение: только и толкуют о ярмарке; чрез неделю половина нашего народонаселения двинется в Р*.

Батюшка тоже хочет ехать и меня берет с собою. Я скучал бы этою поездкой, если б не надеялся увидеться с Ш., с моим милым товарищем.

19-го июля, полдень

Мы в дороге. Скоро я увижу доброго Ш. Он живет в том уезде, где будет ярмарка. Как приятно будет наше неожиданное свидание! Я желал бы перелететь в Р*. Но мы едем на своих лошадях, сделали упряжку 30 верст, и, говорят, надобно отдохнуть лошадям, покормить их. На постоялых дворах останавливаться теперь нет никакой возможности; там жарко, миллионы мух, а всякого народу и еще больше; шум, крик,— несносно! Мы выехали из селения и сейчас же остановились в тенистой дубовой роще,

которая от дороги спускалась по отлогой горе до светлой быстрой речки.

Пока лошади едят овес, а повар, разведя в сторонке огонь, хлопочет около обеда, мы вышли из коляски и уселись в тени на раскинутом ковре. Батюшка читает «Московские ведомости», я пишу от нечего делать. Ба! К нам еще подъезжает экипаж... останавливается... Господи! Да это Сутяговский; его лошадей отпрягают; он уже идет сюда, и я часа два должен буду слушать его широковещательные пошлости... Нет, прощайте.

Вечером

В первый раз в жизни я благодарен Сутяговскому: чтоб избавиться от его присутствия, я взял ружье и пошел к реке, будто на охоту, велев известить меня, когда лошади будут готовы. По берегу реки шла узенькая проселочная дорога; в двух шагах от дорожки стояла распряженная кибитка, подняв к небу оглобли: на оглоблях было натянуто полотно, из которого тройка гнедых кушала овес; двое мальчиков, лет около десяти или двенадцати, подбирали на берегу раковины и цветные камешки; недалеко от берега на песчаной отмели сидел в воде пожилой человек, выставя из воды свою усатую голову, покрытую кожаным треугольным картузом; голова весело разговаривала с детьми:

— Батюшка, бросьте нам еще раковин.

— Ладно! — отвечала голова.— Я вам достану самых пестрых,— и отодвинулась еще далее от берега...

— Где же раковины? — кричали дети.

— Господи! Что это?! Я еду в пропасть... Ух!..— вскрикнула голова и исчезла под водою; треугольный картуз быстро поплыл по течению... Секунды через три опять показалась голова, ухнула и опять скрылась...

— Батюшка тонет!..— вопили дети,— он не умеет плавать!

В минуту я был уже в воде, схватил утопленника, кое-

как вынес на берег, скоро привел его в чувство и возвратился к экипажу, душевно благодаря Сутяговского.

Я пришел весь мокрый. Сутяговский, увидя меня, начал басить моему отцу:

— Да, я вам говорю, совсем не то время: все теряет свою цену; им тяжело послушать час-другой опытного старика, лучше пойдут в болото, убьют какую-нибудь пичужку — заряда не стоит! ни пуху, ни перьев, ни мяса, в рот взять нечего; а заряд денег стоит, а платье и того более, все перепачкаешь, изгадишь... Мы, бывало, у наших стариков изволь носить пестрядинное, холстинное и прочее... так нанковому платью и цену, бывало, знаешь, а суконное,— если дождемся суконного,— бывало, бережем, как свою душу: коли черное, так черное, ни пятнышка белого не допустим; а теперь наряжаются в будни, как под венец: различия нет между возрастами... Право, нехорошо!..

Батюшка крепко обнял меня, когда я рассказал ему свое приключение, а Сутяговский начал ворчать:

— Благородно, не спорю, да нерассудительно; он, вы говорите, толст и здоров, а вы молоды и малосильны; прими дело другой оборот — осиротили бы своих родителей, а пользы никакой...

Тут Сутяговский начал поправлять на шее свою орденскую ленту, а мы уехали.

21-го июля

Любопытно знать, каким способом распространяются новости в уездных городах? Этот вопрос для меня занимательнее вопроса о Востоке. Самые быстрые телеграфы, электрические, гальванические — какие вам угодно — ничто перед быстротою уездных вестей. Положим, вы спали одни в комнате, никого не было даже в соседних покоях, и в продолжение ночи раза два кашлянули; поутру вы не успели выйти на крыльцо, вам мимоходом кланяется Борис Иванович и спрашивает:

— Каков ваш кашель? Легче ли вам?

— Да кто вам сказал, что у меня кашель?

— Полно скрываться! Весь свет это знает; я заходил в аптеку, там уже часа полтора для вас катают пилюли.

— Ах они проклятые! Кто их просил?

— Именно проклятые пилюли, хоть и изготовляются по рецепту патентованного медика Лейбы Францевича. Лучше, я вам советую, напиться огуречного рассолу — испытанное средство.

— Много благодарен!

— Не за что! Да, еще Александра Ивановна, проездом в чужой уезд, остановила меня на рынке и говорит: «Скажите (тут она упомянула ваше имя и отчество), чтоб поберегся и пил липовый цвет с патокою». До свидания! Берегитесь. Ох, перенес и я в прошлом году кашель!

Да, чудная вещь! Пока вы спали, дух сплетен незримо прокрался в вашу спальню, подслушал ваш кашель и вынес его на свет божий; вы спите, а за вас уже не дремлют ближние: катают на ваш счет пилюли; доктор записал вас в свою приходную книгу; не только Борис Иванович, но даже и Александра Ивановна уже знает о вашем кашле, и, смотрите, через неделю из чужого уезда приедут дальние родственники спорить о вашем наследстве, а вы еще и не думаете умирать. Непонятная вещь!

Если б я был англичанином, непременно назначил бы огромную премию тому, кто вычислит с математическою точностью быстроту провинциальных сплетней.

Первое знакомое лицо, которое попалось мне навстречу в Р*, был мой милый Ш.; он обнял меня и поздравил с добрым делом. Боже мой! Уж и здесь все знают о том, что я вытащил из воды человека. Мы пошли с батюшкою *в ряды;* народу было множество; все расспрашивают меня об утопленнике, осыпают меня нелепыми похвалами; они уже успели узнать, что человек, спасенный мною, называется Ивановым, что он богатый мещанин нашего города, перекрещенец из жидов и т. п. Знакомые указывали на меня пальцами людям незнакомым.

Неужели самое высокое чувство должно отравляться глупостью? Неужели святая минута восторга, которую я испытал, спасая жизнь ближнего, должна выкупиться оскорбительными часами бестолкового удивления праздной толпы, которая через час еще с большим вниманием станет смотреть на канатного плясуна, удивляться его прыжкам, станет толковать о нем от нечего делать. Да и что тут необыкновенного — вытащить из воды утопающего человека? Неужели кто-нибудь из этих господ мог бы спокойно смотреть на гибнущего собрата и не подать ему помощи?

22-го июля

И *он* мне грудь рассек мечом
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул!..

Да, угль, пылающий огнем, пламенеет в груди моей. Чудные вопросы роятся в уме моем: и что со мною? и что я? и для чего я? и что такое жизнь наша?.. Один известный римский писатель задал себе остроумный вопрос: Quid est nostra vita? (что такое наша жизнь?) и сам же себе отвечает: est forum in quo venditur et emitur (рынок, на котором продают и покупают).

Господи! Какой прозаический ответ: рынок, где продают и покупают!!. Как это отзывается веком падения великого царства, веком, в который изнеженные потомки доблестных, бескорыстных римлян с рассветом дня выходили за ворота своих великолепных домов, с весами в руках, и отдавали проходящим в рост золото!.. Нет, в жизни есть цель выше торгашества...

Как хороша сестрица Ш.! Сегодня меня Ш. звал к себе обедать; я немного опоздал. Вхожу в переднюю — никого нет; в соседней комнате обедают, стучат тарелками, весело разговаривают... «Я его люблю,— говорил нежный, почти

детский голос,— за его благородный поступок и желала бы видеть...» Отворя дверь, я прервал начатую фразу.

— Легок на помине! — закричал Ш.,— а мы думали, что ты изменишь, и сейчас только о тебе говорили. Рекомендую — это мои братья и сестры, а вот эта мечтательница — полно краснеть! — сию минуту публично призналась, что тебя любит!

Меньшая сестра Ш., о которой он говорил, наклонилась к тарелке; густые темные локоны почти закрывали все лицо ее, только по ярко-розовым ушкам можно было заключить о пожаре, который вспыхнул на лице ее от слов брата.

Но долго ли продолжается смущение женщины?

Через несколько секунд она оправилась, подняла голову, резво раскинула рукою кудри, улыбаясь посмотрела на меня — и, боже мой, какой отрадный, утешительный ее взор!.. Я весь затрепетал от этого взора... затрепетал от полноты восторга, как трепещет прозревший слепец, впервые увидя мир божий, как изгнанник, услыша песню далекой родины.

Ее лицо мне знакомо: я где-то видел его, и видел не раз, если не наяву, так во сне; в нем много родного, близкого моему сердцу; я где-то слышал ее речи, эту чудесную музыку голоса человеческого; она мне напомнила лучшие места бессмертных созданий Бетховена и Моцарта: в них отзывается ее речами — только отзывается, и оттого эти создания так хороши! А тут сами ее упоительные звуки!.. Мне было невыразимо хорошо, невыразимо весело у Ш. После обеда я остался пить чай и сидел у них весь вечер.

Пришел домой и вдруг на меня нашла невыносимая тоска. Я лег в постель — жарко; отворил окно в сад — в саду пел соловей; у самого окна цвел душистый куст фиалок... Не знаю, почему фиалки мне напомнили *ее*, в звуках соловья было сходство с *ее* голосом... какая-то гармония, успокаивающая душу.

Пой, соловей, пока ты свободен; быть может, завтра сети

человека опутают тебя, и в тесной клетке ты станешь повторять свои вдохновенные песни! Может быть, завтра и эти фиалки, сорванные жадною рукою, очутятся в богатой фарфоровой вазе и, оторванные от родного корня, станут разливать предсмертное благоухание в покоях богатого. Может быть, и *она* — чудесное создание... Но нет, неужели какой-нибудь эгоист завладеет этим сокровищем?! Господи! И откуда такие черные мысли? Отчего эта душевная тревога? Давно уже соловей умолк, дремля около своей подруги, счастливец!.. Давно уже полночь; луна зажглась, все спит... а ко мне не слетает сон-утешитель...

23-го июля

Сегодня я опять видел ее, слушал ее — словом, был счастлив целый день. Странное чувство овладело мною: отчего, когда подхожу к ней, в груди у меня что-то трепещет, будто пойманная птичка в руках охотника? Хочу говорить — голос прерывается, а между тем я везде найду ее по какому-то странному инстинкту: в рядах, между сотнею соломенных шляпок с розанами, я безошибочно узнаю ее шляпку, такую же соломенную, с такими же розанами, как и другие,— отчего это?

Неужели это любовь? Неужели меня посетило это неразгаданное, таинственное, святое чувство, чувство, возвышающее человека до невозможности, сила, хранящая весь мир, альфа и омега благости провидения, сила, которая заставляет бездушный цветок трепетать и склоняться к другому, сдвигает противоположные полюсы твердого магнита, проявляется в притягаемости разнородного электричества, влечет тучи небесные к земле и соединяет небо с землею огненными нитями молнии; краеугольный камень нашей божественной религии: «Любите и врагов ваших!» — сказал бог устами человека...

Да, это любовь! Это ты, желанная гостья! Я схороню тебя, как драгоценность. Пусть теплится во мне тихое

беспредельное чувство, я никому не скажу о нем — ни другу, ни брату; они, может быть, улыбнутся, слушая меня, а и этого довольно, чтоб возмутить непорочное чувство. Я не скажу *ей* — боюсь оскорбить *ее*; даже бумаге не стану предавать всех сокровенных помыслов души моей... Теперь я понимаю глубину стихов Пушкина:

Пью за здравие Мери,
Доброй Мери моей!
Тихо запер я двери,
И один, без гостей,
Пью за здравие Мери.

Человек, истинно любящий, не станет хвалиться любовью своей, не станет пить *ее* здоровье в кругу своих товарищей, чтоб не слышать любимого имени, произнесенного нечистыми устами, чтоб не подать повода никому даже думать о *ней;* нет, он один, в тишине, как древний жрец, совершает жертву своему идолу; он пьет *ее* здоровье от полноты души перед свидетелем, которому известны все тайные помыслы человека; я даже никогда не решусь написать имя *ее*... Кто знает будущее? Может быть, чей-нибудь взор оскорбится, читая это имя. Оно всегда в душе моей.

16-го августа

Вот уже и лето приходит к концу: везде жатва, везде видно довольство — чудное время! С детства я любил тихую семейную жизнь; и по целым часам смотрел на картинки прошедшего века, подписанные les douceurs de l'automne [1]; там в саду, перед дверью домика с навесом, сидит за столом счастливое семейство; полные кружки стоят на столе; два-три старика, разговаривая, курят трубки; прелестный ребенок играет на коленях матери; хорошенькая круглолицая девушка срывает с дерева яблоки,

[1] Услады осени *(фр.)*.

а молодой человек поддерживает ее так лукаво... Она покраснела, как яблоко, которое держит в одной руке, а другою бьет по руке дерзкого шалуна; но это наказание сопровождается такою милою улыбкою, что сам желаешь быть вечно наказанным. Далее видны виноградники; в них кипит веселая работа: кто обрезывает зрелые гроздья, кто несет полную корзину плодов; другие складывают виноград в деревянные чаны; какой-то проказник опрокинул пустой чан на бок, уселся в нем, как в будке, и смеется; в стороне две девушки хохочут и бросают в него виноградом.

Так бывало легко и весело, когда смотришь на подобную картину, забываешь, что эти поселяне ни дать ни взять маркизы мужского и женского пола века Людовика XIV, что они в париках, фижмах, в розовых бантиках, как фарфоровые статуйки, полученные в наследство от покойного дедушки,— все забываешь, глядя на картину тихого счастья...

У нас поля покрылись, как войском, бесконечными рядами копен хлеба. Я всякий день хожу любоваться на полевые работы. Поселяне весело жнут и ожидают с восторгом праздника обжинков: говорят, он скоро будет

20-го августа

Никогда Малороссия не была для меня так хороша, как теперь. Царь потребовал от нее казачьих полков — и вдруг все зашевелилось: целые села готовы вооружиться, чтоб исполнить желание своего государя. Где нужно взять пятьдесят человек рядовых казаков, там является сто охотников; восемь полков выступили весною, теперь набирают резервы.

На днях в уездном городе будет дворянское собрание для выбора офицеров. Я имею ученую степень — она тоже офицерский чин; попрошу согласия батюшки и матушки и пойду служить. Теперь война; сколько случаев быть полезным отечеству! Сколько случаев отличиться, сделать добро!..

Одного я боюсь: если простой народ, бросая свои мирные занятия, стекается толпами под знамена, которые далеко шумели громкою славою при их предках, стекается толпами, более многочисленными, нежели нужно, то что будет в дворянском собрании, куда явятся люди образованные? А у нас осталось еще довольно дворян, служивших в военной службе: им отдадут преимущество — да прощай, мое желание, моя охота!

Я сказал батюшке о своем желании служить в казаках; он согласен. Мы завтра едем на выборы!

21 августа

Итак, я офицер ...го малороссийского казачьего полка. Сомнения мои были напрасны... Маршал нашего уезда сидел уже в собрании, когда я вошел туда. Дворян было очень довольно, чтоб набрать офицеров на два полка, а тут шло дело о избрании одного обер-офицера. Сутяговский, пользуясь штаб-офицерским чином и старостью, преважно расхаживал и басил о пользе и важности выборов: «Если б мне не подагра, я не посмотрел бы на свою седину,— на коня и в поле: все-таки придушил бы кого-нибудь: жена сама управилась бы с картофелем, а винокурню в аренду перекресту Иванову — человек хороший, честный; это был бы второй *я*...»

Почтенный старичок-маршал почти дремал в спокойных креслах; подле него стоял письмоводитель, тощий, испитой человек с головкою, загнутою наперед вроде крючка; вообще он был очень похож на цветочный стебелек, убитый морозом. Письмоводитель принес список; началось избрание. Я с удовольствием заметил, что большая часть дворян, находившихся в собрании, были то коллежские асессоры, то майоры, то подполковники, то надворные советники, а требовался обер-офицер: наконец дошло до мелких чиновников . . . .

. . . .

. . . .

Мой аттестат был прочитан, и я провозглашен казачьим офицером, ко всеобщей радости собрания. Маршал встал с кресел, дверь в соседнюю комнату отворилась, и все отправились завтракать, или, по словам маршала, перекусить после трудов. Через неделю будут готовы лошади, и мы выступаем в поход.

22-го августа

Обычаи старины всегда для меня священны: в них отзывается патриархальная простота наших предков. И нет по-моему, лучше обычая и веселее праздника обжинков. Когда совершенно кончится жатва, поселяне и поселянки сплетают из хлебных колосьев венок, украшают его цветами и плодами, выбирают из среды себя девушку, лучшую по красоте телесной и душевной, венчают ее этим золотым венком и с песнями, нарочно сочиненными по случаю праздника, идут веселою толпою поздравлять помещика с окончанием полевых работ.

Еще с утра батюшка уведомил близких соседей о празднике. К обеду приехало несколько человек гостей.

Стало вечереть; длинные тени от нашего сада вытянулись по двору; верхи пирамидальных тополей, белые трубы дома и крылья далекой ветряной мельницы вспыхнули красноватым цветом; в воздухе стало свежее, и вот далеко в степи послышались песни; звонко неслись они с широкой степи, все ближе, громче и громче и, наконец, огласили весь двор. Разнохарактерная дворня высыпала со всех углов смотреть на веселых поселян, которые довольно тихо шли под песню. Впереди, окруженная старейшинами села, шла, потупя в землю глазки, царица праздника, премиленькая быстрая брюнетка; на ней был венок из золотистых колосьев ржи, перевитых, словно кораллами, пунсовыми гроздьями калины, что очень шло к ее смуглому личику и черным волосам.

Мы вышли на крыльцо; девушка подошла к нам, поклонилась в пояс и, сняв с головы венок, подала его батюшке,

а старики в это время поздравляли с окончанием работ; батюшка взял венок, поцеловал его, поцеловал царицу праздника, и, кланяясь, поблагодарил крестьян за их летние труды. Песни раздались громче прежнего... Мой отец — старик твердого характера; но когда он положил венок на стол, светлая слеза, как чистая росинка, засверкала, качаясь на золотом колосе.

На дворе расставлены были столы, и поселяне уселись кушать. После обеда или ужина — не знаю, как назвать правильнее — у крестьян явилась скрипка, начались танцы. Мы пили чай в зале: в растворенные окна с чистым вечерним воздухом долетали к нам веселые песни, хохот и быстрый звонкий стук подков. Высоко уже взошла луна, когда разошлись пирующие: мало-помалу песни умолкали на селе, соседи поужинали и разъехались: последняя удалилась бричка Петра Федоровича, стуча и дребезжа всеми членами. Вот ее стук замер в отдалении — все спят, а мне очень не спится... Странное дело! Девушка в венке напомнила мне *ее*; не то чтобы была похожа — нет, а такие же волосы, такого же цвета глаза, почти такой же рост — и этого довольно! Вся кровь прилегла у меня к сердцу. Неужели я ее не увижу? А дней через пять я должен уехать и, может быть, навсегда!

24-го августа

Она здесь; да, здесь! Я не верю глазам своим; я опять видел *ее*, опять слышал очаровательные звуки ее голоса. Сегодня мы все сидели за круглым столом и пили чай; батюшка курил трубку и рассказывал мне как военному человеку о взятии Очакова; меньшие братья жались ко мне от страха, слушая, как турки от нечего делать обрезывали своим пленникам носы и уши; матушка сквозь слезы посматривала на меня; сестра оканчивала кошелек мне в дорогу; вдруг к крыльцу подъехала коляска, и из нее вышел Ш. с братом и сестрою. Я не помню, чтоб я когда-

нибудь обнимал Ш. так, как в эту минуту. Семейство Ш. едет к одному своему родственнику, живущему в нашем уезде, и мой добрый товарищ очень кстати заехал увидеться со мною. Узнав, что я скоро иду в поход, они согласились прожить у нас до моего отъезда.

27-го августа

Прошли три дня, как три минуты... *Она* дивно хороша!.. А завтра день моего отъезда... Уж все готово; мой быстрый черкес подкован, пистолеты вычищены, добрая тройка выкормлена: завтра прощай все, что мило и дорого сердцу! Кто знает, что застану я, возвратясь на родину, когда возвращусь? Да и возвращусь ли?.. Прочь темные мысли! Скоро я обниму отца и матушку, покажу им георгиевский крест... *Она* меня любит!.. Сегодня мы гуляли по саду:

— Вы завтра уезжаете непременно? — сказала *она.*

— Да,— грустно отвечал я.

Мы замолчали и прошли длинную аллею. Потом я начал что-то говорить, сам не понимая хорошенько, что такое; тогда оно казалось очень умно и складно, а как припомню — выходит удивительная чепуха; она тоже говорила о посторонних вещах, но таким голосом, такой смысл выходил в речах ее, что я ободрился и подарил ей на память веточку полыни; сам не знаю, как я решился на подобную дерзость, отдал веточку и сейчас же готов был отнять ее, готов был провалиться сквозь землю, боялся поднять глаза, чтоб не увидеть, как моя веточка, небрежно смятая, с улыбкою будет брошена на землю и с нею вместе мое счастие, покой, будущность. Я слыхал, что женщины всегда улыбаясь делают подобные вещи.

Мы вчера читали «Селям», роскошный язык цветов, и еще Ш. очень смеялся, что полыни дано значение:

Твой образ, забываясь сном,
С последней мыслию сливаю.

Но полынь не брошена; к ней прибавлено два или три мелких цветочка — и этот букет был целый день приколот к ее груди.

Вечером она подошла к роскошному кусту цветущих камелий, сорвала один цветок и робко отдала мне на память. Я пришел в свою комнату, схватил «Селям», начал быстро отыскивать камелию...

Передо мною мелькали: анемон, акация, барбарис, ветреница, василек, гвоздика и проч., и проч. Вот и камелия... тут я прижал пышный цветок к губам своим — камелия: *я люблю тебя.* Я еще раз прочел, не веря сам себе... точно, напечатано: *я люблю тебя!* Я пишу, и камелия лежит передо мною; ее лепестки, кажется, вытягиваются ко мне, кажется, шевелятся... кажется, шепчут: «Я люблю тебя». Я люблю! Какое гармоническое слово! Сколько мягкости и неги в этом слове! Как очаровательно оно должно быть в устах ее! Если б мне удалось услышать от нее мелодические звуки этого слова!..

28-го августа

Сегодня я простился с родным домиком. Отслужили молебен, матушка надела мне на шею образ спасителя, отец благословил меня саблею, с которою он во время Екатерины впереди своих храбрых гусар врезывался в турецкие колонны и казачествовал в Отечественную войну. Я обнял отца, матушку, братьев, сестер, милого Ш., поцеловал *ее* ручку, которая видимо затрепетала в моей руке, и поскакал на тройке. Я скоро догнал казачий отряд, выступивший уже в поход.

1-го сентября

Третий день мы идем, и наш поход похож на торжественное шествие: везде народ встречает нас с восторгом; не нужно посылать вперед квартирьеров: старшины казачьих сел, куда мы приходим на ночлег, наперехват приглашают казаков на квартиры, кормят их, кормят лошадей и ни за

что́ не хотят брать ни гроша. Это приятно, но утомительно; такой незаслуженный триумф несносен: дело другое, если б мы возвращались победителями... Когда бы скорее попасть в неприятельскую землю!

2-го сентября

Вечно мне ничего не удается! Пришедши в город П*, я уже достал приказ остановиться и дожидать дальнейших распоряжений.

Очень весело стоять в дрянном городе, где даже нет порядочного трактира пообедать, а какая-то скверная харчевня! Для первого моего дебюта в харчевне ничего более не отыскалось, кроме жареной курицы и половины поросенка, вероятно, завяленных на медленном огне в средние века за еретичество. Эти кушанья представили в лицах поговорку: «Видит око, да зуб не ймет». Спросил чаю — мне дали сбитню, и какая-то скверная рыжая борода, называвшая себя хозяином харчевни, смеет еще уверять, что это чай и что почти все семинаристы пьют его под этим названием. А тут еще нет квартиры! Это уже не казачье село, а город: здесь уже никакого толку не добьешься. Едва ночью показали квартиру, и я голодный лег спать.

10-го сентября

Вот уже неделя, как стоим в П*, а о походе и слуху нет. Там люди получают почести, отличия и славные раны за отечество, а здесь изволь сидеть да скучать. Го́род осмотрел в два часа: раза три ходил к Днепру — от воды сыро; наступает осень, погода делается холоднее.

Вчера ко мне явился мой хозяин, человек очень фантастический, в серых брюках и в синей венгерской куртке; его маленькая головка, постепенно суживаясь и выдвигаясь вперед, перешла в большой красный нос, отчего мой хозяин очень похож на птицу, называемую дубельшнепом; он улыбался, то есть, приподняв немного кверху нос,

оскалив зубы и кланяясь, поставил на землю порядочной величины гроб, который принес под мышкою.

— Что вам угодно? — спросил я.

— Ничего, милостивейший государь! Я полагаю, вам должно быть скучно, и принес вам утешение.

«Хороша утеха!» — подумал я и сказал:

— Согласен, что это утешение для всякого христианина, но...

— Извините, милостивый государь, и до христианства и до иудеев это было в большом употреблении как средство, разгоняющее темные мысли.

— А иногда, я полагаю, и нагоняющее...

— Извините, милостивый государь.

— По крайней мере, я бы просил избавить меня от этого странного утешения. Смотреть на гроб, хотя он и выкрашен, как ваш, для меня не очень приятно.

— Хе, хе, хе! Государь мой любезный! Вы не поняли дела, оно сходственно, да совсем не то; это доброгласные гусли.

Тут он поставил свой ящик на стол, поднял крышку, и я засмеялся своей ошибке; это были точно гусли; мой хозяин попросил позволения сыграть и забавлял меня целый вечер.

4-го октября

Вот и месяц, а о походе и слуху нет; война, говорят, утихает. Неужели придется кончить службу, не выходя из П*? Здесь умрешь со скуки. Жизни, однообразнее моей, и выдумать невозможно. Рано поутру выслушаешь донесения урядника, поедешь на конюшню,— там лошади едят овес, монотонный звук от их челюстей, жующих зерна, уже нагоняет скуку. Возвратясь домой, пьешь чай, долго пьешь — часа два, чтоб убить время; после обеда или свистишь, или, глядя в окно, барабанишь по стеклам пальцами, пока не настанет время отправиться на конюшню; на конюшне по-старому слышишь, что «все обстоит благопо-

лучно», и лошади опять едят овес. Приедешь домой, напьешься чаю, поучишь час-другой собаку носить поноску, и спать пора. Завтра то же, то же и то же!..

Еще пока было теплее, меня веселили какие-то два ученика в тиковых халатах удивительным дуэтом: у меня перед окном растет пребольшая шелковица; каждый день, бывало, при солнечном закате являются два ученые существа, одно лет шестнадцати или семнадцати, а другое лет двенадцати. Старший ученик усядется, бывало, в полдерева верхом на толстом суку и, болтая ногами, звучным баритоном начинает спрягать латинский глагол *amo* [1], а меньшой взберется на самый верх шелковицы, совершенно укроется в ветвях,— только и видишь из зелени одну торчащую книжку в красном переплете,— и самым пронзительным дискантом распевает какое-то греческое склонение. Да как припустят, бывало, вдвоем — истинная музыка! Ни одна баба не пройдет мимо двора, не остановясь минуты на две, чтобы послушать иностранного пения.

— С трудом дается наука, милостивейший государь мой! — всегда, бывало, скажет мой хозяин, поглаживая красный нос, когда услышит латино-греческий дуэт.— Смею вам доложить, что лучше б согласился пахать землю, нежели петь подобным образом по деревьям.

Теперь я лишился и этого удовольствия; осень оборвала почти все листья на дереве, вечера стали холодные, и певцы сокрылись неведомо куда. Хозяин и его гусли стали мне противны,— всякий день играет одно и то же; выпросит у меня стакана два пуншу, напьется и начнет петь такие гадости, что слушать отвратительно...

Уже начались мелкие осенние дожди и целый день не выпускают из комнаты; в городе нет ни одной книжной лавки, хоть улицы полны так называемым ученым народом, а винных погребов, кажется, около десятка. Я очень жалел, что не взял из дому с собою ни одной книги; приказал

---

[1] Люблю *(латин.)*.

своему человеку говорить сказки, да у него какие-то лакейские сказки — все барыни, да господа, да немцы... «Что ты мне не рассказываешь про Бабу Ягу, про Змея Горыныча, про Гаркушу, про Наливайку?..» — «Все это, сударь, мужицкие сказки, я таких не знаю...» Что с ним делать? Вот полупросвещение! Врет нелепости на новый лад и знать не хочет старины! Толковал ему, толковал — ничего не понимает!

4-го декабря

Наконец я опять дома, в своей деревне, в кругу своего семейства! Наши резервы распущены по домам. Вот и конец моей службе! Какая злая насмешка судьбы надо мною! Где мой крест? Где моя слава? Что я сделал полезного? Мне совестно смотреть на людей. Мой поход похож на гору, родившую мышонка; я разыгрывал роль синицы, которая собиралась зажечь море. Рыцарская страсть к приключениям, жажда опасностей и славы — все это дало результат: из нескольких месяцев убийственной скуки и горечи разочарования одна польза — опыт.

183., 4-го января

Часто, улыбаясь, смотрел я на танцы и мысленно повторял известный стих:

Да из чего беснуетесь вы столько?

Люди, кажется, и порядочные, и говорят довольно умно, и знают приличия,— мужчины не станут ни прыгать по комнате от скуки, ни свистеть за столом, дамы ходят тихо, плавно, будто боясь вывихнуть себе ногу, все опускают глазки, ни на волос из устава *Куту* китайцев о десяти тысячах церемоний; заиграла музыка, эти люди стали в кружок,— и пошла потеха! Замахали руками, зашаркали

ногами, засуетились, запрыгали. Кто скачет прямо, кто бочком, кто толчется на одном месте; да все так храбрятся, точно воробьи над просыпанною крупой.

Уморительно смешно! А теперь я сам танцую с утра до вечера, с вечера до утра... Согласен, что танцевать так, лишь бы танцевать с кем попало, для vis-à-vis, для компании и т. п.— мучение; танцевать с дамою, которую не только любить, но даже уважать не можешь,— жесточайшая казнь; но танцевать с *нею,* кружится под волшебные звуки вальса Штрауса в каком-то обаятельном мире фантазии, забывая и людей, окружающих меня, и все, кроме *ее,* держать это чудное создание в объятиях, чувствовать, как бьется, трепещет под рукою сердце, за которое рад бы отдать и мечты прошедшего, и будущность, пить *ее* дыхание, слышать легкое прикосновение *ее* кудрей к лицу вашему, обдающее вас электрическим огнем,— верх блаженства! Выносить всю негу этих ощущений может душа любящая, но передать их — никто!.. С неделю как *она* приехала с своими родными и гостит у нас, и я, прежде танцевавший только для приличия, сделался страстным охотником до танцев — все почти танцую с *нею.*

Как *она* добра и умна! Матушка моя очень полюбила *ее,* а *она* полюбила мою маменьку. С детства лишенная отца и матери, *она* круглая сирота: ей любо отогреть душу любовью.

1-го мая

Настала весна. Весело щебечут в поле жаворонки, цветут подснежники, зазеленели рощи, зацвели сады; соловей прилетел уже и целые ночи поет свои страстные песни; все живет, все радуется, а мне скучно...

Как весело встречал я весну, будучи ребенком! Как меня радовала первая травка, зазеленевшая на пригорке! Я с восторгом встречал южных гостей — перелетных птиц. Природа теперь все та же — отчего же мне грустно? Какое

тяжелое чувство теснит грудь мою и слезы готовы брызнуть из глаз? Отчего это? Я не беден, отец и мать мои живы и так любят меня; я люблю *ее* и любим — не верх ли это благополучия? Женюсь и стану жить в тишине и спокойствии... Нет, я так люблю *ее,* что не могу теперь жениться... Какое имя я принесу ей? *Действительный студент!..* Это значит унизить ее пред уездною спесью, так овладевшею моими землячками, что некоторые даже подписываются на приятельских записках: *майорша и кавалерша N. N.* и проч. вроде этого. Нет, я должен служить, сделаться хоть чем-нибудь, и тогда... Да и батюшка мне это советует; а я не хочу быть ослушником его воли... Мне необходимо служить, я должен употребить на пользу отечества мои познания.

В военную службу я теперь ни за что не пойду; война кончилась — что я буду делать? Опять закочую из села в село, из городка в городишко; скучать или волочиться за дочками помещиков, чтоб от нечего делать как-нибудь убить праздное время? Нет, я переменю саблю на перо, поеду в столицу, в Петербург: там широкое поле для умственной деятельности, там столько министерств, там я с пользою употреблю мои познания.

Решено: еду в Петербург. Года два, много три — и я надеюсь отличиться; я постараюсь укоротить, облегчить деловые переписки; профессор прав так много нам толковал о них; я ночей не стану спать... Я достигну чего-нибудь и возвращусь домой. Тогда ка́к будет приятно с гордостью подать *ей* руку и сказать: «все для тебя!..» Еду, еду в Петербург! Там же есть брат моей матушки, человек в чинах, давно уже действительный статский советник. Батюшка говорит, что он его когда-то отправил на свой счет в Петербург... Ну, да это в сторону; довольно, что он брат моей бесценной матери. Я приеду, обниму этого доброго старичка, передам вести о матушке, о нашем житье, о своих надеждах; он, верно, не оставит меня на первый раз своим советом и покровительством.

10-го мая

Несносный Сутяговский был у нас и мучил целый день своими хитрыми и злыми рассказами. Когда смотрю на него, невольно приходят на ум стихи Пушкина:

И ничего во всей природе
Благословить он не хотел!

Намеки его на мою праздную жизнь нестерпимы; я сказал ему, что еду в Петербург — ему, кажется, это досадно. Он ворчал батюшке о высокомерии молодых людей, о выгоде служить сначала в уездном казначействе и постепенно переходить даже до Сената, где можно, дослужась до секретаря, быть *человеком* — да я не слушал его вздора.

Сегодня приезжал Иванов; он рассыпался передо мною в благодарностях, говорил, что обязан мне жизнью, и просил моего батюшку дать ему в залог нашу деревню на какие-то соляные озера, обещая за это заплатить за крестьян подати. «Мне,— говорит,— многие с радостью дадут имения для этой операции; но как я обязан вашему сыну жизнью, то хочу как-нибудь быть вам полезным, хоть вашим крестьянам. Это дело моей совести, позвольте облегчить ее; а между тем и вы дадите мне возможность получить огромные выгоды и составите счастье моих детей». Отец мой согласился и дает Иванову доверенность. Сутяговский очень одобряет это и по своему образу мыслей сказал, что можно бы еще было сорвать с Иванова тысячу-другую.

30-го мая

Вчера я простился с *нею*. Это было на степном хуторе ее дяди, где все семейство Ш. гостит теперь. Часу в десятом утра *она* пошла в степь искать полевой земляники; я пошел с ружьем стрелять перепелок и нашел *ее* около версты от хутора.

Утро было чистое, ясное: мы сели в долине; все вокруг улыбалось, цветы весело помахивали головками, душистый чабер благоухал в долине. Грустно сидели мы; я рассказал *ей* необходимость поездки в Петербург. Судорожно обняла меня *она,* как бы боясь выпустить, потом, склонясь на грудь мою, тихо заплакала... Я тоже плакал... Горьки были для меня эти минуты, тяжело было на душе моей, а вокруг все было светло, весело: птички пели, ароматные цветы ярко пестрели. Мы немного успокоились, поклялись в вечной любви и обменялись кольцами. На небе не было ни облачка; но когда *она* стала надевать мне на руку свое колечко с незабудкою, вдруг на лицо ее набежала тень — мы разом вздрогнули, взглянули вверх: над нами вился степной коршун. Кто бы мог поверить, что такое ничтожное творение могло заставить нас затрепетать от неизвестного страха?..

Несколько минут мы сидели неподвижно, смотря друг на друга; я еще раз обнял *ее,* наконец, оторвался от прощального поцелуя и побежал в степь; *она* тихо возвратилась на хутор. К обеду мы сошлись оба печальные, а после обеда я уехал.

15-го июня

На днях я выеду в Петербург: мне приготовили хорошую дорожную бричку на рессорах; ехать будет спокойно; долго ли проскакать полторы тысячи верст? Чрез неделю я увижу нашу приморскую столицу, увижу новый свет; образованность, науки, художества — все там имеет свою цену. Чудный город!.. Что ты готовишь мне?

Почекина станция. 23-го июня

Давно ли — еще сегодня утром я был окружен милыми моему сердцу — и вот я один брошен в свет; с каждою минутою удаляюсь от знакомых мест моего счастливого детства и беззаботной жизни и приближаюсь бог знает к чему, к худому ли, к доброму ли,— во всяком случае к мо-

гиле. Когда я отправлялся в поход на войну, где готов был всякую минуту стать лицом к лицу смерти, я не грустил нимало, мне было весело; отчего же теперь грущу? Отчего я так плакал, в последний раз обнимая добрых моих родителей? Отчего мне беспрестанно мерещится этот проклятый зловещий коршун, с распущенными крыльями, с раздвинутыми когтями, висящий надо мною?

Выехав из дома, я все смотрел назад, пока не скрылась из виду наша деревня; долго еще была видна вершина пирамидального тополя — под ним еще вчера мы весело пили чай... Вот и он скрылся из виду; я вздохнул, прилег на подушку и под однообразную песню моего ямщика:

Как жена била мужа
Да еще пошла на него жаловаться,—

вздремнул. В минуту я был в каком-то безграничном храме; там множество народа: вот батюшка, матушка, братья и сестры; бегу к ним — они от меня отодвигаются; далее в нише стоит *она,* в венчальном наряде; я к ней, хватаю ее за руку — она отнимает руку, строго смотрит на меня... Я кличу ее по имени, спрашиваю: узнаешь ли ты меня? — она презрительно улыбается и говорит: «Я *вас* не знаю». Я вздрогнул и проснулся... Какой нелепый сон!..

Вот я уже три часа сижу на станции: долговязый писарь говорит: «Нет лошадей». «Не верьте ему, бездельнику,— говорит какой-то проезжий, которого я застал здесь,— он на водку хочет. Вот я шестой раз сижу на этой дурацкой станции и ни разу не выехал, не дав четвертака этому пьянице — вот он чего хочет!..» Пришел еврей, содержатель станции, поднялся крик, ссора, спор — писать невозможно.

7-го июля

К бесчисленному множеству мифов, порожденных просвещением, должно также отнести и прославленную быструю русскую почтовую езду. Четырнадцать суток еду

день и ночь и не могу проехать полторы тысячи верст: то нет лошадей, то лошади не везут. А беспрестанные неприятности, просьбы ямщиков и старост на водку, а рублевые порции телятины, которых мало десяти человеку позавтракать,— все это нестерпимо.

Здесь встретил меня человек вроде откормленного кабана, в красной рубахе, с рыжею бородою, с претолстою шеею, сквозь которую едва пробивается хриплый голос: это был сам староста. Он посмотрел на мою подорожную и посоветовал мне идти в гостиницу, потому что лошадей нет. Я отыскал смотрителя и подал подорожную.

— Надобно спросить у старосты,— сказал он.

— Я старосту видел.

— Что же он?

— Говорит: нет лошадей.

— Вот видите! Я вам говорю, гон ужаснейший!.. Хоть сами посмотрите в книгу... У меня каждая лошадь записана.

— Скоро ли будут лошади?

— А бог знает. Часов через шесть, может, соберем, если кто не подоспеет по казенной.

— А если подоспеет, то мне опять придется ждать?

— Делать нечего, у нас иногда суток по двое сидят: под столицею разгон всегдашний. Бейся, бейся, как рыба об лед — бедовое дело!

— Нет ли у вас своих лошадей?

— Куда нам держать! Служим из хлеба, а если хотите, здесь есть вольный извозчик, у него лошади знатные — мигом вас доставит в Питер.

— Ради бога, пошлите за ним.

— Только он менее сорока рублей не возьмет за тройку.

— Бог с ним, лишь бы доставил скорее.

— Так вы пожалуйте деньги, я ему отдам.

— Возьмите.

Добрый старичок смотритель! Он взял деньги, открыл окно и закричал:

— Фомка, живее барину тройку! Пожалуйте вашу подорожную.

— Для чего же это? Ведь я поеду на вольных.

— Конечно, но все, знаете, оно безопаснее; вы уезжаете из станции, надобно беречь себя.

— Разве здесь шалят?

— Бог миловал; а на всякий случай не мешает, знаете, ради острастки.

Смотритель, записав подорожную, отдал мне ее, приговаривая: «Вот так лучше! Ну, теперь с богом». Добрый человек этот смотритель!

8-го июля

Много радости приносит нам фантазия, а еще больше печалей. Как сравнить мечту с действительностью — вечный проигрыш на стороне последней, и человек — постоянная жертва разочарования. Я в Петербурге и недоволен им! Моя фантазия состроила идеал этого города; существенность не подошла к идеалу, и Петербург мне не нравится. Я ожидал гораздо лучшего... Неоштукатуренные дома некрасивой архитектуры, вроде фабрик, поразили глаза мои неприятным ощущением. Даже, мне кажется, мало в нем жизни, мало движения для столицы. Впрочем, я не видел еще главной улицы — Невского проспекта. На этой улице живет мой дядюшка. Завтра приоденусь и поеду к нему.

9-го июля

Я приехал к дядюшке в 10 часов утра. «Его превосходительство изволят почивать»,— сквозь зубы проворчал мне надутый лакей и захлопнул перед носом дверь. Прихожу в одиннадцать: «Чай кушают!» — отвечает та же ливрейная кукла.

— Доложи, братец, что я племянник генерала, приехал из губернии и привез ему от родной сестры письма.

Лакей окинул меня глазами с головы до ног и, указав

рукою на дверь, ведущую в приемную, сказал: «Обождите там».

Целый час бродил я по комнате, рассматривая эстампы, висевшие на стенах, и не переставая удивляться, отчего бы дядюшке не пригласить меня выпить с ним чашку чаю. Ударило двенадцать; лакей отворил дверь в гостиную и просил меня войти.

Дядюшка в вицмундире, с звездою на груди, сидел на диване; возле него в кресле почти лежал молодой гвардейский офицер, а возле офицера сидела девушка, бледная, худая, перетянутая донельзя, очень похожая на стрекозу. При первом взгляде на дядюшку меня оставила мысль броситься к нему на шею. Это был чопорный старик, одетый с изысканностью, с белым фарфоровым лицом, без жизни, без выражения. Когда я ему отдал письма, он, не читая их, подал мне два холодные как лед пальца и хладнокровно проговорил:

— Очень рад, садитесь. Вы, вероятно, приехали на службу?

— Точно так.

— Здесь чрезвычайно трудно доставать места по статской службе.

Тут вбежал в комнату какой-то чиновник и пренизко поклонился дядюшке: дядюшка обнял его, усадил на диван и начал толковать о вчерашнем висте.

Мой дядюшка воодушевился, глаза его как-то задвигались скорее; он засыпал своего гостя сюркупами, онерами; три левэ, два левэ, четыре левэ так и лились с языка. Противник не плошал и быстро отстреливался фразами: вроде туз, король и дама сам-пят.

Девушка шепталась с офицером, смеялась и изредка поглядывала на меня в лорнетку. Кажется, мой провинциальный костюм очень тешил ее: так, по крайней мере, я заключил из немногих слов, долетевших до меня; а офицер держал оппозицию, уверяя, что в Польше во время похода он видел много подобных оригиналов, что это в

провинции в моде. Вероятно, что язычок милой девицы уже слишком заехал далеко; она сделала какое-то замечание на ухо офицеру и, лукаво кивая головкою, громко сказала: n'est ce pas [1], а тот хладнокровно отвечал: je crois que non [2].

— Dites encore, que la neige n'est pas blanche! [3] — с сердцем, скоро проговорила девушка, сжала от злости губки, отворотилась от офицера и, презрительно посмотрев на меня, вышла из комнаты.

Офицер не тронулся с места, только зевнул.

Видя, что мною никто не занимается, я раскланялся. Дядюшка на этот раз не подал мне и одного пальца, только сказал, слегка кивая головою:

— Когда устроитесь, известите меня: мне будет приятно слышать; да кланяйтесь вашим родителям, если будете писать.

В передней я спросил слугу:

— Кто эта девушка и офицер?

— Это дети его превосходительства.

— А гость во фраке?

— Сочинитель Единорогов.

— Что же он сочиняет?

— Не могу доложить. Кажется, он сам сказывал, пишет историю дома его превосходительства. Писать лишь бы охота, а дом большой, с флигелями, с конюшнями...

Грустно я вышел на улицу. Мой дядюшка человек надутый; его дети — жалкие, пустейшие создания! Никогда нога моя не будет в этом доме. Если б мне пришлось умереть на улице от холода, я не укроюсь у него под воротами. Где радушный прием, о котором я мечтал всю дорогу?.. Где, наконец, благодарность? Опять разочарование!..

---

[1] Не так ли? *(Фр.)*

[2] Я думаю, что нет (*фр.*)

[3] Скажите еще, что снег не белый! *(Фр.)*

8-го августа

Вот уже месяц живу я в Петербурге; все мои занятия — обед, сон и прогулка. Чем более я узнаю Петербург, тем более ему удивляюсь. Очаровательный город!.. Острова его — загляденье! Если бы холодная сырость, проникающая вас по закате солнца, не напоминала о близком соседстве с Лапландией, можно бы подумать, что находишься под небом счастливой Италии: кругом прелестные речки с зелеными берегами; в их чистые воды глядятся изящно-красивые домики, тенистые сады, целый мир цветов. Вы идете; пахнул ветерок и обдал вас благоуханием цветущих померанцев. На чистой площадке сада, усыпанной белым песком, вы видите известную статую Меркурия Флорентинского, он вылетает из куста прекрасных синих колокольчиков.

> Перст указует на даль, на главе развилися крылья,
> Дышит свободою грудь, с легкостью дивною он,
> В землю ударя крылатой ногой, кидается в воздух...
> Миг — и умчится...

Боишься отвесть глаз, чтоб не потерять этот миг...

Далее, в павильоне из роз и акаций, Амур обнимает Психею; их позы полны неги и сладострастия; с какою любовью смотрит Амур в очи Психеи, будто читает в них вечную беспредельную повесть счастия! Его мраморные крылья, кажется, трепещут от восторга, и эта группа облита темным полусветом, проходящим между зеленых ветвей акаций, обвеяна тонким ароматом роз... Там ярко пестреет широкополосная, в восточном вкусе, шелковая палатка; шалун-ветерок мимолетом тронет ее — и роскошно заволнуются, перельются в радужных отливах ее фантастические полы и засверкают алые снурки и кисти, перевитые золотом. Тише!.. Вы слышите звуки, будто летящие к вам с вышины,— это беглая проба на арфе, аккорд, другой,— и чистый голос запел в палатке итальянское болеро;

струны арфы то гремят, то замирают под руками, и голос певицы, проходя по всем изменениям страсти, дрожит, перерывается, растаивает в каком-то самозабвении и сливается с арфою; голос умолк, одна только арфа, как далекое эхо, в тихих аккордах повторяет страстную мелодию... Очаровательно!..

1-го сентября

Теперь уже Невский проспект начал оживать; впрочем, посещая его в известные часы несколько дней сряду, я заметил, что он похож на огромную гостиную: народу пропасть, а встречаешь все одни и те же лица. Я ни с кем не знаком в Петербурге, но знаю очень много людей по физиономии и, кажется, узнал бы их, если б встретился с ними в Америке. Особливо обратил мое внимание один почтенный старичок: в четвертом часу он каждый день идет по Невскому, в коричневом длинном сюртуке и в шляпе с широкими полями; лицо у него важное,— так много на нем думы; глаза всегда с размышлением опущены в землю. Я, ежедневно встречаясь с ним, вчера только заметил, что у него на левом глазу бельмо. Может быть, это один из светильников науки, какой-нибудь известный в мире ученый, академик. Четверть часа ранее встречаются два молодые франта — должно быть, высокие аристократы; они идут вечно вместе об руку друг с другом, вечно веселы, громко говорят, хохочут... Что за манеры у них: то искоса мигнут на встречную субретку, то слегка заденут тросточкою бегущую мимо собаку — прелесть!.. Полчаса спустя после старичка в широкой шляпе встретишь... ну, да бог с ними! И в неделю не опишешь Невского. Весело, а все-таки нет места!

В каком министерстве я не был! Везде примут ласково и отвечают: «К великому сожалению, нет вакансии». Один добрый секретарь даже сказал мне, что так уважает мои таланты и так полюбил меня (поговоря минут пять), что готов сам умереть, лишь бы доставить мне вакансию. Нечего сказать, народ вежливый!..

5-го сентября

Наконец я определен. Проходя по улице, вымощенной камнем, я заметил надпись: «Департамент ***». Я взял свой аттестат и явился к начальнику. Начальник, маленький толстенький человек, с круглым веселым лицом и коротко выстриженными волосами, зачесанными кверху, вышел в приемную и, быстро поворачивая в руках золотую табакерку, спросил: «Что вам угодно?» Я объявил ему о намерении служить под его начальством и просил о месте. Директор протянул ко мне руку и, как бы ожидая, что я подам ему письмо, спросил:

— Кто вам рекомендовал наш департамент?

— Никто.

— И вы ни от кого не имеете письма?

— Ни от кого.

— Но вы имеете руку?

— Даже и две, чтоб работать все полезное.

— Нет, вы меня не поняли, вы имеете знакомство, связи, родство?

— Никакого.

— Да как же это вы так?.. Кто за вас поручится? Извините меня...

— Мое происхождение, мое воспитание...

— Ха, ха, ха! Извините меня, это неслыханное дело! Петр Иваныч! Егор! Позови Петра Иваныча!

Скоро пришел Петр Иванович, высокий сухощавый человек.

— Послушайте, Петр Иванович,— говорил директор,— вот молодой человек пришел без рекомендательного письма определяться на службу,— без рекомендательного письма! Да это оригинальная шутка! Мне бы хотелось определить его; у нас есть вакансии?

— Есть одна,— отвечал Петр Иванович, мрачно посмотрев на меня,— на первый оклад.

— Прекрасно! Напишите, молодой человек, просьбу,

приложите ваши бумаги и отдайте Петру Ивановичу. Удивительное приключение! Я сегодня же расскажу об этом в Английском клубе — похохочет князь Федот!..

Через час я был уже определен в какие-то чиновники 1-го оклада. Вот как! Разом в 1-й оклад! Завтра явлюсь на службу.

6-го сентября

Меня упрятали просто в писаря с жалованьем в 420 рублей ассигнациями в год!..

— Вы учились арифметике? — спросил меня начальник отделения Петр Иванович. Я не успел отвечать на этот нелепый вопрос, как он продолжал: — Так возьмите у журналиста Кокоровкина ведомость, проверьте в ней итоги и подведите общий итог. Кокоровкин дослужился до надворного советника, славно запечатывает и надписывает пакеты, а все не знает сложения: сам вызвался составить ведомость о людях, да и концов не сведет: все в итоге приходится то половина, то треть человека!

Канцелярия засмеялась, и я пошел к журналисту.

При первом взгляде на журналиста я заметил в нем разительное сходство с старичком в широкой шляпе: такой же глаз с бельмом, та же важная физиономия, только вместо коричневого сюртука журналист был в вицмундире. Я взял ведомость, посмотрел на итог и чуть не захохотал во все горло: в итоге было написано 5643 $^3/_4$ человека; после $^3/_4$ были зачеркнуты карандашом и сверху приписаны $^5/_8$.

— Ведомость, должно быть, трудная? — спросил я журналиста.

— Попробуйте, так и узнаете.

— Отчего же у вас тут вышло $^3/_4$ человека?

— Нет, должно быть $^5/_8$.

— А пять осьмых отчего?

— Отчего? Черт его знает отчего! Так выходит. Попробуйте, так перестанете смеяться. Тут такое, я вам скажу: и

мертвые души, и несовершеннолетние... Такая путаница, сам черт ногу сломит.

— А у него непрочные ноги?

— Попробуйте-ка, попробуйте, перестанете смеяться.

Еще я заметил здесь двух молодых писцов — презнакомые лица, как-будто я где-то их видел или они снились мне: в старых сюртучках, обшитых галунами; сидят они за особым столом; Петр Иванович в продолжение всего присутствия ворчал на них, выговаривал, что они русской грамоты не знают и не хотят слушать, только озорничают, и грозился оставить их в департаменте без сапогов. Я, говорит, дескать, вспоминаю старые времена, когда я служил в вашем чине.

В три часа директор уехал. Петр Иванович ушел вслед за ним, и в департаменте поднялась кутерьма: все прятали бумаги; первые выскочили в переднюю два писца, надели короткие сюртучки, взяли тросточки и помчались по Невскому; теперь только я их узнал совершенно — моих невских аристократов. Немного погодя, вышел журналист, натянул сверх вицмундира коричневый сюртук, покрыл мудрую голову шляпою с широкими полями и важно двинулся по Невскому. «Так вот мой академик, механик, астроном!» — подумал я и, увлеченный общим потоком, пошел тоже по Невскому — домой.

1-го декабря

Третий месяц служу я и все переписываю бумаги, скучные, безжизненные! Стоило для этого ехать в Петербург! Я могу при счастии лет через пять поступить на жалованье 750 р. и все-таки буду переписывать; а я еще при вступлении нажил себе неприятеля в лице Петра Ивановича: он приберегал место, которое я занял, своему крестнику, и вдруг я как с облаков свалился.

Петр Иванович называет меня вольнодумцем, оттого, что я, переписывая его бумаги, исправляю букву ѣ, которую он ставит как попало; он напишет *ведение,* а я по-

правляю *въдъние;* спорим час, и кончается тем, что он расскажет сказку, как яйца курицу учили и тому подобные любезности, на [конец] согласится принять одно ъ и пишет *въдение.*

Ванька несет с почты письмо. В сторону журнал! Что-то нового мне пишут из дому?

«Милостивый государь
Яков Петрович!

Будучи в соседстве и находясь в приязни с домом вашим, я всегда питал к вам чувства моего почтения, иначе выразиться, чувственную привязанность, не находив в вас трагического духа. С особенным неудовольствием спешу известить вас о падении вашего черкеса: он пал, иначе выразиться, издох от сильного перегона, будучи посылан за доктором по причине удара, приключившегося вашему батюшке, от коего он и помер; ваша матушка осталась теперь во вдовствующем положении, но что же делать! Не печальтесь, ибо мы все ходим под богом и кончаемся за грехи Адама. В вас на похоронах было много почету, и наш предводитель генерал Н. Н., который, можно выразиться, и генерал и человек генеральный, и Сутяговский очень оскорблялся и плакал, и прочие, все известные, были в сильном расположении и в слезах, а после обеда разъехались. За сим с чувством глубочайшего высокопочитания и совершенной преданности имею честь пребыть вашим, милостивый государь, покорнейшим слугою.

Иван Щука-Окуневский

183... года, ноября 15 дня.
Село Скоробрехи.

Прилагаю при сем рецепт, доставленный для вас нашим аптекарем для самопалительных серных спичек. Возьми: Phosphor. gr. x., т. е. фосфору 10 гранов,

Flor. Sulph.— j — серных цвет. 1 гран,

Kalioxymurialici 3j — солянокислого поташа 1 драхму, разотри в тридцати гранах слизи аравийской камеди и обмакивай спички, а после суши в сухом воздухе».

29-го декабря

И еще месяц; я все переписываю бумаги; в положенные часы прихожу и выхожу в положенный час; я сделался сущим автоматом!.. Впрочем, со смерти моего доброго отца я хожу, как в тумане, не способен понять ни одной живой мысли, и для меня занятие переписчика очень по руке; даже я не мог ничего написать в своей памятной книжке: он умер — и больше ничего! Я даже смеялся, читая бестолковое письмо с серными спичками, а на грудь будто лег тяжелый камень, голова трещала от жара, а руки стали холодны как лед.

Сегодня немного мне легче; слезы брызнули из глаз, и мне так стало жалко доброго моего старика! Я вспомнил, как он прощался со мною и плакал, обнимая меня, как долго смотрел вслед за уезжающим моим экипажем; как его седая голова медленно кланялась мне из окна... И знал ли я тогда, что прощаюсь с ним навеки... что я хороню его... что мои поцелуи были надгробные лобзания сходившему в могилу? Блажен человек, что не ведает будущего!..

183., 1-го января

Сегодня новый год. Коллежский асессор Алеутников, служащий в одном со мною отделении, затащил меня поздравить с праздником Петра Ивановича. Петр Иванович одевался, однако принял нас ласково и, разговаривая о погоде, начал повязывать перед зеркалом галстух. Петр Иванович не любит бантов и всегда завязывает галстух на затылке; теперь, как нарочно, концы платка никак не сходились, руки двигались врозь, и Петр Иванович начинал морщиться от досады. В два прыжка низенький Алеутников очутился сзади своего патрона, вытянувшись на

цыпочки, овладел галстухом и повязал его. Я невольно улыбнулся.

— Чувствительно обязан! — сказал Петр Иванович, быстро оборотясь к Алеутникову, и даже взял его за руку, а на меня бросил самый мрачный взор.

Косо посмотрел на меня в департаменте Петр Иванович и почти бросил передо мною бумагу, исписанную ужаснейшими крючками и хвостами, сказав сердито: «Написать скорее, да не ошибиться. Эти ученые много о себе думают, а мало делают».

Начал разбирать кудрявое письмо моего благодетеля, по слову, по два переводить на бумагу, и к концу присутствия явилось очень чистенькое отношение от лица нашего директора к одному важному духовному лицу. Петр Иванович долго рассматривал мою копию, сличал ее с оригиналом, придирался к запятым и вдруг побледнел от ужаса и, гордо подняв голову, грозно посмотрел на меня:

— Как вы смеете делать подобные дерзости, невежественности? Вот что значит принимать на службу неизвестные лица!

— Какие дерзости?

— Еще и какие? Как вы могли сметь искажать смысл бумаги, данной вам начальником?

— Где же, позвольте узнать?

— Где же! Где же! Вы хотите под суд меня упрятать? Еще где же?.. Этакое фанфаронство, с позволения сказать, вольнодумство, сущее безбожие! Неуважение властей!...

— Я вас не понимаю.

— Не хотите понимать, лучше скажите... Да возьмите, читайте, что тут написано: с совершенным и прочая... читайте!

— С совершенным высокопочтением, честь имею...

— Довольно, довольно! Как вы сказали, с совершенным...?

— Высокопочтением.

— Да, высокопочтением, еще и смотрит такою невинностью! Разве можно писать так неуважительно?

— У вас так написано.

— Неправда, подайте сюда! Видите: — выс. Поч. и только,— это значит, что я дал вам только намек, надеясь на ваше образование, а вы и этого не знали или не хотели знать, я полагаю.

— Что же здесь написать надобно?

— С совершенным высокопочитанием — понимаете? Не почтением, а почитанием: это означает степень великого уважения. Хорош бы я был, если б подал к подписанию его превосходительству эту бумагу, и вдруг бы мне наклеили нос, вот такой.— При этом слове Петр Иванович приставил к своему носу указательный палец и сделался очень смешон.

Петр Иванович еще петушился, еще ворчал, но я уже не слышал его замечаний: сторож принес мне письмо; я вышел в приемную, чтоб прочитать... нет, прописать... или да, точно, прочитать; и прочитал, перечитал, нет, зачитал... голова кружится, жарко, не могу писать... лягу прочитать.

«Дорогой товарищ мой!

Давно мы с тобою не видались. Как вышли из лицея, подали на прощанье друг другу руки и разошлись по разным дорогам: ты зажил в деревне, а я отправился к своему дяде, командовавшему ...м уланским полком, получил virturi militari [1] чин поручика и теперь стою с полком в ... уезде. Славный уезд! Помещиков пропасть, ребята все веселые, *хорошеньких* бездна — извини за армейский слог,— где нам угоняться за вами, столичными! У нас вместо зеркала блистает светлой сабли полоса, и диваны заменяет куль овса, как там поется в этой гусарской песне — ты знаешь; я не мастер был и в классе заучивать стихи,

---

[1] За военную доблесть *(латин.)*.

грешен только в четырех строках, которые профессор приводил в пример слога, не помню какого роста, чуть ли не высокого, и за которые я сидел три дня в карцере; врезались в память, проклятые! Вот они, возьми их себе на здоровье:

Хоть с вами б россы к нам достигли
Поящи запад быстрины,
Хотя бы вы на нас воздвигли
Союзны ваши все страны...

А дальше, хоть убей, не знаю. Желал бы и этих не помнить, да запали в голову, как смертный грех. А за стихи ты по старой дружбе сослужи службу: вышли по первой почте две пары эполет, одну форменную, а другую бальную, побольше, потолще, поблестяще, со всевозможными блестками. Что будет стоить, деньги я вышлю. A propos [1]! Я забыл было! В здешнем уезде живет наш товарищ Ш.; растолстел, братец; все спит после обеда, а у него сестрица — объеденье, такая сентиментальная! Я к ним очень часто езжал прежде, с корнетом фон Шпек. Лихой малый, говорит по-немецки и по-русски объясняется порядочно: можно понять, играет шибко,— вот беда! Такой бешеный немец: все ставит на карту, пока есть что на нем: рад бы и душу загнуть на угол, да на что кому она? Никто и в грош не примет! Прошли времена Громобоев...

С ним было уморительное приключение: сестрица Ш. начала на него заглядываться; он был дорогой гость в доме. Однажды Шпек проигрался в пух и целую неделю питался картофелем и солью; я, едучи к Ш., взял Шпека з собою. Дорогою Шпек мне рассказал о своем картофельном посте. Приезжаем — нам очень рады. Приходит пора обедать. Шпек с удовольствием посматривает в столовую! Сели за стол: первое кушанье — картофельный суп; я посмотрел на Шпека и не мог не улыбнуться; подают соус

---

[1] Кстати (*фр.*).

картофельный, другой тоже из картофеля, жареный картофель и пирожное из картофельной муки. Шпек то бледнел, то краснел; он принял это в насмешку, тем более, что при всякой перемене черные глазки m-lle Ш. быстро посматривали на Шпека. Я человек не слишком тонкий, а, каюсь, подумал, что это насмешка на немецкую натуру моего товарища. После обеда Шпек закапризился ехать домой: я боялся, чтоб он не состроил какой сцены, и мы уехали.

Дорогою Шпек разразился в проклятиях. «Дьявол бы побрал всех этих быстроглазых! — кричал он.— Сама дала мне повод волочиться за собою, а теперь издевается. Да что она мне? Если б не ее имение, я и не смотрел бы на нее. Я знаю себе цену; в сюртуке еще ничего, а надену уланский мундир — все дамы засмотрятся на меня: выбирай любую! Решительно голоден; в желудке пусто, как в кармане! А вы, чай, и хлеба не видали, Федотов?»

Федотов, денщик Шпека, сидевший на козлах вместе с моим кучером, сделал пол-оборота направо и, приподняв фуражку, отвечал:

— Никак нет-с, ваше благородие, доотвалу накормили; едва могу сидеть на козлах, да и ко мне прибегала, только что мы приехали, горничная барыни, да все спрашивает: «Да скажи, Федотыч, что твой барин больше всего любит?» — «Наше дело служивое, ваше благородие; и я говорю: вот таких чернявочек». Она хвать меня по руке да и говорит: «Не о том спрашивают: что твой барин любит кушать?» — «Все, что люди едят». — «Да что больше всего ест?» — «Коли голоден, что подашь первое, то и ест больше всего». — «Да что чаще всего ему готовят?» — «Вот с неделю, мол, все ест картофель».— «Так бы и давно!» — И побежала от меня, словно угорелая.

Шпек, слушая рассказ денщика, был в восторге. Теперь объяснилась причина картофельного обеда,— ему хотели угодить. Я поздравлял Шпека с завоеванием, взял с него честное слово после венца купить мне одному бутылку

шампанского, а я обязался при нем и при жене его выпить. Вчера бутылка выпита, свадьба была не шумная — только свои. Шпек едва утерпел, чтоб в день свадьбы не сесть играть от радости. Его молодая супруга была в восхищении; ее черные глазки так и сыпали искры... Чрез месяц назначен огромный бал у молодых, а там и пойдут танцы — то у того, то у другого из родственников. Очень рад, что узнал твой адрес; поспеши выслать эполеты к этому времени; авось и мы выкинем такую штуку... Прощай, mon ange [1], как пишут молоденькие пансионерки. Не забудь твоего друга.

А. Завитаев»

25-го января

Третий день, как я начал прохаживаться по комнате; силы мои быстро восстановляются. Сегодня я уже могу писать и докончить описание ужасного дня... Два раза перечитал я письмо Завитаева и начал читать уже в третий раз, как понял страшную истину, и судорожно измял его в руке. Мысль, что Завитаев ничуть не виноват, быстро мелькнула в уме моем; я молча спрятал письмо в карман; в это время кольцо с незабудкою блеснуло мне в глаза, я сорвал его с пальца и хотел выбросить в окошко.

— Погодите, ваше благородие,— сказал сторож Егор.

— А что?

— Вы хотите выбросить на улицу колечко?

— Тебе какое дело?

— Так ведь оно, кажись, золотое?

— Ну да.

— Пожалуйте лучше мне его.

— А тебе на что?

— У меня, сударь, есть дочка, девчонка лет пятнадцати, да какая охотница до перстеньков.

---

[1] Мой ангел (*фр.*).

— Нет, если б ты хотел его пропить в кабаке, я, может быть, отдал бы его тебе, а дочери твоей не отдам. Не хочу я, чтоб в добрых руках было это кольцо.

— На улице могут поднять его и добрые люди.

— Это правда; спасибо за совет.

Я спрятал предательское кольцо в карман; но оно не давало мне покоя, шевелилось, жгло меня. Пойду к Неве, думал я, брошу в Неву гадкий перстень; но Нева так хороша, всегда так величественно, благородно несет свои синие прозрачные волны: не хочу осквернить ее моим кольцом. В этих мыслях шел я по Невскому и уже был на Полицейском мосту. Была оттепель; у ног моих, как змея, вилась грязная Мойка: ее густые зловонные струи лениво переливались в широкой проруби... Вот достойное место для *ее* подарка,— подумал я, достал кольцо, положил его на руку, по старой привычке поцеловал его и щелчком сбил в Мойку. Долетая до воды, оно еще раз сверкнуло, поворотилось ко мне голубым цветочком и — ушло на дно.

В эту минуту что-то будто порвалось в груди моей, и я почувствовал необыкновенно приятную теплоту; я кашлянул,— кровь хлынула из горла. Пришед на квартиру, я съел пару апельсинов, выпил стакана два со льдом воды, и волнение крови унялось. Я стал, по-видимому, спокойнее, даже сел писать свои записки, но не мог кончить... Иванька говорит, что он нашел меня в креслах в обмороке, уложил в постель, и я на третий день едва очнулся от сильного бреда. Доктора взяли меня в руки, поохотились порядком надо мною: и травили целыми стаями злых пиявок, и чего не делали они, а спасибо — помогли.

1-го февраля

Я хочу не думать о *ней,* я презираю *ее;* а несносное воображение беспрестанно мне ее представляет; она не стоит того, чтоб я о ней думал: она хоть и хорошенький бюстик, но без души; ее глаза хоть и глядят так упоительно, но в них светится огонь сладострастия — и больше

ничего; ее улыбка хоть и очаровательна, но полна лжи... Так вовсе я не хочу думать о ней, хочу заставить себя забыть ее и между тем все больше думаю... странное создание человек!

3-го феврал.

Сегодня я проснулся; мой Иванька стоит у постели моей и плачет.

— О чем ты плачешь? — спросил я его.

— Ничего,— отвечал он, смешавшись,— так.

— Быть не может; разве ты боишься сказать мне?

— Вот видите что. Вы спали, а я смотрел на вас, да мне даже страшно стало: лежите вы бледные, ни кровинки в лице, словно мертвый; щеки запали, на руках хоть кости считай!.. Такой ли вы были дома, как приехали из лицея,— подумал я,— кровь с молоком!.. Бывало, смеетесь, так в пятой горнице слышно, а как сядете на коня, на черкеса, да пуститесь по степи, ястреба вас, бывало, не обгонят!.. А теперь что?.. Ни живой, ни мертвый, голосу не отведете. И зачем мы приехали в этот Петербург? Что тут хорошего? Я с первого дня покачал головою, как нарядили вас в узкие немецкие брюки. Сейчас увидел, что тут толку мало... Столько вот служите, а и эполетов не дают вам. А знаете что?

— А что, Иванька?

— Поедем домой, поедем в наши степи. Там у нас весело, там широко, привольно, много полей, много всякого хлеба, много плодов — всего довольно. Чего нам искать здесь? Что мы потеряли? Выздоравливайте, да поедем скорее!.. Станете гулять по степи, стрелять дичь, опять станете веселы... Даст бог, женитесь, а тут, ей-богу, вы умрете.

И добрый Иванька плакал и целовал мои руки...

— Полно, Иванька, перестань, я и сам думаю ехать.

— И слава богу! Заживем опять дома, уедем отсюда! Что это за город! Без гроша воды не дадут напиться, а пойдешь в лавочку, тотчас бороды на смех подымут: и «хохол голоухий», и то, и другое... Бог с ними!

6-го февраля

Я из департамента получил записку, в которой экзекутор по приказанию начальства приглашает меня сегодня же явиться на службу, а в случае невозможности — прислать просьбу об увольнении. Далее говорится, что я только занимаю место, беспрестанно болен, отчего останавливается течение дел; другой, дескать, был бы полезнее на моем месте. Я с радостью написал просьбу и отправил.

7-го февраля

Мой Иванька рассуждал благоразумно. Что я тут буду делать? Поеду в деревню. Матушка одна: ей надобно пособить в управлении имением, пристроить братьев и сестер. Решено: завтра же пишу к матушке, чтоб выслала деньги на прогоны да и расплатиться здесь,— я в болезнь задолжал таки порядочно,— и прощай, Петербург, в тебе очень холодно.

Иванька с утра поет вполголоса свои родные песни и собирается в дорогу; ему кажется, будто мы завтра должны выехать; я и сам целый день мечтал о тихой деревенской жизни... Иногда мне приходило на мысль: не будет ли воспоминание о *ней* тревожить меня в местах, бывших свидетелями первой любви нашей? Нет, я уже простил *ее!*

Кто сердцу юной девы скажет:
Одно люби, не изменись!..
Утешься, друг! Она дитя.
Твое унынье безрассудно:
Ты любишь горестно и трудно,
А сердце женское — шутя...

Эти стихи великого сердцеведца нашего, Пушкина, примирили меня с нею, обвеяли тишиною тревожную мою душу. Мне жаль даже кольца: зачем я его бросил, да еще в такую скверную тину! Оно бы мне напоминало лучшие

минуты жизни, которые даровала мне судьба; не всегда же быть человеку вечно счастливу:

> Порою всем дается радость:
> Что было, то не будет вновь.

Нет, я был злым человеком в минуту, когда бросил перстень в Мойку... Спасибо Пушкину, он успокоил меня. Какой-то, чуть ли не греческий, балагур сказал, что поэта должно увенчать и выпроводить из города. Желал бы я посмотреть в лицо этому мудрецу; оно должно быть нелепее суздальской картинки.

8-го февраля

Сегодня я только что стал писать домой письмо о своей отставке и высылке мне денег на прогоны, как Иванька мне подал письмо с почты. Со смерти отца я не получал ни одного приятного письма, и как прежде, бывало, бьется сердце от радости, когда увидишь кивер почтальона, так теперь трепещет оно от какого-то темного предчувствия. Я взял письмо и даже боялся его распечатать: почерк Сутяговского — странное дело! «Теперь уже я не поеду,— сказал я Иваньке, пробежав письмо,— а ты один будешь дома...» Он робко посмотрел на меня, как бы стараясь прочесть что-нибудь в глазах моих, и, когда я ему прочел письмо Сутяговского, громко закричал:

— Этому не бывать! Я уйду с первой станции!

«Милостивый государь
Яков Петрович!

Любя вас и уважая память покойного родителя вашего, я спешу известить вас о неприятном положении дел ваших: г. Иванов оказался несостоятельным по причине различных неудач в соляной операции, и ваше имение, бывшее по сему случаю в залоге, продано с публичного торга. Я, как ближайший сосед, не хотя пустить его в незнакомые руки, купил оное и законным образом введен во владение,

но, рассматривая ревизские сказки, я не отыскал в наличии одного человека, Ивана Добряка, а как по справкам оказалось, что оный мой крестьянин Иван Добряк находится у вас в услужении, то я и отнесся в санкт-петербургскую полицию о высылке означенного Ивана на мой счет по этапу и, не желая огорчить вас нечаянностью, решился писать к вам об этом. Впрочем, уважая память покойного вашего батюшки, я ничего не стану требовать с вас за услуги означенного моего крестьянина до отправления его из Петербурга, надеясь, что вы с вашей стороны не оставите за сие снабдить его на дорогу приличным платьем. Я полагаю, что вы, как человек ученый всяким наукам, не станете скорбеть о потере пустого имения. Блага земные непрочны, и в свете все так делается, как сказано в новейших российских прописях: «Всякий в свою очередь является на сцену и сходит с нее». Я учился по этой прописи, и теперь мой сынок Павлуша ее пишет. За сим, при желании вам всех благ, имею честь быть вашим покорным слугою.

И. Сутяговский»

183... года, января 24.
С. Грабуново.

9-го февраля

Сегодня получил письмо от матушки. Она пишет, что когда Иванов объявил себя банкротом, Сутяговский приехал к ней, уговорил ее не писать об этом ничего ко мне, чтоб не потревожить меня — какое человеколюбие! — а сам Сутяговский плакал перед нею, говоря, что и он немного виноват в этом, советовав покойнику дать залог Иванову, и, сознавая свою ошибку, сам поехал хлопотать об этом в губернский город, откуда возвратился уже владетелем нашей деревни. Сама же матушка с детьми, не желая пользоваться ничьим снисхождением, наняла в городе у одного мещанина небольшой домик и живет кое-как. Наш дом занял какой-то шляхтич, управитель Сутяговского.

16-го февраля

Иванька отправился по этапу. Тяжело было мне расстаться с ним: он у меня был одно существо, с которым я мог делить и радость и горе; он понимал меня, сочувствовал мне, когда я говорил о родине... Теперь я один, сирота в шумном городе!.. Прощаясь, я уговорил Иваньку не убегать ни с первой, ни с какой станции, советовал честно служить новому господину, и мы расстались... Чрез четверть часа опять входит Иванька в комнату.

— Что тебе надобно?

— А вот, барин, я нечаянно унес ваш ножик: он был у меня в кармане, да я так и ушел; вспомнил дорогою, да так стало совестно, что подумаете, может быть, будто я нарочно взял его. Едва уговорил солдата воротиться к вам на минуту.

Он подал мне ножик; руки бедного Иваньки дрожали, крупные слезы капали на землю.

Еще раз обнял я моего доброго слугу и более уже не видал его.

17-го февраля

Теперь я должен остаться в Петербурге, должен работать, жить скромно, должен сколько-нибудь помогать моему бедному семейству: я не допущу, чтоб матушка, добрая матушка, которая так любит меня, дожила до необходимости питаться трудами рук своих. Я не напрасно учился; здесь много пансионов, отыщу себе где-нибудь место — надеюсь, что мой аттестат будет уважен учеными людьми,— и стану передавать свои знания молодым людям. Мне кажется, нет святее этой обязанности... Я понимаю науку не как сухое собрание правил, которые должен *задолбить* себе в голову бедный ученик,— нет, наука, по-моему, есть известная форма, посредством которой мы передаем молодым умам живую идею, обогащая ум зна-

нием и вместе согревая душу любовью к прекрасному, высокому... А прежде всего мне нужно расплатиться с долгами

20-го февраля

Мебель, часы и все лишние вещи проданы; денег было довольно, а как расплатился с долгами, и в аптеку, и за квартиру, и за то, и за другое,— осталась в кармане двадцатипятирублевая ассигнация и гривенник; на эти деньги не раскрутишься, а пока места нет... Сегодня же поищу квартиру и завтра перееду в нее. Говорят, должно искать дешевую квартиру на Петербургской стороне.

24-го февраля

Едва отыскал квартиру по своим деньгам — все дороги. Теперь моя резиденция в Теряевой улице на Петербургской стороне. Кто бывал на Петербугской, на Большом проспекте или около кадетских корпусов, тот не имеет никакого понятия о характере Теряевой улицы: там аристократия Петербургской стороны, здесь чистый плебс; там домики довольно опрятные, выкрашенные,— здесь мрачного железного цвета; там вы иногда увидите и солидного чиновника, едущего на своей лошадке, и атласный салоп, иногда услышите звуки фортепьяно, если погода позволяет открыть окошко; иногда на улице наступите ногою на сотерновую пробку или на листок газеты,— здесь подобные вещи баснословие! Тишина изумительная: в шесть часов на улице нет живой души; с вечера упадет снежок, а утром вы увидите под вашими окнами следы волка!.. Может быть, летом будет веселее.

Я занимаю маленькую комнату от жилицы, за 15 рублей ассигнациями, со столом, на условии учить грамоте ее семилетнего сына *Ваську*. Хозяйку мою зовут Анисья Карповна, а дом принадлежит какому-то отставному арапу. Впрочем, он человек белый: я его раз видел.

2-го марта

Целую неделю ходил по пансионам — и везде отказ. Все спрашивают: кто рекомендовал вас? Был и у m-r Куку, и у m-r Коко, и у m-me Шнейбах, и у m-me Гольцкопф, и у пана Ютржицкого, и у десятого, и у двадцатого — не берет!.. Один посылает к другому, другой — к третьему.. Еще попытаюсь: говорят, где-то за Черною речкою есть, на болоте, пансион отставного капитана Лисицына, и у него всегда найдешь вакансию, лишь бы подешевле.

— Уживетесь ли вы с ним долго — за это не отвечаем: у него никто больше месяца не выживает, а принять-то, он примет,— так говорили люди о Лисицыне. Люди не всегда правду говорят и иногда охотнее скажут дурное, нежели хорошее,— я думаю; притом же не умирать мне с голоду; пойду в пансион на болоте.

4-го марта

Договор с Лисицыным сделан. Я вот уже неделю учу его школу читать, писать и арифметике за 50 рублей ассигнациями в месяц. Я должен быть в пансионе каждый день с семи часов утра до двенадцати и с двух часов до семи вечера: а опоздаешь минуты на две-три — все Лисицын записывает и при окончании месяца слагает минуты в часы и по расчету вычитает из жалованья.

Незавидная моя участь: с утра до ночи толковать безмозглым шалунам одно и то же, толковать им из последних сил, что дважды два — четыре, и замечать, что слушатели в это время или спят, или рисуют с меня карикатуры, между тем каждый день выносить невыносимо холодный и презрительный взгляд седого капитана Лисицына, регулярно каждый день слышать одну и ту же фразу: «У вас мало старания! Получая деньги, надобно заниматься делом!..» Надменный человек! Будто я не понимаю своих обя-

занностей... Видно, он провел свой век, обучая рекрут!.. О, деньги, деньги! Сидите ж у меня на сердце.

Говорят, бедность не порок. Бессовестная ложь: порок бедность, ужасный порок, отлучающий человека от общества, кладущий печать отвержения на лицо человека, убивающий душу и тело!.. Одна религия спасает меня... Благословляю минуту, в которую она озарила меня истинным светом Евангелия... Придешь домой с душою истерзанною, с телом истомленным, станешь на колени перед образом спасителя, простишь обиды гордому человеку — *не ведает бо что творит* — и слезы и молитвы текут из успокоенного сердца, и все печали отлетят от тебя, и станет светло и легко на душе, и дух и тело укрепятся на завтра, на новую битву с жизнью, на новые страдания.

5-го апреля

Месяц прошел. Я получил жалованье. С меня вычли рубль пять копеек,— отняли сухарь у нищего!.. Из этих денег пошлю красную ассигнацию матушке...

27-го мая

Настала весна, и мучения мои умножились: на дачи наехало пропасть праздного народа, и, гуляя от нечего делать, всякая сволочь заходит в пансион. Лисицын сейчас начинает экзаменовать воспитанников для поддержания славы заведения. Приходящие от скуки дают Лисицыну разные советы, а он сейчас же приводит их в исполнение...

Беда учить русскому языку! Каждый лавочник, умея записать расход и приход, воображает, что он знает русский язык! И каждый лавочник,— смею вас уверить,— даст какой-нибудь бестолковый совет касательно русского языка, только попросите его. Начнешь опровергать какую-нибудь нелепость, Лисицын сдвинет седые брови и скажет такую любезность, что все внутренности перевернутся, а молчишь... О бедность!..

16-го июля

Лето не веселит меня, даже ни разу я не был на островах... Бог с ними! Там все такие веселые лица... Погода непостоянная: то жар нестерпимый, то холод с дождями. Придешь из пансиона, поучишь Ваську, помолишься,— и спать пора... Моя хозяйка очень добрая баба; ей лет за пятьдесят, была замужем за солдатом, три года как овдовела и живет одна с сыном, занимаясь мытьем белья.

2-го сентября

Приходит осень; падают листья, вечера делаются длиннее, по утрам мороз белеет по заборам. Моя грудь начинает опять болеть; я два дня не был в пансионе — не мог дойти туда: в ногах тяжело, и во всем теле какая-то слабость, все спать хочется. На третий день Лисицын прислал мне отказ, извещая, что он не намерен содержать богадельню, что больной человек, не принося пользы, наносит уже вред. При конце он прибавил, что отказывает мне не из каприза, но по долгу, и весьма обо мне сожалеет.

Я заметил, что Лисицын не так зол от природы, как высказывается в своих поступках. Он прочел «Историю Наполеона», заметил, что тот часто для пользы государственной ставил в ничто и жизнь, и счастие одного человека, и стал применять это к своему пансиону... Слабость человеческая! Он даже и руки складывает à la Napoleon. Бог ему судья!

Анисья обещала мне отыскать работу: переписывать что-нибудь; она моет белье на какого-то сочинителя. Спасибо, хоть та польза от моей службы в департаменте, что выучился четко писать. Работать нужно. Последние деньги я отправил к матушке в надежде на жалованье из пансиона. Чем стану жить, чем заплачу за квартиру? А обременять собою добрую старушку-хозяйку я не намерен.

4-го сентября

Был сочинитель,— это Единорогов, которого я видел у дядюшки. Он не узнал меня — и к лучшему! Он мне привез свое сочинение.

— Будет ли иметь эта книга успех? — спросил я.

— Невероятный; я ее *посвящаю* одному важному лицу — и я в барышах. Для этого вот вам четыре печатные книги: вы выпишите только из них в одну общую тетрадь все, что отмечено карандашом — и книга составится.

— А эта тетрадь? — спросил я.

— Здесь ничего нет, кроме заглавия: вы в эту тетрадь и выписывайте. Надеюсь, что мы останемся довольны друг другом. Со временем я похлопочу о вас: граф Б., графиня С., барон П. и все за вас постараются — это все мои друзья; а между прочим, позвольте спросить, что вы берете с листа?

Этот вопрос сбил меня с толку; я покраснел и едва мог сказать:

— Я не знаю; что́ вы другим платите?

— Я своему писарю плачу сорок копеек медью с листа.

— И я на это согласен.

— Но, позвольте, любезнейший, тот пишет с писаного — это труднее, а вы будете писать с печатного: здесь нет никакой трудности — читай себе и пиши! Поэтому, я надеюсь, вы возьмете по 35 копеек с листа?

— Пожалуй.

— Еще одно условие: чтоб завтра к вечеру все было готово; я должен поднести мою книгу его превосходительству в день его рождения. Прощайте, тороплюсь на завтрак к князю Прохору Иванычу.

Единорогов уехал на прекрасной паре собственных лошадей.

5-го сентября

Сегодня к вечеру я окончил работу, но уже не мог сам отнесть ее: моя грудь разболелась — и не удивительно: я написал в сутки около тридцати листов. Кровь сильно показалась из горла. Холодно, а голова горит. Лягу в постель.

6-го сентября

Я слег. Анисья принесла мне от Единорогова деньги, без гривенника: те, сказал, после отдам: мелочи нет. На долго ли станет этих денег? А мое здоровье все хуже и хуже. Анисья — добрая баба, а никак не соглашается топить у меня в комнате. «Бог с тобою,— говорит,— теперь еще начинаются утренники, а тебе, кормилец, топи печку! Что же зимой делать?» Хорошо ей ходить с утра до вечера в своей голубой шубе,— ей тепло.

8-го сентября. Утро

Верно, я крепко болен — Анисья без моей просьбы истопила печку и пошла за доктором, как говорил Васька.

Вечер

К вечеру пришла Анисья, ругая наповал всех докторов:

— Экие они какие! — ворчала старуха.— Которому ни расскажу о тебе, все говорят: «Некогда, бабушка». Всилу отыскала одного и оставила адрес.

Часа через два приехал доктор — мальчик лет восьмнадцати; он очень важно вошел, поговорил со мною издалека, беспрестанно нюхая какие-то капли, будто я лежал в чуме, сказал слов пять по-латыни и уверял, что эта латинщина моя болезнь; потом прописал рецепт на полулисте, приказал принимать микстуру (которая должна родиться из его рецепта) чрез час по ложке и уехал, объявив Анисье, что в другой раз он ни за что в свете не приедет в такую чертовскую даль.

4-го октября

Вот уже месяц я лежу в постели, и все в одинаковом положении — ни лучше, ни хуже. Не будь я слаб, я был бы совершенно здоров. На дворе октябрь, грязно, сыро: у меня над постелью появилась течь, в комнате тяжело пахнет глиною. Вчера продал последнюю книгу «Сочинения Пушкина», подаренную мне в лицее за успехи в науках.

7-го октября

Сегодня отдал старый серебряный рубль Петра Великого, именинный подарок моей матушки, когда я еще был ребенком. Двадцать лет я носил его с собою: он был мне вдвойне дорог — как память матушки и память о великом государе. Впрочем, я его отправил в лавочку с уговором выкупить со временем. Немного оправлюсь — и хоть стану дрова рубить, а достану денег на выкуп.

8-го октября

Какой-то поэт сказал, что юноша вступает в свет в венке из прелестных цветов. Человек живет — и опыт неумолимою рукою обрывает на венке один за другим все цветы: остаются под конец только засохшие стебельки, которые, как терны, мучат человека. В этом венке он сходит в могилу... Давно ли я смотрел на жизнь, как на веселый праздник! Все люди были мне приятелями, все девушки казались чистыми, непорочными сильфидами. Я был окружен родными; отец, матушка, братья любили меня... *она* — горькое воспоминание! — так жарко клялась в беспредельной любви, в верности до гроба... мне совестно за нее! И все исчезло, прошло, как сон, как разлетается от ветра позолоченная гора облаков... Я имел достаток и мог помогать ближнему, а теперь моя матушка в бедности, и я не могу помочь ей! Сам лежу без куска хлеба, одолжен существованием милостыне от бедной солдатской вдовы!..

Часто смотрю по целым часам в окно: у самого окна стоит береза; на черных безлистых ветвях ее трепещет запоздалый, бледный листочек... Где его товарищи, с которыми он так сладко шептался в знойные часы лета? Их давно умчал холодный ветер: он один остался сироткою и тихо лепечет между ветвями свои жалобы, пока порыв бури не умчит его туда,—

Куда и лист лавровый мчится,
И легкий розовый листок!..

Мне жалко бедного листочка: его моет осенний дождь, и нет товарища прикрыть его... защитить его. Его судьба похожа на мою. Я люблю его: он мне родной... А далее, там, за березою, несутся по небу серые тучи, одна другой темнее, мрачнее, тяжелее!.. И день и ночь грустно тянутся они, как погребальное шествие за гробом прекрасного лета. Куда летят они, гонимые буйным ветром? И зачем летят они?.. В этом туманном небе, обремененном тяжелыми тучами, в этом тоскливом вое ветра, как в зеркале, отражается душа моя. Мне любо слушать и созерцать грустную природу... Со временем ветер перенесет облака, опять засветит солнце — и мир оживет снова: а я?.. Кто знает, может быть, мне придется сказать с Жильбером:

Je meurs, et sur la tombe oû lentement j'arrive,
Nul ne viendra verser des pleurs.
Salut, champs que j'aimais, et vous, douce verdure,
Et vous, riant exil de bois!
Ciel, pavillon de l'homme, admirable nature,
Salut pour la dernière fois...[1]

---

[1] Я умираю, и мою могилу, к которой я медленно приближаюсь,
Никто не посетит, чтобы пролить слезу.
Привет вам, поля, которые я любил, и нежная зелень,
И улыбающиеся лесные дали,
И небо, приют человека, и чудесная природа,—
Привет вам в последний раз... *(Фр.)*

Во всяком случае будущее отрадно — если не здесь, то там, где нет ни печали, ни воздыхания, там отдохну от страданий...

16-го октября

Как благодетельна природа! При однообразном моем положении, при нестерпимой скуке, которая ест меня, как ржа железо, она мне даровала какую-то способность дремать: стоит только закрыть глаза,— сейчас передо мною чудесные картины: горы, леса, реки; все живет, движется, говорит, поет... Невыразимо приятно! А между тем я слышу шаги Анисьи или частый стук дождя по оконным стеклам.

Более всего мне представляются картины моего детства. Кажется, утро. Солнце только что поднялось над землею, везде блестит роса; мы с сестрою выбежали в сад и едим клубнику. Ягоды такие крупные, сочные... «Стыдно, дети, есть без спросу ягоды!» — говорит маменька, отворяя окошко. Мы так и сгорели от стыда!.. Бежим в комнаты, а навстречу нам папенька: «Куда, дети? Ко мне, на шею!» И мы бросились целовать его... Вот мы все едем по степи в линейке, а вокруг столько цветков, да такие душистые... Мы, дети, побежали срывать цветы — так весело! На цветах садятся и ползают хорошенькие жучки — и золотые, и серебряные, и красные... Я подбегаю к кусту ракиты... порх из куста птица и полетела, свистя крыльями. «Какая это птица, папенька?» — «Стрепет».— «Ух, какое страшное название! Слава богу, она далеко улетела».— «Ты трус!»— говорит папенька. «Нет, я не трус, посмотрите»,— и я иду к раките, толкаю куст ногою, а сердце так и бьется, так и кажется: еще вылетит другой стрепет. Иногда в несколько минут вырастаешь — и вот я казачий офицер, стою у окошка и слушаю дуэт школьников на шелковице, а между тем думаю: любит ли *она* меня? Является *она,* полна невинности, очаровательно хороша, улыбается мне и дает цветок

камелии: я хочу обнять *ее*... Скрипнула дверь, я открыл глаза — все улетело, и цветы, и сады, и чистое небо, и зелень лесов, и милые лица...

Опять дышишь гнилым воздухом, видишь сырые грязные стены. За окнами шумит дождик, и одинокий желтый листочек дрожит и трепещет от ветра на обнаженной ветке.

Закроешь глаза — и снова являются знакомые образы, и снова душа полна блаженства. Так проходят мои дни и ночи.

20-го октября

Поутру я смотрел в окно и не видел уже желтого листочка: он улетел куда-то темною ночью и уже не кланяется мне так приветно... еще я осиротел более. Писем из дому нет; хоть бы еще раз увидеть руку матушки, поцеловать ее строки! А тучи все идут по небу, мрачнее вчерашнего...

21-го октября

Сегодня я всю ночь беседовал с батюшкою.

— Скажите, пожалуйста,— говорил я ему,— вы живы и здоровы и даже по-прежнему веселы, а мне писал Щука-Окуневский, что будто вы умерли.

— Нет, мой друг, это неправда,— отвечал батюшка.

— Я так и думал. Старый сплетник Окуневский вечно лжет.

— Не брани человека; может быть, так надобно было.

Я начал думать и убедился, что Окуневский прав, что иначе сделать было нельзя, как написать ко мне такое письмо. После долго мы говорили с стариком. Вошла Анисья — и видение исчезло: но я ясно слышал слова «до свидания!», и за Анисьей в темном углу что-то кивнуло мне головой.

— Кто здесь был? — спросил я у Анисьи.

— Никого, батюшка; ты бредишь!

Я не захотел спорить с доброю женщиной, а попросил придвинуть ко мне столик и подать мою памятную книжку.

— Куда тебе писать! — сказала она, покачивая головою.— Чай, пера в руках не удержишь.— Однако подала, и я пишу-пишу, а писать не хочется — так очаровательны видения! Так и хочется закрыть глаза... Допишу после... чудесные видения... вот батюшка... вот еще кто-то...

. . . .

* *
*

Недавно я был в Большом театре. Давали «Озеро волшебниц». Театр был полон. Волшебница Тальони, обвив рукою резвую Шлефохт, неслась по сцене в живом галопаде. Вот они летят к зрителям; минута — и удаляются в глубину сцены под прихотливые звуки оркестра, восхитительно улыбаясь, сладострастно маня руками какого-то счастливца. Восторгу не было границ, театр дрожал от *браво*...

— Как вам нравится наш театр? — спросил один мой знакомый у толстого человека с огромными усами, сидевшего рядом со мною в креслах.

— Изрядно! — отвечал толстяк.

— Кто этот жирный чудак? — в свою очередь спросил я в антракте знакомого.— Этот толстяк, с которым говорил ты?

— Известный человек, дает чудесные обеды! Откупщик Иванов.

— Он не здешний, как видно?

— Да, он недавно приехал из ***.

— Мне кажется, он был банкротом?

— Бог его знает! Впрочем, он выдал свою дочь замуж за какого-то секретаря и обделывает все дела под его именем. Да мне что за дело! Он славный малый; простоват немного, немного материален, а обеды дает *поэтические*. Хочешь, я тебя завтра представлю к нему прямо в столовую? По рукам, что ли?

— Ни за что в свете!

1841

НЕЖИНСКИЙ ПОЛКОВНИК ЗОЛОТАРЕНКО

Историческая быль

Кругом поле широкеє рястом зацвіло,
Не ряст — військо гетьманськеє у похід пішло.
Під ним земля дрижить,
Курява стовпом стоїть,
Хмари вслід ідуть.

Л. Боровиковский

I

В 1654 году борьба за веру в Малороссии окончилась счастливо присоединением ее к России. Народ начал отдыхать, а дела Польши становились хуже и хуже. Король Казимир удалился в Силезию и золотом покупал дружбу крымцев; друзья медлили защитою, торговались... Между тем король шведский Карл X разбивал поляков. Царь Алексей Михайлович сам явился под Смоленском, куда, по воле гетмана Богдана Хмельницкого, назначен был наказным гетманом нежинский полковник Иван Золотаренко с казачьими полками Нежинским и Черниговским.

Случалось ли вам видеть, как выступают полки с квартир в наше время? Очень просто, без шума, без всякого эффекта, кроме двух-трех трагикомических сцен в обозе. Приезжайте вечером в город, из которого утром выступил полк, вы и не догадаетесь, что жители лишились сегодня своих гостей, все такие веселые лица, особливо у мужчин. Разве где-нибудь в уголку заветной спальни уездная барышня, отговорясь от ужина головною болью, грустно раскрыла том сочинений Марлинского и смотрит, долго смотрит все на одну страницу, на которой самые кипучие, нечеловечьи выражения страсти подчеркнуты знакомою рукою, и обличительные слезы падают на книгу, а книга из рук...

Но скрипнула дверь — Марлинский под подушкой, слезы обтерты, и барышня, нежно улыбаясь, говорит маменьке: «Теперь мне гораздо лучше, не беспокойтесь, маменька, к завтраму все пройдет, и я буду танцевать на бале у Пентюхова».

Не так выступали в старину казачьи полки на моей родине. Целый город провожал свой полк: матери — детей, сестры — братьев, жены — мужей. Каждый казак, выходя в поход разлучался с семейством; поход имел для города великий интерес.

Весною, рано утром, начали собираться казаки на большую нежинскую площадь перед собором; один ехал верхом, другие шли, ведя в поводу лошадей; и с ними и за ними брели женщины, дети, старики. Площадь кипела народом; шум, говор, лошадиное ржание и брязг оружия не умолкали. Невысоко успело подняться солнце, как приехал полковник Золотаренко.

Из собора вышли священники в полном облачении, вынесли бунчуки, хоругви, знамена; все утихло, войско преклонило колени, священники, под стройное пение молебна, окропили знамена и воинов святою водою. Золотаренко приложился к кресту, взял благословение, поклонился собору и всему народу на четыре стороны и ловко вскочил на коня. Раздалась команда, и при звуке труб тихо, плавно развилось полковое знамя и заструилось на утреннем ветре.

— Прощайте, хлопцы,— говорил народ,— кому-то из вас даст бог опять увидеть это знамя здесь перед собором!

Стройно двинулись полки из города. Тысячи рук благословляли их, тысячи глаз долго смотрели им вслед, пока не улеглась пыль, поднятая ими по дороге.

— Поехали! — говорил старый казак седому своему приятелю, сидевшему у заставы.

— Поехали,— отвечал приятель, нюхая табак.

— Даст бог, и приедут.

— И приедут, если приедут...

— А что?
— Еще бы что!!
— Я ничего не знаю.
— Чуть полковник на коня, а конь так и упал на колени!..
— Худо, брат! Это не к добру.
— Худо! Вот так было и с Наливайком, как он выезжал на проклятую Солоницу.

II

Есть на белом свете книга под заглавием «Ночи» — не помню какие, а кажется, «Сельские ночи»,— где автор свирепо восстает против охоты и со слезами доказывает, что бедная птица, застреленная вами, жила, чувствовала и *во цвете лет своих погибла* от вашего выстрела.

Очень согласен, что каждый убитый мною бекас имел отца, мать, тетушек, бабушек, кузин — словом, огромную родню и связи, даже, может быть, имел детей, подающих большие надежды; но нимало не сомневаюсь, что котлеты, которые кушал автор «Ночей», были изготовлены из теленка, имевшего также нежно любимых им родственников; что перед ним открывалась необозримая перспектива сеноядения и созерцательных прогулок по лугам и что, может быть, в то самое время, когда автор кушал котлеты, мать означенного теленка тяжело вздыхала о своем детище, проливая горькие слезы над кустом клевера. Нет, я держу решительную оппозицию против «Сельских ночей» и готов спорить с кем угодно, что охота, и именно охота с ружьем, есть одно из лучших удовольствий деревенской жизни.

Приятно следить взором птицу в поднебесье и быть уверену, что от моего желания зависит ее жизнь, что я одним легким движением пальца могу остановить ее полет; или видеть скачущего зверя и знать, что он, несмотря на свою быстроту и силу, не уйдет от меня — и в секунду пуля, по-

сланная моим искусством, догонит и остановит его. Тут поневоле рождается в человеке гордость от сознания своего превосходства; внутреннее самодовольствие, понятное одним охотникам,— причина, отчего это удовольствие часто переходит в страсть у людей, не имеющих достаточно воли управлять собою.

И теперь еще в Малороссии и на Украйне удачный выстрел приводит народ в восхищение; но в XVII столетии, во время смут и раздоров, когда от одного выстрела часто зависели жизнь и благосостояние человека, хороший стрелок был лицо почтенное, уважаемое всеми.

Не мудрено, что весь *Старый Быхов* уважал органиста Томаша: Томаш был удивительный стрелок. Только и видели Томаша во время обедни, когда он играл на органах; обедня кончилась — его и след простыл; ищи органиста или в лесу, или в болоте...

Бывало, весною, солнце сядет, совсем стемнеет; кажется, и мухи на носу не увидишь; Томаш стоит себе на опушке леса, паф да паф — и несет полную сумку сломок (вальдшнепов). Раз народ выходил из церкви, а над городом высоко летят журавли; народ, разумеется, стал смотреть на журавлей: кто считает, а кто так смотрит. Откуда ни возьмись Томаш, уже с винтовкою, и спрашивает:

— А которого бить?

— Высоко, брат Томаш, высоко! — закричал народ.

— Мое дело знать, высоко или нет! — отвечал Томаш, подымая винтовку.

— Ну, так бей вожатого!

Томаш выстрелил — и вожатый упал на улицу.

У пана Врубельского собрались гости. Выпили по кубку, по другому, выпили по стакану, по рюмке, по чашке, по бокалу, по вазе, по башмачку панны Зоси, дочери Врубельского, и развеселились. Давай стрелять пулями воробьев. Кто промахнется — ругает ружье; кто убьет воробья — пьют за того здоровье! Не прошло часа, а уже никто не попадает в воробья.

— Что за черт? — говорят паны.— Видно, воробьи сегодня объелись чего-нибудь забористого, так и вертятся, нельзя прицелиться! А послать за Томашем: как-то он будет стрелять этих бешеных воробьев?

Пришел Томаш; что выстрел — лежит воробей! Мало этого, скажут паны: «Стреляй в голову»,— и воробей падает без головы. «Стреляй по хвосту»,— и воробей падает без хвоста!..

Едва ушел Томаш, так рассердились на него паны за удалую стрельбу; и после долго еще Врубельский отворачивался от Томаша и называл его грубияном.

Летом Томаш был у ксендза.

— Посмотри, Томаш,— говорил ксендз,— какой гадкий народ: того и гляди, весь дом спалят.

Томаш посмотрел в окно и видит: на гумне работник, молотивший рожь, сел на снопах, вырубил огня и закурил коротенькую трубку.

— Я его проучу,— сказал органист, выходя из комнаты.

Через минуту испуганный ксендз услышал в другой комнате выстрел, выбежал: стоит у растворенного окна Томаш, в руках у него дымится винтовка.

— Что ты делаешь? — спрашивает ксендз.

— Ничего,— ответил Томаш,— я проучил вашего работника: вышиб ему пулей из-под носа трубку.

Удивительный стрелок!.. И до завтра не пересказать об нем всех анекдотов. Одно звание органиста спасало его от производства в колдуны.

III

Целое лето осаждали Смоленск московско-казацкие войска, и, наконец, 10 сентября город сдался. Казаки делали чудеса храбрости под предводительством наказного гетмана, нежинского полковника Золотаренка. Царь Алексей Михайлович осыпал его подарками, жаловал ласковым словом и приглашал к своему царскому столу; счастье

улыбалось наказному гетману. Быстро он покорил Гомель, Чечерск, Пропойск, Новый Быхов, разбил у Шклова князя Радзивилла и обложил войсками Старый Быхов.

Был вечер. Золотаренко в своей ставке принимал парламентера, присланного из осажденного города. В казачьем лагере ярко сверкали веселые огни, на них кипела к ужину обычная каша, вокруг их собирались казаки покурить трубки.

Шагах в пятидесяти от гетманской ставки сидели у огня три казака; один седой, как лунь, другой с черными усами, а у третьего были усы, сказать совестно, совсем желтые! Право, желтые! Говорят, так ему бог дал. Седая голова курит трубку и рассказывает сказку, а другие тоже курят трубки, да не говорят, а только слушают.

— Невкотором царстве, невкотором государстве...

— А где это? — спросили желтые усы.

— Что? — сказала седая голова.

— Невкоторое царство?

— Известно, там!

— Ага!

— Жили-были три брата, и все три Кондрата...

— И все разумные? — спросили желтые усы.

— Погоди, скажу.

— Не забегай вперед,— ворчал черноусый.

— Нет, я так только.

— Все три Кондрата, два разумных, а третий — дурак.

— Я так и думал! — шептали желтые усы.

— Да не перебивай же! А то перестану, ей-богу, перестану, пускай тебе сорока доскажет.

— Нет, нет, говори! Я ничего...

— И утекали они из Азова...

— Отчего? — спросили желтые усы.

— Верно, в плену были,— отвечал черноусый.

— Пьфу на вас! Вот дурни! — закричала седая голова.— Говори им сказку, а сами две говорят! Хуже баб, ей-богу, хуже; чтоб на мне верхом бочонок чертей ездил,

если не хуже. Пусть вам говорит сказку пегая корова, а не добрый казак!

Седая голова расходилась не на шутку; не знаю, чем бы кончилось ее красноречие, если б другой предмет не обратил ее внимания: из ставки гетмана вышел парламентер и в сопровождении нескольких казаков отправился по дороге к городу; один из свиты отстал от конвоя и присоединился к нашим приятелям.

— А говорите, хлопцы: слава богу! — сказал он, подходя к огню.

— Ну, слава богу, Никита! А что такое?

— Слава богу! — сказали вполголоса желтые и черные усы.

— А вот что,— отвечал Никита,— завтра будем в Старом Быхове.

— Приступ?

— Сам сдается! Не станем тратить пороху.

— Неправда! — сказала седая голова.

— Горсть земли съем, что неправда,— подхватили желтые усы.

— И то хорошо,— хоть усы вычернишь, если ничего не докажешь,— отвечал Никита,— а что я сказал, то и будет.

Черноусый захохотал, расправляя свои усы.

— Вот видите что,— продолжал Никита,— я сейчас выпроводил из гетманской ставки ксендза; он приходил с повинною головою и обещал завтра на рассвете отворить городские ворота. Вот что! И мы завтра отпразднуем день св. Веры, Надежды и Любви в городе.

— Вот-то, я думаю, рад наш полковник! — сказали желтые усы...

— Страшное дело,— отвечал Никита,— полковник будто испугался, что ему сдают город завтра; даже стал отнекиваться, а сам весь побледнел. Бог весть, чем бы это кончилось, да, спасибо, московский воевода, вот тот, что везде ездит при нашем полковнике, стал говорить и то, и другое, и третье, да все так разумно, словно дьячок из киевской

грамотки читает, а полковник махнул рукой и сказал: «Я не враг царю, на то я крест целовал; завтра войдем в город — и только».

— Чудно! Чудно! — говорили казаки.

— Тут и толку не приберешь,— отвечал, пожимая плечами, Никита.

— А я так знаю,— сказал старый казак, покачивая седою головой.— Вот послушайте, хлопцы: вы люди молодые, переживете меня; может, вам и пригодится такая оказия, да только не перебивать: это не сказка, а быль.

Казаки обещали слушать внимательно, теснее сдвинулись вокруг старика, и он вполголоса начал:

— Давно уже я живу при Золотаренках; полковник и вырос на моих руках; ну, слушайте ж! Вот назад тому лет больше десятка матушка нашего полковника сильно загрустила по муже, когда старика, помните, убили крымцы. Кашляла она да охала, сохла да сохла, и вот пришло время ей кончаться.

Приобщилась покойница святых тайн и позвала Ивана (Василия тогда дома не было). Как прощалась она с ним! Все плакали! Целовала его, благословила да все одно твердила: «Не забывай, сын мой, меньшой сестры; вы с братом добрые казаки, вам горя мало, а она одна у вас сестра, да еще дитя дитею; забудешь — мои кости в гробу зашевелятся». Еще раз перекрестила сына и его жену и богу душу отдала. Похоронил полковник матушку, отправил по ней панихиды, делал обеды, как следует доброму христианину, а сестру Любку взял к себе; ей тогда было не то 13, не то 14 лет.

Очень любили полковник и жена его свою сестру, тешились ею, радовались; а она такая добрая, такая веселенькая, знай, гуляет себе, как вольная рыбочка красноперая, щебечет, как птичка господня! На что я, стар человек, а, бывало, целый день весел, когда увижу нашу панночку Любку... все любили ее — от мала до велика!

Неподалеку от нас жил польский староста; забыл, как

его звали, такой жирный, шея была толще головы; а у этого старосты был на посылках шляхтич Францишек; нечего греха таить, славный малый, молодой, высокий, чернявый, настоящий казак, если б не католицкого закона. Он часто к нам хаживал, то с тем, то с другим, от своего пана до нашего. Да вот тут уже не умею вам сказать, как они, каким средствием или способом слюбились с Любкою. И она — господи прости ей! — полюбила безродного шляхтича, да еще и католика! Вот они себе любятся, да так хитро, что никому и в голову не пришло, что они любятся.

Весною, года три после смерти полковницкой матери, я, как сегодня помню, иду себе по двору, а над двором летит пара уток, взяли да и спустились за садом на реку. Полковник, стоя на крыльце, видел это, взял ружья и пошел в сад, чтоб из-за кустов убить уток, да и говорит мне: «Данило! У меня издохла собака, поди со мною — вытащишь из воды уток».

Он всегда любил меня... Мы идем садом, а сад весь в цвету; как под снегом стоят деревья да так пахнут; соловьи, чуя, что солнце садится, перекликаются по кустам, так и заливаются над рекою! Мы все идем; уже видна и речка. Полковник взвел курок и посматривает на полку...

Вдруг он стал, стал, будто прирос к земле, и руки опустились, и глядит на черешню; посмотрел и я да и ударил об полы руками... Верите ли, хлопцы, дело прошлое а ей-богу, сидит под черешнею поганый Францишек, а наша Любка у него на коленях, обняла его и целует... и не слышит, что мы здесь!

Как волк, не в пример сказать, бросился полковник, откинул одною рукою сестру и начал душить Францишка прямо за горло. С криком схватила Любка за руки брата и просила о пощаде.

«Правда,— сказал полковник,— эта гадина не стоит, чтоб ею пачкал руки добрый казак. Бей его, Данило, нагайкою!»

Сильно я был сердит на Францишка и с радостью хлопнул его по плечам нагайкою.

Любка крикнула, а шляхтич, как заяц, бросился в кусты, оттуда в лодку и быстро уплыл по течению; только мы от него и слышали: «Помни, Иван, этот день,— мы с тобой увидимся». Полковник схватил ружье и выстрелил в догоню, да куда тебе, далеко; а ружье было заряжено дробью; только воробьев насмешил.

Глянул я на Любку: она стоит белая, как полотно, прислонилась спиною к черешне и не дышит; полковник дернул ее за руку, она и повалилась на траву, как сноп.

Только мы и видели Любку! С этого дня никто ее не узнавал: она и не плакала, и не убивалась, а только спала с лица, да чудно стала посматривать, да ходить пошатываясь, будто падать; схватится за что-нибудь рукою, постоит да и пойдет своею дорогою. А песен не спрашивай — не то песен, и речей не слышно; только, бывало, как съедутся гости да брат станет укорять ее, что полюбила католика, да начнет честить Францишка, как долг велит, и оборванцем, и блюдолизом, и всякими разными словами, где ни возьмется у Любки смелость: покраснеет, как маков цвет, подымет голову и скажет: «Убейте меня, братец, лучше разом, а не мучьте меня»; да так скажет, что полковник глаза опустит, проворчит под нос: «Как важно!» — да и замолчит.

Много сваталось за Любку великих панов — ни за кого не пошла. «Лучше,— говорит,— буду носить тяжелые камни, нежели стану называть нелюбимого милым; лучше буду есть полынь, нежели сяду ужинать с нелюбым человеком».— «За кого ж ты пойдешь?» — бывало, спрашивает полковник. «За Францишка — или в могилу!» — «За Францишка? — скажет полковник.— За того поганца шляхту?..» — и пойдет ругаться. «Не ругайтесь, братец, да велите копать могилу... мне пропоют свадебные песни дьяки... а не дружки»,— скажет, бывало, Любка и тихо

отойдет от брата. «Толкуй бабе, а она все свое!» — крикнет полковник, плюнет и уйдет.

Так прошло лето; стали опадать листья с дерев, а Любке все хуже да хуже: как свечка таяла, моя ластовка! Жалко вспомнить. Пришел день ее патрона, и мы все обрадовались, словно воскресла Любка, только что худа, а щеки горят огнем, как прежде, глаза блестят, как две звездочки.

Полковник обрадовался, принес ей в подарок и жемчугу, и турецких платков, и разных подарков; посмотрела она, усмехнулась, покачала головкою и говорит: «Спрячьте это, братец; вам на что-нибудь пригодится, а мне ничего не нужно, я умру сегодня: мне такой снился сон. Прикажите на моей могиле посадить черешню: люблю я черешню, легче мне будет в земле лежать под этим деревом. Оно зацветет весною и осыплет мою могилу белым, душистым цветом... на нем сядет кукушка и прокукует вести о вас, братец, когда вы будете в дальнем походе, и о нем... не сердитесь, братец!.. Чем он обидел вас? Что любил меня?..» — «Бабьи бредни»,— сказал полковник, выходя из комнаты.

Вечером того же дня уже Любка лежала на столе; все плакали, и сам полковник плакал, словно баба; и я плакал, ей-богу, плакал, хлопцы...

Старик замолчал и утер кулаком глаза.

— Не смейтесь, хлопцы! Когда под Варшавою мне вынимали из плеча щипцами две пули, я не поморщился — весь Нежинский полк знает, я только попросил покурить трубку,— а тут жалость взяла.

Схоронили ее, мою пташечку, и будто у каждого чего-то не стало... Полковник загрустил, роздал много добра на бедных и построил над ее могилою церковь во имя Веры, Надежды и Любви.

Вот уже несколько лет прошло, а как придет храмовый праздник новой церкви полковника, он ходит ни жив ни мертв, грустен, скучен, все богу молится. А тут завтра, в

этот самый день, нужно въезжать в город... вот что... Где ж тут быть веселу?..

— Правда,— говорили казаки. Ну, а куда ж девался Францишек?..

— Гм! Францишек! Лихой его знает! Видите, тут скоро мы не помирили с поляками, и толстый староста дал тягу туда, к своим подальше, а Францишек, сказывали люди, пошел в монахи, не в наши, а в свои, известно, в польские монахи, в католицкие.

— Понимаю! То есть не в христианские! — подхватили желтые усы.

— Спасибо, Данило,— сказал Никита, теперь всю дорогу у меня не выйдет твой рассказ из головы. Прощайте, хлопцы.

— Куда же ты? — спросил Данило.

— К жене полковника: послал известить, что мы завтра берем последний город и полковник скоро будет дома.

IV

Вечером, накануне дня святых Веры, Надежды и Любви, сидел Томаш за столом перед мискою не очень сытного картофельного супа. Рядом с Томашем сидел сын его Юзеф, мальчик лет восьми, а напротив — жена.

— Ну, суп! — ворчал Томаш, опуская ложку в миску.— Просто, если б поссорились в нем между собою куски картофеля и захотели подраться, то целые сутки один кусок не нашел бы другого... Я, слава богу, человек, да и тут ничего не поймаю... Мариська! Нет ли у нас чего получше? А?

— Все вышло,— отвечала жена,— завтра и такого не будет: в городе ничего нет; ты давно не был на охоте.

— Скверно! За город носа нельзя показать; кругом москали да казаки, пропала охота... а этого супу все-таки есть нельзя — просто вода! Цю-цю! Хайна! Не хочешь ли супу? Смотри, жена, и собака не ест, понюхала и отверну-

лась... Думаю, из порядочной палки можно бы сварить вкуснее супу. Этот картофель хуже дерева.

— И то насилу я выпросила у ксендзовой кухарки; обещала зайца зимою.

— Тятя, тятя! Я хочу зайца,— говорит Томашу Юзеф,— дай мне, тятя, зайца.

— Нету зайца, Юзя, нету, ешь суп.

— Ты сам говорил, тятя, что собака не ест этого супу и я не хочу.

— Так ложись спать.

— А где же заяц?

— Заяц в лесу, гуляет себе, ждет, пока ты подрастешь и застрелишь его.

— О! Я его сейчас застрелю; дай мне ружье, я принесу зайца; пойдем, Хайна!..— И Юзеф, соскочив на пол, начал теребить собаку за уши, приговаривая: — Пойдем, Хайна, пойдем на охоту, нам дадут хлеба на дорогу, а я после спою песню... У меня есть новая песня, тятя! Ты знаешь мою новую песню?

— Какую?.. Не знаю.

— Сегодня меня выучил монах, такой добрый. Увидел меня у ксендза и выучил петь новую песню; послушай! — Юзеф звонким голосом запел:

Miłość moja, miłość serdeczna,
Miłość moja, miłość serdeczna,
Jezus, Jezus, Marya, Józef,
Jezus, Jezus, Marya, Józef.. [1]

За дверью послышалась молитва.

— Amen! — сказал Томаш, и в комнату вошел ксендз.

— Хорошо! Молитесь богу, дети мои, молитесь,— говорил ксендз, подходя к столу,— времена трудные! Chwalcie

---

[1] Любовь моя, любовь сердечная,
Любовь моя, любовь сердечная,
Иисус, Иисус, Мария, Иосиф,
Иисус, Иисус, Мария, Иосиф... (*Пол.*)

dzieje Pana; chwalcie Imię Pańskie[1], сказал пророк Давид в 112-м псалме... А какой прекрасный голос у Юзи; поди сюда, моя крошка.

Ксендз благословил Юзефа, поцеловал его в голову, сел и начал говорить Томашу:

— А я к тебе за делом, именно пришел поговорить о твоем сыне; он будто чуял радость, что так распелся.

— Что такое? — спросил, кланяясь, Томаш.

— А вот что: ко мне пришел иезуит, голова удивительная; благословение лежит на нем!.. Он видел твоего сына сегодня у меня и хочет воспитать его, сделать из него человека.

Томаш поклонился.

— Да, пора Юзефу учиться, а то что из него будет? Разве хороший стрелок, и то — бог ведает; стрельба не всякому дается.

— Не всякому,— сказал Томаш, важно качая головою,— вот пан Славицкий, какие у него ружья! И с насечками, и с позолотою, и стреляет уже, я знаю, лет двадцать, а до сих пор порядочного выстрела не сделал; еще дробью — с грехом пополам; пугает чужих голубей у себя, на горохе, а пулею...

— То-то же,— перебил ксендз,— сам ты умный человек, знаешь это дело; а тут счастье идет прямо в руки. Монах узнал, что ты бедный человек, нашел твоего сына способным к учению и хочет его сделать великим человеком. Чего доброго, может быть, и я под старость скажу: попроси, Томаш, своего сына, пусть даст мне получше место.

— Шутите! — сказал Томаш.

— Что же тут удивительного? Будет учиться, будет верно служить ордену,— как раз попадет в бискупы.

— Куда нам об этом думать!

— Отчего же нет? Ты бедный человек, это не мешает твоему сыну быть знатным, быть кардиналом. Ты видел у

[1] Славьте дела господни; славьте имя господне *(пол.)*.

меня летом, какие цвели цветы: и красивые, и душистые, а ведь они выросли из земли, из грязи!

— Да будет воля божия! Вы лучше знаете. Когда же и как возьмет монах Юзю?

— Для этого ты приходи ко мне сегодня ночью, как ударит 12 часов; теперь он занят молитвами, а завтра на рассвете хочет уйти, так надо поговорить поскорее.

— Ах, Jezus, Marya! — сказала жена Томаша.— Как же он пройдет мимо казаков?

— Это уже не твое и не наше дело! Господь хранит избранных. Ты ложись спокойно спать, а муж твой в полночь придет ко мне потолковать об Юзе. Кто знает? Может быть, он, этот Юзя, будущий папа.

— Господи! Неужели бывали подобные примеры?..— спросил Томаш.

— И сколько! Один вышел на высокую степень оттого, что умел варить луковый суп. Я жду тебя, прощайте!

— Смотри, Юзя,— сказал Томаш, когда ушел ксендз,— не вздумай только варить начальству этого картофельного супа: с ним далеко не уйдешь.

V

Под воротами костела, в Старом Быхове, по левую руку, есть двое дверей; вторая ведет в длинный узкий коридор; в углу коридора есть еще дверь направо в небольшой коридорчик, оканчивающийся железною дверью в большую комнату со стрельчатыми сводами; в этой комнате было совершенно пусто, как и в коридоре, но в соседней с нею горел в камине огонь, против него стоял стол, на котором ярко сияла золоченая чаша, а над нею простирало руки небольшое распятие из черного дерева; далее в полусвете, в углу, лежали на скамейке какие-то железные инструменты, вроде щипцов; у камина ксендз раздувал небольшим мехом уголья, на которых стоял закрытый тигель; за столом сидел иезуит, против него стоял Томаш.

— Что же, ты решаешься? — говорил иезуит.
— Страшно, святой отец: дело нечистое.
— Не твое дело рассуждать; наше духовенство умнее тебя и дела нечистого предлагать не станет; это подвиг богатырский; ведь Самсон избивал филистимлян...
— Страшно.
— Неужели ты боишься дать промах?
— Кто, я? Нет, не бесчестите меня! Да я в двадцати шагах не промахнусь по воробью, попаду в пуговицу...
— О чем же беспокоишься? С твоей стороны один удачный выстрел — и ты прямо попадаешь в рай; святейший отец в Риме отпустит все грехи твои, и прошедшие, и будущие; твой сын будет воспитан, как сын герцога, и со временем прославит и успокоит твою старость... и все это так легко!.. Когда-нибудь, может быть, ты вспомнишь меня, стоя на паперти св. Петра между вельможами, как на великолепном троне понесут каноники твоего сына, увенчанного папскою тиарою, и весь Рим падет ниц, и в торжественной тишине только раздадутся благословения: «Urbi et orbi...» [1] Вспомнишь меня, счастливый отец, и сам посмеешься своей сегодняшней нерешительности...
— Так, если доживу... а если придется завтра же и голову положить, то бог с ним и с папою... Да будет над ним благословение божие!
— Понимаю: ты боишься последствий выстрела?
— Ваша правда.
— Не думал же я о тебе, Томаш, чтоб ты был так глуп! Как можно нам выдать своего? Видишь, здесь на угольях плавится самое чистое серебро; я из него отолью тебе священную пулю, которая поражает невидимо, неслышимо; ты можешь стрелять ею в комнате, а в другой никто слышать не будет.
— Неужели? Ах, святой отец, давно я слыхал о таких пулях! Рассказывал мне один шляхтич из Галиции, что сам

---

[1] Городу и миру *(латин.)*.

видел такого охотника: подойдет из-за куста к стаду уток, всех перестреляет поодиночке, а те и не догадываются.

— Вот видишь, ты сам знаешь. Что ж, решаешься?..

— Почему ж не решиться! Извольте, сослужу службу, только уж вы мне еще отлейте таких пуль.

— Для чего же?

— Знаете, иногда, на всякий случай, для охоты; будьте благодетелем.

— Не нужно, Томаш: твое ружье, раз выстрелив этою пулею, станет всегда стрелять без звуку.

— Да я так, пожалуй, всю дичь перебью, да я...

— Тише, сын мой! Не пленяйся земными помыслами; скоро настанет великая минута, молись!..

Все трое стали на колени: иезуит вполголоса начал читать молитву... Тихо было в комнате; однообразные тоны молитвы глухо отражались под сводами; по временам, как свирепый гад, заключенный в тигле, злобно зашипит расплавленный металл или пугливо треснут уголья и вспыхнет огонек, сверкнув синим пламенем по лицам молящихся.

Иезуит взял из темного угла и положил на стол железную форму для пули, вынул осторожно тигель и приказал Томашу молиться усерднее. Томаш, с детским страхом стоя на коленях, скрестя на груди руки, опустил голову и читал молитвы; будто сквозь сон слышал, как расплавленный металл с ропотом влился в форму, как вынутая пуля брякнула в чашу и звонко заходила по гладкому дну; машинально повторил за иезуитом страшные клятвы и опомнился тогда, когда иезуит и ксендз приказали ему встать, положили ему на ладонь блестящую серебряную пулю, испещренную латинскими словами, и запели протяжно: «Te Deum laudamus!..» [1]

Крепко сжал Томаш в руке пулю и бросился бежать домой; страшно шелестели шаги его по пустым, темным кори-

---

[1] Тебя, боже, хвалим!.. *(Латин.)*

дорам; горячая серебряная пуля жгла и шевелилась в руке; звучное «Te Deum laudamus» гремело за ним во мраке пустых сводов.

VI

Грустно было на родине полковника Ивана Золотаренко. И пышно, и торжественно, да невесело возвратился нежинский полковник в свой родной Корсунь. Впереди полковника ехала почетная стража, за ним войсковые старшины, вокруг него веяли бунчуки и значки, толпились верные казаки и народ, а сам полковник не красовался на рьяном турецком коне, не сверкал перед народом полковничьей булавою... Он лежал мертв в черном гробе; вороные кони, печально опустив до земли головы, тихо везли его. Не криками радости встречал народ своего славного земляка, а слезами и стонами. Гроб поставили в деревянную церковь, состроенную покойником; народ разошелся по домам. Долго еще оставалась жена полковника, рыдая над его прахом... И она ушла...

День был грустный, мрачный, осенний; резкий, холодный ветер гнал по небу облака, шумел и стонал в роще, срывая и крутя в воздухе желтые листья; вода в речке то синела, как вороненая сталь, то чернела, как вспаханное поле, и брызгала пеною на берег; стая галок быстро носилась над рекою, вилась над рощею и с резким, жалобным криком садилась отдыхать на куполы и кресты одинокой церкви, где лежал убитый полковник... Не один взор печально и робко посматривал на эти золотые кресты, блестевшие над темными вершинами дубов и тополей.

Настал вечер, такой же холодный, бурный, ненастный. В церкви горели свечи перед местными образами и вокруг гроба. Народу было мало: полковница с детьми, несколько человек родственников и близких приятелей. Завтра были назначены великолепные похороны; народ отдыхал в ненастную погоду в ожидании завтрашнего зрелища.

Началась вечерня; печальный напев клира порою прерывался стонами и рыданиями жены покойного; но когда все утихало, внятно раздавались в алтаре слова священника, читавшего молитвы; казалось, невидимые духи говорили эти святые, утешительные речи людям, убитым горестью, простертым во прахе перед таинственным лицом всемогущего...

На паперти стояли два казака, закутанные в широкие кобеняки [1]; они тихо разговаривали, опершись на сабли.

— Да,— говорил седой казак,— мог ли я думать, нося на руках еще ребенком нашего полковника, что мне, старику придется хоронить его!.. Я учил его и ездить верхом, и стрелять... Как теперь помню первую кукушку, которую мы с ним застрелили, то-то была радость!.. Бедный ребенок прыгал, как козленок, над кукушкою, разгорелся от радости, как наливное яблочко; не было тогда в целом округе девушки краше его, ей-богу, брат!.. Я тогда увидел, что он будет добрый казак... И правда, много мы с ним наделали бед неверным, да и много получили почестей!.. Город не город, бывало, крепость не крепость перед полковником Золотаренком!..

А под Смоленском нас как на руках не носили; царь московский души не слышал в нашем полковнике, ему и обед не обед был без Ивана Никифоровича. И кубок ему прислал царь в девять гривенок, и соболей, и бархату... Знатный был человек, а пришлось умереть, господи прости, под поганым городом Старым Быховом!.. Да еще без бою, застрелили окаянные, не в пример сказать, как тетерева!..

— Расскажи, Данило, путем, как случилась такая оказия?

— Так, брат, просто, сам не придумаю, как эта беда случилась!.. Мы, видишь, вступали в Старый Быхов... Нам и ключи вынесли, и народ встретил нас с хлебом и солью,

---

[1] Казачья одежда, вроде бурнуса, и теперь еще употребляемая в Малороссии.— *Е. Г.*

и монахи католицкие с крестами. Полковник ехал на Гнедке во всем параде, рядом с ним московский воевода; и поравнялись они с костелом; вдруг что-то щелкнуло, будто кто по воздуху арапником хлопнул или кто крепкий орех раскусил, а на колокольне взвился дымок. Мое ухо привыкло к выстрелам; я сейчас почуял, что это смертельный. Народ заволновался; гляжу: полковник шатается на седле, приложа правую руку к сердцу; я подбежал к нему, снял с коня, а кровь так и бежит у него из груди между пальцев.

«Прощай, Данило,— сказал мне полковник,— пусть меня похоронят в Корсуне, в моей церкви: да скажи жене...» — не договорил, отнял от груди правую руку, молча показал ею в толпу — отвернулся и умер!.. Я глянул туда: между народом стоит Францишек в монашеском платье и страшно смотрит на полковника... Я бросился за ним, закричал: «Лови!» — а он исчез, будто провалился. Схватили двух-трех монахов, да все не того... А тут поднялась резня! Все кричали; «Измена!» Не приведи бог, как страшно! Наши молодцы бросились на колокольню и поймали убийцу.

— Поймали! Кто ж он?

— Сказать стыдно: простой органист, Томаш!.. Как подумаешь, что храбрый полковник умер от органиста, голова кругом пойдет!..

— Уж я бы его!

— Я и сам думал над ним потешиться, выместить свое горе — а вышло дрянь.

— Дрянь?

— Превеликая дрянь! Неженка! Известно — органист: не успели хлопцы стащить его по-своему с колокольни, он уже и умер!..

— Жалко!

— Делать нечего — пошли к нему на дом; жена была у окаянного, добро было — все прахом пошло!.. И сын был, плакал, сердечный, все говорил: «Не бейте меня, дядюшки,

я вам спою песню»; я уже думал, что мне скоро жаль станет этого ребенка... и его извели хлопцы!.. Наше место свято!.. Посмотри, Никито, вон там, в темном углу церкви, налево, где схоронена покойница Любка, видишь?..

— Ничего! — отвечал Никита, смотря внутрь церкви, прикрыв глаза рукою.

— Вот же быть беде! Посмотри... вот теперь видишь, в темноте будто теплится свечка?

— Это так что-нибудь, а ты уже испугался?

— Вот еще! Мне только странно...

— Отчего же ты так стучишь зубами, Данило?

— Озяб, Никито! Поневоле, брат, застучишь зубами на этаком ветре; слышь, как воет! Никак и дождик накрапывает.

— Пойдем лучше в церковь; что здесь делать, пока вечерня кончится!

Никита и Данило вошли в церковь и тихо притворили за собою дверь. В это время еще тише отделилась от кустов, росших у самого церковного крыльца, черная фигура, неслышными шагами подошла к двери, задвинула их снаружи, потом быстро обошла вокруг церкви и скрылась в роще.

Вечерня шла в церкви. Осеннее небо было черно, как могила, и вдруг на его темном грунте встал огненный столб, свирепое пламя лилось в воздухе, веяло с ветром, кружилось с вихрями, далеко озаряя окрестность. С ужасом увидели жители Корсуня, что горит церковь, в которой стоял гроб полковника.

Толпа народа сбежалась, но никто не мог подойти к церкви, объятой со всех сторон пламенем; сильный ветер, взрывая его, уносил в воздух, то склоняя на землю, расстилал и струил по ней широкими волнами. Сначала слышны были в церкви вопли, но они скоро затихли. Страшно звонили сами колокола, будто на вечную память; огонь ревел, далеко летели искры по темному небу, а на противоположном холме народ с ужасом увидел длинную черную фигу-

ру, закутанную в мантию; она неподвижно стояла, подняв руки кверху, облитая красным светом пожарного зарева, и тогда только исчезла, когда упал свод церкви, погребя под собою прах полковника Ивана Золотаренка, все его семейство, родных и друзей.

Долго в Корсуне толковали о страшном пожаре и о привидении, которое любовалось на пожар. Даже многие смельчаки, подходившие ближе к привидению, находили в лице его что-то знакомое, будто похожее на Францишка. И вообще решили, что это козни врага рода человеческого.

А историк Коховский очень наивно приписывает это происшествие гневу мстящего провидения!

1842

СЕНЯ

Знаю, что правду пишу, и имен не значу;
Смеюсь в стихах, а в сердце о злонравных
плачу.

Князь Антиох Кантемир

ГЛАВА I

О музыкальном вечере у Гнедопегого моста

Хвастливого от богатого не распознаешь.

Народная поговорка

Когда-то, при начале весны, часу в шестом вечера, шел я по Невскому проспекту. В магазинах начали зажигать лампы.

— Что вы ко мне никогда? — сказал Макар Иванович, одною рукою останавливая меня, а другою вежливо приподнимая свою шляпу.

— Виноват, Макар Иванович, непременно постараюсь быть.

— Третий год это вы мне говорите!

— Вашу квартиру отыскать так трудно, а у меня мало времени...

— Помилуйте! Я имею, благодаря его превосходительству Александру Петровичу, казенную квартиру, в Каменном департаменте. Знаете, большой дом недалеко от Гнедопегого моста?

— А! Очень рад...

— Вот видите, рады, а ко мне никогда...

— Посмотрите, Макар Иванович, какой страшный лев.

Мы стояли у шляпного магазина Симиса. Многие, может быть, видели на оконном стекле этого магазина нарисованного льва, но видели его днем и пропустили без внимания. Не угодно ли посмотреть этого льва, как зажгут лампы: он преображается в какую-то саламандру *злато-*

огненного цвета; его зев, кажется, готов сию минуту раствориться и скусить голову первому прохожему. Его глаза сверкают адским зеленоватым пламенем так дико и свирепо... Подите сами посмотрите эту вывеску — если не боитесь страшных снов.

— На то зверь,— отвечал Макар Иванович,— сердито нарисован; должно быть, Брюллов сделал.

— С чего вы это взяли?

— Помилуйте, вы видели Помпею?

— Видал.

— Славная штука?

— Да.

— Припомните хорошенько: там есть этакая подобная фигура вся в огне.

— Да вы знаток в живописи!

— Не то, чтоб знаток, а люблю, признаться. Вот вы никогда у меня не бываете, я бы вам показал свои картинки и угостил бы вас музыкою... Приезжайте; у меня по субботам вечера.

— Вы кутите, Макар Иванович?

— Нельзя-с, надобно жить. В то время, когда вы служили в нашем департаменте, я был просто чиновник на первом окладе, а теперь, благодаря бога и его превосходительство Александра Петровича, в три года шагнул хорошо, получил штатное место и казенную квартиру — надобно жить соответственно должности и месту. Вот видите...

— Вижу. До свидания, Макар Иванович!

— До свидания. Не забудьте же: у Гнедопегого моста, спросите помощника архивариуса.

— Хорошо, не забуду.

Пройдя шагов десять, Макар Иванович торопливо вернулся и проговорил мне: «Вам скажут — дверь в углу двора,— а двери не видно. Видите: во дворе сложены дрова, но это ничего, идите за дрова, проход есть, да по лестнице придерживайтесь правой стороны, налево стоят кадки и ведра, жена экзекутора там их ставит. Не забудьте это-

го...» — И, поклонясь, Макар Иванович пустился по Невскому средним шагом между иноходью и рысцой.

Макар Иванович был человек небольшого роста, полненький, на коротеньких ножках, с круглою головою и большими глазами; вообще он был очень похож на серого попугая в форменном фраке и круглой шляпе; даже любил часто повторять людские речи, не вникая в их смысл, любил перенимать обычаи и привычки, не разбирая, хороши ли они, и при всем этом был весьма невинен в современном просвещении.

Кто служит в штатской службе, тот легко со мною согласится, что в департаментах иногда бывают минуты невыносимой скуки. Не только мелкие чиновники, но даже поседелые ветераны, которые так убедительно и так искусно толкуют о ревности, обязанности, долге, приятности и т. п.— и те длинно-длинно зевают над отношениями и сообщениями. Причину этого найти так же трудно, как и причину дурной погоды: то и другое *бывает,* и только. Судьба любит людей и потому в департаменты напускала Макаров Ивановичей; эти люди своею невинностью и вместе своими претензиями на что-то услаждают скуку департаментов. Скука когда-то свела меня с моим Макаром Ивановичем. И вот уже постоянно несколько лет он останавливает меня на улице и спрашивает: «Что вы ко мне никогда?»

На белом свете, как и в департаментах, бывают иногда для человека скучные минуты, да такие скучные, что не знаешь, куда девать себя. В этом, надеюсь, согласятся со мною все живущие... За что ни возьмешься — все из рук валится, все не ладится... Кузьма Васильевич, влюбленный по уши в Эккартсгаузена, приписывает это состояние души человека, которая растосковалась по своей отчизне. Василий Кузьмич, ревностный почитатель доктора Бруссе, говорит, что Кузьма Васильевич врет и что скука происходит от неправильного разложения соков, основанного на большей или меньшей раздражимости перепонок, а Кузьма Кузьмич, изучивший в тонкости систему Галля,

рассказывает, что в это время на мозгу человека начинает образовываться шишка скуки и что, как его тезка, равно и Василий Кузьмич, не правы. Последняя теория и мне как-то больше нравится: она, изволите видеть, проще, осязательнее, по ней поверка легче; хватил себя за голову, нашел шишку, и дело в шляпе — и знаешь причину чего бы то ни было.

Итак, по теории Кузьмы Кузьмича у меня росла шишка скуки, просто сказать, мне было очень скучно, и я во время встречи с Макаром Ивановичем ходил по Невскому проспекту, не зная, как убить время, смотрел на фонари, освещенные газом, смотрел на вывески, толкал проходящих и был *сугубо толкаем оными.* Нет, не берет: скучно! Зашел в кондитерскую: там несносно светло, пахнет шоколадом и какой-то старичок жадно глотает его, будто отроду в первый раз попробовал. На столах лежат скучные газеты; мальчики в зеленых куртках бессмысленно улыбаются; краснощекий провинциал, зевая над каким-то журналом прошлого года, невинно спрашивает: «Когда же выйдет декабрьская книжка?» Это уже верх скуки... Я выбежал из кондитерской. На башне городской думы ударило 6 часов. Сколько еще впереди времени, подумал я, куда мне деваться? Ба! Сегодня суббота: еду к Макару Ивановичу. В Петербурге пути сообщения чрезвычайно упрощены и усовершенствованы: оттого без всяких особенных приключений я через четверть часа был уже в квартире Макара Ивановича.

В передней Макара Ивановича меня поразили два предмета; освещение и сам Макар Иванович. Для освещения поставлена была на окно помадная банка, налитая ламповым маслом; на поверхности масла, как лодочка, плавал зажженный фитилек, прикрепленный к поплавку из пробочного дерева. Свет этого хитрого прибора не подходит ни к одному известному освещению. Это было что-то среднее между блеском звезд и жучка-светляка. Человек, не имеющий гривны на покупку свечи, не станет делать

вечеров. Кто не жалеет денег делать вечера, верно, не пожалеет купить в переднюю свечку. Из этого заключения легко убедиться, что фантастическое освещение передней было просто маленькая странность штатного чиновника Макара Ивановича, который при мерцании помадной банки как привидение предстал глазам моим; он был в галошах, в шинели и даже в шляпе.

— А! Это вы? — закричал он мне навстречу.— Очень рад.

— Да, Макар Иванович; я, расставшись с вами, вспомнил, что сегодня суббота, ваш день, и решился побывать у вас, не откладывая вдаль.

— Покорнейше благодарю. Вот что называется утешили! Прошу пожаловать!

— А вы куда?

— Я в театр.

— В театр?!

— Извините; и не рад, да еду; играют немцы какую-то комедию; я, вы знаете, и афишки по-ихнему не прочитаю.

— Кто же вас неволит?

— Билет есть, нельзя! Поезжай, Макар Иванович!

— Я вас не понимаю: вам и ехать не хочется, и по-немецки вы не знаете, а взяли билет и едете.

— Нельзя! Вот видите: сегодня мне подарил этот билет начальник отделения. «Мне,— говорит,— ехать некогда, а деньги за билеты заплачены, все равно пропадут». Я уже дома рассмотрел, что пьеса будет немецкая, а делать нечего, неравно обидится; надобно сходить. До свидания!

— И я с вами пойду до улицы.

— Помилуйте! В три года собрались раз побывать у меня, да и не посидите!

— Что же я у вас стану делать?

— Милости прошу, пожалуйте в гостиную, не соскучитесь; там у меня уже есть три гостя; они сейчас только при-

шли; прошу *до компании.* Я там оставил на столе бутылку мадеры, и сейчас к вам явится музыка... Мое почтение! Боюсь опоздать...

Предложение Макара Ивановича было так оригинально, так нелепо, что я решился сделать ему удовольствие, просидеть час-другой с его гостями.

В так называемой гостиной были три человека: один в очках, которого называли Семен Иванович, другой — маленький, горбатый чиновник, в белом галстухе, а третий чиновник с табакеркою.

Семен Иванович сидел на диване, протянув во всю его длину свои ноги, обутые в сапоги с острыми носками. Чиновник с табакеркою раскрыл табакерку и, омочив палец в мадеру, с большим усилием стряхивал с него вино в табак, а горбунок в белом галстухе стоял среди комнаты, ноги врозь, левая рука в кармане, а правая держала рюмку мадеры.

— Что, какова погода? — спросил меня чиновник с табакеркою так важно, с таким участием, будто он целый месяц не выходил из комнаты и будто с минуты на минуту ожидал своих кораблей из-за моря.

— Ах, какой вы смешной человек,— перебил чиновника с табакеркою Семен Иванович,— сейчас пришли и спрашиваете о погоде: в пять минут она не может перемениться.

— А почему не может? — спросил очень хладнокровно чиновник с табакеркою.

— Странный вы человек! Ну, атмосфера не какая-нибудь игрушка, которую взял так да и начал вертеть как угодно. Здесь, может быть, и кислород, и другое что не позволит...

— Какой это кислород, Семен Иванович?

— Кислород — простая вещь, постоянный двигатель, то есть, элемент; он всегда в воздухе: вы вздохнули — и его втянули.

— И это не вредно?

— Напротив, очень здорово. В больницах нарочно делают кислород: льют уксус или что-нибудь кислое на горячую плитку — вот вам и кислород.

— Понимаю.— И чиновник с табакеркою выпил рюмку мадеры.

— Да, да! Так, так! Учение — свет! — говорил горбунок, хлопая ртом.— Вот я захвачу полон рот воздуха — и, ваша правда, Семен Иванович, точно чувствую кислоту на языке. Я этого до сих пор не замечал.

Целый вечер после того горбунок только и делал, пил мадеру и хлопал ртом, приговаривая: «Да, именно так, чувствительная кислота...»

— Значит, у вас там, на родине, много кислорода, если вы едете туда для поправления здоровья? — спросил человек с табакеркою.

— Чистейший кислород!.. «Как вы счастливы! — говорит мне княгиня Софья Петровна.— Едете наслаждаться таким воздухом». Да ведь они всегда так, эти вельможи.— Позвольте попросить приз табаку?.. А! Порядочный табак! Я вообще имею привычку нюхать французский; у князя Сержа удивительный, настоящий французский, что называется пикан.

— Нет, я под этим названием не нюхаю. Вы надолго изволите ехать?

— На 28 дней.

— Расчетливо в рассуждении жалованья!

— Помилуйте, на что мне жалованье? Я камердинеру плачу почти столько же, хоть граф Поль и ворчит на меня: «Опомнись, брат Сеня, ты всех людей перебалуешь», да я всегда ему отрежу: «Полно, Поль, не твои деньги; ты граф, а я так себе человек, люблю наказать, люблю и помиловать». Нет, а в деревне долго жить прискучит — прах ее возьми! — как говорит князь Серж.

— Но у вас есть родители; они, верно, вас скоро не выпустят из деревни.

— Да что я у них буду делать? Смотреть, как косят сено,

или пугать воробьев по саду? Воображаю я этих провинциалов! К ним придется известный стишок:

И не с кем танцевать, и не с кем молвить слова!

Нет, слуга покорный! Приеду, поучу стариков уму-разуму — недаром же я слушал курс юридических наук,— брошу тысячу, другую, да и назад. Удивлю княжну Верочку: нечаянно явлюсь на бал к минеральным водам. А старики не изволь шуметь: с вечера уложу свои вещи, пошлю на всю ночь в город за почтовыми лошадьми, а сам после ужина скажу: «Итак, любезные родители, я завтра должен ехать! (Разумеется, это их ошеломит). Да, завтра я решился, а потому не угодно ли вам со мною проститься: заря не застанет меня под вашим кровом. Прошу вас не беспокоиться рано вставать: это может повредить вашему здоровью, и для меня двойное прощанье тягостно». Обниму стариков и назавтра уеду. Это очень просто.

— А если вас не пустят?

— Я им скажу: обязанности службы, долг, ревность и тому подобное; и если закапризничают, просто скажу: *еду, да и только,* потому что хочу ехать. Слава богу, я, кажется, sui juris [1], могу располагать собою!.. Я, кажется...

— Позвольте,— перебил его чиновник с табакеркою,— позвольте попросить вашего табаку; мне бы желалось понюхать под штемпелем, о каком вы упоминали.

— Извините, почтеннейший! Не взял с собою, да и редко беру, признаться. У меня золотая табакерка очень тяжела, носить не спокойно. Правду говорит барон Кикс: маленькие безделушки тяготят человека более важных дел. Притом же, я постоянно нюхаю, когда занимаюсь литературою. Всякий день, возвращаясь с бала, я имею обыкновение немного сочинять — не стихами, нет! — бог избавил меня от подобного безумия,— а прозою... Приедешь домой, голова еще кружится от ароматической, благовон-

---

[1] Вправе *(латин.)*.

ной, сверкающей, можно сказать, атмосферы бала; еще чувствуешь пожатие атласистых ручек, видишь живо беломраморные шейки и плечики; еще горят щеки, наэлектризованные в бешеном вальсе легким прикосновением роскошных локонов; в устах еще не замер робкий шепот аристократок, назначивших мне rendez-vous [1]. Скорее за перо — и верите ли? Иногда пропишешь часа три, четыре — так и льется, да все такое грациозное, грандиозное: предо мною возникают гиганты, исполины, графы, князья — все это ново, с иголочки, по последней моде; тон, манера!.. Я сам иногда удивляюсь, как прочту спустя неделю свое писанье — откуда что берется?! Просто вдохновение: его не купишь и не сделаешь! — говорит маркиза Брамаре.

— О ком это вы говорите? — спросил чиновник с табакеркою.

— О вдохновении.

— Понимаю: вы опять о своем вдохновении; то есть, как мы вдыхаем в себя с воздухом кислород?

— Помилуйте, какой тут кислород! Вы меня не понимаете... Я вам говорю о состоянии души, а вы...

— А я вам скажу, Семен Иванович, что как заговорит ваша братья, ученые, то лучше не слушать — ничего не поймешь... А ты здесь уже, Григорий? Сыграй-ка мою любимую.

Последние слова чиновника с табакеркою относились к человеку, одетому в форменный солдатский сюртук, темно-зеленого цвета, с красною выпушкою по швам и с медными пуговицами. Во время громкой болтовни Семена Ивановича этот человек тихо вошел в комнату и стал у двери, держа под мышкою скрипку, а в руках смычок, что давало право сильно подозревать его в музыкальном таланте... И точно, не успел еще чиновник с табакеркою окончить своей просьбы, как человек в солдатском сюртуке словно

---

[1] Свидание *(фр.)*.

по команде вскинул скрипку к подбородку, махнул смычком — и послушные струны запели довольно фальшиво двойными нотами мотив известной песни:

Как на матушке на Неве-реке,
На Васильевском славном острове.

Семен Иванович в полсвиста аккомпанировал Орфею Каменного департамента, а чиновник с табакеркою спрятал на время табакерку в боковой карман, оперся локтем на стол. склонил голову на руки и задумался.

Музыкант проиграл песню, дернул три раза смычком по струнам, отчего вышла проба в аккорде G dur, и, опустя скрипку, стоял самодовольно.

Чиновник, вынув табакерку из бокового кармана, начал говорить:

— Право, хорошо, Григорий!.. Чувствительно и приятно — люблю я эту песню! Помню, еще я был мальчиком, мы жили в Гавани. К моему батюшке, бывало, соберутся ластовые, усядутся летом в садике да как грянут!.. Душе весело!.. Или как был женихом: бывало, зайду на Петербургской стороне к моей Марье Ивановне; так приятно: пьем чай; ее матушка в очках вяжет чулок, а я возьму гитару и затяну:

Как на матушке на Неве-реке...

И Марья Ивановна, бывало, подпевает... Гитара в руках, и слышишь такое удовольствие... Вот уж и жены пять лет как не стало, а все слышу ту же песню... Добрая песня!.. Задушевная!..

Чиновник махнул рукою и опустил на грудь голову.

— Не играешь ли ты чего-нибудь из Мейерберга? — спросил Семен Иванович.

— Не могим знать, ваше благородие.

— Он даже нот не знает! — сказал чиновник с табакеркою.

— Неужели?

— Смею вас уверить. Это департаментский сторож; служил прежде в солдатах и сам по себе дошел до этакой игры.

— О, русский человек имеет высокое предназначение! Стоит соскоблить с сердца простолюдина его духовную шелуху, то есть срезать с души эту накипь невежества, как говорит один мой задушевный друг, известный наш литератор; вылощите, вышлифуйте русские умы — и нравственные великаны возникнут из праха... Ну, гениальный Григорий! Сыграй теперь что-нибудь повеселее, так, для танцев.

Сторож сыграл вальс из «Фрейшюца».

— Превосходно! — кричал Семен Иванович.— Не играешь ли ты мазурки Шопена?

— Никак нет.

— Как это можно не играть! Ни одной мазурки Шопена? Это срам не играть Шопена!

— Чьи мазурки вы изволили сказать? — спросил чиновник с табакеркою.

— Шопена!..

— Шопена? Я первый раз слышу.

— Помилуйте! Все без ума от Шопена... Человек пятнадцать в высшем кругу в Вене насмерть затанцевались под эти волшебные мазурки... «Я предпочитаю мазурки Шопена мороженому из фисташек»,— говорила мне еще вчера баронесса, а баронесса по своему темпераменту не может жить без мороженого... Третьего дня супруга его превосходительства, тайного...

— Отчего же они так хороши? — перебил Семена Ивановича чиновник с табакеркою.

— Отчего хороши? Они просто прелесть: этакие сочные, жирные, мясистые!

— Это уж слишком,— сказал чиновник с табакеркою, голосом обиженного человека,— вашим ученым языком вы можете говорить как вам угодно, я не в претензии; но в глаза дурачить себя, я не позволю. Кто таки где видал

мясистую мазурку? Танцевать их, пожалуй, могут особы всякой комплекции, но чтоб были мазурки жирные...

— Вы не понимаете, милостивый государь, что значит сочная мясистая мазурка?

— Позвольте вам напомнить, что, доживя до седых волос, я всегда разговаривал на российском диалекте и понимаю русские слова; сосиски сочные, мясистые бывают — это понятно, а мазурки... извините меня...

Я, видя, что дело принимает довольно серьезный оборот, и не хотя быть свидетелем полемики, взял шляпу.

— Не уходите! — закричал Семен Иванович.— Вот я только докажу им о мазурке — и мы поедем вместе; у меня свой экипаж.

Я поблагодарил Семена Ивановича за предложение, извинился перед ним и вышел.

В интервале между дровами и подъездом, ведущим к Макару Ивановичу, стояли старые дрожки; в них была запряжена дюжая водовозная лошадь; на козлах сидел мальчик в сером армяке и картузе.

— Это экипаж Семена Ивановича? — спросил я.

— Я привез их; а экипаж не ихний, а от Марка Петровича, княжего дворецкого; Семен Иванович учат у Марка Петровича сынка, так вот Марк Петрович и дают по вечерам ездить эти дрожки да какого-нибудь разъезжего коня...

Я уже был у ворот, а словоохотливый мальчик все еще проповедовал с козел о своих дрожках, о лошадях и в особенности о Марке Петровиче.

ГЛАВА II

Биография Сени

Где ступишь, там цветы алеют
И с неба льется благодать.

Н. Карамзин

Из всех уездных должностей, по моему мнению, самая выгодная, занимательная — должность уездного почтмейстера. Место почтмейстера — место спокойное, квартира казенная, теплая. А сколько любопытного переходит чрез его руки... Человек, наклонный к статистике, будет служить без жалованья на почтмейстерском месте! Почтмейстер знает, кто в уезде с кем переписывается, кто пишет в столицу и как кому отвечают из столицы, знает, кто сколько посылает денег в банк, знает, кто и как платит проценты в приказ,— все знает и из всего может вывесть очень основательное логическое заключение. Сколько он может прочесть журналов, получаемых богатыми помещиками в уезде! Сколько может узнать разных новостей!.. Даже имеет право распечатать посылку, адресованную на имя уездной щеголихи, и пересмотреть прежде нее все милые наряды, которыми она станет щеголять на бале у предводителя... Счастливец! Он имеет право трогать своими руками, пахнущими сургучом, эти бусы, созданные обвивать лилейную шейку; перебирать пушистое боа, которое будет живописно трепетать на роскошной груди; чего доброго, может, для шутки наденет берет с райскою птичкою, под которым зароится в головке красавицы много очаровательных дум о «нем»; он осмелится равнодушно брать в руки сережки, будущие свидетельницы и поверенные робкого шепота любви... Несносный человек! И все-таки счастливец!.. Притом же он в городе единственная власть по почтовой части — один, как судья, как исправник, как городничий. Он имеет право резать хвосты негодным почтовым лошадям и может, если захочет, оказать пособие

проезжающим. Последняя причина познакомила гороховского почтмейстера Ивана Яковлевича Лобко с княгинею Плёрез.

Это случилось в 18... году. Иван Яковлевич был в городе Горохове почтмейстером, имел жену, сыновей: Сеню, Митю, Гришу, Сашу, и дочерей: Лизу и Клавдочку. Самому старшему Сене, было восемь лет. Княгиня Плёрез была женщина лет 35-ти, нехороша собою, черноглазая, черноволосая, с резким голосом, живыми манерами и довольно плоскою грудью. Она пять лет как овдовела, не имела детей и беспрестанно о чем-то вздыхала и плакала; гороховский городничий говорил, будто он видел у нее в экипаже книжку, под заглавием «Бедная Лиза», но жена исправника этому не верит. Каждую весну по смерти мужа княгиня Плёрез ездила из своих северных деревень или из столицы в Киев на богомоленье, и молилась там, и плакала о супруге, и гуляла в казенном саду до осени, когда даже и войска, стоявшие под Киевом лагерем, оставляли свои палатки и брели по зимним квартирам.

В одно из подобных обратных путешествий на север княгиня, приехав в Горохов, узнала, что нет лошадей на станции; вмиг ее влажные глаза засверкали гневом; она закричала на смотрителя, прогнала в гневе писаря и послала ливрейного лакея за почтмейстером. Иван Яковлевич знал свою обязанность: надел мундир, прицепил шпагу и явился, как лист перед травой, перед княгинею. Княгиня кричала; почтмейстер второпях сказал ей какую-то отчаянную лесть — княгиня заговорила октавою ниже; ободренный почтмейстер еще сказал комплимент — княгиня улыбнулась и вздохнула: почтмейстер объявил, что если через три часа не будет лошадей, то он готов повезть ее сам на себе, а между прочим, в ожидании этого процесса, просил сделать ему честь откушать у него чашку чаю. Княгиня согласилась, и чрез несколько минут в гостиной почтмейстера на диване сидела княгиня; рядом с нею в чепчике с желтыми лентами жена почтмейстера; против стоял

почтмейстер, как следует, в мундире, с треуголкою под мышкой. Княгиня вздыхала и говорила нежности; почтмейстерша поправляла на себе платочек, сжимала губы и подбирала слова, самые учтивые для ответов ее сиятельству, а почтмейстер осыпал дорогую гостью комплиментами, вынесенными в отставку покойным его отцом из службы в легкоконцах.

Когда княгиня изволила кушать вторую чашку чая, вбежал в комнату сын почтмейстера, Сеня, свежий, здоровый, румяный мальчик с большими голубыми глазами.

— Ах, какой амурчик! — сказала княгиня...

— Это, с позволения сказать, наш старший сын,— отвечал почтмейстер.

— Вы имеете детей? Как это мило!..— И княгиня вздохнула..

— Как же-с! Не оставил бог. Четыре сына и две дочери... Жена! Представь ее сиятельству...

Зашевелились от удовольствия желтые банты на голове у почтмейстерши: она вышла и скоро явилась, насильно ведя обеими руками двух мальчиков, которые сквозь слезы косились на гостью; за нею рябая девка вела одного мальчика и несла грудного ребенка; за девкою кормилица несла еще одного ребенка. Вся процессия двинулась на княгиню; почтмейстер называл каждого ребенка уменьшительным именем, пояснив, что последние дочери — двойни...

Скоро дети расплакались и были вынесены вон. Остался один Сеня. Он стоял возле княгини; она тихо склонила его кудрявую головку к себе на колени и, перебирая своими нежными пальчиками шелковистые волосы ребенка, с улыбкою смотрела в его голубые глаза.

Говорят, будто брюнетам всегда нравятся блондинки, а блондинам — брюнетки, а основывают эту гипотезу на взаимном влечении противоположностей в природе. Так ли, не так ли, а смуглой княгине полюбился беленький Сеня.

— У вас хорошая должность? — спросила княгиня.

— Какая хорошая, ваше сиятельство! Только с копейки на копейку перебиваемся: городишко небольшой, всего двести пятнадцать обывательских дворов, две церкви и три ярмарки, да и те бог знает в какую распутицу: ни ходить, ни ездить; евреи по колено в грязи продают пряники — смотреть прискорбно...

— Как же вы станете воспитывать свое семейство?

— Бог милостив: благословил детьми, даст и способы пристроить. Отдам в уездное училище; у нас смотритель человек очень ученый, Агамемнон Харитонович Линейкин... Вот он идет по улице, этакой с усами, в голубом сюртуке. Прикажете позвать?

— Оставь его.

— Слушаю-с, ваше сиятельство. Из училища определю в уездный суд или казначейство; будут служить — без хлеба не останутся.

— Фи! И ваш миленький Сеня станет марать ручки гадкими уездными чернилами?

— Это ничего: чернила легко и удобно отмываются...

— Нет, он достоин лучшей участи. У вас много детей, а у меня ни одного: отдайте мне вашего сына: я его возьму с собою, воспитаю как своего сына. Пусть он вам под старость будет подпорою и утешеньем.

— Изволите шутить, ваше сиятельство...

— Нет, я не шучу; я очень понимаю чувство родителей, хоть бог не допустил меня испытать это чувство, и не стану играть им. Я говорю не шутя.

Княгиня поцеловала Сеню и заплакала.

Добрая женщина!

Почтмейстер потолковал с женой и согласился отдать Сеню на воспитание доброй княгине. Тут вышла семейная сцена. Отец и мать плакали от удовольствия и называли княгиню «сиятельною благодетельницею». Княгиня, в свою очередь, плакала, называла почтмейстера и жену его великодушными родителями, которые для счастия дитяти

жертвуют удовольстием его видеть возле себя, и уверяла, что отроду не плакала такими приятными слезами. «Это не слезы,— говорила она,— это алмазы моего чувствительного сердца...»

— Бриллианты, ваше сиятельство! — воскликнул почтмейстер, утирая глаза пестрым бумажным платком.

Княгиня, разумеется, заночевала у почтмейстера, и когда все в доме уснуло — кто убаюканный светлыми мечтами о будущем, кто материально угощенный радостным почтмейстером; — одна женщина не спала в доме — старушка, няня Сени; она при слабом свете ночника стояла у изголовья своего спящего любимца и старалась насмотреться на него. «Ты молод еще, дитя мое ненаглядное,— шептала она,— а я стара, не увижу тебя больше, мой голубчик; вырастешь, даст бог, приедешь большим барином, а меня уж давно засыплют землею!.. Хоть бы посмотреть еще раз на тебя привел господь!.. Выносила на своих руках, а тут берут чужие люди!.. Доведут ли они тебя до добра, мое сокровище?.. Хоть добрые, а все чужие!.. Провожаю тебя на вечное расставанье, словно в могилу ложусь... Спит себе! Известно: дитя, не знает, что его завтра далеко увезут, надолго!.. Еще и улыбается, мое золото!» И няня осторожно целовала спящего ребенка, и робко крестила его, и тихо плакала.

Да еще плакал на кухне камердинер княгини, оттого что был очень пьян.

Наутро весь город с изумлением узнал, что княгиня ночевала у почтмейстера; все гороховцы пришли в движение: заседатель по питейной части еще до восхода солнца раза три прошел мимо ворот Ивана Яковлевича и тщетно дразнил собак, чтоб вызвать кого-нибудь для расспроса. Жена градского головы была счастливее; она сразу поймала босую девчонку, бежавшую на рынок за баранками, и расспрашивала ее минут десять, а после сама рассказывала городничихе слышанное часа полтора. Но когда гороховцы узнали об отъезде с княгинею почтмейстерского сына, то,

забыв всякое приличие, осадили ворота Ивана Яковлевича, как греки Трою, и, чуть карета ее сиятельства, сопровождаемая благословениями и поклонами, выехала со двора, толпою хлынули в дом, поздравляли, обнимали хозяина и хозяйку и предрекали Сене или жезл фельдмаршала, или губернаторское место.

— Эх, господа! — говорил Агамемнон Харитонович.— В местах ли дело! Оно, конечно, почет; но главное: образован-то как будет — вот главное! Не для того жить, чтоб есть, а для того есть, чтоб жить! — писали философы... Столичное образование не то, что наше. Тут и рад бы, да средств нет... Потолковать бы из физики вот так тебя и тянет, а он грамоте не смыслит — толкуй с ним!.. Эх, беда ученому!.. Вы счастливы, сугубо счастливы, почтеннейший Иван Яковлевич; теперь на радостях не худо бы и закусить.

— Ваша правда,— сказали гости в один голос.

ГЛАВА III

Продолжение и конец биографии

> Чтоб не измучилось дитя,
> Всему учил его шутя.
>
> *А. Пушкин*

По приезде в Петербург княгиня делала визиты и недели две не видала Сени; потом вспомнила, приказала его принесть, расцеловала и дней десять с ним нянчилась, пока не получила от кузины в подарок прекрасного зеленого попугая с красным хвостом. Новый пернатый любимец вытеснил из сердца княгини своего соперника, тоже двуногого, но без крыльев — почтмейстерского сына,— и Сеня отдан был в какой-то пансион. Месяца два спустя княгиня навестила Сеню, нашла его очень худым и бледным, расплакалась и объявила содержателю, г-ну Ютржбицкому, что возьмет мальчика из пансиона, если его будут изнурять подобным образом. Ютржбицкий был, что называет-

ся, тертый калач,— когда-нибудь мы поговорим о нем подробно,— он униженно раскланялся перед княгинею, сказал, что хотел сделать из Сени математика, но теперь, понимая желание княгини, постарается приготовить его по известному направлению, проводил ее без шапки до кареты, сам отворил дверцы и просил пожаловать через месяц посмотреть на воспитанника.

И точно, в самое короткое время Сеня опять стал так же румян и свеж, как был в благословенном Горохове. Чудесный человек Ютржбицкий! Он постиг чувствительность княгини и переменил совершенно с Сенею метод воспитания: когда другие воспитанники пансиона сидели над уроками, Сеня гулял на вольном воздухе: все его занятия ограничивались русскою грамотою и началами арифметики, и то ad libum [1]. Гимнастические упражнения, возбуждая аппетит, еще более способствовали укреплению тела. Ютржбицкий образовывал физического Сеню и образовывал с знанием дела. А нравственный Сеня? Ну, да какое до этого дело! Княгиня платила хорошо; княгиня не любила желтых испитых рож — и Ютржбицкий делал ей угодное.

Нечувствительно прошло несколько лет, Сене стало шестнадцать, и Сеня был очень хорошенький мальчик или юноша, коли угодно: его голова была кудрява и шелковиста, как у ребенка, но в глазах светил недетский огонь; его полное, румяное личико было свежо и нежно, как у девушки, но на верхней губе, щеках и подбородке, как на зрелом персике, пробивался густой пух; из высокой груди Сени вылетали недетские звуки; он говорил звучным контральтом. Сеню взяли из пансиона.

Сеня был жив, резов; все в доме кланялись перед Сенею; воля Сени была законом для всех; княгиня очень любила Сеню; ни одним попугаем так не занималась она, как своим воспитанником.

---

[1] По желанию *(латин.)*.

— Ах, какой ты ребенок! — говорила она часто, как взяла Сеню из пансиона.— Разве так платят дети за любовь своим родителям? Ну, поди сюда, назови меня мамашею, обними меня.

Сеня, робко опустив глаза, обнимал маменьку...

Добрая княгиня!

Излишняя доброта не ведет к добру. Скоро Сеня сделался дерзок, горд, груб с окружающими его, даже и с самою княгинею; выучил попугая браниться, читал Поль-де-Кока, расписывал сонным лакеям рожи, даже поил ликером любимую моську княгини, и за все это добрая женщина драла за ухо своего воспитанника.

Однажды княгиня сказала ласково Сене: «Ты, мой друг, принят в университет; учись, Сеня; со временем ты должен быть подпорою старости твоих родителей; каждый день поутру ты будешь ездить на лекции, а вечера можешь проводить по-прежнему дома, в обыкновенных занятиях».

И вот ежедневно гнедой рысак начал возить Сеню в университет и из университета.

На всех возможных разгульях явилось новое лицо, очень веселое.

Однажды Сеня возвратился домой раньше обыкновенного; или не было лекции, или он сократил ее по каким-нибудь не известным мне причинам. Сеня вбежал в спальню княгини; там была только одна горничная. Вы согласны, что горничные бывают прехорошенькие? Горничная княгини, восемнадцатилетняя Маша, розовенькая, живая, веселая, с вечною улыбкою, показывающею ряд беленьких ровных зубов, особенно была хороша теперь: она на досуге пришпилила себе на голову райскую птичку, стояла перед трюмо, строила себе глазки и улыбалась...

— Мамаша дома? — спросил Сеня, вбегая в комнату.

— Уехали гулять,— отвечала Маша, отскочив от трюмо, и, краснея, начала снимать с головы птичку, но птичка, как нарочно, запуталась в волосах и не хотела оставить хорошенькой головки.

— Хочешь, я тебе помогу, Маша?

— Нет, нет, оставьте!

— Какая дурочка! Погоди, я сейчас отколю.— И Семен Иванович медленно, будто нехотя, начал отшпиливать птичку.

— Куда же уехала мамаша в такую дурную погоду?

— Не знаю-с; видно, им хорошая погода.

— Отчего?

— Так-с, Аргонавт Макарович такой занимательный...

— Как? Аргонавт Макарович? Вот это усатое чучело?

— Что вы, чучело! Такой молодец! Такой плечистый!..— Маша захохотала...

— Княгиня с ним поехала? Да он, кажется, всего раз был у нее, как привез из Валдая письмо от ее кузины.

— Слава богу! Вот уже месяц почти каждое утро ездят гулять вместе.

— Вот что!..— Семен Иванович потихоньку засвистал.

— Да скоро ли вы кончите?

— Сейчас, сейчас, Машенька! Какая ты хорошенькая...

— Полноте пустяки-то болтать! Оставьте!

— Премиленькая!..

— Пустите! Кто-то идет. Несносный!

— Вздор!..

Семен Иванович быстро схватил Машу за подбородок, приподнял ее голову и звонко поцеловал.

— Ах!..— пропищал за ним знакомый голос

— Cet homme a des entrailles! [1] — проревел бас. Убегая, Сеня взглянул назад: княгиня стояла бледная, взволнованная. Ее держал под руку усатый человек в венгерке.

Вечером того же дня дворецкий княгини, Марк Петрович, объявил Семену Ивановичу, чтоб он к завтраму оставил дом княгини. «Вы, дескать, сказали ее сиятельство,— говорил дворецкий,— уже довольно образованы и можете

---

[1] Это дерзкий человек! *(Фр.)*

сами искать себе хлеб; а лета ваши такие, что ей, как вдове, не пристало вас держать; да и вам-то скучно жить здесь: вы человек молодой».

— Очень рад! — отвечал Семен Иванович.

— Слушаю-с. Княгиня приказала оставить при вас все ваши вещи и платье; так куда прикажете их перевезть? Я пригласил уже подводу.

— Куда?.. Куда-нибудь!

— Смешно рассуждаете, Семен Иванович!..

— Что?..

— Не извольте горячиться; я вам добра желаю и из жалости хочу, то есть, войти в ваше положение...

— Я сейчас пойду к княгине... и...

— Ее сиятельство приказали сказать, что для них очень прискорбно расставаться с вами, оттого она уехала в театр и надеется, возвратясь, с вами здесь не встретиться.

— О-го! Какая чувствительность! И, верно, уехала с этим усатым валдайцем!..

— Не ваше дело.

— Да, да! — говорил Семен Иванович, сам с собою, ходя по комнате.— Их воля, они sui juris! Да, проклятые Аргонавты... где нашли Колхиду! Вот разгадка мифа! А еще профессор ломает голову... И лучше, прах возьми! Бегу из этого дома! И слава богу! Еду!..

— Куда же вы поедете? Здесь город столичный; никто ничего даром не дает, и в комнату даром не пустят. Много ли у вас денег?

— А тебе какое дело?

— Верно, есть, когда спрашиваю, Семен Иванович. А я знаю, что немного; дай бог, как рублей десяток-другой наберется — вы человек небережливый. Правда моя? То-то же. Молчите? Вам надобно служить, Семен Иванович! Хотите, я вам достану место? Не смейтесь, Семен Иванович! Наш брат, простой человек, подчас делает больше иного знатного; поживете, увидите! Золотой стрелке честь: она, дескать, время показывает, а ее-то толкает железная

пружинка, только пружинки не видно... Хотите, завтра же вас определим, а то вам негде будет головы преклонить; вы же дитя барское, к нужде не привычное...

— Пожалуй! Делать нечего.

— Извольте; но вы с своей стороны не откажите и мне в услуге. Когда вы сейчас говорили сами с собою, я многого не понимал: вы говорили хорошо, по-ученому, известно: ученье свет, мы люди темные. Вот я и подумал: у меня растет сынишка Федька и грамоту уже знает, не поучили ль бы вы его уму-разуму? Я за это уж вам доставлю местечко. У меня есть хороший приятель, Иван Иванович Баллада; он служит столоначальником по счетной части; вот тут же недалеко от нас в казенном доме и квартирует; если вы согласны, мы сейчас же можем сходить к нему поговорить о месте.

Семен Иванович молчал.

— Куда же прикажете перевезть ваши вещи? — спросил хладнокровно дворецкий.

— Нет, пойдем, братец, лучше к Балладе.

— И давно бы так!.. Да, вот я еще хотел вам сказать, Семен Иванович. Извольте видеть, было время, вы на меня покрикивали *ты* и даже часто называли седланою коровою... Ну, бог с вами, это было время, а теперь другое: когда вы были ребенок, известно, балованное дитя, для потехи ее сиятельства, а теперь вы, слава богу, уже человек взрослый. Со стороны подумают об вас худо, скажут, что вы и седин не уважаете... Я же, слава богу, человек пожилой; недавно купил домик на Петербургской стороне у отставного камер-музыканта Фейфа, с огородиком и кустом сирени,— может, вы заметили в Двусторонней улице? И надзиратель у меня бывает, и сама княгиня говорит со мною уважительно...

— Хорошо, хорошо, пойдемте, почтеннейший Марко Петрович.

— Пойдемте, любезнейший Семен Иванович! Ваши вещи я прикажу перенести в мою комнату: вы у меня пере-

ночуете; а когда приедет княгиня из театра, я доложу, что вы съехали и очистили покой.

— Я знаю Балладу уже более двадцати лет,— говорил дворецкий Семену Ивановичу, идя по длинному коридору казенного дома,— тогда еще он пел альтом в каком-то хоре, и с тех пор наша дружба не прекращается; я ему доставляю иногда игранные ноты с флигеля ее сиятельства... Веселый человек! А притом и деловой, учит петь двух дочек какого-то значительного человека,— да, что хочет, все делает — уважительный человек! Слышите ли?

В это время в углу коридора раздалось: фа-соль! фа-соль! И после октавою выше: фа-соль! фа-соль!...

— Это сам Иван Иванович пробует свой голос. Вишь, как звенит!

При этом слове Марк Петрович отворил дверь из коридора прямо в маленькую комнату. В комнате против двери сидел на диване толстый человек в пестром жилете и белом галстухе с манжетами, держа на коленях маленькие клавикорды аршина полтора длиною; за ухом у него торчало гусиное перо, на носу зеленые очки, в правой руке был карандаш, в левой — лист бумаги. Иван Иванович смотрел на бумагу, бил карандашом по двум клавишам и вопил: fa-sol!

Иван Иванович очень хорошо принял Семена Ивановича, обещал завтра утром на уроке у его превосходительства похлопотать о месте и просил наведаться завтра же часу во втором в департамент.

Ночью Семен Иванович имел время поразмыслить, впервые оглянуться вокруг себя и увидел, что ему нельзя существовать без службы. Но сдержит ли поющий скворец Иван Иванович свое слово? Сомнение закралось в душу Семена Ивановича: в нем родилась какая-то недоверчивость к себе и к своему покровителю, словом, он был в положении человека, ищущего места. Вы счастливы, читатель, если не испытали этого положения! Благословляй-

ге судьбу свою и пожалейте о Семене Ивановиче, который робко прочел надпись: *департамент такой-то* и медленно, решительно взялся за чисто выполированную ручку департаментской двери.

— Прощайте, Семен Иванович; может быть, никогда не увидимся!..

Быстро оставил Семен Иванович департаментскую ручку, будто она обожгла его, и оборотился: перед ним на тротуаре стояла Маша.

— Машенька, что с тобою?

— Отправляют по пересылке в Саратовскую губернию на фабрику...— отвечала Маша, хотела улыбнуться — и заплакала.

— За что?

— Все через вас... вот видите...

Она не договорила, пошла, оглянулась на Семена Ивановича, еще раз оглянулась при повороте в другую улицу, поклонилась ему — и исчезла.

Семен Иванович стоял у двери; ему стало досадно, и совестно, и чего-то жаль. «Неприязненное предзнаменование!» — подумал он и вошел в департамент. Верно, он не знал русской поговорки: начало дурное — конец хороший. Да и кто теперь верует в приметы, кроме старушек-тетушек? Я имею удовольствие лично знать человека, которому заяц перебежал дорогу почти у самой заставы при въезде в губернский город. Согласитесь, примета весьма неблагоприятная, особенно для едущего по тяжебному делу? Мой знакомый не оплошал: застрелил зайца, приказал зажарить, прибавил к нему ящик шампанского и угостил судей этим *куриозным,* как он сам выражался, зайцем. Через неделю мой знакомец выиграл дело! Вот вам и приметы! По-моему, всякая примета хороша, умей только распорядиться...

— Хорошее дело — опыт! Жаль, что надо покупать его ценою седых волос...

Семена Ивановича приняли в департаменте очень хоро-

шо и скоро определили помощником к г. Балладе. Баллада, несмотря на свое физическое свойство — *певучесть,* обладал еще превосходным глаголом savoir vivre [1]. На основании этого полезного глагола, он умолчал об отношении Семена Ивановича к княгине и распустил слух, будто она сама хлопочет о нем. Баллада говорил по секрету много всякой всячины, которая была бы не очень приятна ее сиятельству, если б дошла до нее. Между тем это дало Семену Ивановичу вес в глазах мелких чиновников, это его ободрило; он начал бессовестно лгать канцелярским о высшем круге, который был для них terra incognita [2], и мало-помалу, повторяя свои нелепые рассказы, дошел до того, что сам, если не вполне, то вполовину верил своим басням. Впрочем, если вы служили, то сами скажете, как не верить в сильную, необыкновенную протекцию человека, шагнувшего разом на штатное место? И как не верить всем мифологическим рассказам человека, имеющего такую протекцию?!

Я имел честь в первый раз видеть и слышать Семена Ивановича на музыкальном вечере у Макара Ивановича — помните? — у Гнедопегого моста в Каменном департаменте, в казенной квартире. И еще мы шли с вами по лестнице, где жена экзекутора ставит на ступеньках к левой стороне кадки и ведра...

---

[1] Знание света, умение жить *(фр.)*.
[2] Неизвестная земля *(латин.)*.

ГЛАВА IV

Житье Ивана Яковлевича

Ваш я отныне! Сказал рыбакам я любезным.

В. Бенедиктов

Когда Сеню взяла княгиня, Ивану Яковлевичу было под пятьдесят, а жене его под сорок. «Это такая пара,— говорил мне один доктор,— что детей почти никогда не бывает; дело другое, будь мужу семьдесят или восемьдесят — были бы непременно». И точно, больше детей у Ивана Яковлевича не было. «Да и на что мне дети? — говаривал почтмейстер.— Слава богу, один сын в столице, будет министром, а при мне еще пятеро, и так визгу довольно».

Служил почтмейстер, подрастали его детки, и между тем регулярно два раза в год получал письмо от дворецкого княгини, что Сеня жив и здоров. Так прошло несколько лет.

Однажды вечером Иван Яковлевич пришел домой не в духе и сказал жене по секрету, что в России ходит страшная болезнь, какая-то холера, все письма из южных городов и даже из Москвы исколоты.— Что-то с нами будет?

— Будет воля божия,— сказала Аграфена Львовна.

— Это так, да мне что-то страшно, сам не знаю отчего.

— Станем молиться.

— Станем.

Супруги помолились, благословили детей и легли спать.

Ночью Иван Яковлевич услышал тревогу в доме: двое меньших его детей жестоко страдали, тревожно метались на подушках; головы их горели, ручки и ноги были холодны. Послали за доктором.

Пришел доктор, осмотрел детей и, отступя два шага назад, сказал: «Спасайтесь! Холера!..»

От ужаса никто не мог сойти с места. Поутру весь город был оцеплен; везде дымились курева. У Ивана Яковлевича

лежало на столе двое мертвых малюток. Крестясь, проходил народ мимо дома почтмейстера, робко посматривая на ворота, отмеченные черным крестом. «Вот гнездо, где таится наша смерть,— говорили другие, указывая издали на красную крышу Ивана Яковлевича,— оттуда придет она к нам». К вечеру бедный почтмейстер был круглым сиротою: и старшие его дети лежали мертвы, жена его едва дышала в страшных муках. Иван Яковлевич не плакал, только потирал рукою лоб и, беспрестанно переходя от окна к другому, смотрел на небо. Через несколько дней Аграфена Львовна, сверх всякого ожидания, начала выздоравливать. Отчаяние почтмейстера превратилось в тихую, безмолвную грусть. Он часто, сидя дома один, заливался слезами.

Тогда еще мнение о заразительности холеры не подлежало никакому сомнению, и Иван Яковлевич крепко забрал себе в голову, что он сам был причиною смерти своих детей, перебирая в руках исколотые письма. Место службы было для него противно. Сверх того, некоторые изменения по почтовой части, перемена весовых денег и т. п. решительно сбили его с толку; он подал в отставку к удивлению всех гороховцев, привыкших видеть его лет тридцать в почтовой конторе,— и переселился в родовое имение жены своей на речку Синевод.

Сильные утраты быстро двинули доброго Ивана Яковлевича к старости; он в год одряхлел и приметно потерял прежнюю живость характера. В то время он получил письмо от дворецкого, что его сын, окончив курс наук, по милости княгини, определен в штатскую службу. Старики отслужили молебен о здравии благодетельной княгини, созвали на обед соседей и тут же решились вызвать сына, если можно, женить и утешаться на старость. Это сделалось единственною мечтою Ивана Яковлевича. Пошла переписка. Сеня писал отцу, что рад его видеть, но не имеет денег. Деньги вещь важная на Синеводе; прогонов от Петербурга приходилось платить немало: старик призаду-

мался. Иван Яковлевич продал цыганам своего любимого коня; Аграфена Львовна спустила с рук, как она выражалась, алмазный перстень в виде пылающего сердечка, подаренный ей покойною бабушкою, сложили капитал, сосчитали раза четыре: выходят прогоны, еще и лишних рублей десять. «Ну, это пусть полакомится дорогою; ведь есть надобно что-нибудь»,— сказал Иван Яковлевич, сам отвез на почту деньги и, возвратясь домой, начал высчитывать дни: когда письмо придет в Петербург, когда Сеня его получит, когда соберется выехать и когда приедет на Синевод. Для этого Иван Яковлевич даже составил особенную таблицу: ложась спать, каждый вечер зачеркивал одно число и считал остальные. Семен Иванович получил деньги исправно, но не торопился ехать: он сейчас издержал прогоны на одну лошадь и решился ждать 15-го мая, чтоб ехать невозбранно на паре, а отцу отвечал, что его какой-то граф с каким-то князем не пускают раньше этого числа; что они оба начальники, оба женятся в первых числах мая и оба хотят иметь его шафером. «Подождем,— говорил Иван Яковлевич,— против начальства не должно спорить».

ГЛАВА V

Сеня едет

Где ямщик наш на попойку
Вставший с темного утра,
И загнать готовый тройку
Из полтины серебра?

Кн. Вяземский

— Господи, боже мой! Что за город! Всем завладели кулаки! Житья нет от них. Ступишь за дверь — перед тобою кулак; как тень, проклятые, не отстают... Ай да Москва! Нечего сказать! Правда, вид с Ивана Великого хорош, и пушка в Кремле хороша, и колокол хорош, и калачи хо-

роши... Не будь кулаков, дал бы старухе руку на мировую; но эти несносные, эти мучители...— Тут Семен Иванович выразительно ударил себя в грудь собственным своим кулаком и начал быстрыми шагами ходить по микроскопической комнатке самого верхнего этажа гостиницы Шевалдышева, которую под громким названием *покойного нумера* отдают проезжающим в наем по два рубля с полтиною в сутки.

У нас много было писано о всех возможных кулаках вообще, и о русских в особенности; смотрели на этот предмет с разных точек зрения: кажется, и довольно бы; но мода — великое дело: извиняюсь, а все-таки скажу о них два слова.

Всякому образованному человеку известно, что кулаком называются сжатые плотно к ладони пять пальцев руки человеческой; практическое применение их к действительной жизни тоже более или менее не скрыто от публики: иные утирают ими слезы и т. п. Есть еще кулаки на мельничных колесах; эти уже делаются не из пальцев человеческих, но из какого-нибудь крепкого дерева: клена, бука или граба. Московские кулаки решительно не подходят ни под одно из вышеприведенных определений и сами по себе составляют вещь довольно неприязненную. Это, изволите видеть, живые люди, точно такие же, как и мы с вами, мой добрый читатель, а названы «кулаками» так, бессознательно, хоть и довольно удачно. Они составляют касту, живущую на счет других, без всякого труда с своей стороны, как омела на растениях, как многие полипы на животных. Кулак сидит целый день у ворот и смотрит на свет божий — вот вся его работа; между тем живет он по-своему хорошо, даже роскошно. Если вы не имеете собственных лошадей, то ни сами не выедете, ни вышлете куда-нибудь из Москвы ваши вещи без кулака; он явится к вам, просит тройную цену, торгуется, и, наконец, когда вы поедете, только тогда узнаете, что имели дело с кулаком, у которого нет ни одной лошади, и что вас везет ямщик за

половину цены, взятой с вас кулаком. Ни один ямщик не смеет везти без посредничества кулака, который бог знает за что берет деньги. Вы думаете, они имеют на это какую-нибудь привилегию? Ничуть не бывало! Спросите любого ямщика: он вам ответит, почесывая в затылке: «Так уж исстари ведется; известно, на то кулаки проклятые, такая их должность!»

Долго быстрыми шагами ходил Семен Иванович по комнатке, упражняясь в спряжении глаголов богатого русского языка, хоть немного оскорбляющих слуг, пересыпая, вероятно, для практики, разные времена и наклонения нарицательными именами, склоненными по всем падежам, и приноровляя все это к московским кулакам; единственный в комнате экземпляр стула прыгал, стол дрожал, диван шевелился, и пауки, испуганные тревогою, робко ползли из дивана по стенке. Наконец Семен Иванович надел шляпу и пошел жаловаться частному приставу.

Что говорил Семен Иванович приставу и что отвечал Семену Ивановичу пристав — достоверно неизвестно: история об этом умалчивает; но, кажется, экспедиция была неудачна для моего героя, судя по его смущенному виду и речам, которые он ворчал, идя по Тверскому бульвару: «Да это срам рассказать порядочному человеку!.. Здесь они имеют какую-то власть, нравственную силу, у них какая-то privilegia favorabilia [1], как называется в римском праве... Ехал из Петербурга порядочным человеком, ел в Помераньи бифштекс, в Торжке — котлеты, в Твери — коврижки, в Яжелбицах — форели, только проспал валдайские баранки... ну, словом, ехал, как люди... Вот что значит дилижансы! А тут и сиди: третьи сутки лошадей не дождусь! Советуют ехать на вольных до Подольска: оно ничего; но сорок рублей просят кулаки, а прогонов всего девять на тройку... Ах, они... Ну, что скажет об этом барон Кикс?» И Семен Иванович задумчиво опу-

---

[1] Привилегия из расположения *(латин.)*.

стился на бульварную скамейку, смотря на кончик своего сапога.

В это время шли мимо две дамы, довольно свежие, довольно опрятные и довольно развязные, в шелковых салопах, в розовых шляпках; за ними спешил человек довольно дряхлый, толстенький, в синем сюртуке, похожем на мешок, и в синем суконном картузе с назатыльником, засматривая под шляпки в маленькую лорнетку. Он, казалось, весь был предан своему благородному занятию; но фамилия *барон Кикс,* довольно громко произнесенная Семеном Ивановичем, остановила его; синий картуз посмотрел на Семена Ивановича, улыбнулся и значительно убавил шагу, несмотря на то, что розовые шляпки раза три на него оборачивались. Он вынул из кармана кусочек шоколаду и принялся есть, о чем-то размышляя; потом вынул платок, утер лицо и, поворотив назад, начал медленно, осторожно подходить к Семену Ивановичу. Между тем мимо Семена Ивановича прошел какой-то легонький старичок, посмотрел на него приветливо, и вдруг в голове Семена Ивановича, ни с того, ни с другого, родилась мысль написать шараду из слова: *кулак.* «Да, напишу,— думал Семен Иванович,— напишу злую шараду и тут же, в Москве, отдам ее напечатать: пускай читают и сердятся... Ведь иной, право, такой профан, и чина небольшого, а пишет себе шарады; а я оттого не пишу, что не пробовал... Положим, первое мое *кул* — это остро: можно сказать куль с чем-нибудь нехорошим, или, еще лучше, я где-то читал:

> Я зрел с ним бой Мехмета-Кула,
> Сибирских стран богатыря...—

значит, Кул — татарская фамилия, этакая варварская, разбойничья! Чудесно! Не только остро, даже очень зло!.. Мое второе: *ак*... что бы это такое *ак?* Кажется, ничто не называется по-русски этим именем — жаль! А в целом какая бы вышла богатая рифма: *дурак*... Что с ним церемо-

ниться? Писать, так писать!.. Разом шарада с эпиграммою... *Кул... ак! Кул-ак!..* Досадно... *кул...*»

— Вы изволите заниматься корнесловием? — вежливо спросил Семена Ивановича человек в синем сюртуке и снял картуз, как бы показывая для потехи небольшую ящерообразную, плотно выстриженную головку, причесанную кверху a la еж.

— Да-с.

— Очень приятно. Я сам иногда люблю произвесть слово, другое; у меня ни одно слово не пройдет без корня... Позволите присесть?

— Сделайте одолжение.

Семен Иванович засвистел водевильный куплет.

— Вы проезжающий, как я замечаю? — спросил синий сюртук.

— Я еду из Петербурга в свои деревни. Отчего ж вы узнали, что я проезжающий?

— Человек наблюдательный сейчас это заметит: вы с таким вниманием рассматриваете наш город. Смею спросить, где остановились?

— В гостинице Шевалдышева — и очень недоволен: берут в сутки пятнадцать рублей, кормят гадко... С нетерпением жду минуты, когда будет готова моя карета — сейчас же ускачу. У вас очень скучно, а придется посидеть день, другой...

— Справедливо изволите говорить; впрочем, здесь есть много очень веселых вещей. Вот против Кремля новый фонтан — тоже по части древностей... Я в прежнее время, признаться, служил, просвещал юношество и все оставил единственно для древностей: живу здесь и, не утаю правды, много успел... Здесь есть университет: но профессоры, молодые люди, меня не понимают... Позвольте спросить, с кем имею честь говорить?

— Я... граф... Крузадо... к вашим услугам.

— Вменяю себе в особенное счастие.— Синий сюртук привстал, приподнял картуз и опять сел.— Да-с, ваше сия-

тельство; верите ли, они даже не могут понять, что этот бульвар африканский...

— Я думал, Тверской?

— Тверской во всякое другое время; но теперь африканский...

— Отчего же?

— Оттого, что Африка вовсе не Африка, но Априка — понимаете? Вероятно, ваше сиятельство, изволите знать по-латыни?

— Да, разумеется; кто теперь не знает по-латыни! Но все я вас как-то понимаю темно.

— Вот видите: солнце теперь вверху, а бульвар внизу, против него; следовательно, он противолежащий солнцу, что называется по-латыни: apricus, а в женском aprica, от чего и Африка получила название, то есть, страна aprica, противолежащая солнцу. Впоследствии «р» изменилось в «f», и вышло: Африка; следовательно, бульвар Тверской в полдень делается африканским или априканским, точнее сказать... Что? Это вас поразило?

— Сильно поразило!

— И верите ли, господа ученые этого не понимают; живут в Москве и знать не хотят, что Москва произошла от моста, что здесь был единственный мост в целом округе и все говорили: «Поедем в деревню у моста», то есть, которая стоит у моста; а впоследствии, от скорого выговора: моста, моста, моста вышло Москва...

Синий сюртук вдруг умолк и, улыбаясь, посмотрел в глаза Семену Ивановичу.

— Да, ваше сиятельство! Здесь очень приятно для *антикофила*. Вот один почтенный муж, доктор медицины, статский советник Нетроньменя, беспрестанно пишет ко мне и уговаривает служить вместе, а я и служить не хочу, пока не кончу своих корней...

Синий сюртук вынул из кармана довольно засаленное письмо и поднес его к носу Семена Ивановича. Письмо начиналось: «Любезный друг Мефодий Исаакович...»

— Вы Мефодий Исаакович? — спросил Семен Иванович.

— Надворный советник и кавалер Мефодий Исаакович Ааронов. Признаюсь, мое имя, напоминающее Мефодия и Кирилла, первых писателей на языке словенском, часто мне будто шепчет: «Трудись на почве корнесловия словенской речи во славу своего патрона...»

— Прекрасный слог,— сказал Семен Иванович, возвращая письмо,— очень похож на слог баронессы Фруктенбау.

— Не имею чести знать.

— Это кузина барона Кикса, моего первейшего друга.

— Я не смел вас беспокоить, но, признаюсь, слышал мимоходом, как вы упоминали незабвенную для меня фамилию Кикс. Я имел счастие пользоваться в молодости благосклонностью многих вельмож и в том числе барона Кикса: всегда, бывало, по вечерам ему читал газеты: баронесса, бывало, сама мне поднесет чашку чаю и скажет какой-нибудь привет... Что, здоров ли Лев Адамович?

— Мой Кикс Карл Карлович.

— А! Должен быть дальний родственник или однофамилец. Потерял я из виду Льва Адамовича! Все работаю и думаю: окончу свой труд, перепишу набело семьдесят тысяч корней и посвящу ему. Но теперь я благодарен случаю, что имею честь беседовать с вашим сиятельством, и надеюсь, со временем ваше просвещенное внимание... Куда же вы уходите, граф?

— Тороплюсь узнать, скоро ли будет готов мой экипаж. Скучно у вас в Москве!

— По крайней мере позвольте, ваше сиятельство, мне иметь честь засвидетельствовать вам мое глубочайшее почтение у вас на квартире.

— К чему это, почтеннейший?

— Нет, извините; я знаю свои обязанности в отношении к ученым вельможам, и если вы позволите...

— Хорошо, хорошо; приходите в гостиницу в восемь часов вечера пить чай...

«Несносные чудаки эти ученые! — думал Семен Иванович.— Однако и я ему пустил пыль; пускай, голубчик, явится да поищет графа!.. Убираться поскорее из Москвы... Ох, кулаки, кулаки! Дорого, а делать нечего...»

Часа через три выехала из Москвы примечательная телега: тройка тощих, разбитых лошадей едва тащила ее, переваливаясь с ноги на ногу; ямщик, лукаво улыбаясь, разводил по воздуху кнутом, приговаривая: «Шалишь, друзья! Ох, вы, соколики, выноси! С горки на горку! Даст барин на водку!... Э-но-о-о!..» В телеге на чемодане, как на пьедестале, сидел человек в модном узеньком сюртучке с короткими рукавами: распустив над головою дамский зонтик, он подпрыгивал на каждом толчке телеги и был очень похож на резинового китайца. Мальчишки смеялись, показывали на него пальцами и кричали: «У! у!», а он ворчал: «Пари держу, что это дети гадких кулаков! Что за город Москва! Слава богу, что из него вырвался: теперь все пойдет ладно!..»

ГЛАВА VI

Все еще едет Сеня

Обманут я — увы! — один чудак вскричал.
Увидевши сие, прохожий отвечал:
Чрез злато ты себе не учинил добра;
Сей камень собери здесь вместо серебра.

Новейшая детская азбука

Обращаюсь к вам, господа путешественники, имевшие удовольствие ездить по своей надобности за Москву на город Подольск: вы не станете спорить, что Подольск — город самый приятный; я держу пари за девяносто девять

из ста, что вы провели в этом очаровательном городе гораздо более минут, часов и, может быть, дней, нежели располагали... Подольск очень похож на волшебные замки в народных сказках; ворота для приходящих широко распахнуты, а для выходящих крепко заперты; разница только, что в волшебных замках заключенная жертва предается терзаниям всех возможных чудовищ, а в Подольске она занимается вежливым разговором с станционным смотрителем о разных поучительных предметах, слушает веселые, удалые народные поговорки и остроты ямщиков, пьет чай из трактира над своею головою и может, если молода, кушать *биштек* — кушанье вроде жаркого, приуготовляемое местными жителями из какого-то неизвестного мяса с примесью лука и остиндских пряностей — пища здоровая и приятная, но требующая крепкого устройства челюстей и прочных зубов.

Еще было далеко до вечера, как Семен Иванович торжественно вошел на станцию в Подольске, приветствуемый низкими поклонами служителей трактира, находящегося во втором этаже, наверху над станцией. Но вот уже зашло солнце; уже, говоря высоким слогом, ночь покрыла мир черною мантиею и на стогнах богоспасаемого града Подольска царствовала тишина, а Семен Иванович, очарованный, заколдованный, все еще сидел на станции в Подольске; он стоял у растворенного окна; в комнате едва мерцал нагоревший огарок сальной свечи; наверху гремели бильярдные шары и резкий голос маркера распевал фистулою: «Никого и ничего», «Очень мало и слишком обидно!» — и вслед за этим слышался басистый смех и восклицание: «Экая бестия!» Перед окном по улице ходили под руку три или четыре девушки; удалой ямщик, идя подле них, бренчал что-то на балалайке, подпевая вполголоса какую-то импровизацию. Небо было мрачно; иногда ветер повевал в окно, иногда большая станционная собака, проходя мимо окна, сердито косилась на Семена Ивановича и ворчала, поджимая хвост.

— А что, любезнейший, когда будут? — спросил самым ласковым тоном Семен Иванович.

— Завтра в эту пору кони будут! — отвечал ямщик и, оборотясь к соседке, запел громче прежнего:

> Что на барыне чепец,
> Любит барыню купец,
> Что на барыне обручик,
> Любит барыню поручик,— и проч.

Семен Иванович молча тяжело вздохнул.

Разобрав хорошенько поступки Семена Ивановича, мы увидим, что Подольск был для него неприятнее кулаков: на кулаков он изливался целым потоком ругательств, даже хотел было согрешить эпиграммою, а здесь уже несчастие сильно подавило его — он был способен только вздыхать.

Разумеется, сидеть на станции, когда хочется ехать — положение неприятное; но унывать в этом случае не следует: это, говорят доктора, вредно для здоровья и может подать повод к улыбке какому-нибудь писарю; главное же, нисколько не поможет горю. В подобном случае лучшее правило быть веселу, вообразите: как смешно сидеть, когда сидеть не следует, строить любезности жене или дочерям смотрителя, постараться поссорить двух ямщиков или двух петухов, дразнить собаку и острить над лубочными картинками, развешанными по стенам; если это не поможет — побольше есть и спать.

Один мой приятель на подобный случай всегда возил в кармане флейту. На ответ «нет лошадей», он хладнокровно приказывал вносить свои вещи в комнату, садился на них, складывал флейту и начинал играть. Его игра от обыкновенных звуков переходила crescendo в самые адские тоны; бедная флейта дрожала и вопила совершенно не флейтным голосом; ноты перебивались, путались и, с визгом вырывались из-под пальцев артиста, вылетали в окна и двери. И как бы вы думали? Эта операция всегда удавалась: не было примера, чтоб самый упорный смотри-

тель выдержал ее более получаса, и обыкновенно минут через десять, даже меньше, являлся писарь, с поклоном докладывал, что лошади готовы, и просил поторопиться отъездом: вам, дескать, на свой страх даем курьерских.

Семен Иванович в первый раз ехал на почтовых, не имел с собою флейты и был в отчаянии. Долго смотрел он на мрачные тучи: а тучи, как вам известно, рождают самые фантастические идеи, чему прекрасный пример стихотворение «Le soleil couchand» в «Осенних листьях» Виктора Гюго. Вот причина, почему Семен Иванович, глядя на тучи, как новый Громобой, подумал о нечистой силе и не на шутку вздрогнул, когда вслед за грешною мыслью, явилось перед ним существо, будто из земли выросло... Не пугайтесь; существо это не с хвостом, не с рогами, самого обыкновенного вида, в форменном сюртуке, в фуражке с кантиками и с кожаною сумкою на груди. Семен Иванович очень обрадовался, когда оно, вежливо поклонясь, сказало человеческим голосом.

— Желаю доброго вечера! Верно, проезжающий?

— Точно так,— отвечал Семен Иванович и глубоко вздохнул.

— Гм! Вероятно, лошадей дожидаете?

— Да-с. Эти варвары, эти вандалы, не имеющие никакого сострадания!..— И Семен Иванович разразился целым потоком разных эпитетов, радуясь, что нашел слушателя.

— Напрасно слова изволите тратить... не имею чести знать вашего имени...

— Семен Иванович Лобков. Служил в... и проч. Позвольте узнать, с кем имею честь говорить?

— Тринадцатого класса Брусникин, к вашим услугам. Вот я сам жду более двух часов, а еду курьером по казенной подорожной.

— Неужели нет никакого средства?

— Мне-то через час обещают, а вы подождете; ночью идет тяжелая почта, да к завтраму заготовлено двенадцать

лошадей для княгини Плёрез — вот и расчет; я сам смотрел в книгу.

Брусникин подошел к столу, снял со свечки пальцами, сел и, вынув из сумки свежий огурец, начал его чистить перочинным ножичком, потом разрезал в длину и посолил обе половинки, достав из кармана мелкую соль, завернутую в бумажку.

Семен Иванович, глядя в окно, запел известную арию из «Роберта»:

В закон, в закон, в закон себе поставим
Для ра, для ра...

— Не угодно ли? — сказал Брусникин, подавая Семену Ивановичу половину огурца.

— Благодарю!

... для радости пожить;
Другим, другим, другим мы предоставим
Без го...

— Разве вы не любите?

— Не очень.

...ря век, без горя век тужить.

— Как угодно; я и сам съем,— сказал Брусникин, съел огурец, достал из сумки колоду старых карт и начал раскладывать гранпасьянс.

Семен Иванович просвистел ритурнель к своей песне и, подойдя к столу, стал помогать Брусникину.

— Не хотите ли сыграть от скуки?

— Сыграть?

— Да, сидеть скучно; пожалуй, я проиграю рублей двадцать пять.

Сели играть. Семен Иванович проиграл двадцать пять рублей.

— Не хотите ли еще? Авось вам повезет.

— Нет, покорнейше благодарю.

— Напрасно! Вы можете отыграться.

— Это правда, я согласен, но...— Семен Иванович в раздумье прошелся по комнате,— но будем говорить откровенно, почтеннейший. В Москве я съехался с моим закадычным приятелем, графом Мелондо́. Вы его знаете?

— Не имею чести.

— Жаль; он служит в Петербурге советником при итальянском посольстве. Настоящий итальянец: такой веселый, все ест макароны, а теперь приехал в Москву искать невесты. Вот мы с ним порядочно кутнули... Ваша Москва любит деньги...

— Истинно!

— Не, это еще не беда. Вдруг, в самый день отъезда, мой камердинер возьми да и заболей: ужаснейшая горячка с бредом, с пятнами; как дубовые листья, пошли пятна по всему человеку! Что мне делать? Жаль человека, а домой хочется, обнять поскорее родителей. Вот я оставил себе только прогоны на перекладную, остальные деньги отдал человеку на лекарство и разные необходимости, бросил в Москве экипаж и скачу домой на простой телеге — согласитесь, что мне рисковать в игре опасно. Другое дело, если б вы стали играть на честное, благородное слово...

— Истинно! Гм! А куда вы изволите отправляться?

— В Далекую губернию, в Гороховский уезд, в собственные свои деревни.

— Тут еще можно как-нибудь пособить делу; я и сам еду в ту же губернию.

— Неужели? В Горохов?

— Не в Горохов, а в город Зеленые Бобы, верст двести за Гороховом, по дороге через ваш город.

— Прекрасно! Так поедемте вместе.

— Я сам об этом думал и очень рад, что теперь вам можно еще поиграть от скуки.

— Как?

— Да вот как: у меня казенная подорожная, остановок не будет; дал бы господь выбраться из Подольска,

я вас доставлю в Горохов в четверо суток; вы отложите себе кормовых на четыре дня, выдайте мне прогоны до Горохова на одну лошадь, а на остальные можете рискнуть в игре.

— Превосходно!

Семен Иванович отдал Брусникину прогоны — не помню сколько рублей и тридцать семь копеек, а на остальные сел играть. Ровно в полночь у Семена Ивановича не осталось ни гроша в кармане, и он выехал из Подольска по тракту на Серпухов вместе с Брусникиным в очень печальном расположении духа.

В Серпухове наши путешественники съехались на станции с молодым прапорщиком ***-го полка, едущим в отпуск. Прапорщик был веселый малый, курил трубку, сам пил мадеру и потчевал их мадерою. Прапорщик вышел в другую комнату и начал тихо разговаривать с Брусникиным, а Семен Иванович, прислонясь к спинке дивана, уснул самым приятным сном: тряская дорога и мадера взяли свое.

Проснувшись, Семен Иванович с ужасом заметил, что солнце клонилось уже к вечеру, в комнате было пусто, ни Брусникина, ни прапорщика нигде не было. «Где же лошади? Где мои товарищи?» — спросил Семен Иванович у вошедшего слуги.

Слуга молча положил перед ним ассигнацию, несколько затертых серебряных монет, сорок копеек меди и записку следующего содержания:

«Милостивый государь
Семен Иванович!

Очень сожалею, что обстоятельства не позволяют мне ехать с вами. Прапорщик Свирелкин едет прямо в Зеленые Бобы, следственно, он мне попутчик выгоднейший, ибо платит половину прогонов до самого места моего назначения; а едучи с вами, я от Горохова должен ехать сам один двести верст, что для меня, бедного человека, составит

большой расчет и, можно выразиться, даже убыток: оттого я еду с господином Свирелкиным прямо в Зеленые Бобы, а вам возвращаю ваши прогоны на одну лошадь по расчету от Серпухова и желаю вам ехать благополучно. Ваш всенижайший слуга.

А. Брусникин 13-го класса»

Из Серпухова повез Семена Ивановича очень дешево на сдаточных ямщик Трошка; провезя десять верст, Трошка продал его за полцены Степке; на десятой версте Степка продал Фильке; Филька за селом повстречал кума Матвея и переменился с ним седоками; кум Матвей не то на седьмой, не то на восьмой версте продал Семена Ивановича за двухгривенный какому-то Ивану Безталанному, а Иван Безталанный, доехав до ближнего селения, выпряг лошадей и пошел в кабак, говоря Семену Ивановичу, что дальше с ним не поедет, что за двухгривенный он только из уважения и свойства куму Матвею вез так далеко, почти две версты, а в заключение попросил на водочку. Везли, торговались, спорили и перепрягали целые сутки — и проехали пятьдесят верст!

Семен Иванович из опыта и из пустоты кошелька убедился, что скорая езда ему не далась; сосчитал свои деньги, на все договорил одноконную подводу и на долгих во весь шаг пустился до города Пышного. От Пышного оставалось до Горохова всего сто верст; но Семен Иванович едва мог найти себе извозчика, с уговором заплатить на месте без малейшего задатка вперед. Извозчик был жид, выменявший, как он говорил, сегодня утром у помещика на старый бобровый воротник лошадь с экипажем. Лошадь была чубарый двухлеток; экипаж состоял из трех досок, сколоченных в виде корыта, и двигался на четырех колесах с детской повозки. На этом легком экипаже Гершко намеревался дебютировать первый раз в качестве извозчика.

Весеннее солнце жгло землю, Гершко суетился на передке, помахивая пеньковым кнутом и приговаривая: «Геш-

винде! Гешвинде, шварц юр!» Двухлеток плелся иноходью; Семен Иванович сидел в дощатой повозке, распустя над головой маленький зонтик; повозка дребезжала, прищелкивала какою-то снастью и ехала по проселочной дороге прямо в Горохов.

Не успел скрыться из виду город Пышный, как Гершко остановил двухлетка, быстро соскочил с передка и начал развязывать хомут.

— Что ты делаешь? — спросил Семен Иванович.

— Ничего, ваше высокоблагородие: распрягаю лошадь; пусть немного попасется.

— Ты с ума сошел!

— Нет, не сошел, ваше высокоблагородие: лошадь молодая, горячая, надорвется; а тут будут пески, оборони господи, какие пески! Страшно и подумать; целая верста песку, да такой песок, так и сыплется! Надо покормить лошадь: отдохнет, так в одну упряжку переедем весь песок. И вы отдохнете, пока лошадь попасется.

Делать нечего, Семен Иванович лег в тени повозки, двухлеток щипал листочки зеленого подорожника, Гершко ел корку хлеба и луковицу, приговаривая: «Ой, боже ты мой, что за лук пресладкий уродился в это лето! Хоть Радзивиллу кушать!»

Через полчаса Гершко запряг чубарого, а через час опять стал *попасать*. На таком положении шла езда до самого вечера; но чуть стало садиться солнце, Гершко выпряг двухлетка, заботливо стреножил его и пустил пастись, с особенным старанием установил повозку в стороне от дороги, торжественно вымыл руки и начал навязывать себе на лоб маленький четырехугольный сундучок.

— Это что за штуки? — спросил изумленный Семен Иванович.

— Надо молиться, наступает шабаш.

— Когда?

— А вот сядет солнце и настанет великий день, день субботний, день господа.

— Ну, молись поскорее, да поедем: теперь не так жарко.

— Ой вей! Как это можно? Как говорить такое неподобное!.. Кто ездит в шабаш?

— Как! И завтра нельзя ехать?

— Известно, нельзя! Зайдет солнце, поблагодарим бога и поедем.

— Ждать целые сутки?..

— Зачем же вы ехали? Будто вы не знали, что еврей не смеет ничего делать в день субботний?.. Как это можно!

Семен Иванович начал ругаться самым ужасным образом. Между тем солнце село, миллионы голосов зашумели, запели, зажужжали в обширной степи прощальную ему песню. Гершко надел фелем, белую мантию, обшитую синей каймой и, как древний жрец, подняв руки к первой звездочке, робко мерцавшей на светлом еще небе, запел однообразным, унылым голосом молитву:

Цур мишели охалну боруха иемунай,
Совайну вегисарну кидвар Аденой!..

Картина была самая патриархальная: кругом степь и небо; на степи пасется лошадь, стоит убогая повозка, и в нескольких шагах от нее труженик, раб копеечного расчета, Гершко, в поэтической одежде своих предков, устремив глаза и руки к небу, поет вдохновенные песни своей родины, песни, которые оглашали некогда стан иудеев-скитальцев в пустынях Аравии...

Должно быть, эта картина тронула Семена Ивановича: он смотрел на звезды и свистел галопад.

Но оставим на время Семена Ивановича: вы сами можете представить, как весело сидеть в степи целый день, ничего не делая, и смотреть на еврея, который беспрестанно молится. Пусть они себе скучают, а мы перейдем к другому предмету.

ГЛАВА VII

О речке Синеводе и Иване Яковлевиче

Не можешь ты чинов давать,
Не можешь зернами питать
Семейство птичек благодарных.

Карамзин

В Далекой губернии, в Гороховском уезде, верстах в десяти от славного города Горохова, течет речка Синевод. По какому-то непонятному случаю, этой речки нет ни на одной географической карте, хотя в Синеводе есть вода, которая издали кажется синею, а вблизи зеленоватою, как вода славного Рейна, и в этой речке водятся жирные, золотистые караси и очень вкусные пескари. Берега Синевода ежегодно зимою покрываются снегом, а летом зеленью; правый берег немного возвышен, а левый расстилается широким лугом, весьма пригодным для паствы всякого скота. Правый берег усеян садами и небольшими хуторами, отчего весь Синевод похож на степной архипелаг. Вообще Синевод находится в таком точно отношении к Горохову, как Северо-Американские Штаты к Великобритании: отставные чиновники Горохова искони покупали по нескольку десятин земли на берегах Синевода, строили дома, хутора, садили сады и поселялись, отчего вскоре составилось общество, нимало не уступавшее ни в образовании, ни в современных идеях гороховцам, и часто молодые служители Фемиды, вступая на скользкое поприще службы, в трудных казусах и юридических недоумениях приезжали на Синевод, где под тенью лип и вязов слушали наставления и пользовались мудрою беседою опытных поседелых юристов. Все Синеводы были связаны неразрывными узами родства, сватовства и кумовства; в их союзе была даже одна статская советница, отличная мастерица заваривать кашу, которую (то есть советницу) вся округа титуловала ее превосходительством. Статская советница снисходительно принимала это титло, нимало не обижа-

лась и даже гордилась им; синеводцы, с своей стороны, гордились, имея на родной реке генеральшу. Обитатели Синевода находились в беспрестанных сношениях с гороховцами; бесчисленные дороги и тропинки вели из Синевода к Горохову; по ним синеводцы отправляли в Горохов сырые произведения своей земли: свежую рыбу, молоко, яйца, кур, разный хлеб и взамен вывозили из Горохова предметы роскоши: курительный табак, судацкое вино, мыло, московские ситцы, гвозди, выделанные кожи, маленькие зеркала, перец, железный купорос и тому подобное.

Весною Синевод разливался и затоплял левый берег широко, шагов на двести или более; но эта свирепость Синевода была более благодетельна, нежели опасна: добрая река, как Нил в Египте, оплодотворяла своим разливом левый берег; дня в два вода приходила в прежнее положение, и, где недавно бушевали волны Синевода, там ярко раскидывалась зеленая растительность и расцветали букеты желтых болотных цветов. Только сообщение правого берега с левым в это время бывало немного затруднительно: все плотины и гати размокали и превращались в толщу грязи, весьма неудобную для переезда; но благодаря благодетельному влиянию солнечных лучей и это неудобство со временем исчезало: гати мало-помалу высыхали, крепли, и к Петрову дню почти по всему Синеводу учреждался прочный и безопасный переезд.

Между бесчисленными хуторами Синевода прошу заметить один, состоящий из четырех крестьянских хат и беленького господского дома: от дома до самого Синевода тянется густой вишневый сад, оканчивающийся у реки высокою осиновою аллеею. Этот хутор с хатами, домом и садом принадлежит отставному почтмейстеру Ивану Яковлевичу Лобко; в четырех хатах живут 13 душ его крестьян. Дом у Ивана Яковлевича чистенький, с крыльцом на дворе и двумя колоннами; на доме вечно сидят голуби; по двору бегают кролики, цесарские и простые куры и ходит павлин;

налево от дома выстроена кухня, направо амбар и конюшня, возле них прикованы две цепные собаки, а против самого дома vis-à-vis, стоит на четырех столбиках маленький домик, как игрушка, с одним круглым окном в фасаде, вершков десяти в диаметре; по временам из этого окна выглядывает и сверкает маленькими глазками чудовищно жирная кабанья голова. Там живет охота Ивана Яковлевича, затворник, отшельник, кормленный кабан. Иван Яковлевич очень любит пить чай или просто сидеть на крыльце и посматривать на своего кабана, воображая вкусные колбасы и ветчину, в которые преобразится со временем этот затворник. «Кровожадное удовольствие!»— скажете вы. «Достойное римского обжоры времен империи!» — прибавлю я и все-таки скажу, что Иван Яковлевич был добрейший человек в целом округе; все синеводцы уважали его, хотя он был беднее многих и очень многих, что на Синеводе считается немалым пороком. Сама генеральша делала Ивану Яковлевичу визиты, особливо, когда узнала, что скоро приедет к нему из Петербурга сын. Иван Яковлевич был по-своему счастлив; одна забота — ожидание сына — смущала иногда его спокойствие, и старик в белом халате часто выбегал за ворота посмотреть, не едет ли Сеня, когда слышал звук почтового колокольчика вдали по дороге.

ГЛАВА VIII

В которой может Сеня приехать

> Вот ближе, ближе. Сердце бьется;
> Но мимо, мимо звук несется,
> Слабей... и смолкнул за горой.
>
> *А. Пушкин*

Вечерело. Стада, возвращаясь домой, мычали и блеяли; на Синеводе кричали утки и гудел выпь, точно будто кто водил смычком по контрабасу; в садах пели соловьи, в воз-

духе летали жуки; затворник Ивана Яковлевича, выставив голову в круглое окно своей темницы, бессмысленно смотрел на природу. Иван Яковлевич сидел на крыльце в белом халате и колпаке; здесь была жена его и два соседа: синеводский архитектор и живописец.

Впрочем, не должно понимать этого в буквальном смысле. Соседи были мнимый архитектор и мнимый живописец, короче сказать, они были аматеры, почти такие же аматеры, каких мы с вами, любезный читатель, имели скуку не раз слышать на домашних концертах. Первый весь свой век строился и не мог себе состроить комнаты, в которой можно бы зимою сидеть без шубы, а летом во время дождя остаться суху. Второй рисовал тушью с натуры цветы, прикрывал их слегка красками и дарил всем синеводцам в день их ангела, подписывая: «рисовал Георгий Кулеш 18... года, мая 9-го дня, в два часа полудни, при солнце», или «в 7 часов утра, при сильном ветре», и т. п., судя по временам и погоде.

Пили чай.

— Посмотрите, почтеннейший, что за машина этакая! — сказал Иван Яковлевич, указывая чайною ложечкою на кабанью голову.— Подлинно славнейшее животное на всем Синеводе.

— Да! — отвечал архитектор.— Животное! Настоящее животное! И здание недурно! Вы сами его строили?

— Сам.

— И план сами составляли?

— Сам.

— Недурно! Есть ошибочки, а, право, недурно! Я бы на вашем месте сделал карниз у окошка.

— Куда нам до карнизов! Было бы сало...

— А должно вам отдать справедливость,— прибавил живописец,— вы отлично умеете откармливать кабанов.

— Стоит только сначала закормить *нечуйветром,*— сказала хозяйка,— а после и от чистого хлеба будет сыт.

— Вот что! Знаю нечуйветер — маленькие голубенькие

цветочки; я еще имел удовольствие изобразить их на картине, которую подарил вам в день вашего рождения, Аграфена Львовна.

— Славнейшее животное! Верите, иногда меня страх берет, глядя на него: жары наступают, может с ума сойти от жиру.

— Кто же вам мешает порешить его? Вот скоро заговенье на Петров пост; оно и кстати угостить и нас колбасами.

— Очень рад, милости просим; да нельзя... Все, знаете, сынишку поджидаю, хочу уж при нем торжество это совершить; у них там, знаете, говорят, все такое поджарое, этакая штука в редкость.

— А уж пора быть Семену Ивановичу.

— Пора-то, пора. Ума не приложу, куда он девался... Пишет ко мне Сеня из Москвы: доехал, говорит, благополучно, да там с каким-то графом трое суток гуляли, не пускает, говорит, да и только; однако сегодня, говорит, вырвался и уезжаю.

— Какие знакомства! — прошептал архитектор.

— Благословил вас бог сыном! — сказал живописец.

— Да, спасибо Груше, выкормила молодца.

Иван Яковлевич обнял жену и отер слезы.

— Верите ли, друзья мои, жду не дождусь! Из Москвы, мне хорошо известно, почта ходит на худой конец шесть, семь дней, а вот уже неделя с лишком, как я получил письмо. На долгих можно бы давно приехать, а он летит на перекладных.

Зазвенел колокольчик. Старик Иван Яковлевич закричал — *«это он»* — и сбежал с крыльца; соседи улыбались, Аграфена Львовна была уже за воротами. Но — увы! Это был становой пристав в зеленом нанковом сюртуке, в пыли, с трубкою в зубах. Опять все пришло в прежний порядок.

— Откуда вас бог несет? — спросил хозяин у станового.

— Не бог, скажите, а с позволения сказать — нечистая! Кто-то сдуру уверил исправника, что в моем стану скрывается известный разбойник Засорин. А вы знаете, какой он, наш исправник: все у него по-военному, кричит: «Лови, бери! Доставляй в полицию!» А где его ловить? Третьего дня получаю строжайшее предписание: «Немедленно с получения сего отправиться на поиски». Моя Лизочка была именинница, собрались добрые приятели, пирог стоял на столе — все оставил, двое суток бегал по стану; во ржах искали, в тростниках искали, перерыл, что называется, все мышьи норки, в озеро невод забрасывал, вытащил небольшую щуку — и только! Устал, как почтовая лошадь, заехал к вам на перепутье отдохнуть полчасика, да прямо в Горохов; отрапортую, что нет, и засяду дома.

В один год Засорин был какое-то фантастическое лицо, пугавшее некоторые южные и западные губернии. Его никто не видел, даже никто не видел человека, им ограбленного, но все трепетали при имени Засорина. Про него рассказывал простой народ самые нелепые истории: будто Засорин перекидывается волком, птицею, прячется в табакерки, в кувшины, в пустые бутылки; будто он владеет чудною *разрыв-травою,* перед которою расступаются каменные стены и отскакивают самые хитрые и крепкие замки и т. п. Люди поумнее не верили этим басням, но к ночи удвоивали сторожей около амбаров, заряжали ружья и пистолеты, запирали тщательно двери и окна и готовы были при малейшей причине поднять шум и тревогу. Так были напуганы умы и расстроено воображение страшным, таинственным именем Засорина.

Только напугал становой добрых людей Засориным; не посидел получаса, выпил чашку чаю с мурашковым спиртом и ускакал в город; гости Ивана Яковлевича после деревенского ужина уехали на таратайке домой; еще с полчаса светился огонек в комнате Ивана Яковлевича: видно было в окно, как он читал псалтырь и молился богу; но и

этот огонек погас... Синевод уснул глубоким сном; изредка сонная утка плескала крылом по воде да и где-то вдалеке замирала песня запоздалого гуляки... Полная луна плыла по небу, дробилась в струях Синевода и освещала белые хаты хутора... Вдруг цепные собаки на дворе Ивана Яковлевича залаяли, загремели цепями, завопили ужасным голосом... По двору шли мерными шагами два человека, один — совершенный немец, даже в круглой шляпе, другой — с ужасно рыжею бородою, с длинными кудрями, точь в точь наряженный жидом... О ужас! Они прямо идут к крыльцу, стучат, ломятся в двери... Быстро отворилось слуховое окно, из него показалась женская голова и еще быстрее спряталась, закричав: «*Засорин!*», из всех дверей и окон выглядывали и прятались испуганные головы... Отворилось слуховое окно, и мужской голос поддельным басом спросил: «Кого вам надобно?».

— Ивана Яковлевича Лобко! — сказал прохожий.

— Здесь нет Ивана Яковлевича,— отвечал голос,— здесь только полон дом солдат, ищут Засорина.

— Убирайся к черту, дурак! Отвори скорее.

Голос умолк, а из окна явилась рука, вооруженная топором, махнула раза два и перерубила какую-то веревку; веревка, как оборванная струна, взвилась, хлопнула по амбару, и вмиг собаки, почуя свободу, понеслись на гостей. Немец отмахивался шляпою, жид кричал и прыгал; куски его халата летали по воздуху... «Помогите! — кричал человек в немецком платье.— Я Семен Иванович, я сын Ивана Яковлевича, уймите ваших проклятых собак!» Наконец кое-как вышли люди с рогатинами, с ухватами, даже один с ружьем, уняли собак и, осмотрев пленников с головы до ног, решились ввести в дом.

Явился старик в белом халате с пистолетом в одной руке, в другой с огарком свечи и осветил чудесную картину: Семен Иванович в узких брюках по колено в грязи, в модном сюртучке, оборванном собаками, живописно рисовался, приглаживая руками шляпу. Его прическа à la moujik

была поднята кверху в виде пламени; за ним стоял Гершко, без ярмолки, лицо в грязи, платье в дырах, вокруг толпились мужики и бабы с разными неприязненными орудиями.

— Что за народ? — грозно спросил старик тем же голосом, каким говорил из слухового окна.

— Оставь, братец, эту комедию,— сказал раздосадованный Семен Иванович,— лучше доложи Ивану Яковлевичу, что приехал его сын из Петербурга.

— О-го! Знаю, брат, куда стреляешь! Слышали, что ждут сына, так и прикидываешься! У Ивана Яковлевича сын никогда не выглядывал таким разбойником. Что, небось, и жид — сын или племянник? Обыщите, ребята, хорошенько этих бродяг, свяжите их, а завтра чуть свет в Горохов, в полицию...

— Да это разбой! Вот мои бумаги, читай, коли грамотный, не то отнеси к Ивану Яковлевичу.

И Семен Иванович бросил подорожную.

— Гм! — говорил старый, искоса поглядывая на приезжего.— Штука, и фамилии не умел прописать: Иван Яковлевич Лобко, а здесь Семен Лобков. Какой-то москаль писал!.. Да Сеня был красавчик, а это...

— Коли отец Лобко, так сын Лобков. Так следует по грамматике.

— Да что тут толковать! Сердце мое чует, это Сеня, вот я скорее узнаю,— кричала пожилая женщина в старом ситцевом капоте, с головою, повязанною зеленым платком,— у Сени на шее родимка, точно очаковский крестик, батюшки; вот я сейчас...

Костистые пальцы женщины в капоте принялись развязывать галстух Семена Ивановича. Семен Иванович хотел ее оттолкнуть, но два сильные мужика схватили его за руки; он только мотал головою, ворча: «Отвяжись, тетка, задавить хочешь, белены объелась...»

Галстух упал к ногам Семена Ивановича, а женщина повисла на шее, повторяя: «Он, мой голубчик, ей-богу, он!..

Дитя мое, Сеня... Сенюшка!...— Старик бросил подорожную и тоже стал обнимать сына. Семену Ивановичу насилу растолковали, что они его родители.

— Вот что! — сказал Семен Иванович.— А я думал, вы дворецкий и ключница!

— А мы тебя, Сеня, приняли было за разбойника!

Семен Иванович сплел какую-то басню про разбойников, которые его ограбили, вот тут, недалеко от Синевода...

— Вот полиция! — кричал Иван Яковлевич...— А еще сегодня был становой и говорил: «Все благополучно», а у него под носом грабят, режут!..

— А вы и поверили ему? — кричала старуха.— Ему лишь бы скорей домой косить сено!

— Ограбили! — кричал Сеня.— Решительно ограбили, все деньги отняли...

— Все до копейки?

— До полушки! И гостинцы отняли! А какие вам гостинцы вез я! Боже мой... Слава богу, что чемоданчик с будничным платьем оставили, а мундир пропал, весь в золоте...

— Бог с ними, Сеня! Слава богу, что ты жив! Вот полиция!

И старики принялись обнимать сына.

— Кто бы мог подумать, что я буду ограблен на пороге родительского дома!..— ворчал Семен Иванович.

— Бог с тобою, Сеня! Что вспоминать нехорошее! Пойдем же, я поведу тебя в твою комнату; вот уже четыре недели, как ее для тебя убрала... И образ поставила, которым меня благословили замуж: киота серебряная, золоченая чистым червонным золотом — при себе покойница велела золотить, чтоб не украли,— и занавесочки на окнах чистые, настоящие кисейные, своими руками вымыла, не дала Палашке: посмотри... Что ты смеешься?

— Ничего. Я вспомнил, что видел такие занавесочки в одном домике в Петербурге, на Итальянской улице.

— Вот видишь, Сеня! И мы сделаем не хуже ваших итальянских! А цветы-то какие на окнах! Нарочно сеяли, тебя дожидая... Насилу семян выпросила у генеральши... Понюхай, какой горошек.

— Недурно! Я люблю гелиотроп.

— Вот этого, душа моя, отроду не слыхала.

— Полно тебе молодца потчевать цветочками, это бабье. Ты куришь, Сеня?

— Как же!

— И прекрасно; я для тебя приготовил два картуза табаку: что в рот, так спасибо, настоящий вакштаф фабрики Каратаева и Богомолова, дорог, да для тебя куда ни шло!

— Я курю пахитосы.

— Ей-богу, в первый раз слышу! Было написать: я поискал бы... Жаль, когда не угодил!.. А наши канцелярские, если б услышали про мой вакштаф, мигом налетели бы из Горохова, как осы на мед; да я купил и не признаюсь, все тебя поджидаю.

Между тем принесли яичницу, жареных голубей, сливок, огурцов... Семен Иванович ел за четверых: старики улыбались, поглядывая на него.

— Люблю,— говорил Иван Яковлевич,— за аппетит; мой сын! Славно ест! Ты, Сеня, скажи, что любишь, так то и будут готовить.

— Я люблю страсбургский пирог.

— Ну, брат, этакого наша кухарка не то не изготовит, да и не выговорит.

— Отчего же? — перебила Аграфена Львовна.— Может быть, у нас не так называется. Я недавно начитала в «Опытной поварихе» про один пирог, верно, этот; книга из Петербурга: надобно взять, говорит, рубленое мясо, приправить перцем и ниточкою уксуса, потом...

— Пошла болтать!.. Ешь, брат, Сеня, не слушай ее; завтра я тебя угощу: у меня есть колбасы удивительные... Ты не поверишь, толщина необычайная!

— Вот вы у меня уже отбиваете сына! Горькая наша доля: выкормила — и прощай! — говорить не дадут!

— Бог с тобою, матушка! — наговоришься; впереди много времени. Я только хотел сказать слова два о кабане. Ведь ты любишь, Сеня, колбасы?

— Иногда, а больше люблю дрозды с трюфелями.

Старики взглянулись между собою.

— А вот что, папаша: заплатите моему бедному извозчику; у меня все отняли, нечем расплатиться; ночевать он не хочет, заплатите сейчас.

Жид получил плату за извоз да, сверх того, за ограбленные вещи выпросил пять рублей и исчез. При выходе в сени он еще получил от Аграфены Львовны четвертак за благополучную доставку сына.

А дело было очень просто: в четверо суток еврей, откармливая чубарого двухлетка, наконец вечером привез Семена Ивановича на Синевод; но на беду еще оставалось три недели до Петрова дня и гати на Синеводе не успели надлежащим образом окрепнуть; двухлеток, погрузясь по брюхо в грязь, решительно отказался везти пассажиров и спокойно лег на бок; ни крики, ни угрозы пеньковым кнутом не помогали делу, и, провозясь без успеха с двухлетком до глубокой ночи, наши путники решились идти пешком искать хутора Лобка. Выйдя из грязи на другой берег, они увидели мужика, который сидел верхом на срубленном дереве, лежавшем у дороги, и распевал песню про синий кафтан и красное седло.

— Эй, послушай, мужик! — сказал Семен Иванович.

— Здесь нет мужика.

— А кто же ты?

— Казак.

— Ну, казак, все равно.

— Как бы не так! Какой грамотный!

— Где хутор Лобка?

— Вы или дураки, или приезжие: пришли в хутор, а спрашиваете хутора!..

— Это туда дорога?
— И туда, и сюда.
— Как?
— Пойдете туда, будет туда, пойдете сюда, будет сюда: известно; дорога на обе стороны...
— А Иван Яковлевич дома?
— Дома, если никуда не поехал.
— Так нам идти в хутор прямо?
— Нет, криво! Вот дурни!..
— Прощай! Спасибо, брат.
— На здоровье! Не за что.

И казак опять запел про красное седло, а Семен Иванович с жидом пошел прямо во двор Ивана Яковлевича, где и наделал столько шума. Семен Иванович рад был слухам о Засорине и на него сложил всю вину своего не очень блистательного приезда...

ГЛАВА IX

У Ивана Яковлевича гости

Соседи съехались в возках,
В кибитках, бричках и в санях.

А. Пушкин

Как спокоен сверху вид:
Опустись на дно, ужасный
Крокодил на нем сидит.

К. Батюшков

Рано поутру Семену Ивановичу показалось, будто каркает ворона; он проснулся и начал вслушиваться и с удивлением заметил, что в карканье отзывались человеческие речи.

— А где же ваш петербургский панич? — кричал странный голос.— Покажите мне его! Спит? Вот прекрасно! Спать до сих пор!

«Хитер мой батюшка,— подумал Семен Иванович,— выучил на досуге говорить ворону и потешается!.. Это редкость была бы в Петербурге; сороки говорящие — не редкость, а ворона — почти не слыхано. Правда, мне рассказывал на дороге какой-то семинарист, что ворона говорила приветственную речь одному римскому императору: почему же на Синеводе не может выкинуться римская штука?.. Ворона, кажется, кричит под моею дверью?»

— А вставайте-ка! — громко закричал вороний голос. Семен Иванович увидел огромную человечью голову, которая кивала ему в полураскрытую дверь.

— Не конфузьтесь! Мы не петербургские: мы свои. Да какой же вы худой! Ни одна барышня не пойдет за такого поганого!

И, прихлопнув дверь, голова исчезла.

Между тем мальчик, босой, в пестрядинной куртке, сел верхом на буланую кобылу, которую Иван Яковлевич очень удачно называл Камбалою, потому что она имела один глаз и была непозволительно худощава, и отправился по реке Синеводе. Приезжая в каждый хутор, мальчик являлся на двор к хозяину и, почесываясь, говорил:

— Барин и барыня приказали кланяться.

— Ну?

— Кланяться... и... просили...

— Ну?

— И просили... да, и просили кушать колбас...

— Разве убили вашего кабана?

— Убили...

— Быть не может!

— Убили, ей-богу, убили! Сегодня на заре убили!

— Для чего же его убили?

— Так убили, говорят, от радости: панич приехал.

— Из Петербурга?

— А-га! Оттуда!

— И давно бы так сказал, дурак! Убирайся к черту! Скажи, что будем.

«Э-ге! К черту! Нет, еще надобно заехать к Петру Петровичу»,— ворчал мальчик, садился на Камбалу и, свистя, ехал далее.

Я уже сказал вам, что Синевод — маленький мир, и как в мире есть много хорошего и дурного, так точно и на Синеводе. Оттого я не стану вам описывать разнообразного общества, приехавшего на обед к Ивану Яковлевичу. Скажу только, что весь Синевод явился к доброму соседу разделить его радость вместе с колбасами и посмотреть на приезжего. Здесь были все возрасты, от желтоватых седин до грудного ребенка; глаза всех цветов, от серо-голубеньких до самых черных, на которые нельзя смотреть без смущения; были талии, похожие на арбуз и на осу; были лица отвратительные и были возбуждавшие страстную охоту расцеловать их. Словом, было все, что мы встречаем ежедневно.

Гости были рады, поздравляли Ивана Яковлевича и Аграфену Львовну с приездом дорогого гостя; все шло очень хорошо, кроме маленькой сцены с двоюродною тетушкою, которая раскапризничалась, раскричалась, расплакалась и уехала домой, говоря, что подобное неуважение к летам и прекрасному полу невыносимо; что она давно замечала коварные взгляды своей двоюродной сестры, но презирала их; а теперь, когда сестрица настроила насмехаться своего сына, столичного сорванца, княжеского нахлебника, она прекращает всякое знакомство.

Семен Иванович, будучи представлен своей двоюродной тетушке, не бросился в родственные объятия, не подошел к руке, а просто пожал ей руку,— вот чем тетушка обиделась.

— Ну, бог с нею! — сказал Иван Яковлевич, когда уехала сестра.— Эта старая девка всегда с капризами... Пора обедать. Кажется, все?

— А ее превосходительство не будет? — заметил архитектор.

— К обеду вряд ли воротится. Она была у меня сегодня

рано утром — такая добрая! Сеня еще спал, и к нему заглянула...

— Перепугала меня, mesdames! — сказал Семен Иванович, обращаясь к чепчикам.— Верите ли, я думал, ученая ворона — так кричит...

— Да, такая добрая! — почти закричал Иван Яковлевич, желая заглушить отзыв сына о статской советнице.— Забежала хоть на минуту мимоездом в Горохов. Там сегодня ждут губернатора, так и ей должно быть — сами знаете.

— Разумеется! — отвечали соседи.

— А разве она служит? — спросил Семен Иванович.

— Как ты прост, Сеня! Не служит, а все же надобно быть — этак, знаешь, для почета...

— Скажите, Семен Иванович, вы так удачно сравнили вашу соседку с говорящею вороною,— сказала одна пожилая дама в черном чепчике, вертя головкою и очень зло улыбаясь,— разве можно птицу выучить говорить?

— Помилуйте! Сколько их в Петербурге! На каждом шагу попадаются. Вот, например, раз я иду с баронессою Соте по бирже и слышу — кто-то меня вполголоса кличет: «Семен Иванович! Семен Иванович!».

— Что вам угодно? — спрашиваю я у баронессы.

— Ничего,— отвечала она,— я вас не звала.

— Кто же это меня кликал на французском языке?

— Я и сама слышала, а не знаю кто.

«Странно!» — подумал я и посмотрел вокруг.— Нет никого; мы пошли. Опять слышу: «Семен Иванович! Семен Иванович!» Глядь: наверху, надо мной, сидит на дереве прекрасный попугай, сам голубой, хвост желтый, крылья оранжевые, головка черная с красным носом. Я показал на него баронессе. Баронесса вскричала: «Ах! Какая бель-птица!» — и замолчала от восторга.

— Что тебе, братец, надобно? — спросил я у попугая.

— Купите меня! — отвечал попугай.— Пожалуйста, купите, Семен Иванович! Я буду хорош.

— Отчего же ты меня знаешь!

— Мне много говорил о вас мой братец, попугай княгини.

— Вот что! Делать нечего, купил. Славная была птица!

— И умерла? — спросили дамы.

— Нет, я ее подарил начальнику; знаете, нельзя отказать — все хвалит, все говорит, бывало: «Редкую птицу имеете», да после этого немного и покосится... Думал, думал да и отдал в день именин.

— И прекрасно сделал, душа моя,— сказал Иван Яковлевич.

— Из-за дрянной птицы не ссориться с начальством, прах ее возьми!

— Однако я утешился: скоро пропал у начальника попугай... Чего не делали: и консилиум сзывали, и гомеопатов, и гидропатов — ничто не помогло: кашлял, кашлял, и пропал в Спасовки. Ни мне, ни тебе, что называется!

— Вы шутили? — спросила Семена Ивановича робким голосом миленькая розовая девушка.

— Над чем?

— Над нами, когда говорили о попугае.

— Возможно ли? Как вы жестоки!

— А я думала...

— Что вы думали?

— Я думала, что вы сочиняете.

Семен Иванович сказал девушке что-то на ухо и громко прибавил:

— Надеюсь, это останется между нами?

Девушка покраснела и опустила глазки.

— Он сочинитель! — шепнул черный чепчик, толкая локтем соседку.

— Что это, моя матушка?

— Этакий критикан столичный! Хуже бешеной собаки!

Сели за стол; застучали ножи и тарелки; общий разговор слился в нестройный шум, из которого вырывались

порою отрывистые фразы: «Я не люблю огурцов — осталась вдовою — а с медом хорошо? — Прикупила себе валета и выиграла! — Самой рысистой породы — должно быть, землемер? — И по два с полтиною аршин? — Смею вам доложить, самые живые, настоящие раки — красные цветочки по зеленому полю — знаю — дама самдруг — три дня в самом темном погребе, а потом — как это хорошо!..»

К вечеру явилась статская советница и навезла с собою кучу новостей и гороховских чиновников; новости переходили из уст в уста, чиновники — из угла в угол. Семен Иванович рассказывал дамам разные анекдоты, пел водевильные куплеты; старики пили, с позволения сказать, пунш. Было очень весело. Иван Яковлевич обнимал от радости соседей и благословлял добрую княгиню Плёрез; желтые банты на чепчике Аграфены Львовны плясали; смотритель училища, Агамемнон Харитонович, подняв кверху стакан пунша, восклицал: «Не правда ли моя, Иван Яковлевич? Не говорил ли я: будет человек, дайте только вырасти в Петербурге? Воспитание дело великое — да-с!»

— Выбрался веселый денек! — сказал Иван Яковлевич, когда гости разъехались по домам.— Ну, что, Сеня, как тебе понравились наши добрейшие соседи?

— Ужасные уроды, папаша!

— Бог с тобою! В семье не без урода, есть пословица, но не все же уроды.

— Да, эта девушка в розовом платье очень мила.

— Дочь станового... Что, небойсь, понравилась?!

— Да, я даже сказал ей на ухо, когда мы шли обедать: *вы хороши, как Венера!*

— Мой сын — решительная голова! Что ж она?

— Сгорела.

— Люблю за обычай! Быть бы тебе офицером.

— А что ж? — прибавила Аграфена Львовна.— Она девушка не бедная: сорок душ, и сад, и пруд, и еще кое-что есть... Можно бы и жениться...

Семен Иванович лег спать в восторге сам от себя, не воображая, что посеял семена величайшей ненависти к своей особе. Статская советница рассказала всему Горохову о разбойниках, ограбивших Семена Ивановича почти в ее глазах; исправник дал порядочную гонку становому и даже грозил жаловаться губернатору, если становой вперед, вместо поисков, станет ловить рыбу — становой стал первым врагом Семену Ивановичу; второй враг была двоюродная тетушка, за родственное пожатие руки; третий враг и враг заклятый — статская советница, которой дорогою объявил черный чепчик о говорящей вороне. Надобно же было на беду приехать Семену Ивановичу летом, когда пехотный полк выступил из Синевода в лагерь и уездные любезники за отсутствием офицеров собирались пожинать лавры. Приезжий из Петербурга развлек внимание барышень; они только его слушали, только на него и смотрели; многие остроты молодых синеводцев, многие комплименты, многие вздохи остались незамеченными. Это возбудило против Семена Ивановича целый полк самых злых врагов; в них бушевало оскорбленное самолюбие человека, еще более синеводца — зверь страшный, неукротимый!.. Бедный Семен Иванович, спит спокойно!

ГЛАВА X

Шапка-невидимка

> Молва, зло скоростью всех паче зол известна,
> Проворством не всегда своим оживлена;
> Сперва мала и вдруг величины чудесной!
>
> *Херасков*

Славное было время в старину! Как почитаешь книжечек, называемых российскими сказками,— душа радуется. Кутили наши пращуры не по-нашему: у них были и сапоги-самоходы, и ковер-самолет, и шапка-невидимка... Поэтическое было время! Иной отдал бы пароходы, железные

дороги, гальванопластику, дагерротип и все чудеса нашего премудрого века за одни сапоги-самоходы: вот славный инструмент, чтоб уходить от долгов! Впрочем, и у меня есть нечто вроде шапки-невидимки: стоит надеть ее — и вы сделаетесь невидимкою. Попробуйте, наденьте... Ну, вот, вы надели, и я вас не вижу, мой добрый читатель, клянусь, не вижу; будто вас вовсе нет передо мною.

Теперь не угодно ли, я поведу вас, куда прикажете: вы можете все видеть, все слышать и остаться незамеченным, хотя бы вы имели большой чин, почетные знаки отличия и даже огромное богатство. Согласитесь, быть незамеченному *иногда* чрезвычайно приятно. На первый раз я вас проведу по гостиным синеводцев, обедавших накануне у Ивана Яковлевича.

ГОСТИНАЯ ПЕРВАЯ

Муж сидит в кресле и слегка прижимает к груди обе ладони. Жена обрывает с герани сухие листочки.

М у ж. Проклятые колбасы, чтоб их черт побрал! Совершенно меня расстроили: вот тут и тут... и здесь... ох! Будто ящерицы бегают...

Ж е н а. Этот старый дурак вечно окормит; пристанет: ешь да ешь, будто у нас дома есть нечего.

М у ж. Нельзя; из политики...

Ж е н а. Какая тут политика! Просто сам рад поесть и других силует, чтоб не совестно было, а может быть, и подмешал чего...

М у ж. Бог с тобою...

Ж е н а. Ты не говори мне; недаром они с нашим лекарем шептались... Вот ему и будет практика! Меня не проведешь, я всякое кушанье нюхала; чуть немного подозрительно — и в рот не возьму; а ты, мой батюшка, все убирал: смотреть было совестно! Уж я и мигала, и кашляла, и посматривала на тебя — нет, ничего не видит, знай себе об-

жирается, как будто три дня не ел... Теперь бог знает что будет!..

М у ж. Что ж мне делать, матушка? Не напиться ли чего?

Ж е н а. Мяты хорошо бы... да нет, вот сухие листочки, очень пахучие, сделаем пробу, нальем кипятком, как чай, ты выпей: авось уймется...

М у ж. А хорошо ли оно?..

Ж е н а. Попробуем: попытка не шутка, спрос не беда. А! Здравствуйте!..

А р х и т е к т о р *(входит, раскланиваясь)*. Мое почтение! Как ваше здоровье?

М у ж. О-ох!.. Признаюсь... не знаю, что я съел, а очень вредное...

Ж е н а. Лекарь скажет спасибо Ивану Яковлевичу.

А р х и т е к т о р. Вы думаете?..

М у ж. Я думаю, это шутки петербургские. Иван Яковлевич добрый человек...

Ж е н а. Когда спит...

ГОСТИНАЯ ВТОРАЯ

С т а т с к а я с о в е т н и ц а. Ах он, сорванец! Так и сказал?

Ч е р н ы й ч е п ч и к. Да, ваше превосходительство, извините, говорит: «Такая черная, как головня», а после подумал и говорит: «Нет, головня не живая, а *она*, то есть, вы, как ворона, каркает, и говорит, говорит, как ворона каркает, вот так: кра!.. кра!.. кра!..», ей-богу!..

С т а т с к а я с о в е т н и ц а. Ах он дрянь! Щенок!.. Видали мы этаких выскочек... Да я его с грязью смешаю...

Ч е р н ы й ч е п ч и к. Ломается, и куда тебе! Своей ближайшей родственнице какой афронт сделал, страшно рассказать... А та по нем души не слышит, все, бывало, говорит: «Вот приедет Сеня, какого-то мне гостинца при-

везет?» Вот тебе и гостинец!.. Расплакалась бедная девушка... беспомощная, беззащитная!..

Статская советница. Правда, правда! Урод какой!

Черный чепчик. Мало этого, ваше превосходительство, еще признался, что он сочинитель — знаете, критикан: что увидит, так сейчас и на смех, в этих дурацких книжках все и напечатает, и хлеб, дескать, подавали не выпеченный, и руки были не вымыты, и все такое.

Статская советница. И это он вам признался?

Черный чепчик. Как бы не так! Засмотрелся на дочку станового и выболтал, а я подслушала...

Статская советница. На Лизку? И что в ней хорошего!

Черный чепчик. Вы не говорите! А после спохватился да почти со слезами говорит: «Ради создателя, пускай это останется между нами».

Статская советница. Покорно вас благодарю. Вот что значит поступать по-дружески.

Черный чепчик. Как же, ваше превосходительство, вы нам и пример, и наставник, и все...

ГОСТИНАЯ ТРЕТЬЯ

Становой ходит по комнате, руки крестом à la Napoléon. Несколько молодых синеводцев сидят на стульях. Лиза вяжет кошелек в виде уланской шапки.

Становой. Сплетник, мерзкий человек, и больше ничего! Ну, если и пошалил с ним кто, очень нужно передавать проклятой болтунье! Она на весь город разблаговестила, а меня ни за что ни про что распудрили как осла!.. Да каков он собою? Молодец ли?

Молодой синеводец № 1. Так себе, черт знает что такое, ни важности, ни приличия...

Становой. Я так и думал. Увидел пьяного мужика и кричит: «Разбойники!», только нарушает тишину и спо-

койствие... Уж эти мне петербургские фертики: вот тут сидят...

Уездный учитель. Человек без всякой эрудиции, вертопрах, ветрогон...

Молодой синеводец № 2. Все скалит зубы, да болтает, как трещотка...

Становой. Из ума выжил Иван Яковлевич! Как не унять сорванца?..

Молодой синеводец № 3. А с дамами говорит, будто со своим братом.

Лиза. Он говорит очень занимательно.

Становой. Та-та-та. Занимательно!.. Вам очень нравятся этакие заезжие шаркуны, в папильотках, в пуговках, в цепочках! Очень занимательно!..

Статская советница *(вбегая, запыхавшись, в комнату)*. Хороши мы, хороши! Нечего сказать... Ух, устала! Здравствуйте!.. Садитесь, садитесь, зачем вы повставали с мест? Попались!..

Все. Что такое, ваше превосходительство?

Статская советница. Ужо будем все с руками и с ногами в тех проклятых книжках...

Становой. Что такое?

Статская советница. Ваша Лиза лучше меня знает. Не краснейте, сударыня. Что вам говорил приезжий сорванец, когда вы шли к обеду?

Лиза. Не помню.

Статская советница. Короткая память у вас, душечка; отчего ж у вас слезы на глазах?.. Помните, еще он сказал: «Пускай это останется между нами»?

Становой. Лиза! Что это? Опять за старое — а? Что за шептанья?.. Да я тебя... Знаешь?..

Статская советница. Видно, мне придется сказать: этот богоненавистник признался ей, что он сочинитель: «Я, говорит, всех выведу на чистую воду! Тот,— говорит,— петух, та — ворона, та — куропатка».

Становой. Ну, а я бог знает что подумал! Впрочем,

нехорошо, что ты, Лиза, мне этого не сказала. Чему же ты смеешься?

Лиза. Это пустяки, папенька!

Статская советница. Слышите — пустяки! Вашего отца, вашу матушку, вас самих, меня — всех выведут вот с такими головами, вот с такими носами, с этакими рогами и станут потешаться... Пустяки! Верно, и вы в заговоре?

Архитектор *(вбегает)*. Живы ли вы? Здоровы ли? Беда!.. Нет ли у вас анисовой водки?

Статская советница. Что с вами? Может быть, с перцем лучше, если у вас что такое...

Архитектор. Ох! Что-то будто колонною подпирает меня под ложечку.

Статская советница. Бог знает, что вы говорите! Какая у вас колонна?

Архитектор. Ох... есть... уж я... лучше вас знаю. Вчера подали мне у Ивана Яковлевича огурец, а на огурце листочек: как съел, так и заварило!.. Дайте водки!..

Становой. Выкушайте; это вам так, от воздуха.

Архитектор. Какое «от воздуха»? Не я один, вот сейчас от Мнишкиных: обое — и муж, и жена при смерти, все от вчерашнего обеда. Так их и коробит, кричат на весь дом...

Статская советница. Аграфена Львовна, таки нечего греха таить, за кухнею вовсе не смотрит. Мой кучер говорил; у них есть кастрюля, верно, забыл какой-нибудь проезжающий, совсем нелуженая, и ту для гостей берегут.

Архитектор. Мнишкина жена изволила сказывать, что заметила, будто бы Иван Яковлевич с доктором что-то подсыпали в кушанье...

Статская советница. Я и сама заметила; только не старик, а его шальной сын, это вы ослышались...

Архитектор. Может быть, ваше превосходительство.

Статская советница. Я знаю эти штуки. Когда стоял здесь драгунский полк, так мне раз на полковом бале дали чашку кофе... Знала я кофе!.. Вы не поверите...

Учитель. Позвольте, ваше превосходительство, у меня есть книга из Петербурга, где написано, что уездный учитель танцует и машет платочком; я сейчас подумал: это на мой счет, я танцую, и, когда жарко, машу платочком; но не знал, кто написал, а теперь понимаю...

Статская советница. Посмотрите: там, я думаю, подписано.

Учитель. Смотрел, да подписано бог знает что, какая-то вещь. Кто пишет пасквиль, тот своего имени не подпишет, а так, знаете, что-нибудь...

Статская советница. Так на вас написано?

Учитель. Написано! Есть еще и генеральша Воронина...

Статская советница. Он, он, ей-богу, он! Я знаю... Нет ли еще кого из наших?

Учитель. Не помню наизусть... Есть еще какой-то человек, который женился на богатой и заважничал, а между тем подличает перед женою...

Статская советница. А жена его за нос водит?

Учитель. Кажется...

Статская советница. Знаю, знаю; это Чурбинский. Сейчас же еду к нему и расскажу, а вы, пожалуйста, сбегайте в город и привезите к Чурбинскому книжку.

Учитель. С величайшим удовольствием.

Статская советница. Ах он, сочинитель!..

Но я вас утомил, мой снисходительный читатель, водя по гостиным обитателей доброй речки Синевода; вы зеваете, а еще впереди вдесятеро больше домов, куда нам следовало бы заглянуть. Бог с ними, бросьте шапку-невидимку! Все остальные гостиные похожи на виденные нами. Впрочем, не думайте, что синеводцы — племя злое,

нет, избави боже! Они все люди как люди; будь они овцы или лошади, то были бы гораздо смирнее. Мне кажется, вся беда в том, что они люди. Человек — животное разумное, об этом нечего и говорить; его потребность жить и физическою, то есть, животною жизнью, и духовною; но как на Синеводе по обычаю предков живут чисто животною жизнью, то всякий синеводец, утопая в чувственном довольстве, вечно скучает, жаждет чего-то, а чего — и сам хорошенько не знает. Это изнывает в Синеводе мыслящая способность; не имея для себя никакой пищи, она томит синеводца. Потому малейшая новость, нелепейшая сплетня, уродливейшая фантазия принимаются с любовью, с жадностью, находят себе защитников, быстро распространяются по Синеводу — синеводцы оживают; для них открывается величайшее наслаждение хоть как-нибудь пожить не физически; они думают, догадываются, строят гипотезы, вдаются в теории вероятностей, доходят до истины по аналогии — словом, начинают мыслить, начинают предвкушать настоящую жизнь и удовольствие человечества. Как они мыслят, каковы их гипотезы и теории — об этом мы умолчим. Но все-таки мыслят, и, мне кажется, здесь заключается корень синеводских толков и сплетней. Займите умы добрых синеводцев чем-нибудь, кроме кушанья, и, даю вам слово, нелепости будут умирать на Синеводе, не успев родиться.

Вам живой пример: Петербург.

ГЛАВА XI

Вести за бакан

> Одним словом, сатира, что чистосердечно
> Писана, колет глаза многим всеконечно:
> Ибо всяк в сем зеркале как станет смотрети,
> Мнит, зная себя, лицо свое ясно зрети.
>
> *Князь Антиох Кантемир*

— Думал я тебя женить, Сеня, да что-то, кажется, соседи тебя не полюбили,— говорил Иван Яковлевич, спустя неделю после своего званого обеда.

— Вы спросите, полюбил ли я их? А они, эти профаны, ничего не понимают...

— Не говори...

— Отчего ж бы им меня не полюбить?

— Не знаю, а не полюбили; скажу тебе больше: они даже сердятся, и очень сердятся; не знаю на кого, а сердятся.

— Вам это кажется.

— Нет. Вчера, помнишь, как нас приняли у станового? Лиза не показалась: значит, ее не пустили; это намек, чтоб ты выбросил из головы женитьбу. Хозяин явился с подвязанным глазом, говорит: «Оса укусила»; хозяйка перевязала щеку и жаловалась на зубы: это для того, чтобы не разговориться... Худые приметы! Петр Петрович, когда едет мимо двора, всегда отворачивается — раза два я видел; а ее превосходительство, поравнявшись с воротами, даже плюнет.

— Может, ей в рот муха попала?

— Нет,— закричала Аграфена Львовна,— это на наш счет. Генеральша даром не плюнет.

— Для чего же, если сердиты на вас и не хотят смотреть на наш дом, они присылают просить к вам разных вещей; третьего дня генеральша просила ванны купаться; вчера Иван Иванович брал нашего мальчика обрывать в саду вишни, и даже сегодня утром Петр Петрович

прислал занять на три дня одного охотничьего сапога; один, дескать, у него мыши съели.

— Неопытность, Сеня! — отвечал старик.— Это и показывает, что они на нас сердиты; а если не дадим, тут начнется настоящая ссора. Хочешь, мы сделаем опыт: пошлем мальчика просить чего-нибудь у соседей. Эй, Ярош!

Известный нам мальчик в пестрядинной куртке явился перед Иваном Яковлевичем.

— Слушай, Ярош! Садись на Камбалу и поезжай вверх по Синеводу; кланяйся от меня Петру Петровичу да попроси на два часа красного жилета; для скройки, мол, нужно. Слышишь?

— Слышу.

— После заезжай к Ивану Ивановичу и попроси пару лошадиных подков только в город съездить. После кланяйся Федору Федоровичу и займи печеную булку; у нас, мол, выпекутся к вечеру, так принесем. У генеральши спроси листочек бумаги: письмо, скажи, в Петербург писать нужно; да оттуда заверни к становому: нет ли у него ружейного кремня. Слышишь?

— Слышу.

Чрез два часа возвратился Ярош с пустыми руками.

— Ну что?

— Ничего.

— Что Петр Петрович?

— Сказали, что и сами умеют смеяться в красном жилете.

— Тут что-то не так! Врешь. А Иван Иванович?

— Ей-богу, так. А Иван Иванович сказали, что все подковы избили, посылая за лекарем.

— А Федор Федорович?

— Сказали: «У меня булка не выпечена; боюсь, не пролезет в петербургское горло».

— А генеральша?

— Выбранили меня и вас, дурнями назвали и сказали: «А дзуски им на моей бумаге с меня портреты писать».

— А становой?

— Становой сказал: «Кремня самому нужно. Поеду искать разбойников, что ограбили вашего панича, так для безопасности в свое ружье надо».

— Хорошо, ступай к себе. Вот видишь, Сеня: все против нас! Есть какая-то штука, да я и сам не понимаю ничего. Должно быть, не ее ли превосходительство на тебя гневается. Ты ее обидел.

— Я? Чем?

— А называл вороною! И охота же тебе ссориться с такою почетною женщиною; от нее все станется: она таких людей сводила и разводила, не нам чета; а мы что для нее? Захочет — по миру пустит, захочет — воду запрудит в Синеводе и не даст тебе напиться.

— Да разве я ее в глаза называл вороною? Я говорил только, что ее голос похож на вороний, и то говорил между приятелями.

— Молодой ты, Сеня! Ничего так не расходится скоро, как секрет между приятелями на Синеводе.

Вошел живописец.

— Здравствуйте, Иван Яковлевич. А я вот это к вам. Пускай, что хотят говорят, а я люблю вас. Вот принес показать вашему сыну новую картину; нельзя сказать, чтоб отличная, а все-таки очень хороша. Первая картина не с натуры, а своя фантазия. Посмотрите: цветок тюльпана, в тюльпане лежат три яичка, их снес жаворонок, ошибся: думал, что тюльпан гнездо, а сам летает вокруг и поет...

— Умудрился! — сказал Иван Яковлевич.— И жаворонок похож, все есть: и крылья, и лапки, и носик; видно, что птица, и рот раскрыл, словно поет.

— Поет, поет...

— Немного ненатурально,— прибавил Семен Иванович.

— Уж молчите! Сам я знаю, да что вы прикажете делать? Нет в здешних местах хорошего бакану. Лет пять тому назад мне было вывез из Кишинева один офицер маленький кусочек бакану; признаться, бакан был! Я на-

рисовал им картины четыре, да грех попутал: как-то заночевал у ее превосходительства, встал поутру — нет бакана; украли горничные на румяна... чтоб им почернеть! Я уже все собираюсь вас попросить, если, даст бог, приедете в Петербург, вышлите мне бакану, хоть рубля на два: я четвертак вам дам вперед, а остальные вышлю по почте, как получу вещь. А то, не поверите, мы здесь покупаем у жидов и дорого, и дрянь: совсем синий, едва заметна краснота; возьмешь иногда пышную столиственную розу, срисуешь, покроешь жидовским баканом — и выйдет не роза, никакого сходства нет с розою, а так, будто бы пион или что другое свекловичного цвета.

— Хорошо; я напишу к моему приятелю, даже, можно сказать, к другу, просто к моему единственному, задушевному другу, придворному живописцу г-ну Тердесень: он вам пришлет самого лучшего бакану, самого свежего; там все курьеры привозят...

— На то столица! Когда же вы напишете к Тридесену?

— К г-ну Тердесень я написал бы хоть сегодня; но вы повремените, почтеннейший: он теперь в Италии, то есть, в Риме.

— Там, где, говорят, папа?

— Да. Так вы повремените немного; он поехал на самое короткое время, на курьерских, по казенной надобности, снимать с папы портрет; он скоро возвратится; только я получу об этом известие, сейчас же напишу к нему, и будьте уверены, вы получите отличнейший бакан. Он мне по дружбе пришлет без денег.

— Покорнейше вас благодарю! И еще говорят о вас худо... о таком человеке!..

— Кто? — спросили в один голос Иван Яковлевич и Аграфена Львовна.

— Да так! Пускай на меня сердятся, а я расскажу вам все. Вчера был я у Юлиана Астафьевича Чурбинского; много было наших, да, все были наши, кроме вашего семейства; из Горохова было много, и сам судья был.

— И судья?!

— Да, и судья; приехал в карете шестернею, а карета, я вам скажу, словно гумигутом выкрашена, как золотая, так и горит. Я было спросил, отчего вас нет? Да как закричит на меня ее превосходительство: «Знайте себя! И без него обойдемся»,— это б то без вас: я и замолчал.

Сели обедать. Судью посадили на первое место, возле него ее превосходительство, а там все, все сели. Хозяин не садился, ходит вокруг стола, потирает руки и так что-то сам ни при себе, как будто что непорядочное сделал и людей совестится. Вот съели жаркое, начали подавать пирожное; топчется Юлиан Астафьевич около судьи, и в лице переменился, и слезы на глазах — все даже заметили.

— Да полно вам переминаться! — сказала хозяину ее превосходительство.— Говорите уж судье, что там у вас такое на душе сидит.

Все посмотрели на Чурбинского, а он сделал головою так, будто насильно проглотил что-нибудь неприятное, сложил руки калачиком и почти со слезами начал:

— Вы у нас судья, рассудите по законам мальчишку, молокососа, который для всего Синевода злее Засорина.

— Верно, вам приснился Засорин? — крикнул становой.

— Молчите! Не перебивайте! — еще громче закричала ее превосходительство.

— Этот молокосос,— продолжал Чурбинский,— описывает всю нашу страну самыми черными красками, кощунствует, издевается и ругается над нами, женами и детьми нашими, даже тревожит прах предков наших для потехи праздного народа, читающего книги; единственно из корыстолюбия продает нас...

— Кто же это? — спросил судья.

— Сын отставного почтмейстера Лобко... Прошу с ним поступить по законам, с сим пасквилянтом.

— Вы имеете доказательства?

— Вот явная улика!

Тут Чурбинский вынул из кармана книжку, толщиною, этак, букваря в четыре, и подал ее судье.

— Знаю я эту книжку,— сказал судья,— да здесь, кажется, нигде нет сочинения Лобка.

— Э! Уж вы не говорите! — закричала генеральша.— Еще бы и подписался! Эти сочинители все, говорят, опишут неподобное да на конце и поставят что-нибудь, сапоги или шапку, их уже и прозвали за это какими-то псы... или ... что ж вы не говорите, г-н Тетрадка?

Учитель поклонился и сказал:

— Вот я и сам упомнил, а что-то бранное... псовой дом или псовой дым — не помню.

— Положимте и так,— сказал судья,— где же здесь на вас пасквиль?

— Помилуйте! — вскрикнул Чурбинский.— Не только на меня, на весь Синевод, на весь Гороховский уезд. Посмотрите: повесть *Петух*. С первого слова критика. Как может быть повесть петухом? Это явно на их счет насмешка.

— Именно на меня,— сказал Иван Иванович Петухов,— а, кажется, я ему ничего и не сделал!

— У вас прекрасные дрожки, а у него нету — вот и злится! — закричала генеральша.

— Что ж! Я дрожки не украл, купил на свои деньги.

— Здесь и на меня напечатано,— сказал учитель,— и все неправда; иногда точно я машу платком в танцах, когда жарко, но зачем писать, что я похож на латинскую букву S?

— Да ведь здесь напечатан уездный учитель; а разве вы один уездный учитель в целом свете? — отвечал судья.

— Еще бы написать мое имя и фамилию! Тогда была бы явная обида!

— А как меня отделали! — закричала генеральша.

— Неужели? — спросил судья.— Вы читали?

— Нет, слава богу, я не читаю этих бестолковых книжек; спасибо, добрые люди прочитали да растолковали,

что на меня приходится... Называет просто вороною; а сам порядочного зяблика не стоит... Прочитайте там, Юлиан Астафьевич... где про меня написано... Э! Какие вы не проворные, а еще мужчина!

— И на меня! И на меня! И на меня написано! — кричали со всех сторон гости.

— А более всех на меня,— сказал, вздыхая, Юлиан Астафьевич,— а что я сделал этому злокозненному человеку? Видит бог, всегда к нему был расположен как к наилучшему из друзей, питал к нему самую нежную привязанность — и вот вам благодарность.

— Злодей! — ворчали гости.— Утопить его в Синеводе!

— Где же вы тут себя узнаете? — спросил Чурбинского судья.

— Еще и спрашиваете! Будто вы не видите: вот Фока Фокович Подковкин — это я.

— Вы не Подковкин, не Фока Фокович.

— Да, это я по поступкам...

— Здесь описан самый низкий, бесхарактерный человек, взяточник.

— То-то и обидно,— все неправда! Пишет, будто я подаю жене под ноги скамеечку.

— А если бы и так, что же тут дурного?

— Неправда — вот что обидно!

— Это написано на тот счет,— закричала генеральша,— будто у Юлиана Астафьевича людей нет, подать некому — вот в чем насмешка!

— Еще пишет,— продолжал Чурбинский,— будто меня жена водит за нос... Ну, скажите, господа, кто это видел? Разве я лодка? Душа болит — так обидно!

— Да не спорьте с ним,— сказала судье жена Чурбинского,— это с него списан портрет, ей-богу, с него,— и принялась хохотать.

— Из уважения к вам и синеводцам, я не верю,— говорил судья Чурбинскому.

— Так знайте же,— отвечал он с сердцем,— тут и на вас

есть, да еще и с намерением нас поссорить. Смотрите: пишет, будто вы умерли, а я на ваше место избран судьею.

— Разуверьтесь! Ведь молодого Лобко не было здесь более десяти лет: откуда б он мог знать ваши нравы, привычки, ваши отношения? Это вздор!

— Говорите вы «вздор»! Спускайте ему, пока с вас портрет не напечатает,— закричала генеральша.— Я справлялась на почте: три раза в год, говорят, отсылает старик Лобко к сыну в Петербург по толстому письму. О чем бы ему писать так часто и так много? Не графы какие! Старик вышел из ума и пишет все сыну про нас: тот обманул того, у того сбежала дочка, а у этого денег нет ни гроша, и все вот этакое, а сын рад, описывает земляков: без того опух бы с голоду.

— Ох, не говорите! — сказала соседка в черном чепчике.— Я подозреваю тут штуки Аграфены Львовны: она прехитрая женщина.

— Обое рябое! — отвечала генеральша.

Еще, может быть, и больше что-нибудь говорили бы, да встали из-за стола. Судья сейчас же уехал. Тут принялись ругать судью и решили, что он оглупел, живя долго в Петербурге, а генеральша начала даже подозревать, что он соучастник Семена Ивановича. После обеда немного отдохнули и за чаем принялись ругать все ваше семейство.

— И, верно, меня больше всех? — спросил Семен Иванович.

— Не могу сказать, чтоб больше; вам сильно досталось, но и батюшке вашему не меньше; а как подумаешь, то и матушку не обделили. Дело щекотливое и трудное, решить не берусь... Ругали вас, ругали, а после начали придумывать вам — собственно вам, Семен Иванович,— вашей особе достойное наказание, и на вас сам Юлиан Астафьевич сочинил стишки... Я, говорит, и сам учился не хуже его, и сам напишу и напечатаю.

— Стихи? Вы не помните?

— Где мне их помнить! А понял я, что очень обидные, на какой-то Парнас какой-то пегас ехал, и вы родились будто бы... Обидно сказано... Я было сам хотел принять их на свой счет, оттого что приезжал к Чурбинскому на пегой лошади, да бог с ними, берите все на себя.

Иван Яковлевич и Аграфена Львовна сидели как громом пораженные вестью живописца. Семен Иванович хохотал.

— Ах, он проказник! Да он на меня не сочинил стихи, а переделал чужие: я их слышал где-то на станции в Тульской губернии.

— Чужие ли, свои ли, а как напечатает на тебя, так худо будет,— сказал Иван Яковлевич.

— На них... на них! Я сам видел, так и подписано: стихи Лобченку, да еще, вместо Ч, поставил Юлиан Астафьевич Щ. Так и читает Лоб-щенку́: этим, говорит, я намекаю на его гадкую молодость.

— Ах, он урод! — закричал Иван Яковлевич.

— Оставьте его, папаша. Я знаю в Петербурге одного молодого литератора, на которого пишут по три эпиграммы в день, а он только смеется да толстеет...

— Вот до чего я дожила! — сквозь слезы говорила Аграфена Львовна.— Мало, что бесчестят меня, издеваются над моим рождением, дворянского сына называют щенком...

— Ну, прощайте! Видите, какую я вам принес весточку,— сказал, откланиваясь, живописец,— смотрите ж, не забудьте за это достать баканцу...

ГЛАВА XII

С разлукою

Прости! Хранимый небом,
Не разлучайся, друг,
С свободою и Фебом.

А. Пушкин

На Петров день в Горохове была ярмарка. Гороховцы, синеводцы и жители других смежных областей толпились в лавках, кланялись, обнимались, болтали о всякой всячине и решительно мешали купцам торговать. Иван Яковлевич начал прицениться к желтой китайке, а Семен Иванович от скуки пошел гулять по красным рядам. Он прошел из конца в конец все ряды и, встречая везде неприязненные взгляды, вышел из-под холстинного навеса и стал пробираться между меняльными столиками в бакалейные лавки, где обыкновенно продаются пряники, свечи, мыло и чернослив. Вдруг знакомый голос закричал сзади него: «Мое почтение, ваше сиятельство!» Семен Иванович оглянулся: у меняльного столика стоит московский антикварий, в синем сюртуке и синем картузе с назатыльником, держит в зубах старую серебряную монету, кланяется ему и говорит: «Очень рад, что имею честь видеть вас, сиятельный граф!»

— Здравствуйте,— рассеянно отвечал Семен Иванович и прибавил шагу.

— Погодите, граф! Вы опять хотите исчезнуть, как из Москвы. Вот любопытная вещь, должна быть монета Рюрика: вся затерта, только едва приметна буква *Р*, далее можно заметить *8*... и еще будто есть на конце ъ. Весьма основательно — здесь было целое слово Р8рикъ, все равно, что и Рюрик... Куда же вы? Не уходите! В Москве тогда вся полиция поднялась за вами. А я вот поехал по России подбирать штучки, знаете, по нашей части...

Но Семен Иванович исчез между народом, прямо почти прибежал на квартиру и начал с досады есть ветчину.

Часа через два пришли Иван Яковлевич и Аграфена Львовна, бледные, расстроенные.

— Что ты наделал, Сеня? — спросил Иван Яковлевич.

— Ничего.

— Как ничего? В городе странные слухи, вся полиция на ногах... Тебя подозревают...

— В чем?

— Не знаю. Я слышал, говорят, будто становой менял синюю ассигнацию у стола, где человек подозрительной наружности искал каких-то старых денег. Вдруг ты показался — и вы заговорили с ним бог знает о чем; подозрительный человек тебя величал графом, говорил о полицейских поисках за тобою в Москве... Говорят, будто этот странный человек собирает какую-то шайку... Генеральша при мне советовала городничему захватить тебя, говоря: «Может быть, это не Лобченко, а сам Засорин...»

— Успокойтесь,— это пустяки.

— Какие пустяки! Посадят тебя под арест, осрамят мою седую голову! Хоть после и выпустят, а стыда век не воротишь. Послушай, Сеня, бог тебя знает, что у тебя на уме. Если ты и вправду недобрый человек, беги поскорее, я спасу тебя...

— Беги, дитя мое! — вопила Аграфена Львовна.

— Уверю вас, мне нечего бояться.

— Верю, Сеня, хочу верить, а самому что-то не верится: даром народ говорить не станет. Глас народа — глас божий; отчего на меня не говорят ничего подобного? Знать не хочу, Сеня, что у тебя на душе, а боюсь за тебя... И явился ты странно, бог тебя знает с каким человеком; и обычаи, и привычки у тебя все не наши, какие-то странные, и все так неладно пошло у меня с соседями со дня твоего приезда... Нам с тобою не жить... Беги, Сеня! Засудят тебя; чего доброго, что откроется, и мне бесчестье на старость принесешь; да и что тебе у нас делать? Служить в Горохове ты не хочешь, жениться и жить с нами

тоже, да за тебя никто и девушки не выдаст... Ты не покоишь, а смущаешь мою старость...

— Пожалуй, я уеду в Петербург. Дайте денег... Признаться, и мне у вас наскучило.

— Сеня, Сеня! Не грех тебе так говорить? — рыдая, сказала Аграфена Львовна.

— Денег, брат, я тебе на прогоны дать не могу: нет; на ярмарке продал пудов сто муки, заплатил подати, и всего осталось пятьдесят рублей; но я тебя отправлю на эти деньги. Сегодня утром прискакал из Петербурга в город Подвишни знакомый мне курьер; он часто езжал, когда я был еще почтмейстером, и по старой приязни свезет тебя в Петербург. Подвишни от нас пятьдесят верст; значит, курьер к вечеру будет здесь обратно. Поезжай, Сеня, домой, возьми свои вещи; а я буду гулять около станции, чтоб не пропустить курьера; поезжай скорее в нашей бричке да надень мою шапку и шинель, чтоб тебя не узнали.

Вечером курьерская тройка остановилась у ворот квартиры Ивана Яковлевича. Курьер, согласившийся за пятьдесят рублей довезти Сеню до Петербурга, в росхмель сидел на повозке и кричал:

— Где ж ваш молодец? Подавайте его поскорее! Время дорого...

— Прощай, Сеня! — говорила, рыдая, Аграфена Львовна и надевала ему на шею серебряный крестик.

— Прощай, Сеня! — начал Иван Яковлевич.— Мы с тобою... ты...— И не договорил за слезами.

Семен Иванович вскочил в повозку, свистя:

Мальбруг в поход поехал...

Лошади рванули, колокольчик загремел и залился в разные тоны, и вскоре из виду скрылась курьерская тройка.

Долго смотрели старики на пустую улицу и тихо, безмолвно обнялись.

Статская советница два месяца рассказывала в Горохове и в шести смежных уездах, что Семена Ивановича схватили на ярмарке и увезли бог весть куда с фельдъегерем.

ГЛАВА XIII

Самая маленькая, даже без эпиграфа

Недавно мне случилось быть на вечере у одного делового человека. Был вечер, как обыкновенно бывают вечера: в одной комнате играли в преферанс, в другой танцевали под фортепьяно, в третьей ничего не делали; в кабинете хозяина курили. Все шло своим порядком: юноши и старики любезничали, дамы кокетничали, девушки старались не показать никакого знака жизни... Я ушел в кабинет.

Вдруг вбегает Семен Иванович, выпросил у какого-то прапорщика пахитоску, раскурил ее и развалился на пате.

— Весело вы провели время в деревне? — спросил Семена Ивановича старичок-чиновник.

— Чрезвычайно весело! Одно удовольствие езды чего стоит!

— Признаюсь, я не испытал этого удовольствия: дальше Павловска в жизнь свою нигде не бывал.

— О, вы много потеряли! Вояж обворожителен... разумеется, вояж с удобством, с комфортом...

— Так, так, я сам думал... А житье провинциальное?

— Житье чудное! Знаете, этакое дружество, радушие... очень приятно! Не хвастая, вам скажу, я прожил в уезде, будто в своем семействе... Там бал, здесь охота, в другом месте рыбная ловля — и это все без малейшего этикета... Жалейте, если вы никогда не испытали этого!

— Истинно жалею! Счастливец вы, Семен Иванович!..

(1841)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНЕЙ АССИГНАЦИИ

Мне очень совестно рассказывать приключения такой ничтожной вещи, как пятирублевая ассигнация, вещи, которая, если правду сказать, не может сама ни рассуждать, ни разговаривать, ни даже писать. Всякий порядочный человек, дорожащий не только смехом, но и улыбкой, вправе обидеться, вправе принять бедные приключения за средство поострить и волею-неволею заставить его смеяться. Подобное подозрение со стороны порядочного человека для меня очень горько, и я намерен объясниться.

Вообще ассигнации у нас теперь сделались довольно редки, особенно синие; а что редко, то сильнее обращает на себя наше внимание. Один мой приятель получил из провинции деньги, и между ними была синяя ассигнация, ветхая, затертая, испятнанная, с обгорелым уголком. Долго мы рассматривали ее как редкость прошедших дней; мой приятель, большой фантазер, мечтал над ней, делал свои выводы и заключения и, прощаясь, сказал мне, что дорого бы заплатил, чтоб узнать похождения этой изодранной бумажки. Я советовал ему положить бумажку на ночь под голову, что очень одобряет Мартин Задека. Чрез несколько дней я получил от моего приятеля рукопись под заглавием «Приключения синей ассигнации» и передаю эту рукопись, не изменяя ни слова. Если в ней найдется что́ хорошего или дурного — решительно не беру на себя: все отнесите к моему приятелю. Я даже сказал бы вам имя приятеля, да не хочу его погубить — он человек служащий, а литература, чего доброго, может испортить ему карьеру... Как посмотрит начальство: хорошо посмотрит — благо ему; а покосится — я буду кругом виноват. Нет, лучше не скажу имени приятеля. Пусть он наслаждается здоровьем и душевным спокойствием, что, по уверению многих сытых философов, дороже денег.

РУКОПИСЬ

184... года месяца и числа я, нижеподписавшийся, получил сполна оброк из моей ...ской деревни от старосты Максима и был в самом приятном расположении духа, что постоянно случается со мной при своевременном получении оброка или других каких-либо денег. Иной, получая деньги, вдруг закипит тройною жизнью, спешит и туда, и в другое место, и еще далее, торопится расширить круг своих действий, будто предчувствует, что на другой день посадят его на овсяный суп с черносливом; я, напротив, люблю в этот светлый день философствовать, рассуждать о суете мирской, о политической экономии, кадастре, балансе и других важных предметах и только назавтра, благословясь, пускаю в оборот мой капитал. Так было со мной и сегодня; я просидел вечер с знакомыми за бутылкой портера и, когда они ушли, преспокойно лег спать, пересматривая французскую книгу «Голубые бесы». Вдруг входит ко мне дама в синем салопе, в синей шляпке; лицо этой дамы было, с позволения сказать, немного изношено, плащ и шляпа немного испятнаны, но во всей фигуре было что-то неизъяснимо привлекательное. Глядя на нее, я ощущал какое-то родственное чувство; мне казалось, что я вижу старую знакомую, не то тетушку, кормившую меня пряниками, не то друга детства...

Во всяком случае, мое положение было странное; я человек холостой, молодой — у меня в спальной какая-то дама, хоть пожилая... да тем хуже, пожалуй, и свои люди перестанут уважать, а тут еще... Словом, пренеприятное положение! Я вспомнил про свой туалет и машинально хотел было задуть свечку, но удержался от этой глупости и молча глядел на синюю даму. Она поклонилась мне, будто знакомая, и преспокойно села на кресло против моей кровати. Чувствуя, что надобно же кончить это неприятное tête-à-tête, я начал говорить...

— Видно, вы очень расстроены,— сказала, улыбаясь синяя дама, когда я кончил свой монолог...

— Напротив, я сегодня получил оброк и чувствую себя очень спокойным; но, признаюсь, ваше посещение в такую пору, при таких обстоятельствах... притом я не имею честь знать вас...

— Полно, так ли? Неужели вы меня не встречали в свете?

Я пристально посмотрел на даму и замолчал от ужаса: она была в синих чулках... Передо мной утомительно невыносимой картиной потянулись страдательные сцены моей жизни от синих чулков. Педант мужчина несносен, но синий чулок страшнее чумы и всех немочей. Я лежал, словно приговоренный к пытке, ожидая на свою голову ученой диссертации, шитой по тюлю.

— Что же, узнали меня?

— Если не ошибаюсь, я имел удовольствие слышать на прошлой неделе ваше рассуждение о... Ламартине...

— Ошибаетесь.

— Извините, вы говорили о невещественном капитале и о новом тарифе.

— И еще раз ошибаетесь; я вижу, вы меня принимаете за ученую женщину, судя по моему наряду; напротив, я слишком далека от этого, хотя *синие чулки* и не брезгают моим знакомством; но я их не люблю; по-моему, они — женщины — не на своем месте, существа совершенно лишние в мире. Женщина должна быть женщиной, а не профессором; и для меня всякая прачка почтеннее *синего чулка*... Нет, я человек простой, хоть и много видела в жизни; я в знать не лезу, хожу с рук на руки, могу похвалиться всеобщею привязанностью, а стóю не более пяти рублей ассигнациями. Правда, лет десять назад люди ценили меня, особенно в Москве, полтиной дороже; но это время прошло невозвратно.

Признаюсь, как начало речи синей дамы утешило меня,

так конец решительно сбил с толку — так наглы показались мне ее речи...

— И все еще не узнаете меня? А давно ли хотели знать мои похождения и с твердой волей положили меня к себе под изголовье? Разве вы шутили мною? Разве вы не читали «Сонников» и «Оракулов»? Разве вы не веруете в Мартина Задеку?.. Что же вы молчите?

— Извините, мадам, в детстве я читал когда-то «сонник»,— он был настольной книгой моей сестрицы; и теперь, кажется, есть у моего Ваньки в лакейской... Что же касается Мартина Задеки...

— О, он великий философ и безошибочный сердцеведец! Доказательством этому я, пятирублевая ассигнация! Вы желали познакомиться со мной, исполнили его наставления — и я перед вами, олицетворенная в образе, действующем на все ваши чувства. Вы меня видите, меня слышите, вы должны обонять, если не имеете насморка, мускусовый запах, полученный мной во время моих странствований, наконец, вы можете убедиться, что я действую и на ваше осязание.

— Покорнейше благодарю! Я верю на слово, хотя ассигнация — предмет неодушевленный.

— Неодушевленный?! Мне почти жаль, что я пришла к вам. «Ассигнация — предмет неодушевленный»! Да это вторая душа вашей земли, молодой человек! Подобные речи теперь трудно услышать на островках Тихого океана.

— Боже меня сохрани не верить в могущество ассигнаций! Но, извините меня, мне странно подобное явление, то есть превращение или олицетворение простой бумажки в такую милую даму.

— А разве вы не знаете силы стихийных духов? А что говорит Парацельс? А что говорит Эккартсгаузен? А воля? Сильное желание? А животный магнетизм?..

— Знаю, знаю и совершенно верю вам.

— Ну, так надевайте халат, садитесь и пишите. Мне время дорого.

Происхождение мое, как происхождение всех народов, покрыто мраком неизвестности; младенчество свое я помню очень смутно; кажется, я была не такого цвета, но люди меня окрасили по-своему, потом беспрестанно приводили меня в самые близкие и тесные отношения с разными, более или менее жесткими предметами, от которых я поневоле принимала их впечатления, только наоборот; наконец меня подписали, занумеровали и положили в кипу с подобными мне синенькими ассигнациями; потом отвезли в какое-то место, где казначей, человек седой, в очках, пересчитал нас и перещупал худыми, замаранными в табаке пальцами; тут я получила первое мучение: первое пятнышко от нечистых пальцев казначея... Впоследствии я привыкла к этому и даже гордилась своими пятнами; но первое было тяжело!..

Недолго я лежала в сундуке казначея. *В одно прекрасное утро* он вынул меня, вместе с моими товарищами, и положил на стол, покрытый красным сукном. Утро было истинно прекрасное; солнце ярко светило и обливало блеском всю комнату; в комнате много людей потихоньку суетилось, кланялось друг другу и, улыбаясь, поглядывали на нас. И точно, мы были очень хороши; кроме нас, синих, к которым очень шел красный цвет стола, тут были ассигнации белые, красные и даже серые, что составляло разнообразное зрелище. Не только люди чиновные глядели на нас ласково и страстно, но даже и солдат, стоявший на часах у двери, часто поворачивал к нам голову, шевелил усами и облизывался. Скоро пришел в комнату человек среднего роста, в усах и в синем фраке с блестящими пуговицами; все начали поздравлять его, называя почтеннейшим Фомой Фомичом. Он всем очень низко кланялся и просил к себе запросто вечерком откушать чаю; все значительно улыбались и говорили: «Непременно постараемся».

— Можете получить,— сказал казначей, в раздумье глядя на нас.

— С величайшим удовольствием,— отвечал человек в синем фраке, потирая руки.

Казначей посмотрел в бумагу, потом в книгу, поставил в ней какую-то каракулю, взял несколько пачек серых, белых и красных ассигнаций и нас три синеньких, после оставил двух моих товарищей, а положил меня одну в придачу и отдал господину в синем фраке, сказав:

— Кажется, так будет верно.

«Это уже не у казначея в сундуке,— подумала я, ложась в атласный бумажник нового хозяина.— Знай наших: вот какой нам прием! Верно, я персона важная, когда одна синяя между сотнями товарищей других цветов, да и хозяин мой синего цвета; верно, казначей очень любит его и захотел утешить мной... небойсь, не дал нас трех! Во всяком случае, я очень рада: здесь по крайней мере и мягко, и тепло, и приятно пахнет...»

Приехав на квартиру, мой хозяин сильно ругал своих людей. «Вы,— говорил,— бесчувственные, ничего не понимаете, делать ничего не хотите по-моему, чтоб все горело в руках... Ходите как вареные, а наш брат, барин, бегай из-за вас да хлопочи. Вот теперь каждый год плати за вас проценты, думай за вас, а вам все ничего! Назад полгода я ваших рож и в лицо не знал, а вот привел бог в петлю, трудись да выплачивай! Смотрите же вы у меня, уж коли я работаю, так с вас вчетверо спрошу...» И еще долго ругался, попрекал людей, а после вошел в спальню, запер дверь и вынул из кармана бумажник. Мы так и задрожали, думая, что сердитый хозяин всех нас лишит живота; ничуть не бывало: он вынул нас бережно, глядел на нас такими ласковыми глазами, пересчитал и, сложа вместе, горячо поцеловал всех нас без изъятия, повторяя: «Ай да Фомич!.. Молодец!... Малина!.. Людей порядочно припугнул: не станут просить ни на сапоги, ни на говядину, а то в губернском городе совсем избаловались... Хорошо, черт возьми! Тебе брат Фомич, и не снилася такая сумма. Вот если бы теперь завалиться в Москву, да еще так, без

службы... Богатое величанье гаркнули бы у Илюшки... Эк их пропасть какая!..» И опять, поцеловав нас, хозяин, как был во фраке и даже в картузе, пошел плясать по комнате, держа в руке бумажник.

Не знаю, долго ли плясал бы наш хозяин, если б не явилось новое лицо; оно так дернуло дверь, что задвижка отскочила и дверь отворилась настежь. Хозяин торопливо сложил нас в бумажник, и я мельком только заметила, что новое лицо было очень похоже на обгорелую головню и что шея у него была обмотана красным...

— Петр Петрович! — закричал хозяин навстречу гостю.

— Фома Фомич! — заревел гость.— Да к тебе, брат, без доклада и не доберешься... Таким барином стал!

— Это дурачье вечно грубит! Я, брат, для старых товарищей всегда одинаков, ей-богу, Петя! — говорил хозяин, целуя гостя.

— Славная у тебя душа, Фомка! Все тот же! Черт возьми... Дай еще раз поцелую... Вот так! Редкая душа!

— Какова ни есть, да своя, брат, чисто русская, не бонжурная, друг мой Петя.

— Благородно сказано! Для меня товарищество — первое, а после там что хочешь... Это недаром и в истории записано.

— А ты по-прежнему почитываешь?

— Как же, брат, особливо теперь, в годовом отпуску, делать ровно нечего. Поехал было на родину, да там тетки такая дрянь, что всилу ноги унес. Знаешь, брат, пара старых девок, сплетницы, трещотки... Сначала было они около меня кубарем заходили; я ту и другую в ручку и говорю: «Сделайте карьеру: жените меня». Они обе за меня и ухватились, да тут же и перессорились. Одна кричит: «Женись на Свинкиной»,— другая: «На Сивкиной». Одна кричит: «Не слушай ее, Петя: Сивкина и сякая и такая»,— а другая кричит еще пуще: «Не слушай ее: Сивкина вот этакая...» Погодя слышу: уже мои тетушки попрекают друг дружку то куском хлеба, то ворожбой, то грехами

всякими... «Плохо,— подумал я,— какие ни есть, а все тетушки; чего доброго, станут доказывать друг на дружку в подделке ассигнаций да угодят куда-нибудь! Благо бы прежде женили». Вот я и стал то у той, то у другой целовать ручки...

— Экой ты селадон сделался!

— Нельзя, братец: нужда пляшет, нужда песенки поет! А признаться, ручки прескверные! Всилу уговорил: я, дескать, на той женюсь, которая, дескать, богаче. Вот начали считать все — и людей, и землю, и скот, и платье, и — веришь ли? — даже юбки!..

— Верю, верю!.. дело известное.

— Вот и вышло, что у Свинкиной больше состояния каким-то лесом, семьей людей, лисьей шубой да дюжиной рубах голландского полотна. «Решено,— сказал я,— жените меня на Свинкиной». Одна тетушка запрыгала от радости, а другая сказала: «С богом!» Дело было мигом закончено; обручили было, как ни с того ни с другого захлопнули у меня перед носом дверь и прислали назад кольцо... Я, разумеется, швырнул в лицо лакею Свинкиных кольцо его барышни и сказал, что с свиньями дела не хочу иметь. Тетушку-сваху тоже спровадили не совсем вежливо со двора; она плакала передо мной и ругала весь род Свинкиных; а другая тетушка заметила: «Было бы свататься на Сивкиной — все не так бы пошло».— «Ну,— сказал я,— была не была, сватайте меня на Сивкиной». Другая тетушка засуетилась; опять закипело это дело, обручили меня — и опять натянули нос... Что же узнаю? Ведь это все работа почтенной роденьки: дескать, коли не по-моему, так и не по ее же выйдет; а другая потому же заварила кашу у Сивкиной. Поди с ними! Да ведь, братец, каких небылиц не врали, да как правдоподобно! Черт их знает, откуда эти старые девки нахватались таких вещей, каких, кроме полкового фельдшера, кажись бы, никому и знать не следовало! Ну, а кому же и поверить про родного племянника, как не тетушкам? Я вижу, что плохо, давай бог

ноги, а тетки в слезы. «Куда ты? — говорят.— За что нас оставляешь?.. Верно, не умели угодить... Вот погоди, мы тебя оженим...» Нет, спасибо, мое почтение! И вот, видишь, кочую с ярмарки на ярмарку да заезжаю в губернские города. Только, по-моему, ярмарки лучше: знаешь, брат, привольнее, откровеннее, проще; там благородный человек нараспашку... Ну, а ты как? Я бы тебя не узнал в этом дурацком платье, словно в Москве парикмахерский ученик!.. Да в приказе сказали: заложил, мол, сегодня имение Фома Фомич такой-то. Я и пошел искать; думаю: «Верно он»,— так и есть!.. Ну, как ты?

— Да что, брат, повезло.

— И верно, в трефах? Я тебе всегда говорил: «Держить трефей, Фомка, будешь человеком».

— В трефах, да не так, как ты думаешь; я, братец, женился на трефовой даме, то есть на брюнетке, братец,— кровь с молоком! Что твоя малина! Теперь я попривык немного, а на первых порах, бывало, дурь берет. Вот какая жена! Лучше Любашки — помнишь?.. Да это пустяки, а главное, братец, с имением...

— Доброе дело! — заметил гость.

— Вот я теперь пообжился, взял доверенность у жены и заложил сегодня имение, знаешь, для разных хозяйственных оборотов.

— Понимаю, понимаю! Значит, ты при деньгах — тем лучше; а то, знаешь, мне как-то, веришь ли, совестно было к тебе идти: вот, дескать, пятый год должен сто рублей... Другой бы рукою махнул, а я, как человек благородный, все думаю: может быть, он и сердится? То денег не было, то адреса твоего не знал, а всегда, Фомка, помнил — видит бог... Оно пустяки, да знаешь, по товариществу...

— Пустяки, братец Петя! Я, пожалуй, теперь еще тебе дам...

— Спасибо, друг мой. Я знаю всю твою душу: этаких, брат, душ мало на свете! Веришь ли, камнем на сердце лежат сто рублей...

— Эк его разжалобился! Вечером сквитаемся — и концы в воду!

— Благородно сказано! Хорошо, что я зашел в приказ призрения, а то, чего доброго, и не увиделся бы с тобой.

— Да зачем тебя носило в приказ?

— Это мое правило: чуть в губернский город — сейчас в приказ: дашь целковый в зубы сторожу — и всю подноготную узнаешь; а то где справиться о приехавших?

— Правда, правда. Экая голова! Ты все тот же умница, Петя!

— А ты все та же чистая душа, Фомка... Дай еще тебя поцелую! Ты никуда не едешь обедать?

— Нет.

— И я тоже, так я у тебя останусь обедать, а вечерок вместе пожуируем. Идет?

— В банк? Человек! Взять на кухне двойной обед получше, самый наилучший, да приказать подать к обеду полдюжинки шампанского.

— Экая душа! Вот настоящий товарищ!

После обеда Фома Фомич с Петром Петровичем не успели порядочно выспаться, как начали собираться гости; поднялась в комнатах суета; хозяин целовался с приходившими, просил их не церемониться, быть как дома и полюбить лучшего друга — Петра Петровича. Петр Петрович говорил, что он не француз, не паркетный шаркун, а простой человек, но что душа у него чистая, не алтынная, хоть и далеко ему до Фомы Фомича: Фома Фомич, дескать, голубь кротости...

— Да полно тебе, Петя, вздор молоть! — заметил Фома Фомич.

— Нет, дружище, это не вздор. Полно тебе купоросничать, словно уездная барышня; что правда, то правда — сошлюсь на весь свет. Не так ли, господа?

— Совершенная правда! — хором ответили гости.

Мы лежали в бумажнике, а бумажник в ларчике, который стоял в самой отдаленной комнате в углу. Туда почти

никто не заходил, зато мы наслушались разных непонятных речей.

Кто-то сел у самого ларчика, на кровати, и начал страшно сопеть.

— Это вы? — спросил дрожащий голос, входя в комнату.

— Ох, я! — отвечал жирный голос.— Ушел сюда отдохнуть. Там такой шум да свет, а здесь и свечки нет.

— Там в картишки собираются тово... Вы разве не будете? — спрашивал дрожавший голос.

— Я не прочь, да не следовало бы.

— Вот еще! Зачем терять золотое время? Вам везет...

— То-то, почтеннейший, мы, кажись, дали маху, поторопились; проводить было его еще недельку-другую; он тогда играл очень снисходительно, а теперь вряд ли. А все вы виноваты: «Узнают, мол, худо будет...» Не умеете жить и меня на старость с толку сбили.

— Полноте, пустяки!

— Нет, молодой человек, он теперь и глядит не так, как глядел просителем; да и этот какой-то приятель явился, должно быть, продувной шулер; недаром он шептался с сторожами сегодня утром...

— А! Вы здесь, господа! Да тут и огня нет. Что вы забрались в мою келью? Уж не скучаете ли?

— Помилуйте, как вам не стыдно! — говорил дрожащий голос.

— Помилуйте! — подхватил жирный.— В такой приятной компании, да мы не знаем, как благодарить вас.

— Уж извините,— сказал Фома Фомич,— это мне говорить следует: я не знаю, как благодарить вас... Признаюсь, когда я ехал сюда, меня крепко пугали: говорили — извините — здесь и взяточники, и маклаки, и просто грабители,— извините, я передаю общий голос...

— Знаю, знаю; это мой предшественник пустил о себе такую славу,— заметил жирный голос.

— А напротив, я нашел в вас истинно благородного человека, окончил дела мои очень скоро, с самыми христианскими издержками — словом, я не знаю пределов моей благодарности...

— Помилуйте,— отвечал жирный голос,— это наша обязанность: мы поставлены посредниками между попечительным правительством и нуждающимся человечеством. Это наша обязанность, можно сказать... Меня очень тяготит и то, что вы прожили здесь с месяц для необходимых справок,— я всегда это им говорил.

— Да,— отвечал дрожащий голос,— даже вот недавно, несколько минут, они сожалели о вас.

— Добрейший человек! — почти закричал Фома Фомич. Потом они начали целоваться и ушли играть в карты. Немного погодя какой-то бас и дискант, забравшись в уединение, сперва похвалили друг друга, а после стали ругать Фому Фомича за его чай, за ром, за свечи, что горят неровно, и особенно за Петра Петровича, который надел для игры зеленые очки, а это худая примета: дескать, душевные движения прикрывает и косвенные взгляды маскирует; говорили, что от него несет конюшней и что Фома Фомич недалеко ушел, что жаль жены его: пропадет с таким,— словом, ужасные речи говорили; но пришел Фома Фомич — они наперехват заподличали перед ним, так что и нам, бедным бумажкам, было досадно и немного совестно. Если б все люди слушали советов Мартина Задеки и, вооружась твердостью, почаще беседовали не только со всеми неодушевленными вещами, но хоть бы с своими кошельками и бумажниками, скольких бы они бед и неприятностей избавились!

Наконец наше затворничество кончилось: Фома Фомич вынул нас из ларчика и с бумажником торжественно хлопнул на стол, так что мы поневоле вздохнули. Фома Фомич раскрыл бумажник и довольно часто начал выдергивать из него нас, бедных ассигнаций, приговаривая:

— Я сейчас плачу, господа, как честный и благородный человек.

— Да, у тебя душа ангельская,— замечал Петр Петрович, прибирая к себе ассигнации.

Быстро исчезали наши подруги из бумажника; мы едва успевали им кричать: «Adieu, ma chère!..» — «Au revoir!..» [1] — говорили некоторые и, чтоб сдержать свое слово, изредка возвращались к нам на минутку и рассказывали разные новости. Одна красненькая вернулась с пятном и жаловалась, что была в руках у казначея, прочие, возвращаясь от Петра Петровича, уверяли, что у него руки — словно атлас и на концах пальцев кожа такая тонкая, что видно, как кровь переливается, а я, между прочим, лежа в уголку бумажника, от скуки осматривала общество: все сидели вокруг стола, покрытого зеленым сукном; некоторые стояли возле стола, другие ходили и только по временам, подходя, ставили карту. На столе лежали кучи серебра, золота и красовались наши братья ассигнации, а кругом изломанные карты, бокалы, мелки, окурки сигар, и над всем этим, словно ястреб, возвышался Петр Петрович, сверкая направо и налево зелеными стеклами. В комнате только и слышно было: *...атанде, убита... плие... идет... транспорт* и тому подобные бессвязные речи. Тут я в первый раз уверилась, как трудно судить о вещах по слуху. Жирным голосом, которым, мне казалось, храпел толстый, дряблый человек, говорил худенький старичок; дрожащим, напротив, полный, здоровый, лысый мужчина в очках, басом — маленький мальчишка, словно цыпленок, во фраке, а пищал дискантом огромный мужчина с лицом желтым и обвисшими щеками. Угадывайте людей после этого!..

Наконец солнце взошло, вечер кончился, гости разошлись; я осталась одна в бумажнике. Фома Фомич поло-

---

[1] Прощай, моя милая! До свидания! *(Фр.)*

жил бумажник в карман и долго ходил по комнате, свистя и ругая судьбу; после позвал своих людей, начал их ругать и приказал укладываться, ехать домой. Поднялась в квартире возня, явились какие-то голоса и требовали денег. Фома Фомич обругал их аршинниками, жидоморами; сказал, что у них не трактир, как, например, в Москве бывают хорошие трактиры, а простая харчевня; что за все втридорога дерут и не умеют обращаться с благородными людьми; что коли он в одну ночь смог проиграть несколько десятков тысяч, так верно, сможет им заплатить сто целковых; что из-за таких пустяков и хлопотать нечего; что он пришлет денег из деревни, а коли не хотите, закричал, честно дело покончить, так, пожалуй, сейчас поеду к начальству — мне здесь все приятели,— вот как вас всех распатронят, да и шиш получите... Гости поворчали и ушли. А мы скоро поехали в деревню.

— Томас! Томас! Cher Томас! Ангел Томинька! — кричала жена, обнимая и целуя Фому Фомича.— Ну что, здоров ли ты? Ах, как я по тебе соскучилась!

— Было из-за чего!

— Еще бы! Ах, ты какой злой! Ну да слава богу, что приехал; а то я думала с ума сойду, скука; а тут то приедет соседка да наговорит страхов три короба, что спать боишься, то сосед пристает: «Заплатите за мужа по заемному письму»,— а третьего дня приезжал купец и требует две тысячи за каких-то лошадей... Всилу их успокоила, сказала, куда ты и зачем поехал; он решился обождать; только купец такой грубый! Что это за купец?

— Должно быть, лошадиный барышник. Я у него брал лошадей, когда на тебе сватался. Ведь надобно же было чем пустить пыль в глаза твоей роденьке.

— Вот ты уж и вспылил! Я очень рада, что есть чем расплатиться. Ты хозяин и делай, как знаешь лучше. Полно, не сердись, бога ради, а то как ты закричишь — мне даже дурно делается. Ну что же ты такой скучный?

— Не вечно же скалить зубы, Саша.

— Да хоть посмотри повеселее! И у меня к тебе есть просьба.

— Какая?

— Только не откажи, ангел?

— Посмотрим.

— Вот видишь, мне право, и совестно...

— Без предисловий.

— Ну, хорошо. Ты заложил имение?

— Да.

— И деньги получил?

— Да! Что это допрос, что ли?

— Ах, какой ты?.. Вот видишь, мы заплатим все твои долги, и за лошадей, и соседу за коляску, и портному, и всем, кому ты задолжал, на мне сватаясь; ведь еще останутся деньги!

— Что ты меня, Саша, попрекать вздумала? Будто мои долги таковы, что и не хватит твоего дрянного именьица заплатить их?..

— Боже мой, какой ты стал несносный! Я ведь ничего не знаю, а спрашиваю. Ну, положим, останутся, тогда ты мне дашь, душка Томас, пятьдесят рублей?

— Это зачем?

— Хочу няне купить корову: у нее много детей, а ее корова издохла.

— Жирно для нее будет; благо, что она на барщину не ходит, а то еще ей коров покупай!

— Я думала, пятьдесят рублей не большая сумма из такого капитала, как ты получил...

— Да что я получил, боже мой! Шиш получил я!.. Вышел в отставку!.. Теперь товарищи получают жалованье, да чины, да отличия, а ты сиди в деревне, будь управляющим!.. Еще и недоверие! Благородства в вас нет, сударыня!

— Что с тобою, Томас? Ты на себя не похож!

— Прежде было глядеть, на кого похож; теперь каков есть — весь налицо! Да что тут долго тянуть канитель: ты — жена, а я — муж, нам скрытничать нечего, я не ие-

зуит какой, просто человек, у меня душа благородная, вся нараспашку! Вот слушай: имение заложено, деньги получены, да их у меня нет — понимаешь?

— Как нет?

— Что с воза упало, то пропало!

— Ты потерял? Или...

— Или? Или что? Что же не говоришь? Я сам человек благородный, врать не стану: деньги проиграны...

— Это ужасно!..— шептала жена.

— Ничего нет ужасного. Я заботился о тебе и о себе, коли хочешь: хотел удвоить, учетверить капитал — не повезло... Я не виноват!..

— Проиграл!.. Это ужасно!

— Впрочем, утешься: не все проиграл.

— Ах, слава богу! По крайней мере будет заплатить долги.

— Пожалуй, иной долг и этим заплатишь.

И Фома Фомич вытряхнул меня из бумажника на стол.

— Что же вы, сударыня, не берете? Мало, что ли, вам? Не дурачься, Саша... Что с воза упало, то пропало.

Жена Фомы Фомича, женщина молодая, красивая, но бледная, стояла у стола, придерживаясь за спинку стула рукою; странными глазами глядела она на мужа; слезы ли скрывали их выражение, или в них отражались разные движения души так быстро, что, меняясь, теряли всякий определенный характер.

— Что же вы не берете? — спросил Фома Фомич.

Жена стояла молча, и вдруг по лицу ее градом покатились слезы.

— Есть из чего плакать! Утешься, Саша! Ведь это я так немного погорячился, ведь я горячка, меня все и в полку горячкой звали. Ведь имение цело, станем уплачивать проценты — и кончено!

— Я не о том плачу...

— О чем же, черт возьми?

— О том...

— О чем?
— О том, что я в тебе ошиблась...
— Мое почтение!.. Этого еще недоставало! Вот тебе и женатая жизнь!.. Просто надел себе петлю на шею... Дернул меня черт жениться!.. Говорите без обиняков, сударыня! Как вы ошиблись? Может быть, не я ли ошибся?..
Жена Фомы Фомича перестала плакать, выпрямилась, словно выросла на пол-аршина, гордо посмотрела мужу в глаза и тихо, но твердо сказала:
— Я думала найти в вас благородного человека, а нашла...
— Договаривайте!
— Нашла бездушного авантюриста и... человека бесчестного... Возьмите ваши деньги...
И, взяв меня холодною как лед рукою, молодая дама бросила на пол перед Фомой Фомичом и величаво вышла из комнаты.
Фома Фомич тихонько засвистал вслед уходившей жене, потом принялся хохотать, приговаривая: «Горденька, моя матушка!.. Ни дать ни взять королева на московской сцене!.. Выкинула штуку!.. Обругала мужчину!.. Да порядочному человеку честь, коли его бабы ругают!.. Я знал одного штаб-офицера, который съел на веку с полдюжины щелчков от первейших красавиц, да еще этим хвастал, значит, было за что!.. Вот напугала, матушка!.. А впрочем,— прибавил Фома Фомич, перестав смеяться и сердито сдвигая брови,— если война, так война... Я тебя, матушка, сверну в бараний рог, я тебе покажу, что значит муж! Сила солому ломит. Посмотрим!..» И Фома Фомич ушел в свой кабинет, так прихлопнув за собою дверь, что стекла в окошках зазвенели и паук, сидевший спокойно в уголку под столиком подле паучихи, закрыл лапками уши и сказал:
— Ах, какой грубиян!
— Благодарю бога, что ты не похож на него,— нежно прибавила паучиха.

— Еще бы! Ведь мы не люди! Мы так себе, серенькие пауки!.. Обними меня, друг мой! Пусть кругом шумит буря — в нашем углу мир и тишина.

Пауки начали обниматься, а мое внимание развлек новый предмет. Молоденькая девушка, лет шестнадцати, полненькая, свежая блондинка, с розовыми щечками, с немного вздернутым носиком, с быстрыми серенькими глазками, с веселою плутовскою улыбкою, выказывавшею ряд беленьких ровных зубов... Это была, как я после узнала, Лиза, горничная жены Фомы Фомича. Одетая в темненькое ситцевое довольно короткое платье, прикрытое на шее кисейной косыночкой, заколотой, казалось, не без труда на полной, круглой груди,— словно кошечка, вбежала легко в комнату и вдруг остановилась. Выставя немного одну ногу вперед, сложа руки крестом на груди, она немного наклонила головку и, казалось, затаив дыхание, к чему-то прислушивалась, потом подбежала к двери, куда ушла барыня, постояла с полминуты, приложа ухо к замочной дырочке и перебежала к двери, в которую ушел Фома Фомич. Постояв там немного, Лиза отошла спокойным шагом, говоря вполголоса:

— Ничего! Прошло! А я думала, будет катавасия; только барин потузил немного Егорку, да и поделом: озорник этакой! И что ему в моей косынке?.. Все указывает пальцами, вся, говорит, в дырочках. И врет,— продолжала Лиза, улыбаясь и глядя в зеркало,— врет, как лягавая собака, даже ни одной, ни этакой дырочки!.. А брови у меня темнеют...— И Лиза, послюнив мизинец, начала приглаживать свои брови.— И башмаки у меня недурны, сидят, как на барыне, коли не лучше,— право, так.. Ай!..— Лиза увидела меня на полу и, быстро схватив, подбежала к окошку.— Господи! Сколько тут денег! — шептала Лиза, осматривая меня со всех сторон.— Еще у меня отродясь не было в руках столько. Кто б это потерял: барыня или барин? Да у барыни у самой нет денег, стало, он потерял. Вот если бы мне: накупила бы

и мониста, и сережек, и на платье, и платок... Я думаю, стало бы... Нет, я бы отдала их Степану... да, ему бы отдала. Еще третьего дня он говорил мне: «Были бы деньги, мы бы скоро женились; я бы,— говорит,— накупил сапожного товару, нашил бы сапогов, продал бы, да опять купил бы товару, да опять продал бы: завелась бы деньга, отпросился бы на оброк в город, завел бы мастерскую, да и тебя, Лиза, хоть бы добром взял у барыни, хоть бы выкупил, коли б она заартачилась; я свой человек, крепостной, а, вот те Христос, заплатил бы! Беда, нет ни алтына!» Вот как говорил он, такой добрый! Был в науке шесть лет — и не забыл меня. Эк я разговорилась! Да нешто это мои деньги? Спохватятся, так и своих не узнаешь! Разве не подарит ли барин? Таковский! А может быть. Недаром говорит старая Фетинья: «Ты, Лиза, своего счастья не видишь: замечай, как он глядит на тебя». А мне что за дело? Любил бы меня Степан... Ах, Степа, Степа! Выпрошу я тебе эти деньги — заживешь ты барином. Была не была, ведь он не съест меня...

И Лиза, махнув рукой, вышла из комнаты в дверь, куда ушел Фома Фомич. Пройдя три или четыре комнаты и небольшой темный коридор, она немного остановилась и, робко отворяя дверь, вошла в кабинет Фомы Фомича. Фома Фомич глядел в потолок и курил трубку, лежа на кушетке в красном халате, красной ермолке и красных сапожках, шитых золотом.

— Кого там черт носит? — грубо спросил Фома Фомич и сердито повернул к двери голову.— А! Это ты, Лиза? Это другое дело. Что, тебя барыня прислала, а?

— Нет-с, я сама пришла; мне нужно...

— Тем лучше, тем лучше! Притвори-ка дверь: там страшно несет ветер, получше, на крючок, вот так. Ну, что ты скажешь?

— Вот, сударь, я нашла деньги в той комнате; не вы ли обронили?

— Деньги? Какие? Покажи-ка сюда, поближе, побли-

же, чего ты боишься? Дура! Ведь я тебя бить не стану. Экая дикая! Ну, вот эти деньги?

— Эти-с.

— Мои, да бог с ними! Когда нашла, возьми их себе. Экие у тебя щечки свежие, точно малина!

Фома Фомич ущипнул Лизу за щечку.

— Полно вам, барин! — шептала Лиза.— Барыня услышит — забранится.

— Пускай услышит, пускай увидит! Ты ведь такая душка, что трех барынь стоишь.

Лиза крепко сжала меня в руке, и мне стало ничего не видно. Она меня так долго жала и комкала, что я даже потеряла чувство слуха, говоря языком человеческим, упала в обморок, и когда пришла в себя, то была уже в саду. Лиза, растревоженная, разглаживала меня дрожавшими руками; ее лицо горело, из глаз капали на меня горячие слезы, а кругом было свежо и приятно, день вечерел, цветы и деревья цвели; недалеко подле забора в кусту сирени пел соловей.

Стемнело, соловей вдруг перестал петь и вылетел из куста: за забором послышался шорох. Кто-то лез через забор. Лиза запихнула меня за пазуху, и скоро я услышала:

— Ты, Лиза?

— Я, Степан...

— Вот я с тобой, моя ненаглядная! Ну, как прошел день? Не обижали ли тебя, не били ли?

— Нет, Степан.

— Отчего же ты такая невеселая?

— Не от чего мне веселиться.

— И то правда. Отчего же ты плачешь? Не рада мне, что ли?

Лиза прислонилась к плечу Степана и зарыдала, всилу выговаривая:

— Видит бог, как я тебе рада... А плачу я оттого...

— Отчего?

— Сама не знаю отчего! На душе тяжело...

— Все переменится, Лиза, погоди; легко будет. Вот я уже собрал немного деньжонок, разбогатею — заживем!

— Что-то не верится, Степан. А я тебе принесла денег — возьми их. Я их достала для тебя.

И Лиза подала меня Степану.

— Ба! Пятирублевая!.. Спасибо... Да откуда ты взяла ее? Господа, говорят, и гривенничком не разорятся, и платье-то шьют дворне все поуже да покороче, чтоб меньше выходило...

— Уж не украла! Собрала, да, собрала. Прощай, кто-то идет!

Лиза побежала, а Степан, притаясь за кустом, долго смотрел ей вслед, после перелез через забор и пошел дорогою на село, мимо сада, через плотину.

На мосту, у мельницы, сидело несколько человек; перед ними, в фуражке, важничал Егорка — камердинер Фомы Фомича.

— Так он того?..— говорил старик мельник.

— Еще бы! — отвечал смеясь Егорка, видимо уже немного подпивший.— Он у нас был такой молодец в полку, что держись... Страх охоч до баб: ему хоть хлеба не давай!

— Вишь ты! — печально заметил другой голос.

— А ты, дядя Пантелей, и призадумался. Видно, у него хорошие дочки!..

— Что у меня за дочки! Такие дрянные, что самому смотреть досадно.

— Не хитри, дядя. Да коли правду сказать, ведь он и наградит всякую. Сами увидите, не в челне — на берегу, не сегодня-завтра.

— А что, а что?

— Да так, ничего, авось увидите барскую барыню — уж я его натуру знаю.

— Расскажите, Егор Иванович.

— Да уж коли ему кто полюбится, так месяц или два

никому перед тем ровни нет, пока не прискучит,— вот как! Увидите.

— А разве кто есть? Уж не из губернии ли привезли?

— Своя, ребята!

— Своя? Кто ж это? Шутишь, Егор Иванович!

— Что я, парень какой али вы девки, чтоб шутки шутить? Коли говорю, так правда.

— Уж не Лиза ли?

— Угадал, дядя! Посмотри, как она теперь заживет: будем ей кланяться, а деньгами все село забросает!

— Да полно, она ли? — спросил мельник.

— Я не вру, старик, хоть и в походах бывал. Подождите — сами увидите. Что так не весел, Степан?

— Раздумье берет, братцы! Есть у меня деньги, да не знаю, куда их деть.

— Эк призадумался! Есть лишняя деньга — ребром ее: и самому весело и приятелей угостишь. Не с деньгами жить, а с добрыми людьми.

— Думаю я сам, да человек-то я непьющий, Егор Иванович...

— Вон-на! А кажись, на возрасте, да еще мастеровой: живая деньга водится, словно рыба в пруде, и не пьет! Эх, брат Степан, поживи больше, увидишь сам — только и нашего, что выпил.

— Правда, правда! Так идем, я угощаю.

И вот целая гурьба потянулась за Степаном в кабак. Сели гости на лавке за стол, сел и Степан и выкинул меня, словно руки обжег, на грязный стол, залитый вином, и закричал:

— Вина, хозяин! Бери деньги, давай вина!

— На сколько?

— На все; да бери скорее деньги, не то я сожгу их.

Гости переглянулись и начали пить. Степан пил вдвое против их и скоро стал заговариваться и ругать барина. Егорка, из приличия, немного заступился за барина. Степан обругал Егора еще хуже; тогда Егор сильно заступился

за барина, сослался на свидетелей, что, мол, и таким и сяким называл его благородие и похвалялся бог знает на что. Связали Степана и повели на барский двор.

— Славный малый этот Степан! — говорил хозяин кабака, считая выручку.— И дернула его нечистая говорить такие речи! Ох-ох! Молодо-зелено! А начал хорошо; да, кажись, ему уже не бывать у меня в гостях: Фома Фомич не любит шутить. Ох-ох!..

Темно и душно было мне лежать в выручке нового хозяйина, между разными монетами, покрытыми часто грязью, салом и бог знает чем; притом нас угнетал тяжелый спиртной запах и беспокоили разные насекомые. Выручка была заперта на замок, но насекомые проникали в нее через узкую щелочку и обнюхивали нас и царапали противными жесткими лапками.

Как судьба играет вещами! Давно ли я лежала в атласном бумажнике, давно ли покоилась на груди девушки — и вдруг попала в грязный кабак, заключена, не знаю за что, в неопрятный сундук или ящик, называемый выручкой, где даже презренные тараканы и другие насекомые наносят мне разные неописанные оскорбления! Я молила судьбу о перемене, и судьба скоро услышала мольбу: с восходом солнца подъехал к кабаку экипаж, кто-то вошел в кабак и начал покупать полведра водки, самой лучшей, забористой, говоря, что едет в город судиться, так надо угостить кого следует не помоями, а чем-нибудь получше. Хозяин божился, что водка первый сорт и что в ней нет воды ни одной капли.

— Ну, уж это ты врешь, анафема! — заметил гость.— Давай-ка сдачи.

Хозяин, ухмыляясь, открыл выручку, взял меня, да старый затертый гривенник, да из черного народа двух братьев медных пятаков, и, кланяясь, положил на стол перед гостем. Гость был толстый человек, небольшого роста, одетый в нанковый оливкового цвета сюртук и желтые нанковые панталоны; на голове он имел зеленый ко-

жаный картуз; в руках держал трубку с гибким чубуком, плетенным из волос. Перед окнами стоял экипаж гостя; что-то среднее между бричкой и тележкой, выкрашенное ярко-зеленою краской. В экипаже были запряжены две клячи, да еще бежали сзади два жеребенка.

Я сразу поняла, что обречена на жертву в виде сдачи толстому человеку, и крепко боялась, чтоб он не положил меня в один карман с гривенником и пятаками. Еще гривенник ничего, видно, что много жил на свете, крепко пообтерся и потерял всякий отличительный характер не только гривенника, но даже вообще монеты; он был такой ласковый, гладенький, что с ним легко можно ужиться; но пятаки — ужас! Они своими плебейскими, медными ребрами истерзали бы меня, могли бы испятнать мою физиономию. Однако страх мой был напрасен; толстый человек положил пятаки в карман своих панталон, гривенник в голубой бисерный кошелек с медным замочком, а меня — в бумажник, правда, не атласный, но приличный званию ассигнации.

О гривеннике немного он поспорил с хозяином, который уверял, что гривенник почти новый, только пообтерся, а толстый человек говорил, что за него нельзя дать больше пятака серебра. Наконец хозяин прибавил медный грош, и толстяк успокоился, говоря:

— Будь я проклят, если бы взял с тебя, архиплута, и пятака придачи; да мне все равно, коли правду сказать, еду в город по тяжбе, надо будет дать сторожу на водку — вот я твою дрянь и сбуду; заменит мне новый; а дареному коню в зубы не смотрят.

— Вы у нас на это мастер! Вам того-другого не занимать стать! — говорил старый мой хозяин, провожая нового моего хозяина, толстого господина, который, пыхтя, уселся в экипаже, закурил трубку, ругнул на прощанье в шутку, для любезности, содержателя кабака и поехал в город.

Всю дорогу толстый господин курил трубку, ворчал на

кучера за тихую езду и по временам потчевал его пинками, приговаривая:

— Ворочайся, дружок! Эка анафема! Есть ли в тебе христианская душа? Ведь я еду в суд, опоздаю — все пропало! Черти б тебя побрали!

Наконец приехали в город. Мой толстый господин отправился в какое-то присутственное место, и бог знает, как умел пробраться до самого главного начальника.

— Что вам угодно? — спросил начальник таким голосом, что даже в кармане и в бумажнике я затрепетала.

— Я помещик N. N.,— отвечал мой господин робким голосом,— и приехал по делу, начавшемуся о вырубании насажденной лозы.

— А!.. Господин секретарь, как бишь это дело?

Тут начальник пошептался несколько минут с секретарем и сказал громко:

— Да, помню-помню! Сколько же вы, милостивый государь, вырубили лозы или ваш противник вырубил?

— Мой противник, точно так.

— Ну, да, я помню. Сколько же он вырубил?

— Не могу донести вам досконально — пять или шесть возов. В деле все подробно описано, ибо оно не мной возведено.

— Помню-помню! Это вашего батюшку так обчистили?

— Никак нет: еще дедушку. Вот уже шестьдесят пятый год идет процесс и все у нас съел! Дедушка был человек богатый, а я, его родной внук, просто нищенствую, а все из-за процесса, поверьте богу!

— Да,— сказал начальник хладнокровно,— вам придется понаведаться через месяц или через два, тогда посмотрим.

— Помилосердствуйте! — почти завопил проситель.— Мне писали, что дело приведено к концу. Хоть я и ничего не получу за лозу, да имя мое останется чисто и карман избавится от издержек.

— Вольно было входить в процесс!

— Да ведь это дедушка! Бог ему судья! А я получил его по наследству.

— Как бы там ни было, это не мое дело; а вы понаведайтесь после.

— Да отчего же? Позвольте узнать...

— Не беспокойте меня, оставьте меня в покое! Вот секретарь: он вам все объяснит.

Вышел начальник из приемной комнаты, а мой господин давай упрашивать секретаря. Секретарь заладил одно:

— Нельзя, нет времени, писцов мало, работы много, не успевают — и баста! На что,— говорил он,— обед — вещь хорошая, а если пообедаешь взаправду за двоих, так придется плохо, а работа не обед, так писец за двоих писать не станет, а жалованье, дескать, малое...

Мой хозяин сказал что-то секретарю на ухо.

— Да разве так,— отвечал секретарь гораздо более мягким голосом,— все-таки вам придется иметь писца для переписки всех справок и копий, придется пожертвовать капиталом... Давайте, если угодно, я распоряжусь.

— Покорнейше благодарю! Мне очень совестно. Уж позвольте, я сам распоряжусь по этой части.

— Как вам угодно,— сухо заметил секретарь,— я ведь тут ничем бы не воспользовался. Только торопитесь: сегодня четверг, приготовьте все к субботе, а то воскресенье праздник, в понедельник члены редко собираются: это день отдыха. А, начиная со вторника, четыре дня табельных и праздничных: все разъедутся, и вам будет плохо.

В субботу утром мой господин бережно вынул меня из бумажника и положил на стол. Немного погодя вошел в комнату человек лет семнадцати, худой, бледный, с заплатами на локтях, с красными, лихорадочно сверкающими глазами.

— Ну что, почтеннейший Перушкин, кончили?

— Все кончил.

— Решительно все?

— Решительно все.

— И справки, и копии, и копии с копий, и прочее?

— Все-все!

— Да я вас поцелую! Да вы, я вам скажу, пойдете далеко.

Молодой человек вздохнул.

— Что же, я думаю, вы это так, шутя переписали?

— Нельзя сказать.

— Так трудненько было?

— Я думаю! Сорок листов мелкого письма! Днем занят службой; две ночи напролет глаз не смыкал над вашими бумагами.

— Скажите! А служба ваша много доставляет?

— Я служил сначала год на испытании, без жалованья, а теперь вот другой год служу на шестидесяти рублях в год ассигнациями.

— А! Жалованье изрядное: жить можно, даже с удобствами.

— Помилуйте! Еще бы одному можно как-нибудь перебиться, а у меня на руках матушка да больная сестра; бьемся, как рыба об лед...

— Да, это другая статья. Конечно, матушка там и прочее... женский пол объедают нашего брата... Зато у вас дешевизна какая! Рыба нипочем, почтеннейший Перушкин, ей-богу!.. А знаете, вы с меня дорогонько взяли, говоря по чистой совести, дорогонько: пять рублей — деньги.

— Я не спал две ночи.

— Оно так; однако вам начальство дает в месяц пять рублей, а вы с меня содрали за две ночи... Нехорошо, молодой человек; вы должны немного уступить...

— Если вам кажется дорого, пожалуйте назад бумаги.

— Зачем?

— Я их сожгу — и концы в воду. Ищите себе писца подешевле.

— Бог с вами! Какой вы горячий! Верно, из ученых?

— Нет, не привел бог!

— И слава богу! С теми ничего не сделаешь — совсем пропащий народ, грубияны... Я не перечу вам, а говорю только о дороговизне цены; а коли вы не согласны — я не спорю. Вот ваши деньги.

Перушкин схватил меня, поклонился и быстро выбежал из комнаты.

— Милостивый государь! — кричал вслед толстяк.— Если что-нибудь здесь ошибочно, вы обязаны подскоблить и переправить без всякой особой платы.

Целый день я пролежала в кармане писца Перушкина, слушая шепот чиновников, и скрип, и царапанье перьев. Перушкин раз десять выходил из канцелярии в сени, вынимал меня, рассматривал и опять, бережно сложив и спрятав в карман, возвращался на место, за что, под конец присутствия, был крепко распудрен каким-то голосом, не то чтобы грубым или невежливым, а каким-то язвительным голосом, так что, кажется, если б змея заговорила по-человечьи, у нее был такой же голос. Печально вышел из канцелярии Перушкин; но, завернув за угол, достал меня из кармана, посмотрел, улыбнулся и почти бегом пошел домой.

На самом конце города, на форштадте, между пустырями и огородами, стоял мрачный деревянный домик, немного наклонясь на сторону. Его стены были желтого цвета, крыша желтого же, только кое-где поросла мохом и пятнами, ярко зеленела и желтела, словно эффектно раскрашенная литография. Окна тускнели какими-то особенными стеклами опалового цвета, напоминая собой очень неприятно глазные бельма; двери покосились и, отворяясь, визжали, стонали и пели. В этот дом прибежал Перушкин, и, напутствуемый воплем двери, вошел в комнату, где ожидали его с обедом старушка мать и сестра — девушка лет за двадцать, худая, бледная, вечно зябнущая и кашлявшая. В комнате было довольно темно, день вечерел, и окна не пропускали всего божьего света.

— Здравствуйте, матушка! — закричал Перушкин.

— А! Голубчик мой, Ванечка! Где ты так долго промаялся? Уж мы ждали-ждали тебя, да и ждать перестали. Похлебка простыла.

— Ничего, матушка. А что у вас не горит лампадка перед образом? Ведь завтра праздник, к вечерням уже благовестили.

— Эх, Ваня! Сама я знаю, да бог простит: масло вышло, а купить не на что.

— Пустяки! Купим!

— Ты клад нашел небось.

— А может, и нашел, и масла купим, и курицу купим на завтра на пирог, и сестре теплые чулки купим — вот как! Возьмите, матушка, вот вам на праздник гостинец.

— Ах ты, боже мой! Целая синяя ассигнация!

— Известно, вот у нас как!

— Уж не жалованье ли опять роздали?

— Нет, по два раза в один месяц жалованья не дают; а это я сам заработал: не поспал ночку-другую — вот и все! А теперь высплюсь.

— Смотри, Ваня,— уж не взятка ли?

— Не обижайте меня, матушка! Я бедняк, но не стану торговать душою. Да коли правду сказать, никто у меня и покупать ее не станет.

— Оно так! Я тебя знаю: ты доброе дитя, да берегись: иной раз на сто тысяч человек наткнешься и устоишь, а другой раз на гроше сломишь шею. Бедный человек — как раз обидят.

— Не обидят, коли правдой идешь. Станем, матушка, обедать, а то вот так сон и клонит.

— Успокойся, мой голубчик! А я после обеда пойду куплю масла, затеплю лампадку и встречу праздник, как бог велел.

После обеда Перушкин уснул на диване богатырским сном. Сестра его улеглась, покашливая, в другой комнатке; старуха купила масла из мелких денег, оставлен-

ных для домашнего обихода, а на меня долго смотрела и положила за образ, затеплила лампаду и долго молилась, стоя на коленях, и тихо плакала; потом подошла к сыну, перекрестила его, поцеловала в лоб, сделала еще перед образом три поклона и пошла на свою постель. Скоро все утихло в бедном домике; легким роем чудные сновидения толпились над уснувшими страдальцами, коварно дразня их волшебными радостями. Все утонуло в дрожавшем полумраке; один только страдальчески прекрасный лик спасителя, озаренный светилом лампады, кротко и сострадально глядел из темного угла на спавшее бедное семейство.

Поутру старуха заварила кофе.

— Ого-го! — закричал Перушкин.— Да у нас давно не было такого праздника!

— А все спасибо тебе, Ваня,— говорила мать, целуя сына.

— Полно, полно! Стоит говорить об этом! Если б вы знали, что мне снилось...

— А что тебе снилось?

— Снилось, хоть бы и наяву, что меня сделали столоначальником...

— И весьма может быть; чем ты не столоначальник? Вот к моему покойнику хаживал столоначальник, так, бывало, смотреть гадко — такой мизерный! Ты таких десяток за пояс заткнешь. А мне снилось, что наша хохлатая курочка несла не яйца, а хоромы, и в хоромах все важные люди пляшут, поют песни и зажигают трубки синими ассигнациями.

— И это хорошо, матушка. Ну, а тебе что снилось, сестра?

Бедная девушка слегка покраснела и отвечала:

— Ничего.

— Вот уж быть не может! Отчего же ты покраснела, сестрица? Вот и попалась! Недобрая, с нами и сном поделиться не хочет.

— Полно, братец! Мне снились такие нелепости...

— А например?

— Снилось мне, будто я в шелковом платье, вся в цветах, и кругом гости... так мне завидуют... Потом пошла в церковь...

— Понимаю: ты была невеста, да?

Девушка молча кивнула головой; две слезы побежали по ее бледным щекам.

— О чем же тут плакать? Сон в руку! Вот мы и отпразднуем твою свадьбу!

— Полно, братец!

— Вот вздор! Разве ты не хочешь замуж?

Девушка, рыдая, упала на грудь матери и простонала:

— Перестань, братец! Я знаю, куда мне дорога, я знаю, какие это цветы!..— Она закашлялась, приложила к губам платок — на платке отпечаталось кровавое пятно. Перушкин стал на колени перед сестрой, и сжимал ее холодные руки, и плакал, и с такой любовью глядел ей в глаза, что девушка улыбнулась и сказала: — Я пошутила, полно вам беспокоиться: мне уже лучше.

— Ну то-то же! Я знал, что будет лучше; оставь печальные мысли. Вот купим тебе теплые чулки — и все как рукой снимет. У меня есть предчувствие: станем работать — и все будет хорошо.

— Молодо — зелено! — шептала старуха, глядя на сына.— Подкрепи тебя, господи!

К вечеру Перушкин пошел с сестрой гулять, а к старухе явился какой-то человек преподозрительного вида, небритый, нечесаный, и стал говорить, что квартирная комиссия назначила в доме старухи постой — полковую музыкантскую школу. Старуха доказывала, что у нее весь дом из двух комнат и кухни, что негде поместиться музыкантам; что у нее дочь больная... Ничто не помогало, небритый был непреклонен. Старуха плакала, а он хладнокровно рассчитывал, где будут барабанить и где трубить.

Наконец старуха подошла к образам, взяла меня дрожащими руками и отдала небритому человеку, говоря: «Не взыщите, батюшка, чем богаты, тем и рады, да постарайтесь за меня, вдову беспомощную...» Небритый стал ласковее и обещал уладить дело «к обоюдной приятности».

В эту же ночь я перешла из кармана небритого человека к откупщику и не знаю, как очутилась назавтра с десятком таких же синеньких в портфеле секретаря, которого сейчас узнала по голосу. Голос его и его начальника остались у меня в памяти с того дня, как бывший мой толстый господин явился к ним в присутствие.

В портфеле у секретаря был сущий раут для нашего брата: здесь толпились и жались одна к другой в беспорядке ассигнации всех цветов и всех возрастов; нам было и тесно, и душно, и неловко.

Вечером секретарь запер дверь в своем кабинете, отпер портфель и высыпал нас на рабочий стол, покрытый зеленым сукном, забрызганным чернилами; потом еще раз попробовал дверь, точно ли она заперта, заткнул бумажкою замочную дырочку, опустил шторы и пришпилил их по бокам к окну булавками, зажег еще одну свечку и, вынув из шкапа большой торт, поставил его подле нас на стол. Торт имел фигуру рога изобилия; он был сделан из сладкого пряничного теста и сверху облит розовым сахаром, расписан разными узорами и украшен бумажными цветами.

— Плохо жить с дураками! — ворчал секретарь, сердито глядя на торт.— Говорил ему — средственный, а он прислал вот какую машину! Думал, дурак, поддобриться, прибавил на рубль пряника! А еще немец, в столице учился. Беда с дураком! Поди теперь накорми эту бездонную бочку!

После этого монолога секретарь взял вострый нож, бережно отрезал бок от торта и начал, вздыхая и охая, выдалбливать изнутри тесто. Скоро торт представлял точное

подобие пустого рога; все тесто, вынутое из него, лежало высокой кучей на столе.

Секретарь посвистал в пустой рог и, налив себе стакан вина, съел все вынутое тесто. Мы глядели на эти проделки, толкали друг-дружку и делали различные предположения, недоумевая, что дальше будет; нам не приходило в голову, что сладкий пирог сделается нашей тюрьмой, а вышло так: варвар, съев все тесто, принялся связывать нас в пачки розовыми ленточками, синенькие по двадцати, красные по десяти, а беленькие по четыре бумажки в пачку. Положив десять пачек в пирог, секретарь опять принялся ворчать на немца:

— Вишь, как угодил! В прошлом году вошло ровно десять пачек, а теперь еще пяток надо — шутка ли! А нельзя — рука руку моет, оттого обе такие беленькие. Его не почтешь — и он тебя не почтет при случае, да еще как! Господи боже мой, трудно жить на свете за грехи наши! Чтоб *ему* подавиться этими пирогами... А впрочем, пусть живет — добрый человек *он*... А такая есть страшная басня про лягушек, как их журавль *тово*... Нет, уж пусть лучше *этот*... Этого я натуру знаю; да и то додумаешь: кто не сеет, тот и не жнет; кинь хлеб-соль назад — впереди очутится — святая истина! Дай бог ему мафусаиловы веки... Разумеется, только жалко и даже прискорбно добро из рук выпускать. Ну, да мы свое наверстаем.

Говоря эти слова, секретарь наполнил окончательно рог изобилия ассигнациями и ловко заклеил бок отрезанным кусочком.

Тут уже для нас настала кромешная тьма. Слышно было только, как хозяин вышел из кабинета, запер дверь на замок и, вынув ключ из двери, ушел.

Наутро в кабинете заметна была сильная тревога, хозяин шумно отворил дверь и началась суета; люди ходили, бегали, хозяин кричал, ругался, хлопотал о новых брюках и чистой манишке, наконец спросил шпагу и сказал кому-то:

— Возьми это!

И вот взяли нас с блюдом, завязали блюдо в салфетку и, гордо усевшись на дрожках, секретарь повесил салфетку с блюдом на руках, и дрожки понеслись гремя и прыгая по неровной мостовой. Не знаю, каково было ехать нашему хозяину, но нам путешествие показалось очень приятно: мы ехали покачиваясь, словно в люльке, бережно сохраняемые заботливой рукою секретаря. Наконец дрожки остановились; хозяин соскочил и понес нас по лестнице во второй этаж.

— Честь имею поздравить с днем ангела,— сказал секретарь, войдя в комнату.

— А, спасибо, спасибо, почтеннейший! Что это у вас? Вечно сюрпризы!

По голосу спрашивавшего я сейчас узнала начальника секретаря.

— Это, прошу не побрезгать, жена собственноручно соорудила пирог...

— Э, к чему это?

— Сделайте божескую милость, не откажите. По нашему, по славянскому обычаю следует поздравить хлебом-солью.

— Ну, ну, бог вам судья! Поставьте там. Вы всегда меня уговариваете, право. Знаете, я ведь не люблю этих вещей... Да собственно из уважения к трудам вашей супруги...

— Знаю, знаю.

— Ну, присядьте. Как ваши дела?

— Слава богу, идут помаленьку...

— И слава богу!.. Да скажите, пожалуйста, как это вы так скоро окончили дело, помните, на прошлой неделе того толстого чурбана?

— О наследстве и вырубленной лозе?

— Да, да... Я подписал, надеясь на вас, не читавши, и очень удивился, когда толстяк пришел благодарить меня. Вы, кажется, говорили, его нельзя скоро отпустить?..

— Тут вышло, смею доложить, чрезвычайно казусное дело: справок была бездна, письма пропасть, и он все успел обработать к присутствию, так что я изумился и сам неволею должен был предложить к подписанию, а то, чего доброго, этот сутяга еще бы полез куда повыше жаловаться.

— Боже избави!.. Меня одно удивляет: как он мог обработать так скоро?

— Извините за выражение: дал взятку писцу.

— Что вы! Что вы! Бог с вами! Хотел бы я знать, кто в моем ведомстве решится взять взятку? Скажите мне...

— Говорят, писец Перушкин. Он все шепчется с просителями, и в день решения дела сторож видел, как он выходил беспрестанно в сени и пересчитывал деньги, все ассигнации. Да и все почти справки и копии по делу о лозе писаны рукой Перушкина.

— Так вот оно что! — заревел начальник.— Так у меня смеют под носом брать взятки, а я и не подозреваю! Всех мерял по своей мерке!.. Мне и в голову не приходило, чтоб молодой, благородный человек решился... И что скажут про меня, когда узнает про это высшее начальство?! Стыд, ужас! Хоть сквозь землю провались! Спасибо вам, вы мой истинный друг. Гей, человек! Что, там в передней лежит лист?

— Лежит.

— И расписываются?

— Расписываются.

— Хорошо. Когда придет канцелярист Перушкин, не давай ему расписываться, а тащи его ко мне, кто бы у меня ни был, тащи — слышишь?

— Слушаю-с.

— Ну, ступай! Да и распушу же я его сегодня, вперед будет меня бояться. Хотел бы я, чтоб вы присутствовали, увидели бы, как я его распушу.

— Вы всегда говорите с энергией...

— А сегодня я особенно в ударе намылить мальчишке голову... У меня под носом смеют брать взятки!.. Это ни на что не похоже... Куда же вы?

— Надо еще поспешить в одно место, заехать в присутствие, кое-что покончить, а потом еще в церковь!

— Разве сегодня праздник?

— Общего нет, но для наших сердец чистый праздник, и мы отслужим молебен о благоденствии любимого нашего начальника... Уж извините! Мы люди простые, что на душе, то и на языке.

— Да это слишком, право, слишком! Я ведь не стою этого.

— Это уж мы оценяем... извините...

— Ну, так приезжайте вечерком на преферансик.

— За честь почту! Прошу прощения...

— До свидания!

— До приятнейшего свидания!

По уходе секретаря начальник запер дверь кабинета, проворно разломил рог изобилия и, нимало не удивясь, начал нас считать. Окончив счет, он сказал: «Ого! Больше прошлогоднего!» — взял нас две пачки в свой бумажник, остальные положил в бюро, а корки пирога бросил в камин; я попала в бумажник.

Вечером у начальника была куча гостей — и статских, и военных, и мужчин, и дам, и старых, и молодых. Все это ело, пило, прыгало, кланялось, играло в карты, злословило и сплетничало.

— А что,— спрашивал секретарь начальника,— изволили распечь?

— Кого? Ах да, Перушкина! Нет, ко мне его не приводили; с утра были с визитами: ведь меня люди помнят.

— Еще бы!

— Да, ваш пирог очень хорош; я этак съел корочку — отличная корочка, так и рассыпается. Я его никому не дам, сам съем.

— И прекрасно! На здоровье.

— Да, о чем бишь я говорил?.. Да, так с утра все были визиты, потом приехала Нимфодора Петровна, потом Василиса Ивановна, потом здешний бригадный генерал — так день прошел, и забыл про Перушкина. Гей, Митька! Что же, я тебе приказал привесть Перушкина?

— Никак не мог-с!

— Это отчего? Разве он противился?

— Никак нет-с, да они не приходили.

— Ты дурак! О канцеляристе говоришь *они*... Как же ты скажешь о высокоблагородном человеке? или высокородном?! Убирайся! Эти неучи никакой политики не знают! Да и Перушкин хорош гусь: набрал взяток, да и глаз не кажет. Ну, теперь пусть на себя пеняет: хотел было я ему сегодня для именин намылить голову, да и баста, а теперь вижу, он еще и вольнодумец, и либерал!.. Нет, уж я не попущу этого, теперь мы другим образом рассчитаемся.

Гости просидели далеко за полночь, наговорились досыта о благородстве и добродетели, перекусили пирога, икры, сельдей и разных соленостей, порядочно подпили мадерой и тенерифом и разъехались, счастливые, довольные, по крайней мере по наружному виду.

Начальник поднялся поздно утром, очень недовольный собой и всем светом: у него немного болела голова и во рту было горько, за это порядочно досталось камердинеру Митьке. Притом вчера гости пили, как греческие губки, ели, как волки, а главное — забывали достойно хвалить и съедомое и питье... А тут еще прислали к подписи бумаги, десятка четыре или пять. Шутка ли подмахнуть под каждой свою подпись! Пока начальник, проклиная экстренные дела, подписывал бумаги, кофе совершенно простыл и в чашку упала большая муха; пока заварили другой кофе, пришла пора ехать в должность, день был присутственный, и со дня на день ждали ревизора: не ехать нельзя. И поехал начальник в должность, избави боже, какой сердитый! Мы, лежа в бумажнике на груди его, с ужасом слышали, как билось его могучее сердце о крепкую грудь,

стучало, словно молоток... Беда, если важные причины рассердят важного человека.

При появлении начальника шумно поднялись канцелярские чиновники. Начальник важно, строго и холодно кивнул им головой, сделал шага два и остановился. В комнате воцарилось глубокое молчание; только в растворенное окно слышно было с улицы, как извозчик кричал на лошадь: «Гу, дрянь! Поворачивайся! Ах ты...»

— Закрыть окно! — энергически сказал начальник.

Десятки рук быстро протянулись к окну, и оно, кажется с перепугу, само по себе проворно захлопнулось.

— Г-н Перушкин,— продолжал начальник,— где вы шлялись вчера, что вас никто и в глаза не видал?

— Я был дома... сестре было очень худо... она умирает от чахотки.

— Что же вы — доктор, что ли? Вечные отговорки, как у школьника! Ну, это мимо. А кто вам позволил марать наше место, бесчестить наше звание, а? Знаете ли вы, молокосос, что честь должна быть дороже всего для благородного человека, а вы, как подьячий, дерете с просителей взятки...

— Извините, я никогда...

— Молчать! Признание есть половина исправления, а вы еще и запираетесь! Это дерзость. Что из вас будет в мои лета — страшно подумать! А кто наглым образом обобрал толстого господина, вот что возился с лозою, а?

— Я взял за труды, я не спал две ночи...

— Посмотрите, господа, и еще смеет признаваться в своей низости, будто в добром деле! С таким человеком я служить более не могу. Г[осподин] правитель дел! Выдать ему аттестат, чтоб я его больше в глаза не видел.

— Помилуйте! — простонал Перушкин.— Что я стану делать? Сестра умирает, матушка больна...

— Было прежде об этом думать.

— Не погубите!..

— Сам себя губит да еще и плачет! Выдать ему сегодня же аттестат! Я родному сыну не простил бы подобного проступка. У меня смеет взяточничать!

Начальник гордо прошел через канцелярию и, войдя в свою комнату, запер за собой дверь.

Можете представить, как мне была тяжка эта сцена, мне, знавшей, хотя случайно, но довольно верно, и Перушкина и начальника! Я готова была, если б могла, сама возгореться и сжечь вместе с собою лицемера, гордого, потому что он необличен, что он выше бедного Перушкина, что он берет не пять рублей, а тысячи... И пропасть мыслей самых мрачных толпились во мне, а между тем мои соседки, не знавшие сокровенных пружин этой драмы, не видевшие ее закулисных тайн, шевелились от восторга в бумажнике и пищали: «Ах, какая справедливость! Какой характер! Таких людей побольше — и наше общество процветет».

— Это второй Брут! — пропищала после меня одна старая, продырявленная, истасканная донельзя ассигнация.

— А первый кто был? — спросила я.

— Первый? Помилуйте! Разве вы не знаете — это был человек с характером; его все знают, не стоит о нем спрашивать!.. Господи! Сколько я наслушалась о Бруте, когда лежала полгода в кошельке одного латиниста!

Так рассуждали мои товарищи по бумажнику. Подумаешь, точно люди!.. А начальник сел в кресло, понюхал табак, крякнул и сказал сам себе: «Так ему и надо, мальчишке! Пример — великое дело. Очень кстати тут, в приемной, были какие-то два просителя, один еще, кажется, из военных: пусть знают нас, пусть рассказывают. Эх, если бы на эту пору да прикатил ревизор!.. Да все равно он узнает. Кто что ни говори, а счастливый я человек! На первый раз будет ревизору дело, этакое не простое, с толками о благородстве и подобном... Да и вел я себя прилично, строго, наветливо... Ни лишнего слова, ни лиш-

него движения, а между тем так и резал правду, даже сам к себе в это время чувствовал уважение...»

В одно приятное утро начальник написал два письма; в одно положил красненькую ассигнацию, а в другое девять красненьких и нас две синих. Я мигом прочитала письмо и помню его от слова до слова.

«Ангельчик Полина! Давно я не видел тебя, мой жизненочек: то именины были, то жена варила воду, а главное, служба — она у меня отнимает все время. Сижу в канцелярии и думаю о тебе, о твоих беленьких ручках, светленьких глазках, звонком голоске, круглом, полненьком стане... Так бы вскочил и поехал к тебе, да нельзя — долг удерживает. Нашему брату, важному человеку, надобно быть осторожну: все на тебя смотрят... делать нечего, сиди, дела не делай и от дела не бегай. Да бог с ними! Ну, как ты, мой душоночек, прохлаждаешься? Здорова ли ты совершенно? Можно ли будет, этак, к тебе понаведаться, рассеяться, отдохнуть от житейских тревог! На помаду посылаю сто рублей. Эти выйдут — скажи, еще пришлю. Ведь мы друзья, а у друзей что мое, то и твое. До свидания! Напиши с этим человеком ответ, где, когда и как мы увидимся, все как следует поподробнее. А до того целую тысячу раз твои ручки, глазки, носик и прочее...

Тебе известный...»

Подписав на конверте адрес: «Милостивой государыне Пелагее Харитоновне Хвостиной»,— начальник уже хотел было запечатать письмо, как вдруг ударил себя по лбу и сказал: «Ах, я старый дурак! Ведь оно одно и то же, а так будет красивее: однообразие приятно для глаза». И, вынув нас, синеньких, из письма,положил на наше место из другого пакета красненькую и запечатал, говоря: «Вот так будет аккуратнее, милее: и видно, что деньги от порядочного человека, не собранные как-нибудь, а подобранные: есть, значит, из чего подбирать. А эти пойдут сюда... Да впрочем... Именно ей что ни пошли, все как в бочку;

а главное, признательности нет: воображает, что я *должен* делать, а пользы в ней ровно никакой! Нет, довольно будет с вас и синей, а, как говорится, для блезиру, нужно послать... В уездном городишке сейчас затрубят!»

Начальник что-то переправил в письме, одну синенькую спрятал в бумажник, говоря: «И одной будет довольно»,— а меня положил в письмо, запечатал и отправил на почту. Я ехала более недели и от скуки все читала своего соседа — письмо:

«Милостивая государыня
Анна Марковна.

По чувству сыновнего почитания приятным долгом считаю поздравить вас, драгоценная матушка, с наступающим днем рождения вашего и молю творца о продолжении дней ваших. Имею честь именоваться вашим покорным слугой и сыном NN...

18... года
месяца 30 дня
Город NN

P. S. Посылаю вам на молебен пять рублей; желал бы послать более, но душа моя разрывается, а не могу: жена, дети!.. Надобно думать о будущем, что-нибудь припрятать на черный день, а служба все время съедает и здоровье тоже. Счастливы вы, что не служите. Тяжело, хотя лестно и почетно...»

Старуха, получив письмо, прослезилась, поцеловала его и меня поцеловала и прочитала письмо своей приятельнице Аграфене Семеновне, старушке в темном ситцевом капоте, с головой, скромно повязанной черным платочком. Аграфена Семеновна выслушала письмо, сказала две-три фразы на славянском языке, значения которых, казалось, вовсе не понимала, но воображала, что тут они очень кстати, и собралась идти.

— Куда вы, Аграфена Семеновна? — спрашивала заботливо хозяйка.

— Прощайте, матушка, дело есть, право, некогда.

— Не успели придти, а уже и бежите!

— Извините, в другой раз посижу, а теперь, право, ей-богу, некогда.

Аграфена Семеновна ушла, но не прошло и четверти часа, как явился ее муж, гарнизонный прапорщик, седой, приземистый старичок.

— Честь имеем поздравить, сударыня,— говорил прапорщик, неловко шаркая левой ногой и подходя к ручке хозяйки.

— С чем, батюшка?

— С получением радостного письмеца и денег от сынка.

— А вы уже знаете?

— Помилуйте-с, весь город знает.

И точно, благодаря языку прапорщицы, скоро собрались сюда все уездные знаменитости. Пришел приходский священник, смотритель уездного училища с двумя учителями — рисования и физико-математических наук, квартальный надзиратель, даже явился секретарь земского суда и, в заключение, приехал сам городничий в мундирном сюртуке, украшенном разными медалями.

— Вы не поверите, как приятно слышать такое сыновнее внимание! — говорил один из гостей.

— Итак, он помышляет о благих делах,— заметил другой.

— Этакую штуку не всякий выкинет,— подхватил третий,— как раз ко дню рождения! И как он помнит на таком месте...

— И будучи безмерно обременен важными, можно сказать, государственными делами...

— Уж он у меня,— сказала хозяйка,— на этот счет смолоду не промах; еще в детстве был, так завел такую книжку и все именины и рождения родных и знакомых

записывал! Уже прежде его, бывало, никто никого не поздравит; чуть станет рассветать, а он уже в передней и кричит, словно колокольчик: «Честь имею поздравить с великою радостью!»

— Видите! сказано справедливо: каков в колыбельке, таков и в могилку.

— Смолоду подавал большие надежды!

— Вы счастливы, сударыня матушка: такой сын, какого дай бог всякому! Ей-богу, без лести.

— Он далеко пойдет, коли теперь в таких чинах и на таком месте...

— Дай ему бог: и нас не забудет. Что ни говори, а мы все-таки одного города земляки. Вы там ему в письме, знаете, матушка, намекните.

— Известно,— заговорила хозяйка,— грех забывать своих; а он у меня такой благочестивый!

— Достойный человек!

— Достойнейший!

— Я вам скажу, добродетельный человек!

— Добродетельнейший!

— Это редкость!

— Это чудо в наш век!

— А!..

— О!..

— Э!..

Хозяйка решительно растерялась и со слезами на глазах кланялась и приседала своим гостям. Должно быть, сынок хорошо знал город, где жила его матушка.

На другой день хозяйка загрустила, все ходила по комнате, все вздыхала, то вдруг останавливалась, о чем-то думала и почти с отчаянием шептала: «Как тут быть? Как поступить?..»

— Мир и благоденствие дому сему! — протяжно сказал, входя в комнату, приходский священник, старик высокий, с лицом строгим, но открытым и прямым.

— Благословите, батюшка отец Герасим!

— Бог благословит! О чем так грустите, о чем смущаетесь?

— Мало ли есть о чем? И того надо, и другого, и третьего...

— Мало ли есть чего! — скажу я.— Только дай волю человеку — и четвертого, и сотого захочется.

— Вы меня знаете, отец Герасим: я дожила до старости, а никогда не была завистлива; а тут раздумье взяло! Видите, прислал вчера на молебен пять рублей...

— Это слишком торовато! У нас сам предводитель дает не более рубля серебра за молебен, а ваше состояние бедное, невелика ваша благостыня...

— Ну вот это, батюшка, и я думала! Оно, может быть, и грех, а таиться не стану — думала. Вам-то хорошо так говорить, а мне, может статься, и думать так не приходится. А тут еще лукавый соблазняет. Признаюсь вам, отец Герасим: летом приходилось мне больно жутко. Вы знаете, весь мой доход от садика: что соберу летом, продавая ягоды да яблочки, тем и живу целую зиму. Пришла весна, морозом побило ягоды, яблоки еще не поспели, а тут лето, а денег нет — хоть плачь на старости... К сыну писать не хочу: он человек добрый, последним поделится, да у него семейство. Думаю, перебьюсь как-нибудь; взяла да и заложила заячью шубейку за целковый, чтоб отдать осенью пять рублей. Тут пришла буря, обнесла яблоки, и я осталась безо всего; а время настает холодное, да пора бы и выкупить. Хоть шубейка и коротенькая, и притерта немножко, а все мне стала дороже пятнадцати рублей, так жаль отдать за пять. А тут денег нет, а тут, словно за искушение, прислал сын деньги для святого дела. Христианская душа во мне шепчет: «Отслужи молебен». А лукавый шепчет: «Выкупи шубку. Идут холода — плохо тебе будет». Да вот так мысли замучили, что хоть в воду броситься, по пословице: «И кума жаль, и пива жаль».

— Этому горю можно помочь. У кого вы заложили шубку?

— Она, моя сердечная, у этого, прости господи, жидомора Канчукевича. Всилу дал целковый! «Вы,— говорит,— даете мне на лето шубку от моли на сохранение».

— Он человек нехороший. Ну, да помочь можно.

— Как, батюшка отец Герасим? Научите меня!

— Очень просто. Я вас уважаю как честную и добрую христианку, знаю, что вы бедны, и отслужу молебен о здоровье вашем и вашего сына, а пятью рублями советую выкупить шубку.

— Вы добрый человек! Кто вас не знает? Хоть вы и не в почете — сами не хотите,— мы все знаем и любим вас больше иного важного человека, да я вас не послушаю: душа болит, как вспомню, что покорыстуюсь неправдой. Он, мой голубчик, уделил из жалованья на святое дело, может статься, плакал, думая обо мне, а я, старая дура, выряжусь в шубку на эти деньги! Нет, батюшка, не хочу пятнать совести, отдам деньги на молебен, а без шубки как-нибудь перебьюсь. Не смущайте меня, отец Герасим!..

— Я не возьму ваших пяти рублей.

— Не обижайте меня!

— Я вас не хочу обижать и никого не обижаю. А денег не возьму: это грех!

— Возьмите.

— Право, не возьму.

— Ну, так я пойду к отцу Андрею: он не знает моих обстоятельств и возьмет мое приношение. А мне все равно, отдала бы я куда следует.

— Если так, то я прошу вас не ходить в другой приход. Когда ваше рождение?

— Послезавтра.

— Так приходите в церковь, помолимся богу, и да будет по-вашему.

— Вот и давно бы так! Верите ли, батюшка, у меня словно камень свалился с души! Теперь и спать буду спокойнее, и кушать аппетитнее.

Я, синяя ассигнация, потолкавшись между людьми, до того привыкла к лицемерию и до того стала подозрительна, что против воли думала худое об отце Герасиме.

Отец Герасим отслужил молебен в день рождения моей хозяйки; она усердно молилась и раза два подходила к священнику с просьбой не забывать ее сына и почаще его почитывать. После молебна она с таким спокойствием, с такой почти радостью отдала священнику меня, что можно было подумать, будто она уделяет малую долю, излишек от большого капитала, а у нее более ничего не было.

Священник, положа меня в карман, раскланялся с моей хозяйкой; она приглашала его зайти на кусок пирога; он отговорился недосугом и, взяв пономаря, пошел скорыми шагами. Долго шли мы, наконец остановились. Пономарь застучал в ворота; залаяла собака; немного погодя она перестала лаять, заворчала и умолкла.

— Стучи еще! — сказал отец Герасим.

Пономарь снова принялся колотить; снова залаяла собака, но на этот раз вторил ей какой-то детский голос, дико кричавший:

— Кто там? Кого несет нелегкая?

— Канчукевич дома?

— А тебе на что?

— Нужно, больно нужно, для его же интереса.

— А для какого, позвольте узнать, интереса? — вдруг спросил из подворотни сиплый, дрожавший голос.

— А, вот и вы тут, так и прекрасно! Я к вам принес кое-какие должки по поручению моих духовных чад...

— Хорошие речи! Прекрасные речи! — говорил Канчукевич, отпирая калитку и низко кланяясь.— Милости просим. Времена, батюшка, нынче крутые стали!.. Бедному человеку жить нельзя, с денежки на полушку ступаешь, да и тут оступаешься... Бывало, в старину, рассказывают, вельможи водились с открытыми столами и прочими благами... Поди только поцелуй ручку милостивца — и садись обедать, сколько душе угодно, только с собой не бери;

поцелуй, кстати, ту же ручку — с плеч кафтаном подарит!.. Было время. А теперь сунься кому к ручке, за то и кафтаном нашего брата не подарят. А что стоит поцеловать ручку? — ничего, ровно ничего! А из ничего кафтана не сошьешь... Были времена!..

И долго еще скупой старик тянул свою Иеремияду, но священник просил его скорее отдать шубку. Охая, ушел Канчукевич в другую комнату и наконец вышел говоря:

— Следует пять рублей, да я выколотил из нее моль два раза. Посудите, батюшка, время мне дорого, человек я бедный, хоть по гривенке за каждый раз положите, всего выйдет двадцать копеечек, ведь хуже было бы, когда бы съела моль?

— Г[осподин] Канчукевич,— сказал строгим голосом священник,— вы этого не получите. Стыдно вам и грешно грабить вдов и сирот. Я вам дам пять рублей, но более вы ничего не получите, и не советую вам даже говорить об этом.

— О господи! Ты все видишь! — завопил Канчукевич.— Помогай после этого бедным! Из последних денег уделил частицу — меня же еще упрекают!

— Вы взяли за три с полтиной на четыре месяца полтора рубля, ведь это более ста на сто!

— Кто вам сказал? Вздор! Где документы? Я благородный человек, и вы меня не извольте обижать.

— Что же вы, даете шубку?

— Вот она, да прибавьте хоть гривну! Ведь сказать совестно, что выколачивал шубку я сам, своими руками, и взял по пятаку за раз! Только из христианской любви это делал.

— Не клеплите на христианскую любовь; не вам говорить о ней! Давайте шубку!

— Хоть пятак прибавьте... Алеше на баранки.

— Алеша пусть придет ко мне, я его покормлю баранками.

— Делать нечего! Где же ваши деньги?

— Вот они.

Отец Герасим вынул меня из кармана. Перед ним стоял худой, желтый, небритый старичок в фризовом изорванном сюртуке, доходившем до пят. Это был сам Канчукевич. В одной руке он держал коротенькую заячью шубку, крытую светло-синей китайкой, а другую, тощую, желтую, немытую, с огромными когтями, жадно протянул к священнику.

Когда я попала в когтистые руки Канчукевича, он отдал шубку отцу Герасиму, а сам начал меня рассматривать, сверять нумера и тому подобное.

— Возьми эту шубку,— сказал отец Герасим пономарю,— и отошли ее хозяйке. Ты знаешь?

— Знаю-с, что была сегодня в церкви.

— Ну, да. Скажи ей, что г-н Канчукевич поздравляет ее со днем рождения и прислал, мол, назад шубку.

— Позвольте, позвольте! — закричал Канчукевич.— Как же это будет? Ведь я деньги получил, разве они фальшивые?..

— Успокойтесь, бог с вами.

— Да, кажется, все на месте, как следует; отчего же на меня такой поклеп?

— Вам какое дело? Вы деньги получили сполна, и я волен говорить, что хочу, лишь бы недурное.

— Недурное! Уверить бабу, что я ей прислал обратно заложенную вещь так, за спасибо,— это хуже пожара, хуже дырки в сапоге! На Канчукевича еще не бывало такой напраслины.

— А вам что от этой напраслины?

— Мне-то что? Да они меня со света сгонят; разумные люди засмеют... Ну, да я плюю на людей, хоть и на умных. Стар стал, ко всему присмотрелся; а вот беда, как узнает эта голодная сволочь, что я в именины для праздника подарки делаю на бедность, так мне житья не будет! Теперь держу себя на благородной дистанции, да и то иную пору не знаешь, куда спрятаться,— ругаются, плачут, про-

клинают и просят денег; а тогда... и подумать страшно. Да они меня разорят, убьют, съедят... Не говорите напраслины, батюшка.

— Пономарь! Ступай, куда тебе приказано,— сказал священник.

— Ступай, ступай! — кричал уходившему пономарю Канчукевич.— Провались хоть сквозь землю, да обо мне ничего говорить не моги — слышишь? Лучше обругай меня, скажи: «Собака Канчукевич»,— а доброго не моги!..

Пока разговаривал Канчукевич, я осмотрела комнату; она была невелика, в первом этаже каменного дома со сводами, с двумя окнами, заложенными толстыми железными решетками, с двумя дверьми: одни, толстые, дубовые, вели в сени, а другие, узенькие, окованные листовым железом,— в смежную комнату, из которой Канчукевич вынес шубку; в комнате стоял старый стол и два стула, обитые когда-то кожей, которой остатки, вроде ушей, торчали по сторонам бывших подушек; пол, выложенный плитой, покрыт песком и пылью; узенькая дорожка была протоптана на пыли от одной двери к другой.

Когда ушел пономарь, Канчукевич с беспокойством начал оглядываться и наконец спросил:

— Кажется, вам ничего более не нужно?

— Ничего,— грустно отвечал священник.— Прощайте, г-н Канчукевич.

Выпроводив священника, Канчукевич запер ворота, осмотрел забор и погладил тощую собаку, которая, кажется, гораздо с большим удовольствием приняла бы косточку или корку хлеба; но Канчукевич любил награждать более приятными словами, ласковыми речами и взглядами, нежели чем-нибудь существенным; у него была поговорка: «Накорми собаку до отвалу — она и забудет тебя, перестанет нести сторожевую службу да спать уляжется, а вполголода ей не опасно, не умрет, между тем весело, не тяжело, спать не хочется, и хозяину хорошо». Потом запер двери сеней и вошел в первую комнату.

Тут, у двери, стоял мальчик лет десяти, нечесаный, босой, оборванный; исподлобья глядел он на Канчукевича, магнетизируя свой нос указательным пальцем.

— А ты, Алешка, что делаешь тут? Зачем забрался? Стянуть что хочешь, а? Говори, скверное зелье! — закричал Канчукевич на мальчика.— Вон отсюда! Куда ты? Куда бежишь?.. Обрадовался, с глаз долой, так и рад! Сиди мне у ворот да посматривай в подворотню: кто ходит по улице, и как ходит, и зачем ходит — понимаешь?

— Понимаю... да...

— Что там еще?

— Дали бы мне какие-нибудь сапожишки: земля холодная, сырая... ночью был морозец больно...

— Сапожишки! Ах ты, урод этакой! Сапожишки! Да заработал ли ты в свой век на сапожишки? Ха-ха-ха! Вот до чего роскошь доходит: этакой пузырь о сапогах думает! Скоро моя Жучка придет просить сапогов. К тому идет за грехи наши!.. А посмотрели бы на картины, как было в древности; и цари и сильные земли гуляли по свету без сапог... Да что без сапог! Без жилетов и прочего. Какой-нибудь герой накинет на плечи легонькой халат — и прав, и везде принят! Много ли человеку надобно, лишь бы благопристойность была соблюдена. Зато и век был, как пишут, золотой. Много, чай, было тогда золота, экономия процветала, а теперь!.. Вон, негодяй! Дам я тебе сапожки! Да смотри, сидя у ворот, расщипли к вечеру всю старую рогожу, что я поднял вчера на улице; она немного в грязи, а доброго качества, можно набить подушку. Ступай же, а я в окно буду на тебя посматривать, чур не зевать!

Мальчик вышел, отирая кулаком слезы, а Канчукевич запер дверь, осмотрел задвижки и решетки у окон и вошел в другую комнату. Это был тайник моего хозяина, его кабинет, спальня и молельня; здесь он поклонялся своему идолу — деньгам.

Это была комната поуже, но гораздо длиннее приемной,

со сводами, с задним окном, закованным тяжелою решеткой. Почти половина комнаты была завалена разным хламом, издававшим затхлый запах, да и вообще в комнате пахло погребом и гнилью: у самой кучи хлама стоял большой железный сундук, запертый изнутри и снаружи; на сундуке лежал тюфяк, набитый соломой, и подушка,— он, как видно, служил кроватью Канчукевичу: над сундуком висела заржавленная сабля и старинный пистолет; у сундука стоял небольшой столик, на столике — медный кривобокий подсвечник с сальной свечкой не толще карандаша. Больше в комнате ничего не было, кроме пыли, застилавшей весь пол и стены, и паутины, которая запутала, засновала все окно между решеткой и прихотливыми рядами спускалась с потолка почти до земли. В этот тайник не ходила ни одна живая душа, кроме Канчукевича; сам Канчукевич, входя или выходя из него, тотчас запирал дверь на замок. Впрочем, в доме Канчукевича мало было народа: кроме него да Алеши, еще только жила какая-то старуха Аксинья, не то полоумная, не то юродивая; в городе звали ее блажная Аксинья; да по двору бегала старая, с вытертыми боками собака Жучка.

Заперев двери в тайник, Канчукевич положил меня на стол и начал потихоньку разглаживать, приговаривая:

— Наша, голубушка, наша! Полно тебе гулять по белу свету... Да какая еще новенькая! Охо-хо, голубушка!

И, разглаживая меня с каким-то сладострастием, отвратительный старик мигал глазами, и дрожал, и улыбался, потом отпер сундук, долго смотрел на кучи золота, серебра и ассигнаций, которые в систематическом порядке были разложены в сундуке, взял тетрадку, записал в нее мой нумер и бережно положил меня к куче синих ассигнаций, лежавшей в самом углу сундука от замка направо, подле приятной горки полуимпериалов, светлых, чистых, в полном смысле щеголей.

Положив меня на место, Канчукевич пересмотрел все

свои сокровища, пересчитал, поверил по тетрадке и запер сундук, говоря:

— Благодарение господу! Со временем не умрем с голоду.

Звон замочной пружины показался мне похоронным звоном: я предчувствовала, что не скоро вырвусь из рук кащея, что не гулять мне более по белу свету, что он станет держать меня под замком для удовольствия, порою погладит меня, полюбуется мною и не выпустит меня на волю... Прощай, моя волюшка! Надолго прощай! Я, может быть, заплакала бы, если б имела хоть одну слезинку, если б в заведении, где меня окончательно отделывали перед выпуском в свет, не высушили меня совершенно.

Однообразно, невыразимо грустно потекла моя жизнь в сундуке Канчукевича; каждый день утром отпирал он сундук, пересматривал деньги и проверял их; то же самое делал и вечером, ложась спать. Иногда, когда делать было нечего Канчукевичу, он и днем уединялся в тайник, отпирал сундук и, вынув какую-нибудь золотую монету, чистил ее рукавом, дышал на нее и тер окончательно лоскутом старой замшевой перчатки, потом, налюбовавшись блеском, бережно опускал монету в сундук, крышка закрывалась, замок щелкал со звоном, и мы опять оставались во тьме, в заключении.

Других развлечений мы не знали.

Так тянулись многие дни, недели, месяцы, многие годы! Наше общество не убывало, а все пополнялось новыми членами, которые скоро свыкались с нами и так же скучали единодушно, как и мы, древние обитатели сундука.

Иногда однообразие нашей жизни развлекалось говором в соседней приемной комнате, и плачем, и стенанием, и все это покрывал резкий голос нашего хозяина: «Не могу, я сам нищий!» — и прочее. Иногда слышно было, как Канчукевич ругал и тузил Алешку, иногда по ночам вдруг вскакивал он с сундука и вопил: «Кто там? Кто лезет в окно? Говори, убью!»

И вслед за этим щелкал пистолетный замок и звенела заржавленная сабля, скользя впотьмах по железной решетке окна; но за окном было тихо и спокойно; тогда он подбегал к двери, ведущей в приемную, и кричал:

— Алеша! Алеша!

— Что там?

— Ты слышишь?

— Ничего.

— Как ничего? Слышишь, я говорю?

— Это-то слышу.

— Ну, а другого ничего не слышишь?

— Нет.

— Кажется, кто-то ходит под окнами.

— Не ходит.

— А почему ты знаешь?

— Собака лаяла бы.

— И то правда, он умнее меня. Мне причудилось, и я поверил.

Он подумал: «Врешь, чужой человек коли придет, Жучка так и заливается, а теперь молчит; спать можно. Добрый у меня сторож собака! Дам ей завтра... вот сколько дам: целый кусок хлеба непременно дам».

И старик засыпал на сундуке, вздрагивая и вскрикивая впросонках.

Раз пришел как-то Канчукевич в тайник, запер дверь и начал ходить по комнате, весело разговаривая сам с собой:

— Пусть называли меня дураком,— говорил он,— а я себе на уме: я знал, что у Аксиньи деньги; дурак был бы я брать блажную бабу к себе на шею за спасибо! Баба и сама по себе — мое почтение! А то еще блажная!.. Нет, у этой блажной было кое-что, да она и сторож верный была. А что мне стоила? — ровно ничего: есть почитай ничего не ела, добрые люди одевали, а где достанет копейку — все в один узел... Вот их сколько набралось! Умерла — и все осталось. Это называется коммерция, это

значит благодетельствовать на коммерческом основании. Одно только, что сторожа лишился; да как подумаешь, покойница была уже больно стара. Да и мой Алеша не ребенок, ему уже за двадцать лет, свернет хоть кого, ражий парень, я даже иногда его и сам побаиваюсь...

После этого монолога Канчукевич отпер сундук и высыпал в него из грязного чулка серебряных денег рублей шестьдесят. Это было наследство после блажной бабы.

Канчукевич реже стал посещать нас; часто, отворяя сундук, грустно глядел на нас, вздыхал и тер глаза, будто плакал. Чаще он стал садиться и ложиться на любезном своем сундуке и по временам часто стонал и охал; наконец он слег в постель: его одолела болезнь; в первый раз Канчукевич позвал в тайник Алешу, и просил, и приказывал ему не удивляться ничему, не смотреть ни на что: это все хлам, дескать, и тряпки.

Тут мы с удивлением из разговоров Канчукевича с Алешей узнали, что Алеша его сын. Скупой отец нарочно воспитывал сына нищим, чтоб тот не знал цены деньгам и не промотал наследства, которое, судя по сундуку, было огромное.

— Да! — часто шептал в бреду Канчукевич.— Сорок лет я собирал; начал с полтинника, а теперь, слава богу!.. Но сорок лет — половина жизни! Этот молокосос за то, что он мой сын, заграбит все это!.. Не живя сорока лет, возьмет плоды сорокалетних лишений!.. Не бывать этому! Пусть сам наживет. Я в его лета не имел ни гроша, а теперь, слава богу!.. Да и что у меня есть, если подумаешь! Ровно ничего, дрянь, не стоило сорок лет мучиться, ейбогу! Что у меня есть? Почти ничего! Серебра самая малость, золота еще меньше, ассигнаций сущие пустяки!.. Вот если б это все удвоить... нет, утроить, учетверить... нет, нет, не хочу!.. Удесятерить, да потом удвоить и потом еще удесятерить, да и это удвоить — о! Сколько бы вышло! Какая выросла бы гора! И я бы сел на этой горе, и люди бы мне кланялись, низко кланялись бы, а я бы плевал на них,

а они еще бы ниже кланялись... Хе-хе-хе!.. Мне, простому человеку, коллежскому регистратору, кланялись бы, называли бы меня человеком умным, нет — умнейшим; они произвели бы меня в человека добродетельного!.. Знаю я их, этих жадных людей... Ох!.. Плохо мне. Голова горит, в груди горит, а самому холодно, челюсти так и стучат друг о дружку, так и прыгают... Плохо тебе, Канчукевич!.. Э! Пустяки! Пройдет!.. А я сижу себе на груде золота, а золото так и блестит, что твое солнце!.. А люди плачут, глядя на меня.

— О чем вы плачете?

— От радости! — вопят они.— От сердечного умиления, что видим в таком счастье достойнейшего человека, добродетельного Канчукевича!..

— Врете, лицемеры, вы плачете из зависти. Недаром я прожил восемьдесят лет; я знаю вас, я изучил вас: вы любите золото больше меня, вы все отдадите за золото — все, решительно все, без исключения! Для денег у вас ничего нет заветного, самого спасителя вы продали за тридцать сребреников!..

— Кто там?

— Приехал знаменитый вельможа.

— А, хорошо, пусть обождет.

И он ждет час, ждет два у меня в передней, а в передней нет ни одного стула! Хе-хе-хе!.. Я у него выучился... Ждет меня вельможа, а я себе простой человек... Он богат, знатен, зачем он унижается?! Хе-хе! Я богаче его!.. И он стоит у меня в передней!.. Весело!..

И ты придешь ко мне, толстый, жирный помещик, я вспомню горькое время, когда я, бедный сирота, жил у тебя и учил твоего глупого сына, вспомню твои попреки за каждый кусок хлеба и за нищенскую плату, которую ты давал мне за истинно тяжкие труды, словно милостыню! Лучше рубить дрова, таскать бревна, чем учить избалованного дурака. Но никто не пожалел о несчастном, никто не понимал моего труда, и сытые люди, одетые в красивое

платье, заклеймили меня прозвищем дармоеда-учителя. Только одна она сострадала по мне!.. Господи, как мне стало жарко!.. Она одна, она одна часто глядела на меня с таким участием своими черными глазами, и глаза ее наполнялись слезами, и грудь колебалась вздохом глубоким, тяжелым вздохом!.. Она понимала мою душевную болезнь!..

— Что, у тебя болит голова? — спрашивал меня помещик.

— Нет.

— Так желудок тово?..

— Нет.

— Так руки, ноги, грудь что ли болят?

— Нет.

— Отчего же ты такой бледный? Я думал, ты нездоров.

В нем не было души; мог ли он понять душевную болезнь.

И господи, как я полюбил ее!.. И она меня полюбила!.. Да, меня, Канчукевича, нищего учителя!.. Счастливое было время! А я ничего не имел, за что же она меня полюбила!.. Она была дочь человека, да еще такого человека, гордого, надутого человека, самого помещика!.. Недолго я мечтал: нашу любовь открыли и насмеялись над ней... В целой жизни я имел одну чистую любовь, и ту осмеяли! И выгнал меня толстый помещик из дома!.. Вытолкали меня слуги... Она рыдала... Отец дал ей пощечину!.. Да!.. Ей, чистой голубице!.. И за что? За то, что у меня не было денег!.. А теперь у меня много золота; я достал его, убив свою душу; я изгибался, я ползал, подличал, женился на больной богатой старухе, по смерти ее обратил все в капитал, у меня капитал рос баснословно, я ел хлеб с водою, водил без сапог сына — все для золота! И вот я теперь сижу на груде благородного металла! Пожалуйте сюда, господин помещик! И, как лягушка, ползет он вокруг меня, заметая брюхом пыль...

— Жаль,— говорит он,— что моя дочка зачахла, то

есть, умерла, а то я бы считал за счастье соединить ваши любящие сердца.

— Врешь, толстый болван! Ты бы продал мне свою дочь за золото. Какой я жених? А ты бы с радостью сделал то теперь, за что прежде выгнал меня...

Кланяйся мне! У меня есть золото, я не скрываю, вот оно!.. Хе-хе-хе!.. Я сам ему долго кланялся... Судьбу надувал, право, надувал... Раз она хотела меня наказать на рубль пять копеек ассигнациями, хотела, да не удалось: я вывернулся коммерческим расчетом. Хе-хе-хе! До сих пор весело!.. Это было давно. Один граф, богатый человек, промотался... У этих мотов чутье, как у коршунов,— далеко чуют добычу... У меня уже завелись кое-какие деньги, и вот граф приехал ко мне сам, так и засыпал французскими речами... «Извините, ваше сиятельство,— сказал я,— мы, простые люди, с грехом и по-русски говорим». Вот он заговорил по-русски, дурно заговорил, а все-таки я понял, что, дескать, у него в нашем уезде богатое поместье, что он, дескать, приехал в город по делам и, узнав обо мне как о достойном человеке, приехал просить к себе откушать. «Понимаю,— подумал я,— откуда ветер дует, да мы не промах; пожалуй, обед съедим, а в обман не дадимся» — и дал слово...

— Эй, кто там ходит? Алеша! Алеша! Кто там?

— Какой там черт ему представляется? — ворчал басом Алеша из другой комнаты.— Вот не дает соснуть. Никого тут нет, никто не ходит.

— Смотри-ка...

— Что тут смотри? Спал бы себе и другим не мешал! — сказал Алеша и захрапел.

— Вишь, скверное племя, совершенно покойница! Был мал — боялся, вырос — знать не хочет отца! Я тебе насолю! Ты ждешь моей смерти, тебе хочется погреть руки — не удастся! Не тебе меня провести, молокосос, я судьбу проводил... Да, помню... была страшная грязь; граф жил на другом конце города, идти пешком нельзя; придешь

по уши в грязи, меньше процентов дадут... взял извозчика, заплатил пятиалтынный — была не была, авось заработаю тысячу-другую, рискнул — взял за пятиалтынный — риск благородное дело. Приезжаю, понюхал в передней табаку, хвать — в кармане нет платка: сюртук-то я надел поновее, а платок остался в старом. Скверно, смекнул я, судьба против меня; ехать опять домой да назад — два пятиалтынных: рубль пять копеек. За что они пропадут у меня? А без платка не обойдешься!.. Постой! Я поступил на коммерческом основании: тут же, внизу, в лавочке, купил за гривенник клетчатый бумажный платочек и явился к графу. После обеда я пришел домой, вымыл собственноручно платок и назавтра продал его за двадцать пять копеек; я в убытке остался гривну меди — вот что значит ум! Съела судьба шиш: вместо рубля с пятаком получили гривну!.. Хе-хе!.. Молодец был Канчукевич! А теперь — голова трещит... все в глазах двоится... дважды два — четыре, четырежды четыре — шестнадцать, шестью шесть — тридцать шесть... сто, тысяча, десятки тысяч, сотни тысяч, мильоны, мильоны, как говорил тот: милы — они! Тот стихотворец... и стихи мы с ним пели!

Негде в маленьком леску,
При потоках речки,
На долине по песку
Паслися овечки...

А если каждую овцу выкормить и продать — у! сколько будет!.. Я продам, все продам, а он?.. Нет! Алеша! Алеша! Не продавай овец; я сам продам...

— Да спи себе! Вот разревелся!

— Еще и грубит! Я разревелся, ты разревелся, он разревелся, мы разревелись, вы разревелись, они или оне разревелись!..

Тут уже Канчукевич понес такую гниль, что я, привыкшая к пустословию гостиных и мистицизму лекций многих шарлатанов, решительно ничего не могла понять. Старым

скупцом овладел чистый, полный и неоспоримый бред. Мало-помалу Канчукевич стал говорить тише и наконец перед светом утих совершенно, вероятно, уснул. Целый день Канчукевич понемногу бредил, просыпаясь и опять засыпая. В другой комнате ворчал Алеша. К вечеру старику, казалось, стало лучше; он пришел в себя и позвал Алешу.

— Алеша, сын мой,— сказал Канчукевич,— я скоро умру — слышишь?

— Слышу.

— Что же ты ничего не говоришь?

— А что я стану говорить? Все в воле божией.

— Правда... Ну, ты будешь наследником моим; прошу тебя, не разоряй меня, мы люди бедные, береги копейку на черный день — слышишь?

— Слышу.

— Теперь принеси мне свечку: стало темно, я помолюсь богу, надену белье... приготовлюсь к смерти... она близка, она целую ночь ходила вокруг меня... Только я как оденусь, так меня и похорони — слышишь?

— Слышу.

— Теперь принеси свечку... Зачем зажег целую свечку, разве нет огарка? Мне, больному старику, целую свечку! Заработаю ли я ее?.. Будто огарка нет. Расточитель ты, Алеша; не будет из тебя пути... Пошел вон!

Алеша ворча вышел.

— Вишь, ворчит!.. Вот первый враг мой!.. Имей детей, так и глядят, чтоб скорей схоронить отца да приняться за наследство... Я тебя проведу!.. Ох, дети!.. Выкорми их, вырасти, а после только бойся.

Канчукевич встал, отпер сундук, потом вынул из печки один изразец, который довольно искусно закрывал глубокую дыру, вложил туда все золото и серебро и опять поставил изразец на место. Потом принялся за нас. Канчукевич был очень страшен, худ, бледен, только его глаза горели неестественным блеском, руки дрожали... Он взял

несколько пачек ассигнаций и привязал их себе под руки и под колени, остальные завернул в старый дырявый платок и в виде толстого жабо обвязал шею, надел старый сюртук, старые сапоги, посмотрел в опустелый сундук, закрыл его и, поставя в головах у себя свечку, вытянулся на сундуке, сложа крестом руки.

— Кажется, готов,— тихо прошептал Канчукевич,— а свечка горит! К чему такая роскошь? Она найдет меня и впотьмах...

Канчукевич с усилием повернул к свече голову и дунул, но дыхание его было слабо, легкое пламя дрогнуло, наклонилось в сторону, и опять свеча запылала еще ярче прежнего; больной собрал последние силы и дунул с каким-то жалобным стоном. Это был его последний вздох; пламя погасло, смрадный дым побежал от светильни, которая несколько секунд еще сверкала светлой искрой в темноте, и вместе с дымом улетела душа старого скупца; члены его затрещали и вытянулись. Настало страшное молчание и тьма. Могильный холод разливался по жилам покойника. Страшно стало мне, особливо при мысли, что завтра или послезавтра, по воле скупца, ни за что ни про что, схоронят меня в могилу, меня, во цвете лет, с полными нумерами; меня зароют в холодную, душную могилу по глупой прихоти сумасшедшего человека. Я готова была кричать караул и, по своей природе, не могла. Наша участь только молчать, слушать и думать, пока кто-нибудь помощью сильной воли не раскроет уста наши. А, боже мой! Какое невыносимо страшное, мучительное состояние, когда и хочешь говорить, и должен говорить, да не можешь!

Рано утром вошел в комнату Алеша. Я его не видела со дня своего заключения и решительно не узнала бы, если б не привыкла слышать его голос. Вместо оборванного мальчишки я увидела парня лет за двадцать, правда, тощего, но здорового, с порядочными усами, с жилистыми руками, с угрюмой физиономией, с глазами немного глуповатыми.

Алеша подошел к старику и спросил:

— Спишь, а? Спишь?

Ответа не было.

— Уже не тово ли!.. Спишь ты?

Он взял отца за руку.

— Батюшки светы! Да он преставился! Совсем остыл!.. А как страшно глядит!.. Побежать к Подметкину!

Алеша в ужасе выбежал, не затворив дверь. Скоро вошла в двери собака, обнюхала все углы, подошла к сундуку, стащила свечку и съела, потом опять стала на задние лапы, а передние положила на сундук, посмотрела пристально на покойника, полизала его руку и, усевшись на полу, жалобно завыла. Ветер дул в растворенные двери и шевелил старые лоскутья на полу; под потолком кружилась, вилась и плясала паутина.

— Ах ты, проклятая, какой вой подняла!

За этими словами полетела в собаку фуражка с козырьком, а вслед за фуражкой явился Подметкин; за Подметкиным стоял Алеша.

Подметкин когда-то служил в каком-то полку, но за поступки, неприличные званию, был отставлен и поселился в городе, недалеко от дома Канчукевича. Чем жил он и как жил — об этом история умалчивает, вместе со многими любопытными вещами; но жил он, казалось, весело, потому что часто, идя по улице, певал песни, и всегда эти песни были самые веселые. Носил он венгерку с самой бедной *цифровкой*, широкие шаровары с бесконечными карманами и форменную фуражку с козырьком. Как он познакомился и когда с Алешей, тоже неизвестно, только он всегда говорил Алеше: «Терпи, казак,— атаманом будешь. Я знаю твоего отца: у него вот сколько денег, да человек он дрянь, все равно — что свинья: пока жива, ни шерсти, ни молока, ни еды — ничего от нее нет; а зарежут — и мясо, и сало, и студень, и щетина, и колбасы — все явится. Погоди, вытянет лапки родитель — кутнем, только чур сейчас меня известить; я знаю тебя: душа овечья, все раста-

скают, надуют тебя, а я уж, мое почтение... я тебя проведу по такой музыке, что злость весь город возьмет — увидишь! Дай бог дожить скорее...»

«Дай-то, господи! А уж куда мне прискучила моя собачья жизнь»,— обыкновенно отвечал на подобные речи Алеша.

И вот теперь кончилась эта жизнь! Старик недвижим, безгласен. Открылась широкая воля молодому человеку, спали с души тяжелые цепи капризов и предрассудков старого Канчукевича. Алеша, настроенный Подметкиным, ждал с нетерпением этой катастрофы, только и мечтал об этом с какой-то нечеловеческой радостью, а теперь стоял печально перед трупом; неясная грусть или упрек совести пробудились в нем — и он стоял, будто совершивший преступление; еще несколько секунд, и глаза его заплакали бы — о чем, отчего — это другое дело, на это трудно отвечать, но невольная слеза,— следствие нервического раздражения или чего бы то ни было,— уже дрожала и сверкала под ресницами Алеши.

— О чем задумался? — спросил Подметкин.— Небойсь, жаль стало? Некому будет выдавать тебе по грошу в день на пропитание, некому будет водить тебя босиком в заморозки? Опомнись, Алеша! Он был враг твой; а кто за врагом плачет? Разве баба. Ну, да та вчастую плачет, сама не зная от чего?!

— Да я... Нет, я ничего, так себе!

— А худо! Ты, Алеша, начинаешь жить не по-товарищески, лукавишь, брат! Худо! Коли против меня кто лукавит, того и бог забудет.

— Э! Друг мой желанный Подметкин, грех говорить такое. Чем я лукавлю?

— Говорил: «Чуть шарахнется — сейчас беги ко мне». А ты сам уже распорядился: и белье на него надел, и совсем снарядил в дорогу...

— Да это он сам; заказал так похоронить себя.

— А! Сам надевал и белье и прочее?

— Сам.
— И никого при этом не было?
— Никого.
— И заказал похоронить себя в этом?
— Да.
— Умный человек! Надел, что ни было худшего, тряпка на тряпке, или, как говорится там, где-то в книгах, тряпка тряпку призывает! Да что-то мне странно, ну да посмотрим дальше. Показывай-ка свое наследство.
— Да я его не знаю!.. Этот дом, да садик, да собака, да платье.
— Так!.. Да паутина, да пауки, да еще черт знает что! Ах ты, овечья душа! Деньги где? Плевать я хочу на твой дом и на собаку: что в них? Денег у тебя должна быть страшная куча: ведь покойник был жид, маклак, такая жила, что тянул с живого и мертвого. Где же оно? Это собранное, натянутое, награбленное? Подавай его сюда! Мы с ним разделаемся!..
— Я сам не знаю, разве поискать.
— Разумеется! Ну, поворачивайся!
Алеша и Подметкин начали свои поиски: отворили сундук — в сундуке пусто; посвистал Алеша над сундуком, удивился и Подметкин, но сказал, что унывать не надобно, что Блюхер, по словам немцев, никогда не отступал, а подражать храброму генералу не предосудительно. Начали опять перерывать весь старый хлам, вытряхивали и жилеты, и брюки, и картузы всех форм и цветов, глядели за подкладкой и в сапогах, везде тревожили пыль, моль и паутину; воздух сгустился от пыли и принял характер, располагающий к чиханию, а все ничего не было...
Алеша в отчаянии опустил руки.
— Неужели?! — громко завопил Подметкин.— Неужели?.. Да нет, черт возьми! У него были деньги; он где-нибудь спрятал их. Г-н Канчукевич! Слышите ли? Где ваши деньги? А? Говорите же! Вот ваш сынок со мной собирается протереть им глаза... Все промотаем,— слыши-

те? Нет, заправду умер, а то не выдержал бы, проклял бы нас! Да что это за толстая тряпка у него на шее, словно зимой хвосты у модной барыни...

— Оставь его, Подметкин! Его воля, чтоб не трогать и так похоронить, как сам оделся; бог с ним...

— Нет, брат Алеша, овечья душа, куриные у тебя чувства,— не оставлю, пока не выдергаю этого подгалстучника... Посмотри-ка, вот где зимуют раки!.. Ах он жидомор! Хотел с собой унесть в могилу денежки! Нет, брат Алеша, теперь я его так не оставлю, я его до нитки рассмотрю...

И, говоря это, Подметкин радостно вытягивал из дряхлого шейного платка пачки ассигнаций.

— Вот они! Вот они! Вишь, сколько их набралось!.. Нет, Алеша, надобно все осмотреть, уж положись на меня — и пол подымем, и печку разорим, и крышу снимем. Видна птица по полету; теперь видно, каков человек был покойник! Да меня, брат, не проведет! А ты бы, овечья душа, так все и оставил! Говорил тебе: слушай меня,— я ли не бывал в переделках — ух! Унеси ты мое горе!

И Подметкин начал рассказывать нескончаемую историю о том, как он был в Туретчине, пленял молдаванок, обыгрывал и дурачил молдаван и валахов — историю, которой я не могла никак понять. Алеша, видимо, не понимал, да, судя по глазам Подметкина, и сам он не понимал своего рассказа. Во время моего странствования мне не раз случалось находить таких редких говорунов; слова у них вот так и льются, словно ручей по камешкам, так и летят одно за другим, будто пчелы из улья в ясное теплое утро; а слушаешь, слушаешь — ничего не разберешь, и спроси у рассказчика, о чем он говорил,— он собьется и станет в тупик. Явление странное, а действительное.

Собрались на другой день люди для похорон, снесли старого Канчукевича на кладбище и вернулись к молодому закусывать. Вообще я заметила, что люди на похоронах ужасно много едят — верно, печаль располагает их к хоро-

шему аппетиту. Впрочем, на похоронах старого скряги не заметно было большой печали, скорее на многих лицах выражалась радость: кто думал записать молодого богатого недоросля к себе в службу и потом этим пользоваться; кто рассчитывал женить его, или его деньги, на своей племяннице, сестрице или дочке; кто смотрел на него, как на человека, у которого можно занять на вечные времена денег; кто видел в Алеше будущего кутилу, с которым можно будет кутнуть, а иной, пожалуй, уже вычислил все барыши от этого кутежа... И все радостно из-под печальных, форменных физиономий глядели на Алешу, как на человека, подающего большие надежды.

Всеобщее расположение утвердил и укрепил завтрак: гости съели несколько сот блинов, съели огромную кулебяку с семгой, какая, конечно, никогда еще не являлась в стенах дома Канчукевича, съели поросенка и двух жареных гусей под капустой, с несметным количеством саек... А выпили!.. Один аллах достоверно может определить, сколько выпили печальные гости; много штофиков и графинчиков опустело в это скорбное время; Подметкин умел показать себя и с торжеством после рассказывал, что сантуринского было выпито полтора ведра, кроме всего другого...

Гостей было человек пятнадцать, и почти всех видел Алеша первый раз в жизни; однако они все хвалились дружбой покойника и предлагали *таковую же* вместо батюшки сыну. Некоторые под конец завтрака плакали о старом Канчукевиче, называя его человеком примерной добродетели, и целовали Алешу, предрекая ему жену красавицу и генеральский чин. Выше этого их воображение не залетало.

Какой-то молодой путешественник, скакавши через город N.N. на почтовых, остановился в это время против дома Канчукевича, и пока ямщик закреплял упряжь и связывал вожжи, он, вероятно, услыша в растворенные окна плач и возгласы гостей, подошел к воротам и спросил парня:

— Что здесь, братец, делается?
— А ничего не делается,— отвечал парень.
— О чем же тут никак плачут?
— Так себе, из жалости.
— Разве беда случилась?
— Умер, вишь, хозяин, и похоронили сегодня.
— А! Значит, плачет семейство.
— Семейства-то всего один сын, и тот на возрасте, такой верзила, побольше тебя будет.
— Так это плачут родственники?
— Какие родственники! Их нет, все сторонние люди.
— Значит, его все любили?
— Гм! Известно, любили; как не любить такого барина.
— А! Он был человек добродетельный. Не так ли?
— Известное дело!
— Понимаю, он раздавал милостыню, утешал бедных?
— Так и есть, именно так, особливо, бывало, перед праздником, идут к нему неимущие, слезами, бывало, обливаются.
— Прекрасно! И это теперь благодарные люди плачут в его доме? Благодарю случай: он открывает мне многое.
— Пожалуйте ехать, лошади не стоят,— кричал ямщик с повозки.
— Сейчас, братец! Так сегодня схоронили этого добродетельного человека? А как его звали?
— Канчукевичем.
Молодой человек достал из кармана записную книжку, записал в ней наскоро несколько строчек и, сев в повозку, умчался бог весть куда.
— Дурака меня нашел,— смеясь, говорил парень, когда ускакала повозка,— пристал, словно полицейский какой: и кто, и как, и отчего, мол, плачут? Стану я всякому на улице все рассказывать! Что я — тетка Фекла, что ли? Вот теперь и ешь на здоровье: Канчукевич, мол, и такой, и сякой!.. Ха-ха-ха!..
Впоследствии, как-то нескоро, мне случилось лежать

трое суток закладкой в одной модной книге; это было путешествие по... по какой-то губернии или уезду — не помню, только меня поразила страница, на которой я лежала. Вот она, от слова до слова:

«Окрестности N. N. прекрасны, прелестны, даже восхитительны. Город высится на высокой крутизне, кокетливо глядящейся в светлые зеркальные струи речки N. N. В этом живом, но спокойном кристалле текучей влаги отражаются и золотые кресты церквей, и палаты вельмож, и опрятные домики прелестнейшей архитектуры, принадлежащие среднему сословию, и мрачная зелень дуба, и трепещущие листы осины, и светлая зелень ивы, и белый ствол березы наклоняется над струями твоими, о волшебная N. N.! — и длинными ветвями лобзает тебя, и кудрявая яблонь отражает в тебе свои коралловые плоды! Нет, надобно иметь в груди камень вместо сердца, чтоб, подъезжая к N. N., остаться равнодушным, чтобы не плакать от восторга, глядя на него, особливо если осветишь душу светочем истории!.. Быть может, здесь юный славянин, идя на брань, точил свой меч о прибрежные утесы или какой-нибудь Болеслав, изнемогая от боли тяжких ран, зачерпывал влагу дедовским ковшом, украшенным золотом и драгоценными каменьями. Может быть!.. Но прочь исторические воспоминания! Я еду и хочу наслаждаться настоящим. Вот я у заставы, переехал реку по мосту, красиво выкрашенному; застава тоже раскрашена; здесь не было мне никаких препятствий: вида у меня никто не спрашивал, даже, кажется, никого и не было на заставе. Вот патриархальность нравов! Вот простота и откровенность! Счастлив ты, N.N.: на тебя не дохнуло еще всесокрушающее дыхание нравственной порчи! Живи себе, мужай и красуйся на радость грядущим поколениям. Сначала меня поразила пустота на улицах и вообще какое-то уныние на встречных лицах; но вскоре тайна разгадалась. Я несколькими минутами опоздал на печальное народное торжество — на похороны добродетельного чело-

века Канчукевича. Его жизнь была, можно сказать, длинною цепью благодеяний; не один раз сирая вдовица, или несчастный престарелый, или осиротевший отрок находили в доме Канчукевича и приют, и ласковое слово, и возможную помощь. Наконец его не стало, умер он, человек добродетельный,— и стоны и вопли оживили шумные улицы N. N.; колокола уныло гудели, народ плакал, сотни семейств, облагодетельствованных покойником, длинною свитою тянулись за гробом; они все казались детьми, оплакивавшими своего нежно любимого родителя. И долго еще после погребения добрейшего человека, когда уже его благодетельные очи засыпал сырой песок могилы, рыдали добрые граждане N. N. Я сам слышал эти нелицемерные вопли, эти возмущавшие душу стенания — и душа моя сжалась тихой, безмятежной грустью... Я остановился против дома Канчукевича, вышел из экипажа и с благоговением поклонился порогу великого человека, который жил и умер, никем не знаемый, разливая вокруг благодеяния!

«Не так ли,— подумал я,— растет скромный ландыш в укромном уголку, где-нибудь под корнем сосны или ели, разливая вокруг аромат!» На станции, где мне переменяли лошадей, я был грустен и спросил у станционного писаря: «Что ваш Канчукевич, умер?» — «Умер, ваше благородие,— отвечал он,— не нам судить его».— «Правда твоя, братец, правда: мы не достойны рассматривать подобные психологические явления».— «Лошади готовы, угодно ехать?» — «Еду, еду!».

И я поехал унылый. Колокольчик гудел; в ушах моих отзывались слова писаря: «Не нам судить его». И это сказал простой человек! Какая сжатая философия! Образуйте этого человека, вы увидите, что из него будет».

Но я заболталась!.. Гости плакали, потом немного побранились и разошлись, очень довольные Алешей.

Спустя несколько дней после похорон старика Канчукевича нельзя было узнать его дома. Подметкин, из друж-

бы, переехал жить к Алеше. Он обещал научить его приятной, дружеской и благородной жизни, которой бы позавидовало всякое общество. Дом старого скряги изменился: тайник преобразовался в спальню, где поставили кровати для двух друзей — Подметкина и Алеши; весь хлам был вынесен на чердак, решетки в окнах сломаны, в рамах переменены стекла.

«Надобно жить нараспашку. Порядочный человек не должен быть политиком,— говорил Подметкин,— это пристало ученым бонжурам; а наш брат раскрывай душу, и двери, и окна. Я сам себе господин, ни у кого ничего не прошу, никому не кланяюсь и никого знать не хочу: гляди на меня, каков я есть, кругом гляди. Не нравится — проваливай, не станем просить о продолжении знакомства, как говорят подьячие. Свет не клином сошелся: для нас останется добрых людей дюжина-другая...»

Старый железный сундук поставили в угол спальни, рядом с ним красовался шкафик с стеклянными дверцами, за стеклом приятно блестели штофы разных видов и размеров, налитые жидкостями всех возможных цветов, от чисто-белого, прозрачного, словно кристалл, до темно-кофейного. На другой полке стояли рюмки и стаканы, солонка и на тарелке несколько ломтей черного хлеба. Этот шкафик Подметкин называл душевной и телесной аптекой и, подходя к нему, всегда с сердечным умилением вспоминал полкового коновала, от которого позаимствовался некоторыми медицинскими сведениями.

«Постоянно человек должен для бодрости духа употреблять христианскую, то есть, чистый пенник без всяких еретических примесей, говаривал Подметкин,— а коли чем захворал — примись за настойку; только знай порядок: голова болит — переведайся с мятной, желудок расстроен — хвати трифольной или запеканки, другое что — бери рябиновку или сабуровку — как рукой снимет!»

Приемная комната тоже преобразовалась: старые стулья вынесли вон, стол тоже, а на место их поставили

десяток очень некрасивых, но прочных стульев и два ломберные стола, да во всю стену с одной стороны поставили низенький широкий диван без спинки, «на азиатский манер»,— говорил Подметкин. Он, побывав в Молдавии, сделался страшным партизаном всего азиатского, не только обычаев, даже мебели, платья и т. п. Вследствие такого пристрастия к Востоку был сделан турецкий диван и покрыт косматым ковром, к неописанному удовольствию блох всего околотка. О красоте мебели Подметкин не думал, да ему, кажется, это и в голову не могло поместиться. Он в вещах видел одну пользу; поэтому очень хлопотал о ломберных столах, без которых порядочному человеку трудно, дескать, убить золотое время; о прочности стульев он тоже очень заботился. «Стулья,— говорил он с видом знатока,— не только устроены для сиденья, иногда из них можно составить на скорую руку приличную кровать, иногда стул может служить оружием при нечаянной обиде или при внезапном нападении. Тут уже стул должен быть стул, а не какая-нибудь финфирюлька; он должен поражать и защищать, оставаясь невредимым. Вот я помню, анекдот случился на моих глазах в трактире, в Серпухове: нас играло в карты шестеро...»

Тут Подметкин рассказывал один известный трактирный анекдот, который не приносит ни большой чести рассказчику, ни удовольствия слушателям; он передается из поколения в поколение гуляк, как легенда; его рассказывал еще дед и отец Подметкина; рассказывает вся братья Подметкина... Верно, вы его слышали, так мне нечего говорить, наводить на вас скуку. Одно в этом анекдоте любопытно, что каждый рассказчик непременно был сам действующим лицом.

Алеша очень переменился — он оделся совершенно по образу и подобию Подметкина, даже немного перещеголял его: у Алеши была такая же фуражка с козырьком в пуху, такая же венгерка, только с цифровкою позатейливее, такие же шаровары, только немного пошире.

— Оно немного с отступлениями от формы,— сказал Подметкин, рассматривая в первый раз наряд Алеши,— немного нарушено строгое товарищество, братское житье, ну, да ты моложе меня, прихвастни немного! Живи себе с богом — я разрешаю.

Алеша был так рад, как будто без этого разрешения уже не мог и жить на свете.

— Ну, а фуражку-то покажи,— продолжал Подметкин,— эге! Вот уж непростительно! Что ты, помещик, что ли? Что же, дескать, купил новый картуз и щеголяет! Во всяком деле первое дело вывеска! А шапка — твоя вывеска: прямо торчит на лбу и всякому лезет в глаза. У нашего брата, свободного человека, и шапка должна говорить: «Держи в сторону! Нам, дескать, голова — наживное дело, голова — последняя спица в колеснице, вот, дескать, как мы ее холим да чествуем!» Идешь себе, заломил фуражку на затылок или на ухо — так от тебя всякий и отшатнется, и тебе всегда широкая дорога; а свой брат, прямая душа, увидит — сейчас узнает: видна птица по полету, и сразу станет приятелем, родней пуще брата родимого.

— Да что же мне с ней делать? Она такая новенькая, хорошенькая.

— То-то, овечья душа! В сарафане бы тебе ходить! Подайка ее сюда!

Подметкин взял фуражку в руки, переломил козырек, после долго мял и теребил ее, пока она не приняла формы лепешки, бросил на грязный пол, потоптал ногами, потом прорезал подушку, достал пуху и натер им испятнанную уже фуражку.

— Теперь готова! Возьми, Алеша, и гуляй на здоровье: настоящая забубенная, что называется, фуражка — урви да подай!

— Как же ее носить, на затылок?

— Как я ношу, бери с меня пример,— не проиграешь. Впрочем, и тут есть правила: когда сердит — надвинь

ее на глаза, чтоб из-под козырька смотрел волком, когда идешь на шуры-муры — хоть я бы и не советовал: как раз оженят твою овечью душу, ну, да молодца не удержишь, только не плошай,— тогда накрень ее, злодейку, на правое ухо, чтоб из-под козырька видно было полглаза,— это, братец, самый того, как бы его назвать... ну, самый победительный... ни одна комашка против него не устоит.

— А на затылок и нельзя?

— Экой быстрый! Погоди, не суйся в ад прежде родителей, места всем хватит. Когда хорошенько пообедаешь, или выпьешь и закусишь, или выиграешь у приятеля что-нибудь в картишки, тогда и спусти ее, матушку родную, фуражечку, на затылок: пусть, дескать, весь свет глядит на меня — вот я какой: весь открыт, весь счастлив, словно полный месяц, гляжу в оба глаза! Это значит — понимать обхождение, уметь вести себя. Потерся бы ты с мое по белу свету, сам бы себя не узнал... как честный и благородный человек.

— А что же это ты говорил — мне, дескать, и жениться нельзя?

— Так и есть! Ах ты, овечья душа, баран ты этакой добродетельный! Уж о бабе думает! Да я тебя заплюю, если ты мне заикнешься о женитьбе. Видно, что привык жить под плеткой: не успел вырваться от отца, лезет под команду бабы. Какой баба командир? Отчего нет из бабы командиров? А начальство умнее нас, верно бы сделало, коли бы можно. Ты, брат, теперь, Алеша, сам себе барин, сам господин, идешь, куда хочешь, делаешь, что хочешь, а возьмешь жену — все кончено; она засядет, как матка в улье, а ты станешь работником; запищит тебе: «Алексей, принеси того! Подай то! Сбегай туда, да проворней, не то заболею — вот уж дурно делается...» Ты выйдешь за дверь, а она опять пищит: «Где ты был? Что ты делал? Да ты меня бросаешь! Да я несчастная...» — и пошла, и пошла!

— Ха-ха-ха! Да ты шутишь, друг мой Подметкин! Ведь это комедия.

— Хороша комедия! Ты, брат, ее в сутки не уймешь; всплачешься, да будет поздно.

— А разве нельзя ее немного *тово*...

— Потузить, что ли?

— Да.

— Пробовали, брат, умные люди — еще хуже: сам себя измучишь, а ей ничего, только тебя обнесет, обжалует, житья не будет.

— Ну, так я не женюсь: меня никто за шею не тянет.

— Умные речи! С деньгами веселее проживешь без жены, а там, коли поживешь, поизносишься, полысеешь, поседеешь, тогда женись, я сам тебя благословлю, сам выберу невесту и посаженым отцом буду.

— Это зачем?

— Верно, нужно, коли я говорю; я не собака, на ветер лаять не стану. Под старость нужна жена: станешь хворать — будет кому посидеть подле тебя; ты богат, возьмешь бедную, чтоб попрекать не вздумала.

— Бедную, пожалуй, да только хорошенькую; я, знаешь, смерть люблю хорошеньких.

— Известное дело; любой отец, бедный человек, с радостью отдаст за тебя, высечет, да отдаст, свяжет, да отдаст, только заикнись.

— Ну, ладно, так я женюсь не скоро... Тогда, знаешь, после, после, после...

— Я тебе сам скажу когда, а теперь кури, Алеша! Мы с тобой поживем, пусть скажут, что недаром жили, недаром хлеб-соль ели, недаром сапоги по белу свету топтали.

— Покажем себя! Ай-люли! Ты куда идешь?

— О тебе все пойду хлопотать: я тебе приискал отличного иноходца и беговые дрожки.

— Браво! У нас будет лошадь.

— И не одна; случится другая хорошая — другую купим, третья — и третью, не надо терять случая.

— А дрожки одни?

— Одни, беговые.

— Отчего же беговые?

— А что же ты обабишься, небойсь, заведешь рессорные? Овечья у тебя душа! Ты должен быть и жить зверь-человеком; полетишь, словно ветер, по улицам, сам правишь, а я сзади, или я правлю, а ты сзади сидишь, все скажут: «Поехали забубенные головы, им, дескать, жизнь — копейка».

— А в грязь больно закида́ет на беговых.

— Нет, брат Алеша, бабой ты родился! Много мне придется с тобой муки, пока тебя поставлю на прямую дорогу. Грязь, а что тебе грязь? Съест она, что ли, тебя?

— Съест не съест, да закида́ет больно, запятнает сапоги и прочее, иная барыня рассердится...

— Во́но что! А тебе что за дело? Сердится — плюнь на нее; мы, дескать, не хороши, набиваться не станем; ты, значит, любишь мои сапоги да платье, а не меня; коли любишь, люби меня и в грязи. А то все этакие комплименты, все нежности и на языке и на письме, а никто полтины не даст взаймы. Уж мне сколько случалось: иной просто обругает тебя на письме, да так политично, что грубого слова не напишет, придраться нельзя, да еще в конце распишется: «С истинным почтением ваш покорнейший слуга!!!» Где же тут почтение, когда он, собака, ругается? Какой он слуга: умирай — не даст напиться! Уж мне случалось!.. А это все — так себе, комплименты. Нет правоты на свете, нет дружества, товарищества; мало благородства! Да, Алеша, слушай меня! Кстати, дай мне сотни две-три: я, знаешь, коли хорош иноходец, и задатку дам.

— Возьми хоть и все: я тебе давно говорил.

— Нет, дружище, не возьму; твои деньги пусть у тебя, а то, пожалуй, скажут, я тебя взял под опеку, я тебя ограбил; все равно я возьму, сколько мне нужно, по дружбе, а остальные пусть у тебя спрятаны; да считай хорошенько, деньги счет любят. Прощай.

— Прощай!

Скоро по уходе Подметкина явился к Алеше старичок, этак с виду лет шестидесяти, и начал просить милостыни.

— Зачем же ты просишь? — спросил Алеша.

— Есть хочется, ваше благородие.

— Работай кому-нибудь, тебя и накормят.

— Стар стал, ваше благородие, силы нет.

— А сколько тебе будет лет?

— Не знаю, а живу давно, помню и мор, и великую зиму; старшему сыну было бы теперь лет пятьдесят, да второму пятьдесят без года.

— Сорок девять, что ли?

— Сами считайте, вы человек грамотный.

— Погоди, возьму счеты; так первому было пятьдесят?

— Пятьдесят.

— Есть, второму сорок девять?

— Сорок девять.

— Есть. Третьему?

— Тут уже была дочка, ваше благородие, ей бы теперь было сорок семь лет.

— Есть. И только? Больше не было?

— Были: еще была дочка Прасковья — царство ей небесное — недавно померла, той было бы лет сорок пять.

— Есть. А дальше?

— После нее был сын, в рекруты сдали — и слуху нет, тому было бы лет сорок.

— Сорок, есть. Ну?

— Последняя дочка сбежала в третьем году за полком, вот я и остался сиротой!

— А та была стара?

— Да, слава богу, было ей лет без двух сорок.

— Тридцать восемь, есть. Погоди, сосчитаем. Да и стар же ты, седая собака! И не слыхал я такого старика: 269 лет тебе! Третью сотню живешь.

— Вам лучше знать, ваше высокоблагородие, вы человек грамотный! Мы люди простые.

— Да, это верно; я на счетах не ошибусь. Ах, черт возьми, если я слышал про такого старика...

— Помогите, ваше высокоблагородие!

— Помогу, помогу!.. А! Третью сотню заживаешь! Сказать кому, так не поверит, а по счету верно выходит. Что ж, ты много видал на веку?

— Много, ваше высокородие! И вашего батюшку знаю, и дедушку, прадедушку.

— А прапрадедушку?

— Знал; а с вашим пращуром мы в лошадки играли.

— Вон-ка! Давно?

— Страх давно!

— Что ж, он был молодец? Хотелось бы мне его повидать.

— Важнеющий был человек, очень похож на ваше высокородие, только покрупнее был.

— Покрупнее?

— Точно так, да тогда все люди были очень крупны, теперь измельчали.

— Вот что! Стало быть, правду рассказывала Аксинья, что свет доживет до того, что люди станут пахать петухами и по десять человек будут в одной печке рожь молотить.

— Должно быть, правда, ваше высокородие. Вы человек грамотный. Не откажите на бедность.

— Хорошо, хорошо! Такому старому хрену не знаю, что и дать, третью сотню живет! Ну, вот тебе сторублевая, да уходи скорее.

— Спасибо, ваше превосходительство!

— Вишь, как подрал! Словно заяц, а третью сотню живет.

Часа через два пришел Подметкин и привел с собой человека в синем кафтане, перетянутом черкесским поясом, в плисовых шароварах, упрятанных в смазаные сапоги; в одной руке картуз, в другой нагайка. Этому человеку, судя по бороде, было лет под тридцать. Незна-

комый человек, войдя в комнату, перекрестился, потом стал неловко кланяться, а Подметкин заговорил:

— Рекомендую тебе, Алеша, моего искреннего приятеля: барышник Фырков, отличный человек! Не смотри, что он с бородой и не дворянин, а все дворяне ему кланяются, офицеры ему руку жмут, с ним хлеб-соль водят, все ремонтеры ему друзья, дорогой человек! Вот мы с ним уладили для тебя дельце, я и привел его к тебе.

— Насчет, то есть, иноходчика; единственно для вас по дружбе уступил,— заговорил барышник,— генерал очень за ним волочился. «Ночей,— говорит,— не сплю, все снится Каурый».

— Да ты, братец Фырков, будь как дома, не церемонься с Алешей, говори ему «ты», иначе никакого дружества не будет.

— Пожалуйста, пожалуйста, любезный! — сказал Алеша.

— Ну, ладно, я и сам люблю откровенность.

— Да, да! Вот мы много наделали дела, а ты что сделал, Алеша?

— Я подал милостыню.

— Хорошо, тебе нужно поправить репутацию после батюшки: он сильно тебе напакостил; до сих пор в городе Канчукевич и свинья или собака — одно и то же, ругаются твоей фамилией!

— Э-эх! Поправимся!

— Разумеется; только составь себе репутацию, а там хоть и свихнешь при случае, никто не поверит. Давай нищим, делать нечего, да с разбором; где соберется побольше людей, там и сыпли мелочью или выбирай бедного поголосистее: пусть благовестит; да давай поменьше да почаще, напоминай о себе. Так составляются репутации.

— Ну, я этому дал здесь без людей.

— Худо; было хоть на улицу выйти: проходящие бы видели.

— Да еще я ему дал... сто рублей.

— Сто рублей?!! Полно, шутить?

— Не шучу. Да ты сам дал бы ему двести, для курьезу дал бы; ведь шутку сказать, пришел человек, что моего деда, прадеда, пращура знал! Вот что! 269 лет уже по свету мается; я не поверил бы, коли б сам не сосчитал.

Тут Алеша рассказал весь процесс своего исчисления. Подметкин и Фырков так и повалились на пол от смеху.

— Ах ты, голова-головушка! Видишь, Фырков, я тебе правду говорил, что у него душа овечья. Ах ты, баран этакой безрогий! Тебя разве тот не надует, кто не захочет. Благодари бога, что попал ко мне в опеку, все бы у тебя мошенники вытащили: у тебя слабая душонка. Вот какие он без меня штуки откалывает! А я ему для благодеяния бабу отыскал.

— Отыскал?

— Не твоему плуту чета, баба, братец, голосистая, что твой кларнет; а язык, словно трещотка, так и колотит дробь; в две минуты мне рассказала, что у ней нет мужа, и на руках шестеро детей мал мала меньше, и что ей когда кто дал — все рассказывает, такая признательная, благодарная... Такой не жаль дать — не пропадет задаром. Она придет, ты увидишь.

— Так еще и ей дать?

— Нечего делать, придется хоть немного, я сам пригласил.

Потом Подметкин начал рассказывать Алеше про каурого иноходца и поздравил его с покупкой и обнимал, обнимал тоже и Фыркова и рассказал какой-то анекдот о том, как одна барыня-помещица покупала у Фыркова лошадь для завода. По обыкновению, анекдот был так рассказан, что его нельзя было понять, хотя Фырков и Алеша очень много смеялись. Алеша даже кричал:

— Перестань! Перестань, не выдержу! Ах умру! Пропаду, лопну! В груди колет, живот сводит! Ох, пропаду, перестань...

— Коли живот сводит, выпей померанцевки, да, кстати, и мы поддержим компанию.

Принесли водки, хлеба, икорки и еще чего-то сухого копченого, и хозяин с двумя приятелями начали лечиться истинно аллопатически. Впрочем, они и не виноваты: гомеопатия тогда еще не была в моде. Это приятное занятие прервала вошедшая в комнату женщина лет под сорок, со вздернутым носом, с пухлыми красными щеками, с быстрыми черными глазками; в молодости она была очень недурна, даже и теперь еще была сносна. Она пришла и с плачем начала жаловаться на свое вдовство, на семейство и на бедность.

— Ба! Вот сама она; легка на помине. Я только о тебе, матушка, рассказывал; ты ведь вдова унтер-офицера? Никак Домна?

— Домна Трифоновна, ваше высокоблагородие, вдова беспомощная, шестеро детей-малышей, писк да визг, хоть беги из дому, и все хлеба просят. Спасибо, добрые люди не оставляют; уж какой стряпчий! Кто его не знает? Да и тот расступился гривенничком.

— Верю, верю, матушка, мы тебе поможем. Алеша не в отца пошел, любит добрые дела.

— Да, да, матушка, люблю делать добро, он правду говорит.

— Ах вы, отцы мои родные! Да я вас и в молитве стану почитывать, и свечку за вас поставлю, и всему городу расскажу, только не оставьте малышей поколеть с голоду.

— Эх, мать моя, Домна Трифоновна! — сказал Фырков.— Ведь это мои приятели, я тебе не попущу их надуть. Ведь я тебя знаю: ты держишь артельное кушанье на нашем постоялом дворе, за тобой и грешки есть — не правда ли?

— Э, батюшка, кто богу не грешен?

— Правда, да у тебя и муж есть; отставной унтер.

— Как, муж есть? — спросили в один голос Подметкин и Алеша.

- Какой он муж, честные господа! Только что звание мужа, и совсем никчемный, ледащий! Хуже вдовы живу!

— Ха-ха-ха! Слышь, Алеша,— закричал Подметкин,— да ведь она бой-баба! Ей-богу, молодец; как вывертывается!

— Молодца! — заметил Алеша.

— Да и деток у тебя нет,— продолжал Фырков.

— Вот это уж напраслина,— со слезами отвечала Домна,— видит бог, напраслина.

— Где же они? Их нет при тебе?

— Где они? Там, где мы будем: бог прибрал, всех схоронила, моих сердечных... И сколько их было! Да какие хорошенькие!

— Ай да баба! — закричал Подметкин.— Молодец! Вот бы золотая была маркитанша! Нет, Алеша, ей стоит дать рубль серебра — не на бедность, а за удаль; таких баб мало на свете. Что, ты трубку куришь?

— Курю, ваше высокоблагородие.

— Табак глотаешь?

— Нюхаю.

— Браво! Об этом тебя не спрашиваю, а вот об этом, что в графинчике: верно, выкушаешь стаканчик на здоровье?..

— Ваше здоровье!

— Молодец! И не поморщилась! А померанцевка крепкая... Я тебе еще прибавлю рубль серебра. Да приходи к нам завтра пораньше, я с тобой не шутя потолкую о важном деле.

Домна взяла два целковых и ушла, а три приятеля далеко за полночь просидели, пробуя разные настойки и рассуждая об удали унтер-офицерши. Наконец Подметкин предложил и собрание утвердило; не щадя издержек, переманить к себе унтер-офицершу и вверить ей управление домом, а муж ее может смотреть за лошадьми и кучерами. Проект запит, приятели поцеловали уходившего барышника и легли спать, совершенно счастливые.

День ото дня изменялись комнаты в доме Алеши: в сенях приколотили чуть ли не полсотни оленьих рогов; на них вешали шинели приходящих и постоянно висели хлысты, арапники, своры, собачьи ошейники, длинные охотничьи сапоги, перепелочные сети и т. п. Спальня тоже была похожа на арсенал: здесь по стенам красовались ружья разных размеров и величин, со стволами круглыми, гранеными, витыми, даже медными; горская винтовка терлась о широкий раструбчатый мушкетон итальянских разбойников, далее персидское ружье все в насечке, ложа со врезками из слоновой кости и бирюзы, замок и прибор серебряный, весь в кораллах, а подле кухенрейторские пистолеты, маленькие, простенькие, короткие, но из них Подметкин на пари берется всадить пулю на сто шагов в человека, нашелся бы только охотник попробовать; рядом с коротенькими кухенрейторскими пистолетами горят на стене турецкие пистолеты, длинные, с золочеными стволами, с вычурными украшениями из литого серебра, с шелковыми снурками и кистями. Говорили добрые люди, что все иностранные ружья и пистолеты никогда и не бывали за границей, а деланы по заказу Подметкина в Туле; в Туле, дескать, и отца родного подделают дешево, был бы только он железный.

На противоположной стене висели сабли, старинные шпаги, кинжалы. Не было на Кавказе ни одного знаменитого разбойника, от которого не достал бы Подметкин кинжала, и все у проезжих с Кавказа. Дорого платил он, а все доставал нужные вещи. На третьей стене висели дудочки, свистки, пояски с чернью, ермолки и всякая мелочь; а на четвертой — разные французские литографии, изображающие прекрасный пол в разных положениях; литографии были прилично раскрашены. Глядя на них, часто Алеша восклицал в восторге: «Экие канашки! Дорого, да мило!»

Старая собака, которая, если помните, одна оплакала покойного Канчукевича, была, по приказанию Подмет-

кина, повешена; на ее место явилась на дворе целая стая гончих и борзых, а в комнатах пара лягавых: один Алеши — Валет, а другая Подметкина — Ами. И Валет и Ами спали с господами, жили с ними вместе, везде сопровождали их, только не ели за одним столом.

— Хороший человек, истинно благородный, не крючок, не скряга, а прямая душа, непременно должен быть коновод и собачник.

— Да, я люблю и собак, и коней,— отвечал Алеша.

— Знаю, знаю, ты добрый малый, ты — все равно что воск: все из тебя, что хочешь, вылепишь; счастлив, что попал на меня!

Вот как они жили.

Утром рано встает Подметкин и трубит в кулак зорю, а если Алеша не просыпается, то берет охотничий рог и трубит в него сколько есть сил, так что окна дрожат.

— Полно, Подметкин! Перестань!

— А ты уж проснулся, баба этакая! На службу бы тебя — выучили бы, как спать.

— Да на заре спать хочется.

— Пустяки! Надо привыкать к бодрости; мужчина должен быть бодр, а не бабиться в постели до полудня. Вставай!

Они встают, надевают халаты и отправляются смотреть на погоду. Иди снег, шуми буря, лей дождь — им все равно, непременно пройдутся по двору. Придя, начинают говорить, что на дворе сыро и холодно, идут к шкафику, и пьют по рюмочке христианской, и поздравляют друг друга с настоящим днем: если четверг — с четвергом, понедельник — с понедельником; вслед за этим им приносят завтрак: блины, пироги, жаркое, сельдей и два графинчика водки; разумеется, сельди приправлены перцем, луком и уксусом. Приятели пьют по рюмке за здоровье друг друга, потом, на основании правила: *по первой не закусывают* — пьют по второй уже просто и едят; Алеша ест много, а Подметкин мало, и то соленое или острое.

«Приелось уже,— говорит он,— пора запивать». Завтрак обыкновенно запивают они по рюмочке, а иногда, для смеху, для потехи, и по две, одеваются и выходят на двор. На дворе осматривают собак, лошадей, запрягают дрожки и уезжают куда глаза глядят. К двенадцати часам они уже бывают дома, где их ждет накрытый стол, приготовленный поваром, которого Подметкин взял из отставных солдат собственно за его расторопность, живость характера и неумолкаемый язык. Впрочем, сметливому солдату не трудно было проникнуть в тайны кухни наших приятелей: они ели весьма неприхотливо, почти одно и то же каждый день: щи или борщ, кислый до невозможности, потом солянка с огурцами и, наконец, говяжьи котлеты или *биткú*, по выражению Подметкина. Эти *биткú* непременно рубились на колесе. Если мясо было изрублено на столе или на доске, а не на шине колеса, Подметкин как-то по запаху узнавал, не ел их и подымал страшную тревогу. «Я люблю,— говорил он,— жить нараспашку. Этак, бывало, выходим верст тридцать, выбродимся, вымокнем, и тут привал, огни горят, кипят котлеты с кашей, а повар нашего ротного командира стучит ножом по светлому колесу капитанской брички. «Ого-го! — говорили, бывало, мы.— Битки скоро будут!» и через минуту они, братец, перед нами на сковороде, кипят и подпрыгивают в бараньем сале; а запах кругом так столбом и стоит. Вот, бывало, хватишь стаканчик христианской или ромео, коли той нет, да как примешься за битки... кажется, свой собственный язык с ними съел бы; да, надобно тебе час отругаться от злого человека! Вот я тебе скажу, бывали битки! «Да как ты, братец, делаешь?» — бывало, спросишь у повара. «Да так, просто, на колесе; где нам со столами возиться! А железо чистое, стер полой, положишь мясо, мигом собьешь». И что ж? После случалось мне и дорого платить за битки, подавали мне их и просто, и со всякими французскими хитростями — нет! Все дрянь против походных!»

Перед обедом приятели пили по большой рюмке водки.

За обедом обыкновенно Подметкин ел мало, а только пил и жаловался на жажду; Алеша кушал исправно, запивал тоже, отчего после стола его сильно тянуло ко сну. Закуря трубки, приятели ложились на кроватях побалагурить; но скоро Подметкин замечал, что язык Алеши двигается медленнее и он начинает дремать. Тогда обыкновенно Подметкин вскакивал с постели и теребил Алешу, уговаривая не спать: спят, дескать, после обеда толстые помещики, трусы, ученые дураки, подьячие и всякая сволочь, а народ деятельный — он себя считал очень деятельным человеком — должен презирать сон.

— Да какого я черта стану делать? — с отчаянием кричал Алеша.

— Мало ли есть чего? Стреляй, учи собаку, говори, слушай, играй в карты. Ведь совестно сказать; такой молодец, а играет в карты, словно поповна, ни одного фокуса не знает, снять порядочно не умеет. Э! Да ты опять спишь? Алеша, полно бабиться! Встань, дружище! Нет, как убитый! Постой же...

Подметкин выливал на голову Алеши стакан холодной воды или затыкал ему нос маленьким бумажным конусом, наполненным мелким табаком; тот или другой способ, но всегда удачно и скоро подымал с постели Алешу; Алеша ругался, Подметкин хохотал.

— Счастлив ты, брат,— говорил он, катаясь на кровати от смеху,— что не попался в казенное заведение; там бы тебя выучили сердиться на товарищей! Больше сердишься — больше школьничают, пока не перестанешь; перестал — и они перестали; по-старому, добрые ребята, славные товарищи...

— Как же не сердиться,— говорил Алеша, беспрестанно чихая или выжимая руками мокрые волосы на голове,— как же не сердиться, когда совсем можно этак человека с ума свести.

— Ну, коли так, я возьму фуражку, да и прощай! Живи себе, как знаешь.

— Нет, Подметкин, бог с тобой! Куда ты? Я ведь только пошутил, право, пошутил.

— То-то, овечья душа! На товарища сердишься, а без товарища тебя куры заклюют. Мир так мир.

Они мирились, запивали мир тенерифом или сантуринским и до чая стреляли в комнате из пистолетов восковыми пулями. Чай подавали *для проформы:* его никто не пил; разве случались церемонные гости. Алеша и Подметкин пили набело, то есть, клали в стакан несколько кусков сахару, наливали на это треть стакана простой, белой, горячей воды и пили, остальное доливая кизляркой или ромом, который Подметкин всегда называл: *высокородный ромео*! — и последнее слово произносил звучно, торжественно, как-то своеобразно раскрывая свой широкий рот.

После чая приятели учили носить поноску своих лягавых собак или заставляли их ссориться и грызться между собою, причем победитель получал кусок колбасы и кличку молодца до следующего вечера.

Иногда после чая Подметкин входил с Алешей в спальню, запирал дверь, ставил на стол две свечки, к столу два стула, садился за стол против Алеши и, вынув из кармана колоду карт, начинал ученую лекцию о карточной игре вообще и азартной в особенности, как самой благородной, открытой, веселой и приятной, причем всегда рассказывал известные вам приключения, как кто-то, когда-то, где-то, или даже в Москве, или Киеве, на контрактах, выиграл на одну карту огромную сумму, оправил карту в золотые рамки, а на сумму купил богатое имение и живет себе теперь припеваючи. Или как такое же мифическое лицо выиграло на одну карту полмиллиона, женилось на графине и само вышло в люди. Сначала Алеша слушал рассказы со вниманием, а под конец вечера сильно

зевал, говоря: «А мне что за дело до них, прахом они рассыпься! Мне и без них хорошо, я сам по себе...»

Между рассказами Подметкин толковал Алеше разные технические слова записных игроков, показывая тотчас применения их на практике, объяснял пользу и вред цветных очков, увеличительных очков, подпиленных пальцев, пунша, подаваемого в трактирах играющим разным лицам, хоть в одно время, одного цвета во всех стаканах, но на разных подносах,— словом, развивал перед ним обширный свиток житейской мудрости, собранный во время кочевок от Москвы до Ясс и от Оренбурга до Варшавы. Потом, увидя, что теория прискучает птенцу, он переходил к практике и играл с ним, только не на деньги, а на щелчки.

Щелчки быстро сыпались на лоб бедного Алеши, слезы градом лились из глаз.

— Да возьми хоть по гривеннику за щелчок, только отстань!

— Нет, Алеша, и по целковому не возьму; раз, что у меня рука расходилась, смерть хочется подраться хоть щелчками; а второе,— я добрый товарищ: что мне играть с тобою? Даром брать деньги не хочу; никто не скажет, что я ограбил тебя, а с тобою *теперь* играть в карты — все равно, что с Валетом или Амишкой. Вот другое дело, коли ты попривыкнешь да насобачишься,— тогда я сам тебе скажу: выходи, Алеша, сразимся, развязывай кошель. Играю! Играю, брат, беспардонно, во всю душу играю, во всю ивановскую! Берегись: еду — не свищу, а наеду — не спущу; и отцу родному не спущу; право слово, шутка шуткой, а дело делом. Карты — важная вещь, с ними не шутят, а щелчки — пустое: лоб немного покраснеет, приложи холодный пятак — как рукой снимет, ни шишки не будет, ничего, ни пятнышка!

Иногда после карточной лекции приятели занимались ловлей сверчка, немилосердно кричавшего в углу у печки, причем поднималась страшная возня, шум, крик. Иногда Подметкин доставал гнездо молодых мышей и травил их

в приемной комнате молоденькими кошками; время шло, а между тем приходила пора ужина. Оба друга отправлялись к шкафику, пили по рюмке или по две настойки, какую находили приличнейшею, судя по погоде, времени года и другим обстоятельствам, и садились ужинать. После ужина торопились лечь в постель, чтоб не проспать завтрашнего утра, для чего? — бог их ведает. Завтрашний день проходил так же, как и сегодня.

Иногда от обеда до вечера они стреляли в цель в комнате из пистолетов восковыми пулями до тех пор, пока от дыма становилось невмочь дышать. Подметкин находил это упражнение необходимым всякому человеку, живущему между хорошими людьми, который не желает, чтобы другие безнаказанно смели наступить ему на ногу. О пользе стрельбы у него была тысяча анекдотов, один другого нелепее.

Так шли дни за днями; вчера очень походило на сегодня, а сегодня еще более на завтра: однообразие дней только нарушалось выездом на охоту, а вечеров — гостями.

Когда выезжали на охоту, то весь дом с утра или, лучше сказать, с полночи приходил в движение: на дворе визжали собаки, хлопали арапники, ругалось несколько голосов; в комнатах суетился Подметкин: насыпал заряды, по временам подходил к шкафику, откуда возвращался покрякивая, командовал, дергал за ухо Валета, ел закуску, давал подачку Амишке, распекал Алешу, который, спустя ноги с кровати, полусонными глазами глупо глядел на своего друга и на битки, дымившиеся перед ним на сковородке, а друг еще находил время спеть свою любимую *охотничью арию*:

Мальбруг в поход поехал,
Был конь под ним игрень.
Когда же он приедет?
Авось ли в тройцин день.

— А разве у меня не каурый конь? — спрашивал простодушно Алеша.

— Каурый, братец!

Тю-лю-лю, ру-лю-лю, лю-лю!

— Отчего же ты поешь *игрень*?

— Разве я про тебя пою? Нам с тобой до этого далеконько. Одевайся-ка живее!

Тю-лю-лю, ру-лю-лю, лю-лю,
Ра-ра-ра-тра, ра-ра, ра-ра!
Авось ли в тройцин день!

— Эй, вы! Скажите живее закладывать таратайку!

Вот тройцин день проходит,
Мальбруга не видать!
Мадам на башню лезет!

— А зачем? — спрашивал Алеша.

— Фу ты, черт возьми, какой бестолковый! Разве я был при этом?

— И я не был.

— Ну так что?

— Ничего.

Оба друга начинали хохотать, совершенно убедившись, что они не дураки, а умные люди, и говорили глупости так, ради шутки, для препровождения времени, чтоб подурачить друг друга и посмеяться.

Наконец выносили окончательно ящики с солеными огурцами, колбасами и прочим, выносили бутылки и бутылочки с разными лекарственными жидкостями и выходили сами *господа* Подметкин и Алеша, одетые со спартанской простотою и увешанные оружием от головы до сапог, словно пираты. Все выходили и выезжали за ворота, и в доме утихало на целый день до вечера.

Здесь, пока они охотятся, я сделаю маленькое отступление. Нигде я не видала такой дворни, как у Алеши: все слуги — а их было пропасть — смотрели или зломрачно, отчаянно, или так по-приятельски, что не знаешь, кто

барин: Алеша, или какой-нибудь Павлушка, или Андрюшка. Впрочем, надо сказать правду, что слуги в существе хоть и принадлежали Алеше, потому что были куплены на его деньги, а по бумагам — что гораздо крепче — принадлежали Подметкину. Подметкин купил их душ десять разом у одной барыни, соседней помещицы, которой нужно было новое бархатное платье к балу предводителя, а люди в это время ее разогорчили, и купил на свое имя.

— Ты, братец,— говорил Подметкин Алеше,— еще без имени овца-баран, а я имею благородный чин, мне сподручнее было бы в суде хлопотать; а тебя, чего доброго, еще как-нибудь толкнули бы — вот, дескать, недоросль бесчиновный, пришлось бы просить сатисфакции, так я и купил на свое имя.

— Ладно, ладно,— отвечал Алеша,— а как бы чинишко зашибить, а?

— Это на что? Ты дворянин, зачем тебе?

— Ты сам говоришь, что я овца или баран, не возьму в толк, все равно, без имени...

— Да, оно, конечно, приятно иметь чин, только благородный, рыцарский, чтоб не пахло от его чернилами; а тут где получишь такой чин? Запишешься в канцелярию, разумеется, не будешь ничего работать, а все-таки станешь оброчным мужичком: то тому, то другому, то третьему, сильно в боках исхудаешь, а все-таки угодишь в регистраторы, что будет назвать перед порядочным человеком совестно. Теперь, по крайней мере, *дворянин*: звучно, что-то вроде *барон* или *маркиз*. Погоди лучше, вот придет когда-нибудь в наш город гусарский полк, я тебя определю, послужи до первого чина, и сам с тобой пойду в полк — не для службы, мы с ней не ладим,— а единственно для *компанства,* для товарищества.

— Ладно, подождем,— отвечал Алеша,— а люди на чье имя ни куплены — все равно: ведь что мое, то твое.

Но люди видели в Подметкине своего барина и почти не слушали Алеши, хотя Подметкин и они все жили на его

счет. Когда Алеша, желая расположить кого из слуг, давал ему денег, тот делался почти его приятелем, а другие косились, сердились и пуще прежнего старались грубить, чтоб вынудить и себе подобную благосклонность. Подметкина они более слушали, но и его не любили. Иногда он кричал на них, кормил пинками, щелчками и тому подобными мелочами; иногда собирал их в кружок, заставлял петь песни, сам подыгрывал на гитаре, и поил водкой, и целовал запевалу, а после этого вдруг, от безделицы, выходил из себя и неосторожно беспокоил — как выражались они — кого-нибудь кулаком по уху. Вообще Подметкин, человек веселый, беззаботный, сделался ворчуном, драчуном и страшно взыскательным, когда стал барином десяти крестьян. Его прямая душа, проповедовавшая равенство и товарищество, оскорблялась всем на свете: все люди у него были, по его словам, мошенники, носили много платья, топтали бездну сапогов и не имели к нему никакого душевного расположения. Уж я ли их, дескать, не балую, а все ничего! Из хама не будет пана! В крови нет благородства, в лице нет откровенности, и ходят черт знает как, и стоят без всякой выправки — брюхо вперед, плечи завалит, грудь спрячет — совсем не человек!

Вечером поздно возвращались друзья с охоты усталые, измученные, иногда мокрые, перезябшие, и привозили несчастного молодого зайца, или пару уток, или просто ничего. Во всяком случае, Подметкин сердился, кричал, что охота не удалась потому или потому, называл Алешу мокрой курицей и обещал отделать сворами какого-нибудь мародера, шиша или тетерю.

Подметкин никого из своих людей не называл христианским именем, а давал им свои прозвища: то Шиш, то Тетеря, то Глухарь, то Дурень, то Барабанная Палка и тому подобное; и вообще, говоря о них или с ними, называл мародерами.

Впрочем, когда первые порывы гнева утихали и Подметкин обогревался, выпив чего-нибудь с дороги, прини-

мались рассматривать добычу: зайца растягивали во все стороны, меряли его аршином и в длину, и в толщину, и уши меряли, и меряли скоки. После этой операции Подметкин уверял, что подобного зайца с такими выносными скоками ему еще и видеть не случалось, что этот заяц должен скакать шибче беса; наводили справку, какая собака первая дошла его, приводили в комнату собаку, давали ей заячью лапку, гладили ее. Тощая борзая, поджав хвост, грызла лапку, искоса поглядывая на лягавых барских любимцев Ами и Валета, спокойно лежавших на постелях своих господ. Алеша в охотничьем восторге целовал ее в узкую мордочку, приговаривая: «Стрелка моя, душка, исполать тебе, нет у меня родни, ты мне родня, Стрелочка, голубушка».

Уведя собаку, приносили безмен и весили зайца. Подметкин сам всегда весил, и странное дело! Самый тощий заяц в его руках весил без малого полпуда. Безмен очень удобный инструмент.

Если дичь была утки, то начинался толк о том, кто убил какую утку, как она сидела, из какого ружья ее убили и как попал в нее заряд. В случае спора — а без спора никогда не обходилось — призывали свидетелей: являлся какой-нибудь долговязый *Глухарь* или *Барабанная Палка* и, размахивая руками, свидетельствовал, часто лжесвидетельствовал сообразно видам господ. В заключение тут же общипывали уток и в вихре кружившихся перьев и пуху рассматривали раны, определяя по ним качество ружья и ловкость стрелка. Уток приказывали оставить на завтра, на вечер, и звали на них приятелей, а сами, перекусив, выпив, покормив Ами и Валета, засыпали сном невинности.

Назавтра начинался день беспокойный, день тревог: с темного утра уже осаждали дом Алеши разные мужики и бабы и решительно нападали на приятелей, когда они выходили по обыкновению узнавать погоду. Подметкин ругался, Алеша тоже, бабы плакали и выли, мужики гру-

били и стращали полицией, наконец, вся эта ватага вваливалась в приемную комнату. Подметкин важно садился за стол, Алеша рядом с ним, мужики и бабы становились у дверей.

— Ну,— начинал Подметкин,— так что же вам нужно, бездельники, а?

— Заплатите, ваше благородие, помилосердствуйте, животы наши пропали: времена худые, совсем нас обидели! — орало несколько голосов разом, отчего решительно трудно было понять хоть одно слово.

— Стой! Отставь! — кричал Подметкин.— Говори кто-нибудь один, а не все разом.

— Говори ты, тетка Кулина!.. Нет, говори, Семен... Пускай Ванюха говорит,— ворчали в толпе.

— Что же вы, карбонарии этакие! В кабак, что ли, пришли? Смеете ссориться в благородном доме, а?.. Вот я вас! Позову сюда своих мародеров да такую задам вам таску!.. Говори живо! Ну, хоть ты, старик, начинай!

Толпа присмирела. Старик, дюжий, с седою бородой во всю грудь, медленно вышел из ряда, подошел к столику и, поклонясь в пояс, хотел было говорить.

— Два шага назад! — грозно сказал Подметкин.— Осади назад! Ваш брат всегда должен быть от нас на благородном расстоянии... Еще назад! Вот так; теперь говори.

— Вчера, батюшка, ваше благородие, ваши собаки заели у меня барана.

— Ну так что ж?

— Так помилосердствуйте — заплатите. Мы люди бедные, ваше дело боярское; ваша охота — нам работа; кошке смех — мышке слезки.

— Ну, ну, ну! Ты, брат, краснобай, говори живее: что, твой баран был больно хорош?

— Первый баран на весь уезд был.

— Полно, не на всю ли губернию?

— Да и на всю губернию, коли дело пошло на правду. Проезжие господа, бывало, засматриваются, а вот заели

собаки! Лучше б меня было немного пощипали. Право слово...

— Ну, что же ты за него хочешь?

— Да...— говорил мужик почесываясь,— я и цены не сложу ему; да случай, стало быть, вышел: грех пополам, дело христианское, а целковичков десяток надо бы пожаловать.

— За барана тридцать пять! Да знаешь ли ты, седой дьявол, что я лошадь куплю за эту цену?

— Вестимо, лошадь лошади рознь и баран барану; барана хоть съешь, а лошади и не съешь, коли выйдет ледачая. Что же вы пожалуете, ваше высокоблагородие?

— Я тебе дам рубль серебра и прогоню вон.

— Помилосердствуйте, где купить барана за три с полтиной? Коли так, мое не пропадет: я пойду к Ивану Ивановичу, к Петру Петровичу, пусть они рассудят, они наши отцы-начальники.

— Ступай, ступай, братец, да неси целковый Ивану Ивановичу, да целковый Петру Петровичу, вот будет семь рублей, да на бумагу выйдет рублика два-три — вот и десять, а получишь с меня через год или через два, как по бумаге выйдет, и то потому, что я добрый человек, получишь пятирублевую синюху. Бери лучше теперь да проваливай!

Старик почесался, поворчал и, взяв пять рублей, ушел. Тетка Кулина хотела взять, по примеру старика, тоже пять рублей за утку, которую подстрелил вчера Алеша. Подметкин давал ей пятак меди; баба сердилась, плакала, проклинала день своего рождения, и соседку, и утку, и весь свет, что очень утешало наших друзей. Наконец получила гривенник и удалилась. Потом кум Андрей объявил претензию за искусанного собаками поросенка, требовал чуть ли не сто рублей, а порешил дело полтинником и был очень счастлив, когда ему поднесли, сверх уговора, чарку христианской. За Андреем явился Степан, Митрофан, Денис, Борис и прочие, все с требованиями, кто за ворота,

разобранные охотниками на дрова, и т. п. Требования этих добрых людей были поистине чудовищны; но здесь коса находила на камень. Подметкин был по натуре такой же кум Андрей, только одевал свою личность вместо зипуна в венгерку. Ответы Подметкина были в своем роде чудовищны, притом на его стороне было то преимущество, что мужики стояли, а он сидел, мужики кланялись, а он ругался, и потому нелепость запросов уничтожалась нелепостью ответов и в итоге выходили самые тихие, скромные, самые обыкновенные числа, которые все-таки, надо правду сказать, в сложности наносили изрядный вред карману Алеши и в тысячу раз стоили более затравленного зайца или пары уток, по строгом розыске признанных даже не дикими!

В спорах с мужиками, в уплате им денег и т. п. незаметно проходил день, так что друзья не успели порядочно пообедать, а еще менее того отдохнуть, как начали собираться гости.

Прежде всех пришел барышник Фырков, потом два друга из какого-то правления. Говоря о себе, они всегда выражались: *мы правленские*. Эти друзья были, вероятно, дружны по службе; более общего между ними, кажется, ничего не было. Один был высок, тонок, тощ и наклонялся вперед; другой низок, толст и постоянно закидывал голову назад. Высокий был в зеленом фраке с узенькими фалдами, очень похожими на сложенные ножницы; толстяк был во фраке синего цвета с короткими фалдами, очень похожими на раздвинутые ножницы, отчего толстяк, если на него смотреть сзади, немного походил на бабочку. Правда, и зеленый и синий фрак были очень истерты, и длинный и толстый друг были в желтых нанковых брюках, испятнанных чернилами, и в цветных жилетах.

— Эти правленские добрые малые,— говорил Подметкин Алеше,— уж я не выберу худого знакомства, а все-таки ты их остерегайся,— это, брат, не наш брат, чернильные души; он тебе и друг, а все-таки норовит, как бы тебя

опакостить — такая у них натура, на этом живут. Это все равно, что вот змея кусается, а зачем ей бог дал зубы? Не было бы зубов — не укусила бы.

— Так черт с ними, коли они кусаются!

— Эва! Кто тебе говорит?.. Они славные парни, добрые души, игроки, плясуны, питухи, а живут только в чернильном омуте — вот что! Я тебе острастку даю; просто сказать, смотри, чтоб чайные ложки целы были и прочее ценное, да и на картишки посматривай: иной раз такой человек не даст козыря куда надо, а после им же тебя поколотит.

— Ага! Ну, теперь понял.

После правленских явился какой-то богатый мещанин Макар, в сюртуке, в широких шароварах, с двумя часами, от которых бисерные снурки, голубой и красный, красиво перекрещивались на высокой груди. Мещанин был известный забияка в городе, его несколько раз хотели отдать в солдаты, ловили несколько раз, но он всегда ускользал: где пробивался силою, где откупался и исчезал на долгое время, пока сердца *общества* не успокаивались. Он был огромного роста, широкоплечий, страшный силач и отчаянный игрок на кларнете; кларнет у него постоянно был спрятан в неизмеримом кармане широких шаровар. Еще пришел какой-то вольноотпущенный, живший долго в Петербурге камердинером при барине. С ним особенно любил толковать Подметкин про политику, про балаганы, про волокитства высшего круга, про немцев — не наших немцев доморощенных: этих Карлов Карловичей, дескать, везде много,— а про настоящих немцев, заграничных, у которых свой немецкий король. Вольноотпущенный всегда говорил хотя и с чувством своего достоинства, и с сознанием своего личного превосходства, но выражался деликатно, смягчая речь разными приятными выражениями вроде: «смею вам доложить», «я вам имел честь докладывать», «вы изволили выразиться совершенно справедливо» и проч...

— Это, брат, петербургская штука,— говаривал Подметкин Алеше,— учись у него тонкому обращению. Черт его знает, как он то же слово, что и я скажу, скажет совершенно иначе!

Еще пришел учитель приходского училища, немного навеселе, и еще веселее явились вслед за ним какие-то три или четыре лица, которых я и описать не умею. Подметкин и сам не знал их хорошенько. Они были чьи-то друзья, но чьи — неизвестно; один все поправлял галстух, поддергивал его кверху, тянулся и держал себя так прямо, словно проглотил железный аршин. Другой был очень похож на человека, несущего на плечах тяжелый куль овса. Третий немного напоминал собой вытертую половую щетку, а четвертый — странное дело! — я до сих пор не могу дать себе отчета в четвертом: кажется, его не было, а подумаешь — был; но решительно ни на что не походил этот человек, и память отказывается удерживать его образ.

Когда гости сошлись, подали самовар; явился *кизляр-ага,* то есть кизлярская водка, явился сам *высокородный ромео.* Поставили на стол дюжину стаканов, принесли большой поднос, горой насыпанный блестящими кусками сахару. И посреди этого, освещенный двумя горевшими по сторонам свечками, возвышался уемистый самовар; он стоял, словно древний жертвенник, шумя, курясь, сверкая и наполняя комнату клубами легкого белого пара.

В каком-то поэтическом восторге подошел к самовару Подметкин, отвернул обшлага венгерки и, захватя в обе горсти сахару, начал бросать в стаканы, приговаривая звучным голосом:

— Честные господа! Пожалуйте сюда откушать моего труда. Пей воду — все будет вода! А вот с этим не пропадем никогда; ну, душа Подметкин, поворачивайся! Прочь с пушным товаром, едут с табаком!.. Кому с таркой, кому с ромком?

Громкий хохот гостей приветствовал остроумную выходку Подметкина, и вслед за этим мещанин Макар,

выхватя из кармана кларнет, заиграл колено какой-то плясовой народной песни. Изумленные гости восторженно захлопали в такт руками, припевая:

Ай жги, жги, жги, говори!
Рукавички баранковые!..

— Стой! Стой! Стой! — закричал Подметкин, подымая кверху руки, полные сахарных кусочков.

Кларнет умолк.

— Подойди ко мне, Макар, исполать тебе! Вот истинный друг, вот, господа, душа компании!.. Подойди, Макарушка, поцелуемся! Хорошо, больно хорошо! Не будь занят делом, я сам бы пошел вприсядку, как рядовой, пошел бы вприсядку... Ну, поцелуй же меня! — И, не выпуская из рук сахар, Подметкин обнял мещанина и поцеловал его в обе красные щеки.

— Теперь, господа, займемся делом.

Руки гостей протянулись к стаканам.

— Стой! — закричал Подметкин.— Оставь! Без пробы не отпущу, я не целовальник и даром воды не даю, пускай те продают ее за деньги.

Потом он обмакнул палец в стакан с пуншем и поднес его к свечке; синее пламя быстро охватило палец. Подметкин хладнокровно задул пламя и повторил эту операцию со всеми стаканами. Пунш во всех стаканах оказался равного достоинства: воспламенялся, как спирт.

— Ну вот теперь, господа, милости просим; сами видели доброту напитка, никто не станет попрекать друг друга: все равны, все одинаковы, как стаканы, так и души,— прямое товарищество! Ура!

— Ура! Ура! — гаркнули гости, выпивая стаканы, а Макар при удобном случае надул кларнет и заиграл приличную песню.

Долго пили гости и хозяева пунш, потом сели за карты, потом Фырков проговорился, что у него есть двусердеч-

ная лошадь. Это изумило все собрание. Подметкин божился, что про таковскую лошадь никогда и не слыхивал, шатаясь по белу свету не один год, хотя и видал лошадей двужильных, а с тремя свищами сам имел бегуна, который хоть двадцать верст скачет, стал, прыснул — и свеж, и не работает боками.

— А эфта и не прыскает, и не работает боками, и не потеет, хоть сто верст поезжай; первый сорт лошадь, право, ей-богу! — сказал Фырков.

— Да у моего покойного отца была двусердечная кобыла,— заметил Макар,— дрянь лошадь с виду, суха, поджара, как этот кларнет, а в работе, не приведи господи, змей!

Алеша накинулся на двусердечную лошадь и стал ее торговать. Фырков отнекивался: себе, дескать, надо, товар дорогой, редкий; да ты ее не видал, да понравится ли? Подметкин напал на Фыркова, гости поддержали Подметкина, и Фырков наконец продал двусердечную Алеше за тысячу рублей ассигнациями, заметив, что делает это единственно по дружеству, а не для чего другого прочего иного; а коли уже проговорился, потерпи за свой язык, а не обижай друга!

Деньги сейчас же были уплачены Фыркову, и я попала к нему в бумажник. Как следует, запили магарыч, и Подметкин предложил поиграть в отчаянную.

— И я буду играть,— сказал Алеша.

— Куда тебе, овечья душа, тягаться со мной!

— Какая ни есть душа, а все играть буду; что я, мальчик какой, что ли?

— Да ведь тебя жалею; погоди, поучись.

— Поди к черту! Играю, слышь, играю!

— Господа! — громко сказал Подметкин.— Прошу быть свидетелями: Алеша хочет играть против меня; мы играем не шутя: я проиграю — сейчас плачу, денег не хватит — венгерку долой, а разделаюсь, как честный и благородный человек. Он проиграет — сейчас плати, не хватит

чистогана — прошу ценить дом, сад, стулья, самовар — все, все принимаю в цене, как скажут благородные люди!

— Ладно, ладно! Известное дело! — заметили гости.

— Ладно! — сказал Алеша.— Садись, была не была! Дайте новых карт! А ты куда, Фырков?

— Сбегаю маленько на фатеру да приведу тебе двусердечную; коли деньги получил, так и тянет отдать товар; верьте совести.

— Да вертайся поскорее! Мы ее сюда приведем, пусть и она с нами кутнет!

— Очень хорошо-с; это наше дело!

— Только поскорее! — И Алеша запел:

Ваше дело — продать,
Наше дело — купить.

«Нет, брат, уж я не вернусь,— ворчал Фырков, выходя из сеней,— тут не добром кончится, тут пойдет такое, что дай бог не быть свидетелем: Алеша дурак, а Подметкин плут и разбойник, он его ограбит сегодня. А! Мое сорок одно почтение!»

Придя домой, Фырков застал у себя гостя в форменном сюртуке.

— А! Дорогой Фырков! — закричал гость навстречу Фыркову.— Где так запропастился? Я уж хотел было послать за тобой. Скука, братец, страшная!

— Так ли, ваше благородие Осип Михайлович?

— Страшно, братец, соскучился. Где ты был?

— Торговое дельце обделал.

— Верно, принадул кого, а? Признавайся.

— Нет, надуванции большой не случилось, а с барышком сбыл игренюю кобылу.

— Знаю, разбитую.

— Какая она разбитая! Опоена немного, а кобыла знаменитая.

— Полно меня дурачить! Сам пять лет покупаю и продаю лошадей; верно, взял целковых сотню?

— Побольше.

— Нет? Неужели четыреста? Ведь она тебе стоит восемьдесят рублей! Бога бойся!

— Поболее.

— Так пятьсот, что ли?

— Больше.

— Полно шутить! Говори сам цену, у меня язык не поворотится дать за нее больше.

— Да тысячу рублей господь помог взять.

— Врешь, брат; а коли не врешь, так тебе сам черт помогал или ты нашел прямого Емелю-дурака.

— С чертом мы, люди простые, не того, ваше благородие; мы и посты держим, и прочее, а помогли добрые приятели, да покупщик, признательно сказать, и дураковат маленечко и маленько *подгулямши*.

— Да врешь ты, архиплут!

— Вот и деньги.

— Молодец! — заметил Осип Михайлович.— За тобой магарыч. А между прочим, дай мне, любезный, денег.

— Вот это уж мне не по нутру, ваше благородие: торговля наша плоха, совсем нет денег.

— Ах ты, плут этакой! Надувает целый свет, в полках половина бракованых лошадей из его рук вышла, да еще прикидывается святошей, нищим.

— Бог с вами, Осип Михайлович, мы не нищие, за себя постоим; да ведь вашему брату денег давать опасновато: вы нас посильнее, захотите — отдадите, захотите — будете водить до смерти.

— Что ты, с ума сошел?

— Никак нет. Вот на графе Финфирлюке пропадает моих шесть тысяч; нужно было — кланялся; проиграл в карты деньги, а лошадей нет, казна требует; дал своих лошадей и взял расписку, а теперь с распиской два раза меня взашей протолкали. Благо бы не было, а то карета не карета, четверня не четверня! Без шампанского обедать не сядет, а скажи про долг — смеется. «Господа! — гово-

рит своим гостям.— Посмотрите на дурака: с меня долг получить хочет!» — «А долг не карточной?» — «Разумеется, нет». И гости хохочут вместе с графом, и граф тычет мне в глаза пальцами и кричит: «Смотрите, как у него вытягивается рожа!»

— Ну, вольно было выручать из беды графа Финфирлюка: он известен тем, что не платит долгов; а я, братец, другое дело; я, братец, сам коммерческий человек, твоего поля ягода.

— Так-с. Да коли правду сказать — извините, ваше благородие, я выпил сегодня маленько лишнего, так того, что у трезвого на уме — у пьяного на языке; извините-с за правду, а на нашем поле растут ягоды не того...

— Ха-ха-ха! Это, братец, в коммерции. Тут, конечно, нельзя действовать чистосердечно, и отца родного поприжмешь немного, хоть не для пользы, а для удовольствия, вперед для науки; а в делах приятельских честное слово благородного человека...

— Эх, ваше благородие! Знал я человека — извините, я маленько выпимши... эфтот человек все кричал про честь. Раз его товарищ наступил ему на ногу, он вызвал товарища, всадил ему пулю в шею и сам получил пулю в плечо; год не владел рукой, и все говорили: «Вот благородный человек: не позволил замарать своей чести». У меня была сестра, молоденькая девушка,— извините, Осип Михайлович, только и роду было; он увидел ее на ярмарке, соблазнил, увез в другую губернию и бросил... Через год пришла она домой с ребеночком на руках, бледная, худая, больная... Сохла, чахла, заговаривалась и через месяц умерла; ребенок тоже умер после нее через два дня — и никто не говорил об этом, а все помнили простреленное плечо и называли его честным человеком. Наступи опять ему кто на ногу, он снова станет стреляться за честь. Да есть ли она у него?.. Сгубил мою... Эх!..

Фырков склонился на стол, закрыл лицо руками, но меж-

ду его грубых пальцев пробивались и капали на стол крупные слезы.

— Полно, братец Фырков, былого не воротишь, себя только испортишь; вот и мне стало жалко, и я плачу...

— Извините, ваше благородие, мы люди простые, не ученые; выпил немного — вот и плачет хмель. Оно, конечно, и сестры жалко: одна была, словно синь порох в глазу.

Осип Михайлович был человек тонкий и удачно воспользовался печальной настроенностью Фыркова. Он сам начал грустить, вздыхать о суете мира, говорил о своей любви к известной уездной барышне, о своем безденежье, что мешает решительно действовать, и к концу вечера успел взять у Фыркова четыреста рублей ассигнациями с условием: через полгода заплатить пятьсот, и дал ему на пятьсот расписку, а Фырков обещал при получении угостить его благородие завтраком и приличными винами. Впрочем, на это он не дал расписки. Прощаясь, Осип Михайлович советовал Фыркову немедля отправить Алеше игренюю кобылу, да высечь ее хорошенько на дорогу и дать стакан водки для куражу.

— Об эфтом не беспокойтесь: мы ее подъеферим по-нашенски, угостим и перцем и инберцем; змей будет часа на два, хвост трубой, глаза нальются кровью — не беспокойтесь, ваше благородие! Не новички мы с вами!

И вот я попала опять в атласный бумажник, надушенный, раззолоченный, украшенный, вышитый по канве букетом незабудок, с надписью: Souvenir.

Назавтра мой новый хозяин умылся миндальным мылом, напомадился помадою à la violette [1], завился, намазал усики восточною ароматною мазью, напрыскался духами, долго стоял перед зеркалом, то вздыхал, то томно улыбался, то грациозно покручивал ус, наконец крикнул:

---

[1] Под фиалку (*фр.*).

«Подлец Егорка, тарантас!» — сел в тарантас и поехал на обед к своей невесте.

— Вы нас забыли, Осип Михайлович,— говорила хозяйка, пожилая дама в розовой наколке, жеманно приседая, когда Осип Михайлович почтительно целовал ее руку.

— Извините, кругом виноват, дела!

— Хороши дела, два дня глаз не казали; моя Полина совершенно загрустила.

— Сударыня, если по моей вине малейшее облако печали налетит на прекрасное чело Полины Александровны, я готов отдать за это мою жизнь, тысячу жизней!

— Вот она и сама. Пожури его, Полина, хорошенько; коли женихом дашь ему волю, так после свадьбы и к рукам не привадишь, а я пойду осмотрю кое-что по хозяйству.

Полина Александровна была какое-то полувоздушное создание, тоненькая, стройная, небольшого роста, в белом шелковом платье, опоясанном светло-голубым поясом, с легким газом, небрежно, фантастически накинутым на плечи и окружавшим ее шейку и кудрявую головку, словно прозрачным паром. Она казалась видением на нашей материальной планете. Лицо Полины Александровны было матовой белизны. На нем ярко горели черные глазки и рисовались темные собольи брови. Ее руки были белы и полупрозрачны; длинные, античной формы пальцы, окаймленные розовыми ногтями, немного загибались кверху. Голос ее был звучен, но ровен, спокоен, и нежил, и ласкал слух — словом, Полина Александровна была завидная невеста, и весь уезд говорил это, но по другим причинам: она была единственная дочь богатой помещицы, отличнейшей, примерной хозяйки и женщины хорошего тона в уезде.

Не знаю, по каким причинам, но Осип Михайлович глядел на нее с восторгом; его взгляд был самый упоительный, разве на один градус холоднее взгляда, каким он смотрел на себя в зеркало, когда совершенно окончил свой туалет.

— Вы нас забыли,— сказала Полина Александровна, слегка покраснев.

— Я? Я вас забыл! Скорее солнце забудет взойти на востоке! Скорее... Нет, извините, для этого нет сравнения.

— Полно, перестаньте, не обижайтесь, я сказала мою задушевную мысль: мне было скучно без вас.

— Вы без меня скучали? О, я счастливейший человек! Если б мне какой волшебник предложил звезду Наполеона в прежнем его величии или вашу кроткую звездочку, так отрадно светящую мне во мраке жизни, я бы далеко бросил звезду завоевателя с его тронами и царствами и преклонил бы колени пред вашей звездочкой...

— Ах, какой вы восторженный! Как приятно видеть человека с таким пламенным, бурным характером, если он кротко повинуется женщине! Тут, в этом торжестве, кроется высокая награда за все наши страдания в жизни.

— Помилуйте! Кто осмелится заставить страдать подобное существо? Кто? Покажите мне его, это чудовище! Покажите! Хотел бы я посмотреть на него... Нет, это мечта вашего воображения. Вам все поклоняются, перед вами все падает в прах... Если бы вы пошли в пустыни — и львы и тигры, опустя гривы, глядели бы на вас с почтением и лизали бы следы ног ваших на горячем песке Аравии! Вас все любят! Обожают...

— Положим, так; но вы веруете в поэзию?

— Всей душой, всеми помыслами.

— Так вы помните «Смерть розы»?

— «Смерть розы»?.. Да, помню. Это, кажется, где ветер клокочет у ног розы, а она умирает...

— Ах, нет! «Смерть розы» Бенедиктова. Помните песню ангела цветов над розой, которая только что распустилась? Чудная песня! А какое заключение:

Люди добрые голубят,
Любят пышный цвет полей —
Ах! Они ж тебя и сгубят!

Люди губят все, что любят,—
Так ведется у людей!..

И, проговоря эти стихи, Полина Александровна тихо склонила на плечо головку, словно роскошный цветок, истомленный негой знойного дня.

— Да, удивительные стихи! — сказал Осип Михайлович.— Я их спишу и выучу:

Люди губят все, что любят,—
Так ведется у людей!..

Ей-богу, святая истина! О чем вы задумались?

— Так, может быть, и меня сгубят те, которые любят...

— Полина! Друг моей души! Не говори таких жестоких речей: они огненными каплями падают мне на душу и пепелят бедное сердце... сердце крепкое, могучее, сердце мужчины, закаленное в бранных непогодах, стальное сердце, но любящее тебя!..

— Перестань, Жозеф! Я нехотя оскорбляю твою высокоблагородную душу... Помиримся! Руку!

Осип Михайлович с исступлением прижал к губам своим нежную ручку Полины Александровны.

— Как идет к тебе, Полина, этот газ!

— Право?

— Удивительно! Совершенно легкое облако спустилось с надзвездных стран, обвило твою шею и не хочет расстаться, не хочет улететь в родное небо: ему здесь лучше.

— Какой фантазер! А знаешь, я это изобрела сама; я вчера прочла стихи:

Как мила ее головка
В белом облаке чалмы,
Словно гурия пророка,
Словно гость нездешних стран...

Вот я и оделась сегодня, ожидая тебя, Жозеф, нарочно в белое и обвила шею воздушным газом. Думаю, заметит ли он? Он такой пламенный, поэтический...

— Еще бы не заметить! Сейчас видно влияние поэзии, хоть ты была бы хороша и в костюме лапландца! Правду Пушкин сказал:

А девушке в шестнадцать лет
Какая шапка не пристанет?

И долго еще так разговаривали они о поэзии и о цветах, о симпатии, о музыке. Раза два даже Полина Александровна подносила к глазам платок, чтоб скрыть слезы душевного восторга, и Осип Михайлович делал то же; но — странное дело! — мне казалось, они или смеются друг над другом, или дурачат друг друга, или играют комедию по выученным ролям, или, наконец, дурачит сам себя каждый особенно — словом, мне казалось, что горничная Лиза и Степан гораздо более любили друг друга, хоть и мало говорили, и говорили просто, не пламенно.

Пришла старуха, мать Полины Александровны, и прервала задушевный разговор жениха и невесты. Старая помещица была одета в малиновое бархатное платье, украшенное блестками и пуговицами; на голове новый чепчик с миллионом бантиков и роз, на пальцах обеих рук бесчисленное множество перстней всех видов, цветов и величин. Она ходила жеманно, кланялась еще жеманнее, говорила, растягивая речь, и как будто порой изнемогала под тяжестью фразы; любила мешать французские слова с русскими, хоть и не говорила по-французски. Странное дело! За что уезд называл ее тонной дамой? Впрочем, когда понаглядишься на некоторые уезды, легко поймешь, что на них можно подействовать не благородной простотой, не безыскусственностью, но искажением всего человеческого. Дайте им азиатскую пышность — они поклонятся вам, как татары, падут ниц перед вами, не рассуждая, не спрашивая, из каких источников вытекает эта золотая река? Откуда ложный свет и блеск, ослепляющий их недальновидные глаза? Покажите им силу — они поклонятся и силе, станут уважать ее, как в стаде

баранов уважают собраты силача-бойца, сбивающего всех с ног своей крепкой головой. Барыня рядится дома в бархатное платье — и они глядят на нее с почтением, рассуждая, пристало ли ей таскать дорогой бархат дома, бегая в кладовую и на кухню? Еще более: пристало ли в пятьдесят лет рядиться в малиновый цвет? И еще более: не подумают о том, что, может быть, за удовольствие томить и мучить ваши глаза целый день красным платьем безрассудная лишила десять человек необходимых зипунов или зимой теплых полушубков! Какое кому до этого дело? Старая барыня в красном бархатном платье, в ярком платье, в дорогом платье — ей и честь, и почет, и ропот невольного удивления!..

— Вы, я чай, вояжировали под седьмым небом,— сказала матушка, входя в комнату,— моя Полина такая мечтательная, воздушная!..

— Сударыня,— отвечал Осип Михайлович, очень ловко кланяясь,— зачем нам летать на далекое небо, когда оно у нас здесь? Даже Полина Александровна окружила себя облаком; недоставало только солнца; теперь и то явилось — и я совершенно счастлив!..

— Ах, какой вы комплиментист!

— Пусть язык мой обратится в пробку, если я говорю вам комплимент.

— Да я уж вас знаю! Я вот это все хлопотала, хочу вас накормить любимым кушаньем. Мой покойник, бывало, им объедается, и я тоже иногда люблю, знаете, пур ле бон буш!

— Что же это, смею спросить?

— Бараний бок с гречневою кашей — вещь препитательная и — доктор говорил — очень полезная в некоторых болезнях.

— Ах, маман! Можно ли Жозефа Михайловича угощать таким ужасным кушаньем!

— Как это мило; Жозеф Михайлович! Уж позвольте, и я вас так стану звать. Кто что ни говори, а французы образованнее нас. Простая вещь — Осип... извините меня,

по-русски оно выходит неблагозвучно, словно Осип — человек, а Жозеф — звучно! Отчего же мне не угостить Жозефа Михайловича боком с кашей? Тебе все бы безе да бланманже! Поживешь, пожуируешь, увидишь, что цветы хороши, а плоды, право, вкуснее: сколько не нюхай, а все захочется покушать.

— Вы говорите, как книга.

— Кушанье готово,— крикнул ливрейный лакей, вытянувшись, как солдат, у двери гостиной.

— Прошу покорно откушать хлеба-соли.

В столовой был накрыт стол на четыре прибора; четвертое место заняла какая-то приживалка, старая девушка, плоская, словно вырезанная из картона, сухая, желтая, будто высохший лимон.

Осип Михайлович сидел здесь целый день и уехал к полночи после ужина, а мне судьба назначила остаться у новых господ, недуманно-негаданно, да еще чуть не поплатилась жизнью. Справедливо говорят люди: «Где не чаешь ночевать, проведешь две ночи». Вот как это было. Вечером, когда все сидели за чаем, привезли из города с почты новые книги; книги, разумеется, были для Полины Александровны, и все, как следует, французские. Между ними была одна с портретом Жорж Занд; эта удивительная женщина представлена в странном костюме с сигаркою во рту. Сначала это поразило матушку Полины; Полине сразу понравилось. Долго рассуждали pro и contra и наконец согласились, что Жорж Занд — француженка, и еще славная писательница, и коли она курит, значит, курить можно и почти должно.

— Ах, как бы мне хотелось попробовать! — живо сказала Полина.

— Еще успеешь; поживешь — всего испытаешь.

— Нет, маман, мне бы сейчас хотелось.

— Экая быстрая, этакая импасиянс! Уж предупреждаю вас: предоброе дитя, а коли чего захочет — исполняй живо!

— Я могу сейчас удовлетворить ваше желание,— сказал Осип Михайлович,— со мной, как нарочно, есть настоящие гватемальские пахитосы; их все дамы курят в высшем кругу.

— Ах, давайте, давайте! Посмотрим, буду ли я похожа на Жорж Занда?

Полина Александровна схватила пахитос, раскинулась на кресле, взяла ее в свой хорошенький ротик и повелительно сказала:

— Огня!

Быстро вскочил Осип Михайлович со стула, выхватил меня из кармана и поднес к свечке. С ужасом увидела я, что обречена сожжению, съежилась, скорчилась, но враждебный огонь охватил один мой уголок, и жгучая боль разлилась по всему моему составу; уже огонь добирался до моей души — нумера (ведь известно, нумер — душа ассигнации), вдруг чужая рука быстро выхватила меня из рук Осипа Михайловича и загасила огонь, а между тем зазвучали речи старой барыни:

— Что вы делаете!

— Подаю огонь Полине Александровне.

— Помилуйте! Да ведь это ассигнация.

— Знаю.

— Как же это можно?

— Для Полины Александровны я готов зажечь сигару хоть моим сердцем, моей душою.

— Сердцем и душою вы вольны играть, как вздумаете, но ассигнации жечь для прихоти, это, извините, большое фоли! Нет, уж извините, я не допущу до этого, я лучше отдам вашу ассигнацию на богоугодное дело.

— Располагайте ею, как собственностью; вы ее спасли от смерти, она ваша, тем более, что человек успел предупредить меня и принес огня.

Старая барыня сложила меня и положила в свой ридикюль, где я улеглась между носовым платком, связкою ключей, обрезками какой-то материи, бутылочкой с одеко-

лоном и двумя пакетцами, одним с красным, а другим с белым порошком, да еще какою-то полупрозрачною, очень мягкою и глянцевитою кожкою, очень похожею на пузырь. Впоследствии я узнала, что моя хозяйка несколько раз в день вытирает ею свое лицо, посыпав немного кожку белым порошком; красный она употребляла редко, в самом малом количестве.

Когда уехал Осип Михайлович, в доме поднялась страшная возня. Старая барыня скинула чепчик и бархатное платье и надела ситцевый шлафрок, изорванный донельзя, а на голову какой-то платок странного, неопределенного цвета. Люди ходили по комнатам и гасили свечи; барыня ругала их, зачем подали много сливок к чаю, зачем нарезали много хлеба, зачем то, и другое, и третье было не так; одного обещала завтра отправить на конюшню, другого сейчас же туда отправила, кое-кого задела ридикюлем, кое-кого собственной рукой и всех похвалялась продать Подметкину, как продала, дескать, уже прежде десяток негодяев. В доме подняли крик, гам, плач, и старая барыня, словно опытный маэстро, поддерживала этот хор, управляла им самовластно и переходила из форте в фортиссимо. Наконец, кажется, она умаялась и вышла в комнату дочери. Полина Александровна в легком пеньюаре стояла у окошка со свечкой в руках и ощипывала сухие листочки с любимого гелиотропа.

— Ух, мошенники! Уморят меня! Никто слушать не хочет, никто не работает, придется живой лечь в могилу... А ты все возишься с цветами! Хотела бы я знать, какая от них польза? Даже удовольствия нет, такой мизерный цветочек, серенький, дробненький, ни на что не похож...

— Ах, маман! Это гелиотроп.

— А мне что за дело?

— Видите, он почти живой, он влюблен в солнце, и смотрит на него, и поворачивает за ним свои веточки. Как его не любить?

— Романы, матушка, романы. Когда ты поумнеешь,

все бы фантазии, все бы вот этакое! А дела не смыслишь. Хоть бы и сегодня: оделась, как горничная, я как на иголках сидела; вот, думаю, скажет человек: «Бесприданница»,— а он человек не простой, служит в кавалерии и по-французски так и режет, и прочее все другое! Благо, что втюрился, ничего не видит, словно глухой тетерев!

— Ах, маман! Он меня так любит пламенно.

— Вижу, вижу, до глупости, мать моя. Сегодня, например, вздумал раскурить ассигнацией сигарку! Что ни говори, а этот пассаж мне не по сердцу: какой он будет хозяин, коли так транжирит свое добро? Есть их у него много — припрячь: женится, пойдут дети — вот как покатятся денежки!

— Перестаньте, маман, мне совестно!

— Вот пустяки! От матери слушать совестно. Дело обыкновенное, краснеть нечего.

— Нет, маман, он будет хозяин — я знаю.

— А почему бы это?

— Потому что он все занимается оборотами: то купит, другое продаст, и все с барышом. Мне сказала Аксютка, а она узнала от денщика Жозефа, ей денщик все рассказал...

— Вот это речи! Вот теперь я узнаю в тебе свою родную дочь! Поцелуй меня, моя ненаглядная! Кто бы подумал, что она, такая молоденькая, все, кажется, смотрит в книжку да на цветочки, а могла узнать подноготную человека! Это необходимо, друг мой. Я много через это выиграла, что узнавала чрез людей: от людей ничего не скроется; умей только их допросить, кого ласковым словом, кого рюмочкой водки, кого, пожалуй, подарочком, а иногда, делать нечего при нужде, и полтинником или целковым...

— Вы меня, маман, не учите; я люблю Жозефа за его душу чистую, поэтическую, но более за основательный характер; он не промотает моего и своего состояния, а что он хотел зажечь ассигнацией сигару, это пустяки — у него их много, да и ассигнация была самая ничтожная.

Прошу покорно, эта девчонка так обо мне выразилась! Вот что значит быть безгласной!

— Ты ли это говоришь, дочь моя? Откуда такие умные речи? А я думала, она ребенок.

— Ошибались.

— Ошибалась, ошибалась! Ну, бог с тобой, святой ангел-хранитель и все святые! Эй, Дунька! Да посвети сюда, подлая тварь, вот я тебя!

Старуха ушла, ругая девку, и, наконец, прочтя множество молитв, перемешанных разными посторонними возгласами, касавшимися завтрашнего обеда, работ и сегодняшних необходимостей, улеглась в постель.

Назавтра случился праздник. Приехали гости. Опять старая барыня оделась в богатое шелковое платье и бархатную мантилью, а на голову нацепила с полпуда стеклярүса — и в нитках, и в звездах, и в кисточках, опускавшихся на самые плечи. В гости приехала помещица, ближняя соседка, страшная сплетница; с нею муж ее, отъявленный... не знаю, как назвать человека, который вечно улыбается, со всеми соглашается и всему поддакивает. Эта чета привезла с собой весь свой наличный приплод: старшего сына, долговязого мальчика лет пятнадцати, дочку, девочку лет двенадцати, с огромным ртом и большими красными руками, еще другую дочку, поменьше и покрасивее, еще сынка, неопрятного мальчишку лет пяти, у которого беспрестанно матушка спрашивала: «Сеня, где твой носовой платок?» И, наконец, годовалого ребенка, зло и громко кричавшего целый день на руках у мамки — здоровой бабы в сарафане.

Соседка сплетничала, сосед поддакивал и изгибался перед старухой, старшая дочь играла на фортепьяно Полине Александровне какую-то песню, кажется, «По всей деревне Катенька красавицей слыла», ошибалась, сбивалась, путалась и опять начинала сначала. А между тем сыновья рыскали по всему дому: меньший лазил по столам и стульям, оборвал две шторы и разбил зеркало,

за что старая барыня, верно, в душе прокляла его, но из приличия сказала: «Это пустяки, душенька!» — и когда мальчик разревелся, то и сама мать повторила ему: «Это пустяки, тебе ведь сказали, что пустяки: не печалься, нездорово плакать»; а старший между тем забрался в спальню хозяйки и перешарил там все уголки, нашел ридикюль, висевший там на стуле, пересмотрел все вещи, попробовал на язык порошки, и белый и красный, потом взял меня в руки, оглянулся и преспокойно положил к себе в карман.

Подобный способ приобретения ассигнаций мне довелось увидеть в первый раз в жизни, и он мне показался очень удобным, простым, тихим и приятным. Но, боже мой, в какое общество попала я! В кармане у моего нового хозяина лежала какая-то книжечка, завернутая в бумагу, кусок мелу и перочинный ножик, гадкий, шероховатый, пахнувший луком.

Мы уехали из гостей довольно рано. Сосед торопился поспеть домой засветло, чтоб отправить сына в город; он, видите, учился там в каком-то пансионе и должен был явиться завтра в классы, рискуя за неявку просидеть без отпуска целый месяц. От деревни, куда мы приехали, город был очень близко. Матушка напоила чаем долговязого сынка, накормила ужином и, снабдив его корзиной пирожков и всякой всячины, отправила в город. Когда мой хозяин явился в пансион, то уже все ложились спать. Содержатель немного было наморщился, но мой недоросль сказал ему:

— Папенька и маменька свидетельствуют вам почтение и прислали бутылку наливки,— его лицо разгладилось, и, улыбаясь, он отвечал:

— К чему это? Зачем беспокоились! Где же вы дели бутылку?

— Отдал швейцару.

— Напрасно; было прямо принесть ко мне; впрочем, я пошлю сейчас к швейцару. Ложитесь спать.

— Экой черт! — ворчал мой недоросль, когда ушел содержатель.— На него никогда не угодишь; а скажи я: принес, мол, к вам, сказал бы: зачем не оставил у швейцара?

Наутро поднялась суматоха: кто одевался, кто против зеркала строил рожи, приучаясь корчить больного, кто громко повторял уроки, и вот все гурьбой ушли в коридор и рассеялись по классам. Я лежала в кармане со вчерашними своими товарищами — мелом и книжечкой. Когда уселись по скамьям, мой хозяин вынул меня из кармана и показывал своим соседям. Тут я успела сделать кое-какие замечания, пока меня сдавали с рук на руки. В классе было несколько скамеек; они стояли в четыре ряда; на первой сидели мальчики поменьше и, как кажется, поприлежнее, а на самой последней помещались старички, большие, высокие недоросли. Здесь они занимались всем, кроме науки: один рисовал карикатуру, другой вязал цепочку, третий клеил под скамейкой из картона домик, четвертый с пятым играл в крестики на пироги будущего обеда, а один, самый жирный, забился в скамью, словно в гроб, положил под голову вместо подушки избитую в пух «Историю» Кайданова и спал богатырским сном, не боясь свирепых народов, ратующих на страницах его изголовья.

Казалось, эта скамейка была рассадником будущих подметкиных: все они глядели исподлобья, все говорили насильственным басом.

— Не перекинуть ли нам направо, налево, а? — спрашивал клеивший домик, оставя на время свою работу.

— На синенькую, что ли? — сказал мой хозяин.

— Известно.

— И мы примажемся,— заметило несколько голосов.

— Идет; погодите только, пока придет иностранец, мучитель, вот мы и время скоротаем.

— Хорошо говорить, а картишки-то где?

— Я человек запасливый, вот они.

И мой хозяин вынул из кармана маленькую книжечку,

завернутую в бумагу, развернул бумагу — и я с изумлением увидела, что это была не книжечка, а колода карт; но вошел учитель — и все присмирели. Некоторые в первых рядах поздравили учителя с новой жилеткой; он отвечал едва понятно по-русски, что не советует мешаться в его туалет, а заниматься своим, но это была только фраза; самодовольный взгляд, брошенный им на жилет, показывал, как его самого занимала обновка и как ему приятно замечание и поздравление слушателей. После этого он сел на кафедру и однообразно начал спрягать какой-то иностранный глагол; казалось, в лице педагога сидела сама олицетворенная скука. Учитель спрягал все далее, некоторые из передовых слушателей, увлеченные снотворным обаянием, дремали, а на последней закипела сильная игра. Моему самолюбию было приятно, что обо мне спорили, как во время оно о прекрасной Елене. Наконец спор и игра сделались до того живы, что обратили на себя внимание хладнокровного спрягателя глагола, а игравшие до того занялись мною, что не заметили, как учитель встал с кафедры, подошел к последней скамейке и быстро схватил меня рукою, как ястреб хватает в поле слабого, беззащитного жаворонка. Мой хозяин начал было объявлять свои права, говорил, что ассигнация дана ему на бумагу, карандаши и прочее.

— Но не для игры,— сказал хладнокровно учитель, садясь опять на свое место и продолжая спрягать будущее время глагола.

«Во всяком случае, против воды плыть трудно»,— поворчал мой бывший хозяин, поворчали его товарищи, но вскоре их ворчанье утонуло, исчезло в однообразном голосе ментора, спрягавшего себе далее, а я осталась в ученом кармане.

Бывала я в сундуке скупца, в ящике целовальника, в разных бумажниках и карманах, но нигде мне не случалось испытывать такой страшной, безотрадной, отчаянной темноты, как в кармане просветителя юношества. Не знаю,

из чего сшит был этот карман, но он не пропускал ни малейшего луча света; мало этого, даже сторонние речи почти в нем не были слышны... Я думала, что умру с тоски, лежа в этом темном кармане.

Окончив лекцию, педагог вышел, сопровождаемый шиканьем, свистом и разными возгласами, которых смысла, благодаря карману учителя, я не разобрала; он и сам, казалось, не обращал на это никакого внимания и шел ровным, тихим шагом. На улице кто-то остановил его и начал чего-то требовать. Педагог отнекивался, спорил, наконец, вошел в какой-то дом и, вздыхая, вынул меня на свет божий. Это была мастерская сапожника-немца.

— Ну сколько вам нужно за подметки?

— Два с полтиной.

— Как два с полтиной? За пару подметок.

— За две пары: одна недавно, месяца четыре, а другая еще в прошлом году; за две выходит два с полтиной.

— Будто я вам не заплатил в прошлом году?

Немец обиделся, но взял меня, дал два с полтиной сдачи, и педагог вышел ворча:

— Глупая сторона! Одних сапогов износил на все жалованье, а награды, хоть умри, не ожидай!

— Лотхен! — кричал сапожник своей жене, разумеется, по-немецки.— Ведь я с этого ученого дурака получил деньги, неожиданно получил: другой год за подметки не платил; хоть и не русский, а нехороший он человек. Теперь можешь купить сынишке за пятак сладкий пирожок; деньги ведь будто с неба свалились.

Лотхен взяла меня и, напевая арию из какой-то оперы, положила в шкатулку, сильно пахнувшую мускатным орехом.

Собрав нас несколько сотен, немец положил в пакет вместе с письмом и отправил по почте к еврею Шмулю, куда-то далеко. В письме была написана благодарность Шмулю за хороший товар и требование еще такого товара; особливо опойки очень понравились немцу, и их легко

можно сбывать за английские, только духу английского не имеют, а для этого советовал взять кислое яблоко, изрезать его ломтями и соленую селедку тоже изрубить, перемешать все вместе и, обернув тонкою холстиной, положить на ночь в тюк опойков — тогда они будут пахнуть английскими; извинялся, что затрудняет его, благоприятеля Шмуля, подобною просьбой, но ему, дескать, самому немцу, невозможно сделать этой операции: сейчас работники увидят и разблаговестят. «А от вас я получу опойки хорошие и с хорошим запахом, английским, то и объявлю всем, что получил через вас прямо из Англии на Радзивилловскую таможню — и расход будет лучший, и выгоды больше мне и вам тоже; я ведь честный человек, чужим пользоваться даром не хочу — заплачу вам и за яблоки, и за селедки, и за труд, хоть труда тут и немного».

Я приехала к Шмулю в самый разгар шабаша. У Шмуля было много гостей — и свои родичи, и проезжие купцы из Бердичева и Брод. В обширной комнате богатой корчмы стоял длинный стол, покрытый ковром, а сверху белым полотном; кругом скамьи, тоже покрытые коврами; на столе возвышались два подсвечника медные, старинной работы — высокие, разветвленные на бесчисленное множество трубочек; в каждую трубочку была вставлена тоненькая сальная свечка, известная даже в продаже под именем шабашковых. Эти два подсвечника очень походили на два великолепные горящие дерева; кроме того, на столе еще стояло с десяток обыкновенных подсвечников со свечами; к стенам во многих местах были приколочены жестяные канделябры; в них тоже горели шабашковые свечки,— словом, большая комната была залита светом и имела характер самый праздничный.

Евреи долго молились, привязав каждый себе на лоб четвероугольный кожаный ящичек,— ковчег завета, и накинув на плечи легкий широкий *фелем* — белое шерстяное покрывало, вроде риз, обшитое синей каймой. Потом завопили страшно, исступленно, скинули свои молитвен-

ные одежды, вымыли руки и, надев шапки, сели за стол на скамейки. Рохля, жена старого Шмуля, украшенная золотом и жемчугом, сама принесла щупака, т. е. щуку. Эта щука была приготовлена по-еврейски: ее положили в горшок, прибавили туда масла, луку, перцу и разных пряностей, потом покрыли горшок крышкой, замазали тестом все поры и поставили в печь. Тут она варилась в масле, в соку из луку и в собственном своем соку. Евреи считают щуку, изготовленную таким образом, лучшим произведением кухни и встретили ее изъявлением общего восторга.

Тут я увидела, что попала не в русское общество. Славянская натура выразила бы свой восторг шумно, громко; славяне приветствовали бы щуку криком; напротив, евреи молчали, изредка кто-нибудь щелкнул языком или пальцами. Но надобно было видеть, как просветлели лица их, как захлопали веки глаз, поднялись брови и подергивались уголки рта. Восторг был неописанный: кушанье было всем по нутру, а все ели его понемногу, осторожно, наслаждаясь самым малым кусочком более, нежели иной простой человек объедаясь до смерти. За щукой следовал ряд кушаньев более или менее оригинальных: здесь была и морковь с гусиным салом (цымес), и лапша с перцем, яйцами и маслом (гугель), и разные опресноки, и какие-то печеные яйца с чесноком. В заключение подали варенье: в меду вареную свеклу с перцем и корицей и в меду же вареную редьку тоже с разными пряностями. Все это запивали разными настойками, очень пряными и расслащенными медом и сахаром; настойки пили из маленьких рюмочек, и то никто не наливал себе более половины рюмки, а многие едва наливали на донышко, быстро выпивали и потом долго с расстановкой щелкали языком. Правда, зато маленькие рюмки наливались очень часто.

Когда ужин — он же и обед — кончился и гости развеселились, хозяин прочитал благодарственную молитву и затянул маиофис; гости подхватили; составился довольно

дикий хор, впрочем, имевший свою гармонию. Я полагаю, не так в нем странна музыка, как звуки речей, потому что маиофис — торжественная еврейская песня, песня духовная, и писана на языке древнееврейском. Во время самого торжественного возгласа певших вбежал в комнату молодой еврей.

Маиофис остановился. Молодой еврей спросил:

— Кто здесь хозяин Шмуль?

— Ну, я Шмуль, я самый.

— Вот это письмо от кагального Лейбы Пацынского из П*, наказывал ехать к тебе поскорее, дело нужное.

— Теперь праздник кончился, письмо взять и прочитать можно. Садись отдохни, ты устал, шел долго, хоть в шабаш нужно избегать путешествий. Ну, коли дело срочное, с молитвою можно.

— Я не шел... я ехал...

— Ай вей! Ехал, в шабаш ехал!.. И ты цел остался?

— Мне было легче ехать, нежели идти, да и не поспел бы — дело важное.

— Оно так, ехать легче; ну заупрямься твоя лошадь или пристань, ты бы сломил ветку с дерева подгонять ее и осквернил бы субботу: грех страшный тяготел над тобой! Ты избежал его? Говори, сын мой, говори, как хосету.

— Избежал. На дороге мужик починивал мост, оступился и полетел в реку; кругом никого не было, а я ехал по мосту, гляжу: мужик вынырнул из воды и схватился за сваю, но свая мокрая, скользкая, трудно держаться за нее. Вот он и кричит мне: «Возьми на мосту веревку да брось мне!» Я было и руки протянул, поддался лукавому, да вспомнил субботу и поскакал прочь.

— Слава Адонаи! Ну посмотрим, какое здесь дело. А ты перекуси с дороги.

Молодой еврей начал есть, а Шмуль углубился в письмо. Чем более читал он, тем более лицо его прояснялось, даже улыбка явилась на тонких губах его.

— Не оставляет господь,— сказал Шмуль, складывая письмо.

— А что? — спросил один из гостей, бродский еврей Гершко.

— А то, любезный Гершко, что нам бог дает хлеб в руки. «От хлеба хлеб, хлеб хлебов твоих»,— как говорится в старых книгах.

— Будет торговая операция?

— Уж есть, да еще какая! В Белоруссии неурожай, пишут мне, в Витебске пуд ржи рубль серебра, а здесь — полтина меди, значит, дешевле всемеро. От нас ходят байдаки к Днепру вверх до Шклова — понимаешь? От Шклова до Орши будет верст сорок, и дорога хорошая, нет песков, только небольшие горки, а от Орши семьдесят шесть верст до Витебска, все шоссе, вот оно что! У нас хлеб полтина медью, да судовщики берут до Шклова за провоз сорок копеек с пуда — вот девяносто копеек, а продадим за три с полтиной!

— Славная операция! Не помешали бы вам.

— Кто нам помешает? Ну кто? Вот в письме мне пишут из кагала приказ закупать везде муку и доставлять на пристань, а на пристани все суда уже закуплены нашим обществом; кто хочешь — привози хлеб, все суда наши, нам же продаст себе в убыток!

— А здешние паны?

— Паны? Гм! Видно, Гершко, что ты приехал издалека! Какие тут паны? Тут мы паны. Тот пан, кому кланяются, а паны нам кланяются. У любого пана не найдешь ста рублей лишних в кармане, все живут в долг: что получит, расплатится — и опять сидит без гроша. Какие это паны? Они только хвастают да важничают. Граф накормит соседа обедом, а сосед, бедный человек, зовет графа не на простой хлеб-соль, что бог послал, а хочет угостить его лучше графского, а денег нет! «Шмуль, голубчик! Такой-сякой, дай денег на шампанское...» И запродает пан Шмулю все, что ни есть, хлеб на корню запродает и угостит графа, а после

хлеба нет, опять до Шмуля: «Дай хлеба: люди с голоду пухнут». Какие это паны? Им стыдно подать дешевое вино, а не стыдно кланяться Шмулю! А Шмуль все-таки еврей, простой человек, бедный человек.

— Так; да ведь они помещики.

— Ай, Гершко! Какие они помещики! Мы помещики! Спроси: знает ли один из сотни... мало, из тысячи, знает ли своих мужиков? А я знаю, я знаю, кто хорош, кто худ, кто честный человек, а кто мошенник, кто богат, кто беден — все я знаю, а ему некогда, пану, некогда: он с утра до ночи, с вечера до свету играет в карты, не то в самую рабочую пору запряжет шестерик и сам сядет в карету с семьей, а другой четверик везет постель да девок, и едет в гости на неделю, на две, на месяц едет; гуляет себе, а приказчик делает, что хочет... Бедный работает, ему нечем откупиться, богатый не работает... Прилетела буря, прилетел град, прилетели журавли, выбили всю ниву — ее скорей и скосят, был бы счет скирдам, было бы чем похвастать, а пришла зима — сорок или пятьдесят человек целый день молотят скирду; перемолотили — вышла четверть хлеба. А стоит ли четверть сорока рабочих? Придется опять кланяться Шмулю: «Дай хлеба...» Какие они помещики? Подняла казна цену на водку, хотела им сделать добро — стали подрывать друг друга, пошли жалобы, доносы; где было доходу тысяча рублей, и ста не стало; нам поклонились — мы взяли шинки и живем, хваля бога! Отчего же это? Оттого, что мы умеем жить, а они не умеют; им или на рубль давай десять, или все пропадай. Стала платиться дорого тонкая овечья шерсть — все завели овец, друг перед другом хлопотали, завидовали друг другу и развели овец видимо-невидимо! Шерсть упала, а денег надобно; навезли на ярмарку шерсти видимо-невидимо, а московские фабриканты сговорились и дают за шерсть пятидесятирублевую десять рублей за пуд. Паны сговорились не продавать дешево: Москве надо шерсти — заплатят дороже, и целый день держались; а назавтра глядим, один уже спустил

пятьсот пудов по три целковых: «Проигрался,— говорит,— ночью в карты, платить нужно!» И пошли все отдавать шерсть почти задаром. Сено продать, что съели овцы на пуд шерсти, так дороже выйдет трех целковых! А капитал? А проценты? А работники? Ах вей, какая глупая продажа, а состоялась! Московские фабриканты нажили копейку — умный народ, умеют вести себя, умеют выдержать, не топят друг друга... Наши паны были хорошие господа на службе, получали из казны жалованье и жили; а вышли в отставку — ничего не знают, ничему не учились такому... Наш брат учится коммерции с малых лет, ее знает, а он ничего не знает — ему стыдно посмотреть, как рожь растет, и сына так учит: на всяких языках у него сын говорит, всякие звезды считает, а прихода с расходом не сведет; а коли примется за экономию — смех берет! Недавно один посылал в город продавать полову; десять мешков повезло два человека за двадцать верст; поехали утром, вернулись вечером и продали полову по четыре копейки мешок и привезли сорок копеек медью! И весь уезд кричал: «Вот хозяин, ничто у него не пропадет!» А не спросили, что стоит подвода и два работника в самое горячее время, в жатву? Таковы все они. Нашего брата порой прижмет за пятак, а тысячу спустит с рук! Какие они паны! Ой вей, Гершко, мы паны! Восхвалим господа.

Шмуль начал читать молитву, Гершко вторил ему; шабашковые свечи догорели и начали погасать, дымясь и наполняя корчму нестерпимым угаром. И все улеглись; только долго еще Шмуль не спал в своей конурке и бойко стучал счетами, вероятно, высчитывая барыши от хлебной операции.

Отправив обратно молодого еврея, Шмуль дал ему на путевые издержки пять рублей; жребий пал на меня, и я, волею-неволею, полезла в кожаный бумажник, висевший на груди еврея, и поехала. Мой новый хозяин был очень расчетлив: из дому запасся краюхой хлеба и несколькими луковицами, чем и питался всю дорогу, а лошадь попа-

сывал везде, где только росла на дороге травка, поил, разумеется бесплатно, во всех речках и прудах. Приехав домой, он приобщил меня к своему капиталу, который, правду сказать, был невелик — состоял из нескольких мелких ассигнаций, небольшой кучки серебра и рублей двух-трех медной монеты,— но беспрестанно был в обороте. Видите, еврей содержал у какого-то пана на аренде шинок и обязался продавать водку пять рублей двадцать пять копеек ассигнациями за ведро на законном основании, а сам покупал с завода рубль двадцать копеек за ведро. Мужики, привыкшие к дешевой водке, беспрестанно приходили и с ужасом слышали, что кварта стоит пятиалтынный.

— Нельзя ли меньше, а?

— Нельзя.

— Уступи, сделай милость! Это ведь ни на что не похоже.

— Нельзя, не моя воля. Мне бы выгодно продать тебе и за пятнадцать копеек кварту, да нельзя — судить будут.

— Вот напасть! — ворчал мужик.— Денег нет, а вот так и тянет.

— Ну, слушай! А много у тебя денег?

— Пятачок серебра только и есть.

— Ну, ничего, как-нибудь сделаемся, давай сюда пятачок, а гривенник я дам тебе взаймы.

— Да как же ты мне даешь? Я не здешнего села, человек приезжий, когда я тебе отдам?

— Отдашь, право, отдашь, я по глазам вижу, что ты за человек: ты хороший человек. На, возьми гривенник, приложи свой пятачок и бери у меня кварту водки.

— Ну, давай, давай! — говорил мужик смеясь.— Вот чудесный жид! И денег сам дает.

Так беспрестанно пускал в оборот свой капитал мой хозяин, и водка у него расходилась быстро — в неделю выходило более бочки. Между тем за рекой, на той же дороге, стоял шинок панский; в нем продавал водку свой

мужик по той же цене: по пятиалтынному кварту; у него не расходилось ведра в месяц.

— Не продает ли жид дешевле? — спрашивал заречный пан и даже посылал фискалов.

— Нет,— отвечали все в один голос.

— Ну, так он колдун.

И спустя несколько недель пан отдал свой шинок брату моего хозяина почти за бесценок.

От еврея, не знаю как, я попала в руки отставного инвалида, который сам тер и продавал нюхательный табак, [не] обыкновенный христианский с золой, а забористый с мелким стеклом; при продаже он много молол всякого вздору и называл свой табак французским табачком сам-пан-тре, чему очень смеялись многие уездные франты. Около года, если не более, я ходила все по одной округе, перебывала в разных руках и от скуки делала общие замечания о целой стране, оставляя без внимания лица. Когда-нибудь я расскажу вам эти справедливые замечания,— они слишком обширны и слишком важны, чтоб говорить о них в легком рассказе. Знаю, что наживу себе кучу врагов, знаю пословицу, что правда глаза колет, а моя правда будет горька... возопиют на меня, заругают. А что из этого? Что могут они сделать мне, бедной мелкой ассигнации? Я же, благодаря судьбу, теперь убралась из этой стороны в столицу и, может быть, стану кочевать по кондитерским, театрам, циркам и другим увеселительным заведениям... А если бы кто-нибудь из них и поймал меня, разве сожжет? Да нет, не сожжет,— там денег мало, я что-нибудь да значу в их стороне... А если б и сжег? Ну, сгорю; я уж пожила довольно на свете, зла наделала много, а добра очень мало; так расскажу все их проделки, всю их подноготную. Слово не воробей, вылетит — не поймаешь; живое слово живет на земле и не умирает; пусть же оно обличительно карает, их нечего жалеть, они никого не жалеют. Я расскажу и про их гостеприимство, и про их простосердечие, и про их страшные суды... Все расска-

жу, погодите немного! Пускай полетит оно, вольное слово, и зловещим вороном закаркает над грешною головой, ночной птицей усядется на кровле неправедных и страшных, укорительным воплем разбудит притеснителя и взяточника! Этот вопль напомнит ему вопли вдов и сирот, неправедно им ограбленных. Пусть проснется в нем совесть на пять секунд, пусть хоть животный испуг потрясет этого человека — и я буду счастлива... Я сделаю что-нибудь для человечества, которое меня жало, терзало, комкало, пачкало и чуть не сожгло по своей прихоти!

Наконец я опять попала в руки Осипа Михайловича и всилу узнала его — так в короткое время он переменился. Он уже год как женился, вышел в отставку и жил в деревне Полины Александровны. И платье его очень переменило, да и растолстел он непомерно, а Полина Александровна растолстела более мужа. Она не пошла по покойной матушке (матушка ее скоропостижно умерла), не ходила дома в бархатных платьях, зато целый день проводила в темненьком ситцевом халате и по неделям не чесалась. Она хоть имела уже дитя, но не занималась им вовсе и, сдав на руки кормилице, считала свои расчеты с ребенком совершенно конченными. Зато она занималась с утра до ночи хозяйством,— в этом наследовала способности матушки,— дралась и ругалась беспрестанно с девками, через день меняла горничных, отправляя их на кирпичный завод и в другие тяжелые работы, особливо если замечала, что барин на которую-нибудь пристально посматривает; сама принимала и записывала пряжу, а иногда целое утро проводила, пропуская сквозь дощечку куриные яйца.

Эта операция до того оригинальна, что я расскажу вам о ней подробно. Полина Александровна в числе разных поборов обложила своих крестьянок данью, состоявшею из кур и яиц; живые куры принимались на вес,

а яйца брала барыня только те, которые не проходили в меру, эта мера была дощечка с прорезанною в ней круглой дырочкой, в которую крупное яйцо не проходило, а чуть поменьше сейчас проваливалось. Посредством этого инструмента барыня получала самые крупные яйца; и горе крестьянке, у которой была курица мелкой породы и ее яйца проваливались сквозь мерку! Ей приходилось покупать яйца! Об этом хозяйственном улучшении заговорил весь уезд, и многие хозяйки приняли к сведению.

Между мужем и женой о поэзии и помину не было. Я, пролежав у них в бумажнике более месяца, не слышала ни одного стиха, не слышала ничего тоже и о гелиотропе, хоть частенько толковали о табаке и луке.

— Что ты, Полина, такая невеселая? — спрашивал муж у жены.

— Ах, Жозеф! Есть отчего быть веселой! Нас кругом обижают; ты бы отдал Тришку в солдаты.

— Помилуй, матушка! Он мой, я его знал с детства, он отличный слуга.

— Знаю, что твой; будь мой, я бы тебя не спрашивала — сама бы отдала; такой гадкий: все с моей Дунькой заигрывает.

— Эка беда!

— А как же? Вы думаете, я в моем доме позволю завести всякие амуры!

— Этого отдашь — другой станет делать то же.

— Нет, не станет; разве ты не помнишь — когда ты сватался, у маменьки пропала пятирублевая ассигнация из ридикюля. Вот сказали, верно, взял буфетчик Федька; отдали Федьку в солдаты, и вот с тех пор как рукой сняло — никто ничего не крадет; это значит острастку задать.

— Нет, уж как хочешь, а я Тришку жалею: он мне нужен для оборотов.

— Ну, так я Дуньке покажу, что значит хорошее поведение.

Супруг замолчал.

— Что ты дуешься, Жозеф? Дуньки жаль?

— Пропади она! У меня в голове другое дело: завод винокуренный совсем испортился, нейдет, да и только!

— Отчего же?

— А я почему знаю? Разве я винокур? Уж я винокура и постращал и наказал, а все не помогло. Послал вчера с вечера за ученым винокуром в княжескую деревню; обещал приехать к обеду. Вот уже вечер, а его нет!

— Винокур приехал! — запыхаясь, сказал, вбежав в комнату, босоногий мальчик.

— Легок на помине, легок! Иду, иду, братец! Просить его прямо на завод; а ты, Полина, приготовь нам чаю, даже и рому не худо подать... Знаешь, человек нужный; угостишь хорошо — возьмет дешевле.

— И со спиртом выпьет. Для всякого мужика не припасешь рому!

— Ах, Полиночка, ведь он хоть мужик, да иностранный, да и нужный человек. Припаси же, мой арбузик... с ромком...

— Ступай, ступай!

Осип Михайлович застал на заводе мастера-винокура в сером пальто и круглой шляпе из китового уса. Он был из числа тех космополитов-иностранцев, которые сами не знают своей родины и своей нации, которые говорят на всех европейских языках не лучше, нежели по-русски, а по-русски говорят очень худо. Осип Михайлович вежливо раскланялся перед винокуром; винокур молча приподнял свою шляпу и подал руку Осипу Михайловичу; Осип Михайлович с чувством пожал ее, и оба пошли ходить по заводу. Осмотрев завод, винокур объявил, что поправить дело можно, что порча заключается в дрожжах и что он останется здесь на сутки и исправит завод совершенно, если дадут ему пятьдесят рублей.

— Помилуйте, почтеннейший, как можно! За что тут?

— За труд.

— Какой тут труд?
— Поправьте сами.
— Нет, вот вы уже и рассердились; я только говорю, что это будет дорого.
— Это будет дешево; каждый испорченный затер стоит вам вдвое дороже.
— Это так; но, однако, знаете, стало к вечеру холодновато, сыро; не угодно ли вам напиться чаю?
— Угодно.
И Осип Михайлович и жена его сильно ухаживали за винокуром, в надежде сделать из него приятеля и исправить завод на приятельском основании за четверть овса или за десять фунтов масла; но винокур был обстрелян: пил, много пил, и все с ромом, начал заговариваться и не уступал ни гроша; пятьдесят рублей все сидели у него на языке; наконец решительно упился и, всилу выходя из комнаты, проговорил:
— Если пятьдесят рублей — останусь, исправлю; нет — еду с солнцем, прежде солнца, не стану его ждать, у меня свои лошади...
— Экой мошенник! — говорил Осип Михайлович, проводя винокура.— Нарезался, нализался, как сапожник, разорил меня на бутылку рома, а все стоит на своем!
— Я тебе говорила,— заметила Полина Александровна,— ты никогда меня не слушаешь...
— Ничего. Правда, расход неожиданный, но мы поправимся; на неожиданный расход нужно только отыскать неожиданный источник дохода — вот и дело в шляпе.
— Ну, так ищи. Мне скоро нужны будут деньги: у генеральши в будущем месяце бал, а к балу необходимо сшить по крайней мере четыре платья.
— Как, матушка, разве ты намерена прожить там четыре дня?
— Боже сохрани! Да я умерла бы со скуки. Это на один день: утром явишься в одном платье, к завтраку в другом, к обеду в третьем, а вечером в четвертом; а если останемся

на другой день, так еще нужно новые четыре платья: назавтра нельзя надеть тех, что были сегодня,— осмеют. Я не горничная какая, чтоб ходить вечно в одном платье...

— И не королева, кажется, чтоб всякий день надевать новое.

— Не королева, а так ведется, нельзя отстать от людей. Мне, как на нож, не хочется ехать, а поеду; не то скажут, ты меня не пускаешь.

— Поедем, коли нужно. А у меня уж есть на примете и небольшой источник. Вот видишь, когда я был в городе и зашел к парикмахеру-немцу купить для тебя локоны, а тут стоит баба и держит в руке косу, черную да пребольшую; я спросил: «Что это?» А она сказала: «Косу свою принесла продать».— «Разве покупают?» — «Покупают». Тут вышел хозяин и сразу заплатил за косу два целковых.

— Два целковых?!

— Да, штука — два целковых. Я к немцу с расспросом, он мне и сказал, что покупает волосы хорошего цвета и доброты, что себе, для обихода, а что отправляют в Москву. Там хоть сто пудов купят.

— Ах, ты умница, Жозеф! Да я перестригу всех девок и баб.

— Погоди, Полиночка-матушка, не горячись! Это дело нужно сделать умненько. Теперь черт знает что завелось, особливо между столичными, да и сюда залетает; все бредят филантропией, нищих хотят накормить, одеть в атлас и пустить в галопад; все такие, знаешь, человеколюбивые взгляды — должно быть осторожну...

— Разве я не барыня?

— Оно так, да поверь мне: осторожность не мешает. Например, можно покупать волоса́ по вольным ценам, назначить таксу хоть по гривеннику, даже по пятиалтынному за косу, а так стричь не советую.

— Да ведь иная и за сто рублей не согласится обрезать косу.

— Это предрассудок; а все-таки получит за нее пятиалтынный, и после сама станет смеяться над своим предрассудком.

— Хорошо, так я завтра же объявлю цену и свою волю.

Поутру объявили винокуру, что ему заплатят пятьдесят рублей; винокур кивнул головой и пошел на завод. Целый день возился он на заводе, и Осип Михайлович не отступал от него ни на шаг; даже там они вместе и обедали. За обедом Осип Михайлович как-то невзначай заметил, что у винокура хорошая таратайка, и легкая, и на небольших рессорах, и покрыта прочным лаком. Винокур отвечал, что ее делали мастеровые князя по образцу петербургскому и что коли она ему нравится, то может купить; что он все продает; что у него нет ничего заветного.

— Купить — много денег нужно, а менять — на что хотите я променяю,— отвечал Осип Михайлович,— хоть, например, на мой походный тарантас. Разумеется, я человек честный и вас надувать не стану; не стану уверять, что он первой молодости, но прочный, доброезжий тарантас; впрочем, я вам могу придачи дать, я не хочу вас обидеть.

— Хорошо. Мне бы хотелось еще достать лошадь.

— Извольте, мой почтеннейший, лошадку вам доставлю отличную, любую; выбирайте из конюшни, кроме моей верховой.

— Ну, это мы увидим завтра, а теперь некогда — надо кончать дело.

Винокур пошел лазить по котлам и кадям, а Осип Михайлович ушел к себе в кабинет и позвал своего Тришку.

— Послушай, Тришка,— говорил он,— видел ты винокура?

— Видел, ваше благородие, такой серый.

— Да, да; он, братец, величайший негодяй, меня грабит: берет пятьдесят рублей ни за что ни про что. Надо его проучить.

— Слушаю-с.

— Заметил ты у него рессорную таратайку?

— Заметил-с; вся тонким сукном выбита.

— Ну вот, надо ее выменять на наш старый тарантас.

— Да тарантас-то наш ничего не стоющий; вряд ли променяет.

— Молчи, дурак; врешь, там одного железа на два целковых будет, шины на колесах и гвозди, и прочее там все железное прочное, отличного железа.

— Железо, правда, отличное.

— Он меняется, только просит придачи лошадь. Смотри, ты подбейся к нему, подсыпься мелким бесом... Помнишь, по-старинному: обругай меня, возьми с него взятку и выбери ему коня моего рыжего сапатого — все равно за него никто и десяти рублей не даст. Вот мы и будем в барышах, и ты получишь за труды с него же, дурака.

— Сделаем-с!

— Смотри же, непременно выбери ему сапатого, а не выберешь — я шутить не стану.

И точно, винокур выехал от Осипа Михайловича уже не в своей таратайке, а в тарантасе, и вместо пары на тройке, третья пристяжная была — рыжая. Тришка, стоя на воротах, значительно поклонился винокуру, винокур ему сделал ручку.

— А что? Покатили? — спросил Тришку Осип Михайлович.

— Только пыль подымается.

— А что получил?

— Пустяки, один целковый.

— И то, братец, деньги; на дороге не валяются.

— Покорнейше благодарим, вы нас без хлеба не оставляете.

— А ты собирайся, брат, завтра в поход: повезешь на ярмарку в ** бочек десять водки.

— Увольте меня, ваше благородие, ей-богу, никакого толку не будет и вам только убыток!

— Это что значит? А?

— Да власть ваша, меня все уже знают. Хоть божись, хоть землю ешь — никто не верит. «Знаем,— говорят,— мы его: что не продаст — все надует».

— Ты трусишь?

— Да немного и побаиваюсь. С тех пор, как продал на этой ярмарке табак с каменьями, говорят: купцы похвалялись пустить мне эти каменья в голову. За что же я пострадаю? Продал для вашей пользы. Вам еще моя голова пригодится, а то разобьют, как кувшин. Увольте меня; пошлите кого другого: и мне будет безопаснее, и вам полезнее.

— Умные речи! Кого же послать?

— Пошлите Ивана Длинного.

— Да он дураковат.

— Ничего, продать продаст, и вид у него такой важнительный; всякий ему поверит.

— Хорошо. Я пойду в погреб, а ты пришли туда Ивана.

Когда явился в погреб Иван Длинный, Осип Михайлович сидел уже верхом на бочке, покуривая трубку; перед ним на другой бочке горела сальная свечка, освещавшая дрожавшим светом длинный, темный подвал, уставленный рядами бочек.

— А, Иван! Здорово, любезный. Ты очень хороший человек, я давно это заметил и хочу сделать тебя счастливым.

Иван молча поклонился.

— Да, я хочу удостоить тебя моей доверенности.

Опять поклон.

— Не кланяйся, ты человек хороший, это так и следует. Вот завтра я тебе доверю продать на ярмарке в ** десять бочек водки — видишь, как я тебе доверяю?

— Благодарим покорно.

— Не за что. Вот бери свечку, пересмотрим бочки. Ты цифры знаешь?

— Немного знаю.

— Ну, вот мелом на дне написаны ведра. Сколько там?

— Сорок ведер.

— Да, так, сорок; а другая?

— Тридцать девять с половиной.

— Ну, половина куда не шла, и эта пусть идет сорок. Сотри мел, да помни, что сорок; а в третьей?

— Тридцать восемь и одна кварта.

— Смерть не люблю этих кварт; с счету сбивают. Сотри и помни, что и здесь сорок.

Так осмотрели все бочки. Все, кроме первой, были меньше сорока; но Осип Михайлович, для ровного счета, чтоб не сбить с толку Ивана, приказал продавать их за сорокаведерные: перемеривать, дескать, на площади никто не станет.

— Оно так, да иной не станет верить.

— Божись, клянись; на этом все купцы живут.

— Да грех, говорят, божиться; душа пропадает.

— Э! Надо уметь божиться. Вот коли кто тебе скажет: «Тут нет сорока ведер»,— а ты ему — есть, да есть, побожись отцом и матерью, видишь, не верит, скажи: «Коли тут, в этой бочке, нет сорока ведер: чтобы меня на этом месте гром убил!»

— Ой! А если хватит, страшно!

— Дурак! Вас всему учить надобно. Скажи, чтоб меня гром убил на этом месте, да зараз и переступи на другое; коли гром туда и ударит, тебя уже не будет.

— Это дело десятое; теперь стану так божиться. А то было страшно; теперь уже я так перед женой стану божиться, коли там что придется соврать, спокоя ради!

На дорогу Ивану Длинному Осип Михайлович дал десять рублей, в том числе и я попала к Ивану. Осип Михайлович наказал Ивану продать непременно всю водку, то есть четыреста ведер, по самой высокой цене, какая будет на ярмарке, и деньги привезть сполна, ни на что не растрачивая; десяти рублям, данным на дорогу, вести самый аккуратный счет, не слишком окармливая и людей, и скот, а только употребляя необходимое для поддержания жизни, и, возвратясь, отдать отчет в каждой копейке.

«А будет что неладно, я с тебя взыщу,— заключил Осип Михайлович.— У тебя ведь есть из чего пополнить барские недоимки».

Иван только кланялся, почесывая в затылке.

Мы отъехали с версту от деревни, как услышали за собой погоню. Скоро прискакал верхом сам Осип Михайлович.

— Послушай,— сказал он Ивану,— ты старайся наблюдать мою пользу и выкинь дурацкое слово: продать за честность, на совесть, это только слова. Ты сам не очень совестничай. Если, например, кто у тебя купит водки и даст задаток, а после другой будет давать хоть по грошу дороже на ведро — продавай другому, а первому верни задаток; скажи: от барина получил письмо — не велит продавать — и баста! А пойдет жаловаться — не бойся: полицеймейстер мне приятель, вместе служили. Теперь с богом!

И мы поехали.

На площади, где остановился наш обоз, была истая ярмарка: крик, шум, гам, беспрестанная брань, бог его ведает, кого и с кем, божба, хлопанье руками и кнутами, ржание лошадей, мычание коров и блеянье баранов; все это смешивалось в один нестройный хор, в котором порой звучал кларнет из кукольной комедии, то глухо гремел барабан или бубен. Иван Длинный, уставя бочки на площади, сам пошел в стеклянную лавку купить *волочек* — род длинной бутылки,— для пробы водки. Войдя в лавку, он был решительно изумлен блеском и разнообразием товаров: тут стояли дюжинами белые тарелки, чашки, соусники и другие необходимые фаянсовые сосуды; выше, на полках, сверкали граненые хрустальные стаканы, рюмки, бокалы, выше спускались от потолка красивыми рядами разноцветные хрустальные лампады, которые порой от движения воздуха плавно покачивались и гремели своими стеклянными привесками. Посреди лавки была сложена горка из сибирских подносов, фарфоровых золоченых чашек, и чайников, и т. п., а на самой верхушке красовались мас-

ляницы разных видов и величин: была и лежащая корова с золотыми рогами, был такой же барашек, заяц, рыба, кисть винограда, дыня и даже вареный рак, красный, с шереховатою кожей, с усами, с огромными клешнями и с маленькими черными глазками.

— Господи боже мой! Совсем живой вареный рак! Господин купец, а зачем вы посадили туда такого большого рака?

— Продаем-с.

— Его и есть можно? Хотел бы я попробовать такого рака. А эта корова для чего?

— Для масла-с. Что вам угодно?

— Экая хитрая штука! Совсем корова, а всередине масло! И баран такой же. А *волочки* для водки у вас есть?

— Са́мый первый сорт.

— Ну, покажите их сюда, да не дорогих, дорого не дам... Отличная штука! — и, не вытерпев, Иван протянул руку и взял рака.— Да он совсем каменный, и ус у него каменный, даже не гнется.

Иван взял рака за усы; усы точно не гнулись, но треснули, и каменный рак полетел на пол из рук испуганного Ивана.

— Эк он вырвался! — говорил Иван, наклоняясь поднять рака, и вдруг печально почти запел: — Эге-ге! Да он на кусочки разбился!

Купцы, как вороны, налетели на бедного Ивана и требовали двадцать пять рублей. Иван чуть не умер, услыша это требование.

Наконец, после долгих споров, отдал меня, пятирублевую ассигнацию, и побрел печально домой.

— Хороша продажа! — сказали купцы, когда ушел Иван Длинный.— Рак стоил два с половиной, а дурак мужик заплатил пять рублей.

Мальчишке, который больше всего кричал на Ивана, и божился, и клялся, и плакал с горя о раке, хозяин дал гривну меди на пряники, заметив очень основательно, что

эн подает большие надежды, что из него впоследствии выйдет отличный купец, и советовал и вперед так вести себя.

По окончании ярмарки мой новый хозяин отправил меня, вместе с другой синей ассигнацией, прямо в одну столицу к сочинителю. Этот сочинитель объявил везде подписку — по десяти рублей экземпляр — на свою книгу: «Напутствие добродетельного отца юному сыну, вступающему в свет» и в конце объявления прибавил, что имена почтенных субскрибентов, т. е. подписчиков, благоволивших удостоить его книгу просвещенным вниманием, будут напечатаны по алфавитному порядку с означением имени, отчества, звания и места жительства. Подобного рода объявления сильно шевелят сердца многих провинциалов; и мой хозяин, очень желая видеть свое имя напечатанным, да еще между благородиями, высокоблагородиями, высокородиями, а может быть, и превосходительствами, отделил из барышей десять рублей и отправил к добродетельному отцу-издателю при самом бестолковом письме, в конце которого расписался: *третьей гильдии купец города Нового Вытруханска Степан Петров сын Петров и Милостивый Государь.*

С почты меня получил сам добродетельный отец, живой, вертлявый старичок с орденом в петличке и с лысинкой на голове, немного колченогий, отчего ходил с маленьким перевальцем и сильно хлопал калошами. Он получил меня и еще подобные же письма: одно от золотопромышленника из Иркутска, а другое из Тифлиса от какого-то грузинского князька. Золотопромышленник прислал на десять экземпляров, объясняя, что у него шесть сыновей и четыре дочери и он хочет каждому дать по особому «Напутствию». Князек прислал две рублевые депозитки да в бумажке немного мелочи серебра, так что по счету до десяти рублей не хватило двух копеек, что очень оскорбило сочинителя: он даже плюнул, пересчитывая деньги, но после утешился: субскрибент, дескать, сиятельный, эффективный субскрибент, можно пожертвовать две ко-

пейки. Из почтамта сочинитель отправился к одному журналисту. Здесь его не пустили дальше передней; он поругался с лакеем и пошел к другому. У другого слуга тоже стал было грубить, но сочинитель дал гривенник и был допущен в кабинет. Тут он минут десять говорил с журналистом: с обеих сторон сыпались фразы, фразы и фразы, самые громкие, самые... темные; сколько я ни прислушивалась, не могла найти смысла; разговор вертелся все на добродетели.

— Пропал мой гривенник! — сказал сочинитель, выйдя от второго журналиста, и отправился к третьему.

— Вы опять издаете книгу? — спросил третий журналист сочинителя.

— В самом скором времени.

— И охота вам марать бумагу? Извините меня, а ведь опять разругаю: наперед знаю, что будет дичь.

— Обратите благосклонное внимание! У меня жена, дети, доходов нет, живу без места.

— Да скажите, какая вам выгода? Кто у вас купит вашу книгу?

— Благодаря бога, находятся благотворительные лица, субскрибенты быстро возрастают. Не оставьте вашим покровительством.

— Ну, уж за это не ручаюсь. Теперь мне некогда, зайдите в другое время, когда выйдет ваша книга.

От третьего пошел добродетельный отец к четвертому. Этот принял сочинителя чрезвычайно вежливо, предложил ему стул и много говорил о его прекрасном слоге; намекал, что новая книга будет украшением литературы, обещал сильное покровительство и благодарил за приятнейшее посещение. Но — увы! — когда мы вышли за дверь, я очень хорошо слышала, как он сердитым голосом говорил слуге:

— Зачем ты пускаешь ко мне всякую сволочь? Если еще когда-нибудь проберется эта рожа ко мне в кабинет, я сгоню тебя!

Вероятно, и сочинитель слышал эти слова, потому что вздохнул тяжело и сказал:

— Зачем меня носила нелегкая к этим...— Извините, тут он выразился довольно крепко, и мой дамский язык отказывается передать вам его фразу.— Лучше пойду по частным людям, особенно по вельможам и богатому купечеству,— и он начал звонить у всех дверей, где блестела порядочная дощечка. В ином месте затворяли ему дверь под носом, в другом подписывались, особливо когда он со слезами умиления рассказывал о родственном участии в его книге всех журналистов, которых он имел сейчас навестить. В одном доме студент не подписался на его книгу, а предложил участие в сочинении, с платой ста рублей с листа; а другой молодой человек сказал, что не возьмет по сто рублей с листа, чтоб читать подобные вещи, и что его до сих пор морозит, когда вспомнит напутствие своей бабушки, женщины очень добродетельной. Сочинитель, где сердился, где и сам шутил, ловко изворачивался и вернулся домой к вечеру с несколькими новыми подписчиками и, разумеется, с несколькими лишними рублями в кармане.

Когда мы пришли домой, я увидела ясно, что у моего хозяина не было ни жены, ни детей: его ждал какой-то человек, с бородкой, в синем кафтане.

— Ну, как ваши делишки? — спросил синий кафтан.

— Ничего, бог благословляет. Я, словно птица небесная, кормлюсь крупицами: с мира по нитке — голому рубашка. А что ты разузнал?

— Все как следует, до последнего мизинца; точно: в таком-то заведении заведывает бельем новый человек — Прибыткевич.

Из разговора сочинителя с синим кафтаном я узнала, что синий кафтан — нечто вроде фактора, а сам сочинитель, кроме добродетельных книг, занимается еще поставкой, или, лучше сказать, шитьем белья в какое-то заведение.

— Так этот Прибыткевич бедняк? — спросил сочинитель.

— Голь перекатная! Он приехал сюда на службу, шатался и сюда и туда — нигде не везет. Дали ему учить двух недорослей арифметике; год возился он с ними — и ничему не выучил, поглупели мальчишки пуще прежнего... Поглядели, а и сам учитель ничего не знает. Плохо, говорят, убирайся! Он в слезы, жить нечем; а тут умер смотритель за бельем; вот его и сделали смотрителем. Уж будьте уверены, я и в лавочке разведал, и с близкими ему людьми чай пил, да и сам его видел: даже небритый, сапоги с заплатками, должно быть, приехал из западных губерний; там я, как извозничал, много видывал таковских; один брат в полку, другой в суде служит, а третий ямщиком на почтовой станции, ходит в лаптях, а ты его не замай, сейчас закричит: «Я дворянин».

— Ну, спасибо, такой человек нам с руки, а я думал, ему бог знает чем придется поклониться; теперь мы с ним разделаемся вот этим; посмотрим, что он скажет.

И, взяв меня, положил в чистый пакет, запечатал и надписал:

«Его благородию
N. N. Прибыткевичу
от ...го советника N. N
(Нужное)».

— Вот это снеси к нему сейчас же, сегодня, а завтра я сам утром понаведаюсь.

Прибыткевич был приятно изумлен, когда распечатал конверт и, вместо письма, нашел мою особу; он долго переворачивал меня в руках, заглядывал раза три в конверт — нет ли там еще чего? И принялся хохотать.

— Хо-хо-хо! — говорил он.— Да мое место значит, что зовется — хлебное, когда на первый раз получаю такие письма. Сейчас же куплю табаку двухрублевого Жукова;

долой рублевый Соколова! Долой!.. Хо-хо-хо! Да так мы заживем, что зовется...

В это время в комнату вошел немного сутуловатый чиновник, земляк Прибыткевича, г-н Лопуховский. Он был большой любезник с дамами, первый мазурист во всех танцклассах и, кажется, даже приватно учил сам танцеванию; впрочем, был человек тонкий и очень изворотливый. В департаменте некоторые называли его пройдохой, пролазом, шилом и лисой, а некоторые — умным малым и малым с головой. На всех не угодишь.

Прибыткевич рассказал Лопуховскому про странное письмо и про свои виды на жуковский табак.

— Я бы, на вашем месте, не так распорядился. Знаете, вас просто судьба взяла в опеку, вас она жалует, она вам дала местечко, что называется золотое дно; оно, видите, не почетное, нечто вроде обер-закройщика или кастелянши в брюках, да это пустяки. Правду говорят русские: «К чему честь, когда нечего есть»,— а наполните карман — почести сами к вам придут.

— Да каким чертом я его наполню?

— Э! Как вы просты, любезнейший земляк! Зерно, посаженное в землю, дает плод сторицею; а у вас есть уже зерно — эта ассигнация, оно пустяки...

— Какое пустяки! Я тебе говорю, что у меня на табак денег нет.

— Погодите, синяя ассигнация пустяки, на вашем месте; но я бы ее не истратил, я бы ее сберег; она похожа на первую селедку, которая идет в море к берегам; кажется, селедка пустяки, а ее встречают с выстрелами, пьют ее здоровье; за ней плывут миллионы подобных ей сельдей — вот что! Коли человек прислал вам синюю ассигнацию, он в вас нуждается, он даст вам не такой пустяк, а это была проба...

— Уж не отдать ли мне ее?

— Боже сохрани! Сделайте вид, будто и не получали,

а между тем... Не говорил человек, когда будет к вам сам подрядчик?

— Говорил: понаведается завтра утром, если будет время.

— Вот видите, он уже начинает важничать, а вам надобно важничать; он хочет взять на себя вашу роль; должен быть пройдоха этот ....ский советник; но ему вы нужны, он непременно завтра явится; он еще вас побаивается и поведет себя сообразно вашему приему.

— Что ж мне с ним делать?

— А вот что: когда он придет, скажите вашему человеку, чтоб он сказал, что барин одевается, а еще лучше — если выговорит, что барин делает свой туалет.

— Куда ему! Я вам говорю: не выговорит.

— Ну так просто скажет, что барин одевается, и попросит обождать; продержите вы его с четверть часа в передней и потом прикажите просить; сами наденьте порядочный халат, шитые спальные сапоги и хорошую ермолку...

— Хо-хо-хо! Да у меня, братец, никакого халата нет, не только ермолки и шитых сапогов; я по-походному: чуть с постели, сейчас накинул шинель — и прав.

— Плохо! Впрочем, горю пособить можно: у меня есть двоюродный брат, секретарь, у него припасен для экстренных случаев богатейший костюм; я достану его на завтрашнее утро; отличный шелковый халат с кистями, ермолка вся зашита золотом, сапоги настоящие торжковские и сигарочник серебряный, украшенный бирюзой и дорогими камнями, с огромным янтарем.

— Да я и сигар не курю.

— Как там себе хотите, а для тону должны раскурить сигару, да еще подлиннее и толще. Я и сигару принесу. Хочется мне сделать земляку услугу... Ведь дал же господь вам такое место! Наживете дом, право, наживете.

— Если не соврешь, дам тебе в моем доме даром квартиру.

— Если будете меня слушать — через два года я буду ваш жилец; не будь я Лопуховский, если вру. Вы пили чай?

— Нет еще.

— Ну, так прикажите ставить самовар, а я сбегаю к секретарю за костюмом. Пока чай будет готов, я вернусь, и мы потолкуем о ваших делах. Дает же бог счастье людям! Вы под опекой у фортуны!.. А синенькую не тратьте, спрячьте ее, как зверя первого лова: она принесет вам счастье.

— Да я тебе говорю, братец: на табак нет, что зовется, ни алтына.

— Я вам дам до завтра полтинник.

— Да я завтра не отдам; чем я отдам?

— Разве отдать не захотите, а ручаюсь, что отдать чем будет. До свидания!

Через полчаса, не более, вернулся Лопуховский с полным костюмом, и земляки уселись за чай. Прибыткевич хохотал простодушным смехом, вспоминая завтрашний маскарад.

— Не смейтесь,— серьезно говорил Лопуховский,— здесь не провинция, надо жить осторожно. Будете меня слушать — будете барином; нет — на себя пеняйте! Первое дело здесь декорации; человек должен озадачить эффектом; здесь половина франтов, львов, тигров живут по пословице: «На брюхе шелк, а в брюхе щелк». На первые же деньги обзаведитесь платьем и разными безделушками домашними, знаете, для письменного стола и прочее, в глаза чтобы бросалось: какую-нибудь раковину, чернильницу носорогом или верблюдом, какую-нибудь этак сигару поставьте в пол-аршина... Да уж я вас научу. Лучше поголодайте сначала, а декорации устройте: они вам выкупятся сторицею.

— Да я тебе говорю, брат Лопуховский, на это нужно денег.

— Деньги будут, почтеннейший земляк. На сколько человек у вас строят белье?

— На тысячу, коли не более.
— Это все равно, что у вас тысяча крестьян...
— Нет, страшно все обрезано...
— Фразы!.. Знаем мы обрезано! Вы слыхали песню:

Дай мне кормить казенного цыпленка,
Я с ним корову прокормлю!..

Я знаю, вы никогда не служили по письменной части, так смотрите, показывайте мне все ваши счеты и отчеты, все сделки и контракты: я вас наведу на путь. Признаюсь, я до этого большой охотник: тут есть пища уму, воображению, да и впереди заманчиво... Не дает мне бог подобного места! Смотрите же вы, примите завтра вашего подрядчика так, чтоб он почувствовал — не то страх, не то угрызение совести, а особенное душевное волнение.

— Ладно, я его промучу в передней, а после явлюсь в халате с сигаркою... Хо-хо-хо!..

— Долго держать в передней не советую, чтобы не озлобить человека, не нажить с первого дня себе врага. Вы еще не знаете, каков он; а продержать немного должно: это ему напомнит некоим образом его зависимость от вас, даст ему приличный такт; а когда он войдет, вы ласково извинитесь перед ним в невольной задержке и говорите с ним снисходительно, даже трогательно о погоде и о других приятных предметах, но о деле — боже сохрани вас начинать речь! Да и вообще советую говорить поменьше... Знаете, если человек молчит, бог его знает, что он думает; пусть лучше он говорит — сам в разговоре и выскажется, как-нибудь да выскажется.

— Ты, Лопуховский, что зовется, министр! Мне бы и в голову это не пришло.

— Пустяки, присмотрелся к людям, пригляделся да, правду сказать, наслушался на родине патера Бонифация. Вот был учитель!.. Послушайте же, если он начнет говорить о деле, тут вы перемените тон, станьте холоднее, суше, больше молчите, изредка только сделайте замечание,

что мои, дескать, предшественники не так вели дела; что я намерен сделать улучшения; что казна, дескать, много теряет и т. п., только это говорите не разом, а так, задумываясь, урывками, будто задушевные мысли против вашего желания сами срываются с языка... Понимаете?

— Понимаю, понимаю!

— А завтра вечером я зайду к вам за костюмом. Вы мне расскажете о последствиях.

Вечером весело ходил Прибыткевич по комнате; на столе кипел самовар и стоял распечатанный картуз Жукова; но Прибыткевич не пил чаю: он курил трубку, выколачивал ее, опять набивал из картуза, раскуривал и опять ходил по комнате, видимо кого-то поджидая. Наконец пришел Лопуховский.

— Друг мой! Брат Лопуховский! Будет тебе квартира в бельэтаже, окнами на улицу, что зовется, на славу...

— Потише, почтеннейший земляк! Я человек простой и в бельэтаже жить не стану; мне где-нибудь две-три комнатки пониже, да потеплее — вот и все тут! А что ваши дела?

— Отлично идут! Был утром этот ...ский советник, старая лисица! Да так сначала сробел, глядя на меня, что ни стоит ни сидит...

— Что же он, лег?

— Хо-хо-хо!.. А чуть не лег, не знал, куда деваться, а я сижу в халате да сигарку покуриваю; а после начали говорить о погоде; он оправился, присел и себе давай пороть все такое приятное... А после, как заговорил о деле, я как брякнул ему одну-другую фразу, вроде «подумаю да посмотрю» — гляжу, он опять корчится, словно подошва на огне, схватил шапку да бежать.

«Куда вы?» — спросил я. «Извините,— отвечал он,— я вспомнил, мне есть дело, нужно торопиться...» — «А о нашем предмете вы ничего и не решили окончательно».— «Я напишу, я сегодня буду иметь честь письменно известить вас о всем подробно...» — сказал да и был таков.

А через три-четыре часа я получил от него пакет, очень утешительный.

— Утешительный?

— Еще бы! Вот тебе твой полтинник, вот видишь целый картуз Жукова, а вот посмотри! А? Ведь приятно!.. Что зовется. Я тебе говорю — приятно!..

И Прибыткевич показал пачку ассигнаций, рублей на двести.

— Изрядно,— заметил Лопуховский,— этот человек умеет жить на свете, а все-таки его нужно уничтожить.

— За что? За его же деньги?

— Да, коли он дал сразу столько денег, значит, ему выгодно. Отчего же вам самим не может быть выгодно то, что хорошо для постороннего человека? А вы, как говорится, у самого источника; на это не шутя мы посмотрим.

— Пожалуй, посмотрим; я согласен.

Через месяц Прибыткевич взял на себя шитье рубах с уступкой для заведения. Подрядчик шил по десяти копеек за штуку, а он взял по девяти, за что получил награду от начальства; а сам в тот же день отправился в отдаленную часть города, где живет страшная нищета, где бедная женщина, кормя грудного ребенка, работает три дня, стегая затейливый халат для лавки гостинодворца, и получает за это рубль медью, где за бесценок вышивают чудные узоры по газу, тюлю и батисту, украшающие модные магазины, где просят работы и часто голодают от того, что делать нечего,— там работницы с радостью взялись шить рубахи для Прибыткевича по шести копеек серебром.

Эта операция удалась Прибыткевичу отлично, принесла ему много выгоды денежной, а еще более выгоды во мнении заведения, где он служил, так что начальник в своем дружеском кругу, услыша фамилию Прибыткевича, сказал довольно громко, со свойственной ему интонацией: «Я не знаю, за что нападают на Прибыткевича? Он не картежник, не пьяница, не пускается в литературу; правда, с виду

кажется глуповат немного, но это только с виду, на деле он отличный практический человек».

С этого дня Прибыткевичу стало очень хорошо жить на свете. Кто что ни говори, а подобный отзыв начальника трогателен, умилителен и наполняет душу неизъяснимо сладостным ощущением!

Прибыткевич точно был хороший исполнитель, как и все люди, не любящие думать и рассуждать, и поэтому, руководимый советами Лопуховского, он постоянно успевал в разных торговых оборотах, богател видимо и несколько раз уже хотел завести лошадей, но Лопуховский его удерживал.

— Погодите,— говорил он,— еще рано: еще вас за это могут удушить. Пойдут спросы, да расспросы, да зависть. Разумеется, кому какое дело, а зависть сейчас привяжется...

— Тебя не поймешь; ты все мне толкуешь про декорации; а чего лучше, что зовется, как тройка этаких...

— Во всяком случае, тройка неблагопристойно: это столица, а не уезд, здесь пара в ходу. Впрочем, лошади,— декорация более для женитьбы. Вам теперь нужны служебные декорации... Говорите более о своих трудах, о потере здоровья, о намерении выйти в отставку... Иногда, этак, скажите человеку, что вы займетесь счетами и бумагами, прикажите всем отказывать, говоря: «Барин занят, придите часа через два» или: «Завтра утром»,— как придется, а сами преспокойно лягте на диван, курите да читайте книгу.

— Я до них не охотник.

— Ну так спите, только прежде двери на замок, чтоб какой нахал не застал вас над этим занятием; ведь народа всякого бывает...

— Ты думаешь, это полезно?..

— Да вот как: у нас в департаменте был человек — ни рыба ни мясо, даже порядочного почерка не имел; определился он на первый оклад, стал учить грамоте

экзекуторского сынишку и получил казенную квартиру — комнатку на чердаке об одном окне. Надо случиться, что это окно выходило на двор и было прямо против окон спальни и кабинета начальника, разумеется, только повыше: начальник жил в бельэтаже. Иной простой человек разве изредка глядел бы в окно на двор, как сторожа по двору ходят, да разве ставил бы на нем чубук; другой пользы невозможно, по-видимому, извлечь из него; а умный человек нашелся: он постоянно начал просить себе в департаменте на дом работы. «Мне,— говорит,— дома скучно, делать нечего, а у вас дела накопляются; давайте, я их понемногу стану очищать. И возьмет, бывало, бумажку в лист, только каждый день брал после присутствия, и все столоначальники начали говорить между собою: «Вот дурак, хочет все казенное дело переделать!» А громко кричали: «N. N. достойный человек: трудолюбив, усерден, деятелен».

Между тем N. N. извлекал из окна пользу: он, бывало, пообедает, пойдет куда-нибудь к знакомым напиться чаю или так погуляет по улицам для освежения духа и в десять часов приходит домой; берет казенную бумагу, переписывает ее в десять минут, многое что в четверть часа и ложится спать; но предварительно поставит против окна столик, на столик тарелку, из осторожности от пожара, а на тарелку подсвечник с горящею пятериковою свечкой. Хозяин засыпал, укутав голову от света одеялом, а свечка горела часов до четырех и, наконец, погасала, наполняя комнату порядочным угаром. На утро у N. N. немного болела голова, впрочем, это скоро проходило. Жертвовал он в месяц из скудного жалованья полтину серебра на ненужные свечи... Кажется, вел себя глупо, а вышло умно, начальник и его супруга несколько раз, во время тревожного сна, просыпаясь, замечали против себя в окне свет; это повторилось несколько раз и встревожило начальника. Он послал за экзекутором и спросил о таинственном жильце-полуночнике. Экзекутор доложил, что живет

там чиновник N. N., а огонь у него горит оттого, что он занимается.

«Уж не сочинитель ли?» — «Никак нет, ваше превосходительство; это прекрасный молодой человек и серьезно занимается перепискою служебных бумаг».— «С найма, что ли?» — «Не могу доложить основательно, ваше превосходительство».— «Вы никогда ничего не можете доложить!»

Жена начальника очень беспокоилась — не живет ли там, под небесами, какой-нибудь колдун или составитель вредных вещей? Сам начальник подозревал, не делается ли там что запрещенное, и, уходя в департамент, приказал экзекутору сделать маленькую фальшивую тревогу будто бы о сбежавшей у генеральши собачке и, пользуясь этим предлогом, осмотреть квартиру N. N. и донести в точности.

В департаменте он спросил об N. N. начальника отделения. Начальник отделения отвечал, что в непосредственные отношения с мелкими писцами он не входит, но заметил, что N. N. трудолюбив, скромен, вежлив и почти ничего не говорит.

«Ну так позовите ко мне его столоначальника».

Столоначальник сказал, что N. N. отличный человек и ежедневно по его, столоначальника, просьбе берет кучу бумаг для переписки, которые всегда назавтра возвращает в исправности.

Возвращаясь домой, начальник встретил у себя в передней экзекутора, который приветствовал его следующими словами: «По приказанию вашего превосходительства был сделан осмотр в квартире N. N. под видом поиска собаки, и, кроме старых сапогов, дырявого халата, трубки с чубуком и постели, других вещей не отыскалось».— «И не могло отыскаться! У вас всякое лыко в строку. Заикнись я, вы готовы поднять весь дом на ноги. N. N. достойнейший человек, я пошутил, а вы из шутки дело затеяли».

Через две недели открылась вакансия помощника сто-

лоначальника, и начальник мимо всех посадил N. N. на это место. Через месяц его сделали столоначальником!.. Вот как! Жертвовал в месяц безделицу — полтинник на свечи, а приобрел сотни рублей. Это называется уметь сеять.

— Хо-хо-хо! Экая голова! Как же ты узнал эти проделки?

— Да уж гораздо после, когда он был столоначальником, перестал жечь свечи, а сам стал писцов прижимать — не приведи господи! Я де, говорит, сам по ночам переписывал. А тут была у нашего сторожа дочка; она N. N. мыла манишки, а он, уже став порядочным человеком, нагрубил ей и взял другую прачку. Тогда сторожева дочка все и разблаговестила, да еще и не то!.. Ну да бабий язык — что твоя мельница, когда разорвется... хуже воды ключевой: ничем не уймешь.

— Так ты думаешь, и мне не худо этак, того подчас, что зовется...

— Непременно. Главное, говорите о себе больше, о своих трудах, о своей службе, да кричите погромче на всех, кто ниже вас, кричите зря, нужно ли, не нужно, а кричите: этим иногда измеряется ревность.

Господи! Сколько людей взяли решительно все криком и наглостью и сколько, напротив, проиграли тем, что считали за стыд хвалить себя и всегда говорили тихо, думая, что скромно и тихо сказанное дело гораздо полезнее громко и надуто произнесенной нелепицы! Я знал даже некоторых чудаков, которые о своих заслугах говорили шутя, из чувства неуместной скромности и тонкого приличия, за что единогласно были названы дураками. Может быть, они были и умные люди, а все-таки жили на свете, как дураки.

Наконец Прибыткевич в один прекрасный вечер объявил Лопуховскому, что ему смерть хочется купить дом. Лопуховский одобрил эту меру, но не вполне.

— Купить дом — дело милое и приятное, да извините меня, как-то странно смотрят на человека, у которого

ничего не было — ни родового, ни благоприобретенного, который не получил наследства и т. п.,— и вдруг покупает дом. Тут явится зависть, а зависть из честнейшего человека сделает чернейшего.

— Что же мне делать с моими деньгами?

— Погодите. Вам теперь должно жениться. Все люди в вашем положении, разумеется, умные, прибегали к этому единственно спасительному средству. Да, вы должны жениться, и еще на купчихе, и еще на богатой: тогда все вы сваливаете на жену — и дом ваш на имя жены, и все, что имеете,— ее, вашей жены, а вы — просто бедный человек, служили честно, беспорочно, а бог вас наградил за труды ваши счастливой женитьбой.

— Хорошо так тебе рассказывать; а где я найду богатую невесту? А если и найду, пойдет ли она за меня?..

— Вы рассуждаете вполовину справедливо: богатых невест теперь почти нет; богатая невеста редкость, как белый воробей. Все богатые невесты, коли рассмотришь поближе, богаты рассказами, тряпками да еще спесью. Любой мильонер норовит принадуть зятька — это правда. Зато богатые женихи еще реже; так вам отчаиваться нечего: вы богатый жених, да притом еще дворянин. За вас пойдет любая купчиха; только покажите ваши ломбардные билеты батюшке — сейчас отдаст, хоть бы и дочка не очень желала. Теперь вы купите себе хорошенькую парочку, да советую, для виду, занять на нее денег, хоть у казначея: он тонкий человек, смекнет, в чем дело, и даст. А я между тем возьму за бок сваху: она нам доставит невест целую дюжину. Разумеется, мы выберем с домиком и другими приличными декорациями; даст бог, возьмем пятьдесят тысяч, а рассказывайте на полмильона. Пускайтесь языком в торговые обороты, а на деле — боже упаси! Новые родные как раз надуют. Вот, женясь, и стройте тогда себе какие угодно хоромы — все с рук сойдет!

Прибыткевич занял у казначея денег для покупки лошадей, сообщив ему, что намерен жениться на богатой купчихе, и после свадьбы сейчас обещал уплатить долг. Пара вяток, с густыми гривами до земли и толстыми широкими хвостами, куплена, запряжена в яковлевские дрожки, а на дрожках, с радостным, светлым лицом жениха, уселся Прибыткевич, гордо раскланиваясь знакомым пешеходам.

И точно, он был женихом. Сваха нашла ему невесту — дочь купца, торговавшего рогожами и старым железом. Невеста была в летах, довольно плотна, довольно красна, довольно молчалива, а главное, имела свой собственный деревянный двухэтажный дом с большим огородом и несколькими кустами акаций и сирени, что называлось садом. У старика, отца невесты, кроме этого дома, был еще большой каменный дом да несколько сот тысяч капитала в обороте; но на это рассчитывать было неловко, оттого что у старика было еще два сына. Впрочем, объявляя о помолвке своей, Прибыткевич говорил, что берет дом, сто тысяч серебром чистых денег да еще по смерти тестя надеется получить столько же.

Месяц спустя после свадьбы Прибыткевич продал женин дом с садом и огородом и взял за него сорок тысяч ассигнациями — вот в чем заключалось все полученное им приданное, если не считать глупой и грубой женки.

Лопуховский под рукой распустил, что Прибыткевич продал дом за семьдесят тысяч да что тесть дает ему еще на постройку дома сотню. Все этому верили, все кланялись Прибыткевичу, а он между тем купил место на лучшей улице, договорил искусного архитектора и начал строить великолепные палаты.

«Вот женился человек счастливо»,— говорили многие, глядя на красивый, огромный дом Прибыткевича.

— Да, господа,— замечал старичок с пряжкою за XLV лет,— справедливо сказал Державин, что счастье всегда обращает свой взор

На пни, на кочки, на колоды,
На тундры, на гнилье воды,
А редко, редко на людей!..

Прошло два года, Прибыткевич жил в своих палатах, не оставляя, впрочем, своей прежней службы, «из благородности к старому начальству», как говорил он. Лопуховского тоже поместили в доме Прибыткевича: без Лопуховского Прибыткевич не мог жить.

Философы, отвергающие существование дружбы, что вы на это скажете?

В один приятный вечер Лопуховский приехал из отдаленной части города скучный, мрачный, озабоченный. Он не захотел пить чаю, и, взяв за руку Прибыткевича, увел его в кабинет и запер дверь.

— Что с тобой? — спросил Прибыткевич.

— А вот что. Вам угрожают неприятности; надобно от них избавиться: переменить род службы...

— Что ты, что ты! Да ведь теперь-то наши дела приняли самый лучший оборот...

— Так; и могут принять худший. Видите, я сейчас был в ..., осматривал работы, приискивал новых работниц, отказывал нерадивым. Вдруг в комнату входит господин важной наружности и спрашивает у хозяйки: сколько у нее детей, и чем болен меньший сын, и что она платит за квартиру, и чем занимается... Баба и бухнула, что шьет она, мол, казенное белье по шести копеек за штуку, да что плата мала: только не умрешь с голоду, надеяться не на что. «Вот вам билет,— сказал незнакомец,— скажите вашему частному доктору, чтоб прописал на нем рецепт для вашего ребенка; по этому рецепту дадут лекарство даром, а на этот рубль серебра купите больному белого хлеба да чего-нибудь легкого покушать. Сами понаведайтесь завтра в общество; я о вас поговорю и работу вам доставлю. Пора уже прекратить...» И тут он начал такие вещи говорить о вас, будто знает вас лично...

— Как? — говорил Прибыткевич.

— Нет, не говорил имени, а рассказывал все ваши обороты; будто ему кто шептал, и называл неприятными именами: упоминать не следует. Вот я, видя, что он человек важный, вступил с ним в разговор, прикинулся сам филантропом и узнал страшные вещи. Здесь завелось общество, которое хочет давать бедным помощь работою, хочет подорвать все наши спекуляции — и подорвет: оно сильно, имеет вес и нас как раз уничтожит; да еще, чего доброго, вздумает обличить... Лучше убраться заранее.

— Это чудеса!..

— Да, члены, больше все люди молодые, ходят и отыскивают бедных, лазят на чердаки, опускаются в сырые подвалы, навещают грязные углы, не страшась ни зловредного воздуха, ни заразительных болезней, часто там обитающих, и отыскивают истинную бедность, справедливо и неумолимо отделяя ее от порока, помогая безусловно первой и стараясь направить на путь истины последних.

— Что же, им идет огромное жалованье?

— Какое! Смех сказать: сами еще платят ежегодно за право трудиться для пользы нищего...

— Хо-хо-хо! Друг мой Лопуховский, полно меня дурачить! Могут ли быть на свете такие чудаки!?

— А есть, я говорю не шутя, и они вам наделают беды из-за нищих, из-за бог знает какой сволочи. Вы можете потерпеть. Лучше подобру-поздорову убраться.

— Убраться? Да куда же?

— В другое ведомство. Возьмите службу по другой части. Теперь уж вам полно думать о мелких пользах. У вас дом, у вас карета, у вас порядочный чин; теперь пора вам думать о почете, генеральстве.

— Друг Лопуховский, ты с ума сошел! Какой я буду генерал? Посмотри на меня: похож ли я на генерала?

— А будете! Что же вам больше делать на свете? Поживете — и будете... Вам должно перемениться. И птицы небесные от перелета жиреют; иначе кто бы их заставлял

ежегодно летать бог знает куда?.. Только поведите дело хорошенько...

— Воля твоя, что хочешь, а на это я не согласен; это такая обуза!.. Что зовется, тут французский язык и прочее нужно... Не хочу! Я тебе говорю — не хочу!

— Так я хочу,— почти закричала жена Прибыткевича, быстро входя в кабинет,— я слышала все за дверью и хочу быть генеральшей, слышишь?

— Слушаюсь, матушка; да ведь трудно.

— Пустяки, я вас уверяю,— перебил Лопуховский,— только меня слушайте...

— Правда, правда, только его слушайте, он умный человек.

— Ну! Делайте из меня что хотите!

Наступил какой-то торжественный день. Прибыткевич оделся в свое самое новое платье, надел на себя все, что у него было отличительного, и, подойдя к шкатулке, вынул меня. Долго он глядел на меня, и мне даже показалось, что его глаза наполнились слезами.

— Ну, моя голубушка синенькая, берег я тебя,— сказал он,— ты мне принесла счастье... И теперь сослужи службу, ты счастливая бумажка...

Потом он сложил меня и положил особенно в карман, сел в коляску и поехал.

В передней одного значительного человека стоял стол, на столе чернильница, дюжина перьев, и несколько листов бумаги; немного подальше высилась порядочная куча визитных карточек на разных языках, с разными гербами и коронками; у столика стоял любимый камердинер значительного человека, известный очень многим под именем Бориса Петровича. Разные лица входили в переднюю, расписывались или оставляли карточки и исчезали, словно китайские тени. Это было утром, очень рано.

Прибыткевич вошел в переднюю и поклонился Борису Петровичу с видом человека очень знакомого; в это время кто-то расписался и вышел. Они остались одни.

— Ну, что, Борис Петрович, хорошо сидит ваше новое платье?

— Покорнейше благодарю, ваше высокоблагородие, это оно на мне.

— Ага! Я и не узнал; ну, ничего, хорошо, мы сделаем и лучше со временем, дал бы только бог попасть к вам!.. Погодите, станьте вот так: да, немного брюки широковаты. Вы мне пришлите завтра, я прикажу все отделать на швальне.

— Покорнейше благодарю. Вы распишетесь или карточку оставите?

— Распишусь, распишусь. Куда нам карточки оставлять таким людям!.. Вот я и подмахнул! А что, его сиятельство почивать еще изволят?

— Почивают.

— Достойнейший человек!.. Доведется ли служить или нет, но хоть поговорю с таким человеком — и то мне приятно! Прощайте, Борис Петрович!

Тут Прибыткевич сунул меня в руку камердинеру, примолвя: «Будьте здоровы, с праздником»,— и ушел.

Камердинер положил меня в карман и еще с полчаса постоял у столика. Наконец послышался звонок, и он вышел, оставя на своем месте лакея с наказом: «Смотри ты у меня, Степка, не смей никого поздравлять с праздником».

Значительный человек встал очень в хорошем расположении духа и, одеваясь, болтал с камердинером всякую всячину.

— Ну что, там их много было?

— Видимо-невидимо! Как мухи на мед, лезут все к бумаге и расписываются...

— Ага!.. Больше прошлогоднего?

— Вдвое больше; и много новых, а один приезжал какой-то богатый барин, да уж как он вас любит и уважает!..

— Кто бы это? Из моих подчиненных?

— Нет, незнакомый; приезжал в своей коляске; лошади орловские, сбруя чудесная, немного похуже нашей... Да как вошел, и встретился с каким-то незнакомым мне человеком, и начал про вас говорить... Уж он так вас хвалил, так превозносил! Это, говорит, и такой и этакой человек; с ним, говорит, поговоришь — на год поумнеешь...

— Кто бы это такой?..

— Я посмотрел на лист, он расписался: «Прибыткевич».

— Ах, да, я слышал эту фамилию... постой, постой, у графини... Мы с ним играли в карты, только играть он не мастер. Помню: дама сам-пят козырей и два туза масти, и он остался без двух!.. Мы целый вечер хохотали!.. Да, он смотрит хорошим человеком.

Долго еще камердинер одевал значительного человека и пел ему про Прибыткевича. Надобно отдать справедливость: Борис Петрович отлично владел языком.

Дня через три Борис Петрович убирал что-то в рабочем кабинете значительного человека; в кабинет вошел правитель дел с бумагами.

— А что нового? Мороз большой?

— Большой, ваше высокопревосходительство, градусов двадцать будет, и с ветром.

— Я знал это, на термометр не смотрел — лень была, а голова у меня трещала; это всегда на большой мороз... Ну, а там у вас что?

— Есть три просьбы на вакантное место старшего чиновника для поручений. За А. просит графиня Б., за В. просит княгиня Г...

— Ну, а третья?

— Третья очень странная просьба. Просится какой-то Прибыткевич и пишет, что не имеет протекции и не ищет рекомендации, а хочет личными достоинствами и усердием рекомендовать себя.

— Прибыткевич... погодите... что-то знакомое.

— Это, ваше высокопревосходительство, верно, тот са-

мый, что имел честь играть с вами у графини,— довольно отважно заметил камердинер.

— Молчи, братец, не мешайся не в свое дело! Я сам очень хорошо вспомнил, я лично знаю Прибыткевича — он отличный человек!..

— Кого же угодно будет утвердить вашему высокопревосходительству? — спросил правитель дел.

— Разумеется, ни А., ни В.: я смерть не люблю никаких протекций. Прибыткевич — другое дело: я его лично знаю, да и тоже его просьба мне нравится: это показывает в нем человека прямого. Напишите о нем бумагу и сейчас принесите мне, я подпишу.

Борис Петрович сейчас же вышел из кабинета и послал курьера к Прибыткевичу с радостным известием, а сам, приложив ко мне еще четыре синеньких, отослал нас по почте в ...скую губернию к своей теще, крестьянке Ирине Харитоновой, в гостинец к рождеству Христову; писал ей очень учтивое письмо, извещал, что ее дочка родила сына и ходит в шелковом салопе; передавал поклоны человекам тридцати, каждому поименно, а в заключение просил родительского благословения, вовеки нерушимого.

Ирина Харитонова получила деньги на праздниках в самую тяжелую пору: когда староста собирал к новому году барину оброк и грозился продать ее корову.

На пять рублей старуха сделала вечер и напоила мертвецки старосту, десятских и свою родню. Письмо всилу прочитал староста и много плакал, бог его знает отчего. Харитонова тоже плакала и остальные четыре ассигнации, в том числе и меня, отдала старосте в оброк. Потом некоторые родные поспорили о том, кто из них больше любит Ирину Харитонову,— и подрались. Десятские, разнимая их, тоже передрались между собою. Наконец, сам староста принялся унимать буянов и, потузив порядочно всех, кто попал ему под руку, свалился от усталости под лавку.

Староста хотя был очень хмелен, однако не потерял

денег и назавтра, приобщив их к собранной уже сумме, отвез в город на почту и отправил в Петербург на ваше имя. И я, бедная, не успев отогреться, опять поехала по мучительным ухабам санной дороги, которую, не знаю почему, многие патриоты называют самородным зимним шоссе. Опять суждено мне было слушать звон колокольчиков, брань ямщиков, понуканье почтальонов и вздохи и жалобы на судьбу почтмейстеров, когда приехавшая в полночь почта вырывала их из постели, из объятий супруг и заставляла являться в присутствие. Наконец я попала к вам, выдержала ваш осмотр, выслушала ваши фантазии и предположения и мощною властью Мартина Задеки, согласно вашему сильному желанию, явилась, олицетворенная, дать отчет в моем странствии. Теперь не знаю, куда судьба поведет меня? На горе или на радость стану жить в столице? Никто не ведает; поскитаемся, пошатаемся — увидим; но, во всяком случае, я после смерти своей явлюсь еще раз к вам. Вы первые пожелали знать приключение ничтожной пятирублевой ассигнации, и я за это сообщу вам мои дальнейшие похождения — помните это; и если я неожиданно явлюсь к вам — не пугайтесь: это не к лицу порядочному человеку. До свидания.

Я взглянул — никого передо мною не было, только на столе лежала эта рукопись.

— Но, сударыня, мадам ассигнация, где вы?

— Здесь, у вас под подушкой,— отвечал мне тихий голос.

Я поднял подушку: там точно лежала моя ассигнация с обгорелым уголком.

Это мне показалось чрезвычайно странно.

КОНЕЦ

Если моему приятелю...— чуть было не назвал его по имени — в часы его фантастических ясновидений явится опять синяя ассигнация и расскажет свои дальнейшие похождения и если мой приятель — в чем я не сомневаюсь — запишет их и отдаст мне, то я непременно постараюсь опять передать вам его рукопись, которая, вероятно, будет доведена до *настоящего конца,* то есть до смерти *героини.* Многие любят это, да и основательно; в нашем бренном мире все имеет свой конец, даже пятирублевая ассигнация.

[*1847*]

ХВАСТУН

Физиологический очерк

В обществе часто встречаются люди, которых почти всегда несправедливо смешивают со лгунами: это — хвастуны, хотя хвастун неделимое совершенно другого рода и часто не имеет ничего общего со лгуном. Черный лгун, умышленно марающий доброе имя своего ближнего самыми нелепыми рассказами, разве хвастун? И, напротив, добрая душа, хвастающая в трескучий мороз новым сюртуком, лихо облегающим стройную талию, хвастающая в ущерб собственному своему здоровью — разве лгун? Наши предки славяне постоянно отличались твердостью характера: свято сохраняли договоры, горой стояли за правду и, не утаю правды, любили прихвастнуть. «Кто против бога и великого Новагорода?» — говорили они в древности, говорили не шутя; а теперь, глядя на Новгород, считаешь эту фразу чистою шуткой. Прислушайтесь к нашей старине, разберите сказки времени Владимира, приглядитесь к богатырям, которые не мечом, а осью тележною истребляют рать могучую: махнет богатырь направо — улица, налево — переулок. Сел обедать богатырь, непременно съедает быка или барана, выпивает чан зелена вина да, пожалуй, еще разобьет и чан об землю: здесь видно преимущество физической силы, и этой силою сначала хвастает славянин. Завелись у него деньги, стал он торговать, разбогател — и уже забыта сила, уже он *хвастает* деньгами (а все-таки хвастает), уже нахваляется богатый торговец купить весь мир, пожалуй, с луною и звездами. Так хвастали предки наши; посмотрим, далеко ли мы отстали от них?

Прошли века, *непобедимый* Новгород развалился, рассыпался, погряз в болотах; его стены растрескались, обвалились; по ним преспокойно прогуливается коза; на площади бабы продают гнилые яблоки; два мужика тузят

друг друга по случаю какого-то торгового недоразумения, третий стоит, преспокойно заложив руки за пояс, и кричит: *знай наших*!.. Мужик, прибивший противника, из одного села с зрителем, и зритель хвастает удачей земляка.

По Гороховой улице в столичном городе Петербурге идет без шапки мальчик лет пятнадцати; судя по пестрядинному халату, по изорванным сапогам и совершенному отсутствию жилета, галстука и прочего, вы узнаете в нем *халатника,* то есть, мастерового, который учится ремеслу по контракту на хозяйской одежде. Глядя на нетвердую походку халатника и мутные глаза его, вы с ужасом убедитесь, что несчастный пьян. Он идет, толкая встречных, ругается направо и налево и запевает какую-то нестройную песню. Вы полны негодования, у вас в голове созидается целое рассуждение о порче нравов столицы вообще и рабочего класса в особенности; но успокойтесь — мальчик только *хвастает*. Он относил к *давальцу* пару сапог; *давалец* — добрый человек: он дал ему выпить стакан черного пива, самого безгрешного, которым можно поить без всяких вредных последствий голубей и канареек; халатнику лежала дорога по тротуару, мимо мастерской медника: здесь были знакомые мальчишки — как не прихвастнуть?

Чего доброго, и сторонние люди подумают, что он большой, взрослый человек, коли ходит пьян по улицам, да и деньги, значит, у него есть; на что-нибудь, дескать, нарезался — и мальчик, хвастая, корчит пьяного.

Вот из-за угла, словно из земли, вырос будочник; серая рука его быстро вытянулась и схватила за шею халатника; и вслед загремели речи:

— Ах ты, шемотан этакий, волдырь! Пойдем-ка со мной!

— Пустите, дядюшка,— пищит мальчик совершенно трезвым голосом,— я бегу к хозяину, забранится...

— Дам я тебе, забранится... Пьянствовать на улицах... да беспорядки... А наш брат за все, про все в ответе... Пошел!

— Да ей-богу, дядюшка, я не пьян, еще и не ел сегодня... И пить мне не на что... Я хозяйский человек, вишь ты, ни одного кармана нет... И положить ничего некуда!..

Будочник видит, что мальчик точно не пьян и что даже у него карманов нет; он дерет его за ухо и пускает, приговаривая: «Не шемоталься по улицам, коли не пьян; не тебе, дураку, чай пить в компании; гол как сокол, а беспорядки чинишь... Вишь как подрал!.. Охо-ох! А ты отвечай!»

Халатник, зажав ухо ладонью, убегает бойким ровным шагом, очень похожим на крупную рысь. Два извозчика и саечник смеются.

— Что смеетесь,— замечает будочник, самодовольно и гордо поглядывая кругом.— На себе честь положил, а то бы ему вот как досталось!..— и он начинает хвастать перед извозчиками.

Хвастуны телесной силой, так сказать, хвастуны-богатыри, теперь почти перевелись на Руси; их можно отыскать только между низшими слоями общества. Хвастун-богатырь почти всегда неграмотен или грамотен настолько, чтоб с грехом пополам прочесть «Бову Королевича». Бова Королевич для них идеал. Хвастуны этого рода являются на конных ярмарках, борются с лошадьми, поднимают тяжелые гири и кули, а иногда в порыве самозабвения берутся остановить экипажи или мельницу, хотя последняя попытка почти никогда им даром не проходит.

Первое место между многочисленными, более образованными хвастунами Российской империи, бесспорно, должны занять хвастуны-охотники. В этом случае, кажется, более виновата судьба, нежели люди. Тут действует, если хотите, какая-то непонятная сила охоты. Самый основательный, самый солидный человек, сделавшись охотником, начинает хвастать. Есть практическая аксиома: чем кто в чем-либо слабее, тем более он хвастает. Но здесь выходит явное противоречие этому общему закону хвастунов: здесь чем искуснее, чем страстнее становится в своем занятии человек, тем более хвастает.

Ни знаменитая порода, ни высокий чин, ни важное место, ни почтенные лета, ни положение в обществе — ничто не сдержит охотника, если ему представится случай прихвастнуть. Почетный отец семейства, седой дедушка и безбородый внучек хвастают, словно взапуски.

Я знаю одного скупого старика, который давно когда-то выиграл процесс, разоривший вконец вдову с пятью детьми мал мала меньше. Этот скупец, по движению ли благодарности к судьбе за выигрыш, или по тайному отголоску совести, только решился пожертвовать в пользу бедных рубль серебра! Рубль серебра для скупца — сумма огромная; и вот начали спрашивать старика: «Правда ли, что вы даете бедным рубль серебра?»

— Совершенная правда, вот он! — и старик вынимал из жилетного кармана целковый.— Я решился,— говорил он,— из своей бедной благостыни пожертвовать лепту; пусть не говорят обо мне, что я бесчувственный; только дам с условием: когда просижу вечерок между охотниками и не услышу ни одного хвастливого слова.

— Ну, смотрите,господа! — говорили охотники. Надобно поддеть его, уж мы себя выдержим!

Старик улыбался и прятал в карман целковый.

В уезде, где живет скупой старик, не перечесть охотников; почти каждый день старику случается бывать с ними вместе; но вот уже пятнадцать лет носит он в кармане целковый!

После хвастунов-охотников с горестью должно упомянуть о хвастунах литературных. Литературный хвастун всегда очень много пишет, всегда страшно занят литературой, хоть никто не имеет удовольствия читать этих трудов; он по большей части, изволите видеть, пишет без подписи, пишет критики; надобно, дескать, ввести в литературу порядочный вкус, надобно поучить уму-разуму писателей. Вон он, литературный хвастун, преимущественно этим и занимается. Литературному хвастуну вообще не нравится ход и направление литературы, он хлопочет

об улучшении. Хочет исправить и то, и другое, и третье, и жалуется, что сил не хватает, и кричит, не замечая, что решительно играет роль мухи, которая так наивно говорит: *мы пахали*!

Давно когда-то мне случилось быть здесь, в Петербурге, на вечере у одного чиновного человека; разумеется, общество было не литературное; но один человек важно уселся на диване и целый вечер толковал о литературе; сначала он ругал литераторов, недавно обруганных в журнале; видя, что слушатели сочувствуют ему, он перешел к противному и начал ругать хваленых литераторов; два-три сомнения было родилось из скромных уст чиновников, но громовое слово *идея* заставило замолчать их. Маленький оратор ругал писателей за идеи.

Идея — конек литературных хвастунов: на нем они выезжают здраво и невредимо из отчаянных несообразностей.

Обругавши совершенно всех писателей за идеи, оратор принялся разбирать их грамотность и кончил тем, что нет в России грамотного писателя, что все пишут с ошибками, как лавочники, и если бы не *он* исправлял их, плохо бы пришлось авторам! Разумеется, последнее он сказал тихо, с скромностью, словно поверял обществу великую тайну и просил не разглашать ее.

Безмолвно, с благоговением поклонились слушатели, когда оратор, взяв шляпу, оставил изумленное общество; с минуту продолжалось молчание, а потом пошли толки, которые кончились тем, что оратор прав, что он умный человек, что господа сочинители — печатные лгуны, врущие за деньги всякие сказки; что они только насмехаются над всеми да важничают, а расспроси об них порядочного человека, так выходит вот оно что... выходит просто дрянь, грамоте не знают, служить нигде невмочь, вот и пустились в сочинители — легкий хлеб!..

— Я давно это знаю,— заметил важный человек,— и решительно не читаю ничего...

— И я тоже, ваше превосходительство,— подхватил хозяин дома...

— Да оно, как подумаешь, только трата времени и больше ничего,— прибавили некоторые.

— Правда, правда! — подхватил хор гостей.

— Да кто этот человек? — спросил кто-то.

— Который отделал сочинителей?

— Положим, да.

— О, это, я вам скажу, голова того!..

— Чья?

— То есть, отличная голова! Столица ума!.. Грамота ему далась, нечего сказать; ну, да и служит по такой части...

— Где же он служит?

— Корректором казенной типографии — понимаете?!

Хоть корректор и должен знать грамоте, но этот, кажется, был хвастун. Не правда ли?

Литературные хвастуны, ругая литературу и литераторов, имеют необыкновенную охоту знакомиться с литераторами и быть в литературных обществах, где они часто подличают и пресмыкаются перед литераторами. В *своей компании* литературный хвастун всегда отзывается об известном литераторе как о задушевном друге.

— Я N. N. говорю: «Да перестань, братец, дурачиться: опять ты написал дичь».— «Знаю, сам знаю,— ответил мне N. N.,— да ведь не все смотрят на вещи твоими глазами; большинство публики это любит — вот и пишешь». «Счастлив ты, друг мой,— сказал я N. N.,— что у меня нет времени. Журналисты заели; А. прислал антропологию; пишет: «Ради бога, разберите поскорее»; Б. — космосотомию просит отделать на все стороны; В. говорит: «Разругай, да еще политично, геодезию» — куча работы, пообедать некогда!.. А то бы я, извини — служба службой, а дружба дружбой — разругал бы. Ну, да живи себе на здоровье...»

Подобные речи всегда изобличают литературного хвас туна.

Достойно замечания, что почти все офицеры, приехавшие с Кавказа, были задушевные друзья или с Марлинским, или с Лермонтовым, а чаще и с обоими, говорили и тому и другому покойнику *ты*, давали им денег, давали советы житейской мудрости, а часто и литературные, и присутствовали хоть издали при трагической кончине, как они выражаются.

В коридоре складывает печку печник-ярославец, русский человек, с бородкой, в сером армяке; две дамы, вероятно, встретились и, недалеко от печки стоя, разговаривают; одна из них молода и недурна. По коридору идет *молодец;* заметя дам, он переменяет походку, шевелит плечами, охорашивается, пробует слегка что-то напевать. Дамы не обращают на него внимания; *молодец* громко спрашивает печника:

— Давно здесь работаешь?

— Со вчерашнего дня.

— Хорошо. А по какой методе складываешь печку?

— Ась?

— Спрашиваю, по какой методе складываешь?

— Как, то есть?..

— Фу! Какой бестолковый! По какой методе? — тебя спрашиваю.

— Не могу знать, ваше благородие.

— Дурак, братец!..

И *молодец* пошел далее, искоса взглянув на дам.

В этом случае *молодец* нарочно ввернул слово *метода,* чтоб прихвастнуть, *озадачить* дам ученым словом: мы, дескать, не кто-нибудь, с мужиками и говорить не умеем, все больше на французских речах разговариваем, простой человек нас и не поймет... Куда ему, дураку!

Не удивляйтесь: у нас подобные явления не редки; мы часто простодушно хвастаем незнанием русской речи или обычаев. Я слышал, как один неглупый, повидимому, человек, приехавший из Петербурга в провинцию, осматривал сельское училище, спросил крестьян-

ского мальчика: «В котором часу вы делаете ваш туалет?»

Верно, вам случалось когда-нибудь сидеть на станции и ждать лошадей; заметьте, если есть тут другие проезжие, особенно дамы, они говорят между собою по-русски... Но звенит колокольчик, у крыльца останавливается тройка, в комнату вваливается какой-нибудь гарнизонный поручик или черкес, и проезжие навстречу ему заговорят непременно по-французски: это, изволите видеть, чтоб задать тону. Причина одна — прихвастнуть хочется!

Есть люди, любящие прихвастнуть своим знакомством. Иной мелкий чиновник никак не скажет: я был у N. N., а непременно: я был у статского советника N. N. или у его превосходительства N. N.; в последнем случае он титул *произносит* торжественнее, будто и сам при *сем случае* производится в генералы; даже некоторые для важности своих знакомых коллежских советников производят в статские решительно без всякой видимой причины. Иной бедняк готов заложить последний вицмундир для того, чтоб иметь честь угостить у себя его сиятельство, или превосходительство, или, наконец, хоть статского советника, чтоб потом разблаговестить об этом по всем знакомым.

В провинции мне случилось слушать рассказ одного молодого, уже отставного человека, который, вводя в свой рассказ речи посторонних людей, беспрестанно титуловал себя *ваше высокоблагородие.*

— Боже мой,— заметила с душевным умилением одна дама,— какой молодой, а уж штаб-офицер!

— То есть, изволите видеть,— подхватил рассказчик,— это было в Польше; там уже всегда так: на службе — капитан, в отставку — майор; вот они и говорят: ваше высокоблагородие; оно почти и справедливо.

Дама, вероятно, имела на рассказчика свои виды, начала собирать справки: вышло наружу, что *отставной* майор служил поручиком, а в отставку вышел штабс-капитаном, что для краткости он откинул штабс и титуло-

вался капитаном; а когда свыкся с капитанским чином, то рассудил, что он в отставке; а капитан, выходя в отставку, может получить майорский чин; он и начал понемногу приучать себя и своих ближних к майорскому званию. Желательно знать, до какого чина дохвастает этот человек, если поживет лет пятьдесят на свете?

После подобных можно поставить хвастунов-аристократоманов... Извините за длинное тяжелое слово; а без него нельзя обойтись. Эти люди воображают себя аристократами, хвастают своими знакомствами с аристократами, очень уважают древние роды и с благоговением *произносят* фамилии, записанные в бархатную книгу; они зябнут на всех гуляньях, где бывает высшее общество, и зевают на всех филантропических концертах часто в ущерб завтрашнему обеду...

Вот на тротуаре стоит человек основательной наружности, с усами; подле него тощий и бледный, и промеж них рисуется средний человек, в обширном смысле этого слова, то есть, и по росту, и по уму, и по состоянию, и по обществу. Он громко рассказывает своим слушателям про какие-то вечера у какого-то посланника...

— И ты там каждый вечер бываешь? — спросил человек с усами.

— Грешно было бы пропустить!..

— Истинно,— заметил бледный человек,— вот, смею спросить, я думаю, там богатый преферанс?!

— Фи! Как это можно!

— Что же они там делают? Любопытно бы знать!

— Умные люди сойдутся — свои современные вопросы: кто за свекловицу, кто против, кто за Роберта Пиля, кто против Роберта Пиля!.. Да так и режут против!.. А что Мегмет-али достается!.. Иногда вчуже о нем пожалеешь. А тут на кушетке какая-нибудь дама: вы с ней начнете пэтит козери, а там Тамбурини поет чудную арию... Словно на седьмом небе!.. О виравиза!..— и средний зафальшивил итальянскую арию...

— А потом пройдутся по хересам да и марш по домам,— прибавил человек с усами.

— Как можно! Разве это в ресторации?.. Тут, mon cher, пища для души!.. Одна какая-нибудь козери тебя на целый век просветит... О миа брачиа!.. Тра-ла-ла-ла!.. Пим! Пум!.. Это удивительно хорошо выходит!..

— Да как ты попал туда? Признайся старому однокашнику.

— Очень просто: маркиз Дюкло, родной племянник Меттерниха, мне задушевный друг; вот я и говорю ему: «Как хочешь, Поль, а представь меня посланнику: люблю, братец, хорошее общество»; а он мне в ответ: «Я давно хочу, mon cher, тебе намылить голову, зачем ты не бываешь в нашем кругу. Едем сегодня?» — «Едем!» Вот мы и поехали; и теперь я там свой... О-го-го-го-го... о-о-о-о-о... До свидания, господа.

Неужели вы не согласитесь, что средний человек нахальный хвастун?

Впрочем, у нас почти каждый чиновник более или менее помешан на высшем обществе; но это своего рода болезнь; а мы рассматриваем собственно хвастунов, то есть людей, которые не выходят из общественного уровня здорового народонаселения.

Есть еще хвастуны на знакомство со всеми знаменитостями, какого бы рода эти знаменитости ни были, лишь бы о них говорили: будь это известный певец, музыкант, искусник, красавица, обжора, шарлатан, богач, великан, фокусник — ему все равно, говорили бы о человеке, и хвастун вотрется к нему хоть в переднюю, а после хвастает. Такой человек немного похож на медный грош, полежавший в кошельке с серебряными деньгами. Эти неделимые всегда толпятся около знаменитостей дня, если так можно выразиться. Теперь, когда пора оперы немного прошла, вы не услышите: «Я вчера обедал у Рубини» или «Когда я был у Гарсии, меня звал Тамбурини» и т. п. Теперь и Рубини, и Гарсии нет; теперь не в моде болтать об опере;

теперь хвастуны на знакомства с знаменитостями осаждают цирки; они жмут руки Гверру и Лежару, кивают фамильярно наездникам, раскланиваются, как свои, с прислужниками, иногда подают голос, что такая-то лошадь похудела и не худо бы ей прибавить овса, и стараются сказать слова два-три наезднице, вроде: «Вы устали?» или «Вам жарко?» — воспользуясь временем, когда она поправляет башмак или подымает хлыстик, а потом... а потом спросите у них, о чем они говорили?..

Вредные хвастуны для общества — это хвастуны-*волокиты,* русские донжуаны, разумеется, на словах...

Кто их не видал на веку? Кто не смеялся и, наконец, не убегал от них? И кто, надо правду сказать, во дни самой ранней юности втайне не завидовал этим победителям сердец?

Хвастуны-донжуаны бывают более или менее безобразны, больны, бледны, истощены, бессильны. Почти все горбуны очень любят прихвастнуть своими любовными похождениями.

Обращаюсь к давнопрошедшему времени. Кто не помнит в одном департаменте чиновника бойкого на речах, но бледного, худого, вечно страдавшего флюсом, вечно подвязанного черным платком, вечно хваставшего своими интригами?.. Помните ли, друзья мои, те невыносимо скучные длинные вечера, когда, бывало, перед наградами начальник прикажет ходить после обеда и бедные чиновники, разойдясь в пять часов, соберутся к семи, уже пообедав, кто с Гавани, кто с Песков, кто с Петербургской стороны, усталые, измученные, соберутся и сядут вокруг длинных столов. Свечи тускло горят; начальник *не приехал по причине метели;* работать нечего, хоть домой иди... А если вдруг кто приедет?.. Этот вопрос всех удерживает, и труженики сидят, зевают, коротают время; но вот идет он, подвязанный черным платком, пожимает направо и налево руки, странно семенит ногами и уже в дверях начинает свое похождение: как шла розовая шляпка, как он

ей сказал: *«Куда? позвольте осведомиться»*; как отвечала она сердито: «Идем своей дорогой», но, подойдя к фонарю, осмотрела его и переменила тон и проч. Молодые люди окружают *его*, немного погодя и старики осторожно вмешиваются в толпу, является смех, шутки, а между тем догорят казенные свечи, домой пора — и вечер как не бывал! — скучнейший вечер! — спасибо *ему*! Верно, вы помните его, нашего донжуана?.. Даже помните, как он на самом интересном месте рассказа, где дело доходит до какой-нибудь приятной развязки, вдруг вскрикнет, схватится за щеку и немного погодя скажет: «Ноют, проклятые!», а потом опять продолжает рассказывать, забывая зубную боль.

Впрочем, *он,* если вы его помните, был представителем хвастунов-донжуанов самого безгрешного вида; он всегда прикрывал свои похождения покрывалом Изиды; у него в рассказах никогда вы не услышите, бывало, не только фамилии или собственного имени, даже имени дома, где происходило происшествие, а иногда и улицы не хотел говорить. *Он* хвастал делами, а не лицами, и дурная сторона *его* была только та, что многие юноши, наслушавшись соблазнительных рассказов, могли слишком удариться в уличный романтизм и навлечь на свою голову кучу неприятностей.

Другой вид хвастуна-донжуана хвастает именами, старается, выказывая себя, чернить доброе имя честных женщин, сеет раздор, несогласия в семействах, бывает причиной поединков, на которых иногда и сам слагает свою безрассудную голову. Эти хвастуны хвастают по большей части тихо, с расстановкой, будто поверяя тайну, иногда глядят на кончик своего сапога, иногда на часовой ключик, а более устремляют глаза в потолок.

Еще бывали в прежнее время хвастунишки в этом роде из кочующих армейских офицеров, которые выпрашивали у всех знакомых барышень от 12 до 50 лет разные сувениры: кошельки, бисерные снурочки и тому подобную

дрянь, собирали их, берегли и укладывали в походный ларчик, снабдив надписями вроде: «Анета бесенок», «Лиза ангел», «Маша душка» и прочее.

И под веселый час откровенности выкладывали на стол эту галантерейщину, торжественно *восклицая:* «Вот они! Все тут, господа, любую возьмите — она здесь!.. Вот что!..» и, разумеется, товарищи хором кричали: «Экая бестия! Собой неказист, а поди сравнись с ним!»

А иногда, под старость, какой-нибудь седой майор, скучая один в пустой хате, глядел на свои сувениры, припоминал и ручки, которые делали сувениры, и глазки, которые, давая их, глядели на него когда-то так приветно,— и радостно делалось майору, что был такой молодец, и грустно от того, что *был*... А теперь!.. Не дальше как вчера, благо бы кто, а то простая крестьянская девка так неловко сказала: «Стыдно тебе, *дедушка*!» *Дедушка*! Как должно быть страшно это слово старому холостяку!

Посмотрит на себя: он точно дедушка!

Оглянется кругом — и кругом все пусто: его прошедшее лежит за ним, словно безотрадная русская снеговая равнина; кое-где мелькают назади, в полусвете, могильные кресты [то] родных, то товарищей по школе, то служебных товарищей, а он один, решительно один; в прошедшем нет у него ни одной радости, в будущем — ни одной определенной надежды. Кругом пусто, только вдалеке, играя, носится черная стая галок; темным облачком реют они в вышине между черными тучами, то с радостным криком спускаются к земле и быстро несутся над пустою равниной... Но вот и они скрылись за горизонтом — быть буре!.. Вот повевает холодный ветерок с запада, а он один! Ему завидны галки: они дружно встретят метель, прижавшись друг к дружке: а кто прижмется к нему, одинокому? Жалкий старик!

Если вы увидите в обществе несколько человек юношей, изысканно, хоть и не всегда в такт одетых, если они ругают современные художества и смело берутся исправить ошиб-

ки Рафаэля, в таком случае бегите подальше от этих юношей: это хвастуны-художники. Эти добрые дети готовы серьезно сказать вам: «Да что сделал Брюллов? Или Бруни? Я лучше их сделаю!.. Им повезло — вот и все тут!» — убегите поскорее, а то вам станет совестно за хвастунов-художников.

В одной из провинций нашего обширного царства были у меня два знакомые, А. и Б. Как-то мы обедали вместе с ними у лица значительного в уезде; значительное лицо было одинаково как с А., так с Б., с В. и со всеми буквами уездного алфавита, очень изрядно накормило их — и буквы разъехались; но несколько дней спустя я слышал разговор:

— Вы были в воскресенье у значительного лица? — спрашивал кто-то.

— Да, имел эту честь, и можно сказать, неизъяснимое удовольствие,— отвечал А.,— его превосходительство решительно очаровал меня.

— Вот как!

— Да!.. Вы не поверите, как этот человек умеет жить... Впрочем, я не знаю, за что он меня так любит: верите ли, принял как родного, обласкал... «Пожалуйте, говорит, сюда, садитесь сюда...»; сам стул подал мне — верите ли?..

— Почему же? Его превосходительство знает, кого как принять: вы сами старый штаб-офицер и не без веса в уезде, и то и другое.

— Ах, почтеннейший! Положим, оно так, да все-таки он генерал: этакое внимание лестно! А за обедом решительно закормил...

— Закормил?

— Уж будьте уверены, там кухня не какой-нибудь чета: как пошли трюфели, да фрикасе, да фрикадельки, язык проглотишь!.. А его превосходительство все упрашивает: «Вот этого, сосед, да того!.. Да покушайте, говорит, без чинов, по-дружески».

— По-дружески! Счастье вам, везде вам везет!.. А напитки были хорошие?

— Еще бы!.. Все засмоленное, да заморское; одна рюмочка даст на год здоровья, то вино, словно слеза,— светлое, другое темное, что твоя кровь, а третье пахнет, будто на цветнике гуляешь, когда пьешь...

А в другой комнате чей-то голос кого-то спрашивал:

— Так вы изволили быть в воскресенье у значительного лица?

— Носила нелегкая,— отвечал Б.

— Как так?

— Да так, не будь соседское дело, да я бы и пяти минут не остался: хозяин, с позволения сказать, невежа: ни принять, ни занять, ни посадить не умеет...

— Своим генеральством занят.

— Да смотреть я не хочу на его чин; я и сам недалек от генерала; служил, так давно высшим был бы; с людьми и поважнее дружбу водил; нет, он передо мною не величается чином, а просто — не имеет тону, манеры, жить не умеет, мало жил с людьми хорошего общества... Вот что!

— По крайней мере, стол был приличный?

— Дрянь, братец!.. Ничего есть нельзя! Все такое грубое, мужицкое... Должно быть, у него какая-нибудь Матрена-кухарка варит... А вино — ужас!..

— Скажите!..

— Такая мерзость, что в рот взять нельзя... Судацкое кислое вино смешано то с ромом, то с сахаром, то с померанцами: вот и вина; отравиться можно человеку порядочному!..

Вам странно, что А. и Б. в один и тот же день были у одного и того же человека, сидели за одним столом — и говорят так различно? Они оба хвастают!.. Оба идут к одной цели, только различными путями... А. хвастает ласками и угощением генеральским, думая, пусть другие скажут: «Да, видно, А. славный человек, когда его превос-

ходительство так за ним ухаживает». Б. ругает и прием, и стол генеральский, думая: пусть другие скажут: «Да, видно, Б. на веку пожил с людьми и видел свет, когда его превосходительство, человек ласковый, ему кажется мужиком и вкусный генеральский стол он есть не может...»

Ни А., ни Б. не мифы, не создания мечты: это люди действительные; верно, вы найдете между вашими знакомыми подобных, хвастающих всеобщею любовью и необыкновенно ласковыми приемами? (Особливо к этому склонны дамы). Хотите видеть Б., пойдите в любую кондитерскую, кафе-ресторант, и если увидите господина, который ворчит, что ножи не остры, трюфели не душисты, белье не тонко, хлеб не выпечен, и капризничает, и меняет кушанья, поздравьте себя: это Б.; держите пари, что у него дома белье втрое толще, ножи в руки взять совестно и не только нет трюфелей, но и худо выпеченного хлеба часто не бывает.

Если человек знает, что будет в обществе, где соберутся люди запросто провести время, и нарядится в щегольское платье, то можно смело подозревать его в желании прихвастнуть.

Если человек явится на бал или в какое торжественное собрание, где все люди одеты нарядно, в простом неопрятном платье и если этот человек в таком отношении, что его не посмеют или не захотят попросить выйти, то этот человек решительно хвастун; он хвастает своей нравственной силой и нарушает принятые приличия, чтобы на себя обратить внимание.

Таких хвастунов можно легко отыскать между пожилыми капиталистами, богатыми дядюшками-холостяками, между непризнанными артистами и поэтами, а первых, то есть хвастунов-щеголей, так много, что не знаешь, в которую сторону и показать!.. Я полагаю, что из ста дорогих бархатных жилеток, так заманчиво разложенных на окне любого магазина, разве десять будут куплены для носки, а девяносто, обтянув грудь человека, не пере-

станут показываться на том же Невском почти с тою же целью, только, разумеется, с меньшею пользою для своих хозяев.

Хвастунов нарядами слишком много: они или отъявленные вековечные старички, или молодежь самая юная. Недаром сложили в прошлом столетии в народе присказку, что будто новопроизведенный прапорщик надел полную форму и в метель гулял по улице, а денщика заставил глядеть на себя из калитки.

— Ну, что? — спрашивал он денщика, возвращаясь домой.

— Ничего, ваше благородие!

— Хорошо?

— Хорошо, ваше благородие!

— Шпоры звенят?

— Звенят, ваше благородие!

— Эполеты блестят?

— Блестят, ваше благородие.

— Барышни смотрят?

— Глаз не отведут от вашего благородия!

— Ничего, братец, пусть их страдают!..

Согласитесь, что при таком направлении ума и сердца человек легко решится есть целый месяц хлеб с водой и терпеть всякие лишения, лишь бы при удобном случае блеснуть своей оболочкой и заставить пострадать жестокую. И поделом! Не будь жестока к хорошему человеку!

Скупцы вообще народ скрытный и подозрительный, но страсть похвастать иногда заменяет даже основной их характер. В ...ом уезде недавно еще жил, а может быть, и теперь живет помещик старых времен, у которого в гостиной на всех окнах лежит по серебряной монете, на карнизе печки постоянно блестит вычищенный червонец или полуимпериал, на столе живописно красуются две-три ассигнации, а в углу комнаты стоят три головы сахару. Этот помещик очень скуп, но он любит похвастать своим

достатком; приезжайте к нему, и он сейчас станет извиняться, что вы его застали в таком беспорядке, что у него в гостиной *валяется* сахар, потому что недавно приехал с ярмарки, где запасается сахаром всегда *пудами*... Слово *пудами* помещик говорит с особенным выражением и, по врожденной скупости и подозрительности, беспрестанно посматривает на место, где положены деньги, особливо, если гость подходит к какой-нибудь монете...

Но, несмотря на почти всеобщую страсть хвастать состоянием и богатством, страсть, ведущую к разорению, есть люди, которые готовы сознаться в своей бедности или выдумать на себя карманную невзгоду, лишь бы прихвастнуть наградой. Так, говорят, один молодой хвастун продавал всем за пятьсот рублей отличный брильянтовый перстень, полученный в награду, перстень, стоящий полторы тысячи.

— Зачем вы его отдаете так дешево?

— *Денег нет*! А перстень я, пожалуй, еще получу!.. Мне на это везет!

Впрочем, эта продажа производилась на словах и в обществе, где бывали хорошенькие дамы. Перстня, полученного в награду, никто не видел, да и сам продававший никогда не получал; и если кто хотел дать на перстень задаток, то продавец не брал, обещая привезть перстень и тогда получить деньги сполна.

Бывают иногда между хвастунами хвастуны универсальные, хвастуны в обширном смысле этого слова, хвастающие всем без изъятия. Говорят ли об охоте, универсальный хвастун кричит: «Вот *я* когда-то сделал выстрел так выстрел!..»; заговорят ли о литературе, опять он кричит: «*Я* написал бы роман, так был бы роман, а то черт знает что пишут!; заговорят о Наполеоне, *он* поправляет Наполеона, о живописи, опять он кричит: «*Я* дал сюжет, так будет картина!..» — и так решительно обо всем!.. Явление странное, но более болезненное. Подобный человек немного помешан на своем *я,* следовательно, подлежит

к рассмотрению медицины и некоторым образом выходит из круга нашего очерка.

И боже мой! Сколько еще разных видов частных хвастунов: бывают хвастуны семейным счастьем, здоровьем, способностью много выпить, женой, собаками, друзьями, прической, выговором буквы *р*, цветом носа, блеском сапога,— словом, нет предмета, которым бы человек не способен был прихвастнуть, прихвастнуть бессознательно, без всякой причины, не видя в том для себя никакой пользы, между тем как вред заключается всегда. Всякий хвастун выказывается какою-нибудь стороной выше уровня своего общества, а люди, известное дело, никогда не простят тому, кто хочет быть их выше; тут является самый простой, насущный, повседневный вопрос: *почему он, а не я*? И рано ли, поздно ли, хвастун горько поплатится за свое пустое торжество, не говоря уже о собственном душевном наказании, о страшной пытке самолюбия при разоблачении хвастливых выходок человека. Но хвастуны об этом не думают, действуя решительно по какому-то необъяснимому вдохновению. Бог им судья!..

[*1846*]

СОДЕРЖАНИЕ



Литературно-художественное издание

ГРЕБЕНКА ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ

ЧАЙКОВСКИЙ
Роман

ПОВЕСТИ

Редакторы *М. К. Дмитриева, Л. В. Домбровская*
Художник *И. М. Гаврилюк*
Художественный редактор *В. П. Мазниченко*
Технические редакторы *Л. М. Смолянюк,*
Н. К. Достатняя
Корректор *Н. И. Прохоренко*

ИБ 4273

Сдано в набор 02.12.87
Подписано к печати 14.03.88.
Формат 70×108 1/32. Бумага типографская № 1.
Гарнитура литературная.
Печать высокая.
Усл. печ. л. 24,5. Усл. кр.-отт 24,675.
Уч.-изд. л. 25,899.
Тираж 300 000 (1 завод 1—100 000 экз.).
Заказ 7-750 Цена 2 р 30 к.

Издательство
художественной литературы «Дніпро».
252601, Киев-ГСП,
ул. Владимирская, 42.

С фотоформ
Головного предприятия
республиканского производственного
объединения «Полиграфкнига»
на Киевской книжной фабрике.
252054, Киев, ул. Воровского, 24.

Гребенка Е. П.

Г79 Чайковский: Роман; Повести / Предисл. С. Д. Зубкова.— К.: Дніпро, 1988.— 555 с.

ISBN 5-308-00207-X

В книгу вошли лучшие произведения известного украинского писателя (1812—1848). Яркими красками, героическим духом казатчины, интересными и опасными приключениями, которые переживают герои, привлекает исторический роман «Чайковский» В повестях «Записки студента», «Кулик», «Приключения синей ассигнации» разоблачается несправедливость социального строя царской России

Г $\frac{4702590100-224}{М205(04)-88}$ КУ8.169.88 ББКУк1—44

**ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«ДНІПРО»**

Вышли в свет
и готовятся к печати
1988 год

*Произведения украинских писателей
на русском языке и в переводах
на русский язык*

УКРАИНСКАЯ ДООКТЯБРЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

МАРКО ВОВЧОК

СКАЗКИ И БЫЛЬ

*Историческая повесть «Маруся»
и сказки*

СТАРИЦКИЙ М. П.

РАЗБОЙНИК КАРМЕЛЮК

Исторический роман

КОЦЮБИНСКИЙ М. М.

ИЗБРАННОЕ

Повести и рассказы

УКРАИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЗЕМЛЯК В. С.

НОЧЬ БЕЗ МИЛОСЕРДИЯ

Повесть и рассказы

ТЮТЮННИК ГРИГОР

ЗАВЯЗЬ

Новеллы

ГОНЧАР О. Т.

ТВОЯ ЗАРЯ

Роман

ЯНОВСКИЙ Ю. И.

ВСАДНИКИ

СТЕЛЬМАХ М. А.

КРОВЬ ЛЮДСКАЯ — НЕ ВОДИЦА

Романы

Готовятся к печати

1989 год

УКРАИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ П. А.

РАЗГОН

Роман

ТЮТЮННИК ГРИГОРИЙ

ВОДОВОРОТ

Роман

2 р. 30 к.

Евгений Гребенка

